

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

2

НОВЫЙ МИР

1997

2



1997

НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 2(862)

Февраль, 1997 г.

Учредитель — редакция журнала «Новый мир»

СОДЕРЖАНИЕ

ИРИНА ПОЛЯНСКАЯ — Прохождение тени, роман. Окончание	3
ОЛЕГ ГУБАНОВ — Отойди, стой, не двигайся, стихи	79
ГЕНРИХ САПГИР — Пусть Вавилон вскипит огнем, стихи	81
ВЯЧЕСЛАВ ПЬЕЦУХ — Городской романс, рассказы	84
НИКОЛАЙ ГЛАЗКОВ — Но и природу я не постиг, как не постиг смерть. Публикация Н. Н. Глазкова. Предисловие Татьяны Бек	102

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

УОЛЛЕС ШОУН — Лихорадка. Перевел с английского В. Голышев	113
---	-----

ПУБЛИЦИСТИКА

ЮРИЙ ЕГОРОВ — Созидание экономики	132
-----------------------------------	-----

ВРЕМЕНА И НРАВЫ

ГЕОРГИЙ ХАРИТОНОВ — Апология российского губернатора. Предисловие Юрия Кублановского	145
ЮРИЙ КРАСАВИН — Новая Корчева. Провинциальные зарисовки	155

ЭКОЛОГИЯ РОССИИ

АНАТОЛИЙ ГРЕШНЕВИКОВ — Журавли из небытия. Предисловие Сергея Залыгина	171
--	-----

МИР ИСКУССТВА

ИРИНА ЛЮБАРСКАЯ — Кино в отсутствие любви и смерти	177
--	-----

ИЗ НАСЛЕДИЯ

В. Н. ТУРБИН — «Мой век не проворонил я...». Записи разных лет. Публикация, составление и примечания О. В. Турбиной и А. Ю. Панфилова	190
---	-----

ОПЫТЫ

АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ — Горячий спор: о чем и как	207
---	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

По ходу текста

АНДРЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ — Неизвестные результаты речи	217
--	-----

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Юрий Кублановский. «Любью» — повесть, полная смысла	221
Дмитрий Бавильский. Улисс из Яминска	223
Алексей Пурин. Форель разбила лед?	226
Дмитрий Бак. «Реалисты»	230
Алена Ангелевич. Благие намерения	233
И. Мочалов. Роковые мгновения	236

И. Кириш. — В. И. Вернадский. Публицистические статьи	238
Юлия Тарантул. — Федор Абрамов. Так что же нам делать? (Из дневников, записных книжек, писем. Размышления, сомнения, предостережения, итоги)	240
А. В. — Петр Вайль, Александр Генис. 60-е. Мир советского человека	241
Ольга Кузнецова. — I. «Митин журнал», № 50 — 53; «Комментарии», № 6 — 9. II. «ГФ — Новая литературная газета», № 1 — 14; «Цирк „Олимп“». Вестник современного искусства, № 1 — 9	242

РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ

Алексей Зверев. — Восстанавливая алтари	245
---	-----

БИБЛИОГРАФИЯ

Книжная полка (составитель Сергей Костырко)	249
Периодика (составитель Андрей Василевский)	251
SUMMARY	256

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Наш индекс 70636 в каталоге издательства «Известия» (спрашивайте во всех отделениях связи).

Вы можете оформить льготную подписку на «Новый мир» непосредственно в редакции по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 18 часов, в субботу с 10 до 13 часов. Здесь же можно приобрести отдельные номера журнала. (Справки по тел. 200-08-29.)

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются: германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218);

акционерное общество «Международная книга» через своих контрагентов в соответствующих странах (их адреса можно узнать в АО «Международная книга»: 117049, Россия, Москва, ул. Большая Якиманка, 39. Факс (095) 238-46-34. Телефон (095) 238-49-67. Телекс 41160);

американская фирма «Ист Вью Паббликейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел./факс (095) 144-00-55, (095) 144-01-89).

Просим зарубежных подписчиков и покупателей «Нового мира» обращать внимание на обложку журнала. За пределами России и стран СНГ наш журнал распространяется только в специальной экспортной обложке — белой, с надписью «Нову Мир»; торговля журналами в голубой обложке не является законной.

ИРИНА ПОЛЯНСКАЯ

*

ПРОХОЖДЕНИЕ ТЕНИ

Роман

9

МЫ С ЛЕО ПИШЕМ БУКВУ «А». ЛЕО ХИТРИТ И ОТВОРАЧИВАЕТСЯ ОТ ТЕТРАДИ. «Какая «А»?» — «Видишь, как домик: А-а». — «Какой домик? Оший?» — «Хороший». Его рука, его плоская, с ороговевшими наростами на суставах лапка, не приспособлена для такой тонкой работы. Пальцы напряжены, словно их свело судорогой. Он тяжело вздыхает, скособочившись над чертежом «домика», в котором я стараюсь поселить его ум. Чистый лист бумаги, как воды всемирного потопа. Мы переплываем от одного островка к другому, от буквы к букве, прорубаем путь в непроходимой сельве дописьменного периода. Дом «А» кренился то влево, то вправо, наконец принимает нужную мне позу опытного моряка, стоящего на охваченном штормом судне. Расставив ноги, моряк стоит приложив ладонь к глазам, вглядываясь в «Б», в далекий, скрытый туманом БЕРЕГ. Я говорю: «БЕРЕГ, БЕСЕДКА, БУЛАВКА, БАНЯ, БОЛЬ, БОГ...»

Вдруг при слове БОГ Лео начинает размашисто креститься. Удивлению моему нет границ, я даже забываю о нашем занятии. Сама я креститься не умею, не знаю, есть ли Бог. Взволнованная, я спрашиваю об этом Лео, который радостно и разумно, даже авторитетно, ибо речь идет о понятных ему вещах, уверяет: «Да! Есть! Оший!» — и при этом с размаху бьет себя по накладному карману рубахи, из которого у него всегда торчит уголок какого-то листка. Я была уверена, что это клочок бумажки с адресом, написанным его матерью Лизой на всякий случай. «Покажи», — говорю я Лео. Он вытаскивает вчетверо сложенный листок, на нем круглым почерком написана молитва «Ко Ангелу-Хранителю». В глаза мне бросаются строчки: «*Которыма очима, Ангеле Христов, въззриши на мя, оплетшася зле во гнусных делех?..*» Несколько секунд я перечитываю эти слова, стараясь понять смысл. Лео, радостно отбросив карандаш, раздражается объяснениями: «Летает! Да! Смотрит на Лео! Любит Лео!» В его голосе проступают слезы. «Любит?» — переспрашиваю я. «А! Любит!» — энергично старается развеять мои сомнения Лео. «Это твоя мама написала?» — «Мама. Бог. Ангел. Все любят Лео». Он истово крестится. Вздохнув, я кладу его молитву обратно в кармашек. Лео пишет «Б» и снова взволнованно крестится. Он пишет то «А», то «Б» и крестится. Может, он прав, что крестится на эти танцующие буквы?

— Не нужно это... — На веранде появляется мать Лиза, худая, длинная, с привлекательным скуластым лицом. Она держит голову набок, как и Лео, как будто они оба все время к чему-то прислушиваются. — Не трудиться, он все равно забудет.

Лиза, единственная во дворе, всегда обращается ко мне на «вы». В свободное от работы в магазине время она ходит прибираться к соседям, мыть

окна, стирать, купать лежачих больных. Люди ее жалуют, потому что берет она за свой труд немного, с больных — вообще ничего. Даже серебряную ложку не взяла у сумасшедшего старика Онучина, который во время войны работал на продовольственном складе и выменивал продукты на кольца, сережки, браслеты, а своего сына морил голодом. Лиза и к нему обращается на «вы», хоть он сумасшедший и ей, единственной, не выкрикивает на улице в лицо, как каждому встречному: «Иосиф похоронил Иакова, Иаков похоронил Исаака, Исаак похоронил Авраама...» Брызжа слюной, Онучин пытается дать времени обратный ход, чтобы похоронить человечество в Адаме.

Лео пишет «В» и начинает размашисто креститься на новую букву. Лиза осторожно удерживает его руку. С помощью Лизы мне открывается небольшой педагогический секрет: Лео надо все время хвалить, и тогда он будет работать с удвоенным усердием. Стало быть, Лео тоже подвержен некоторым нашим слабостям. Молодец, Лео. Лео умница. Какая красивая «В» у Лео. Лео скоро всем нам будет писать письма!

Мы с Лео выходим на улицу. На крыльце стоит беременная Светка, смотрит направо-налево, поглядывает на север и на юг, высматривая своего напраказившего женишка, не идет ли виноватым заплетающимся шагом студент-машиностроитель, залёточка. Моя бабушка при каждом удобном случае добродетельно ее осуждает: «Чего теперь высматривать, когда до себя допустила». Я приостанавливаюсь, держа за руку Лео. Я немного стесняюсь ее живота. Светка старше меня всего на полтора года, но совсем взрослая женщина. Разговаривая с ней, я стараюсь дать ей понять, что ее безмужний живот в моих глазах — обычное дело, но Светка не понимает моей деликатности, ей и самой кажется, что это дело обычное: мать ее дважды рожала без мужа и Лиза нагуляла Лео неизвестно от кого, но муж все-таки желателен, а как же. Обычно я приветствую ее одной и той же шуткой:

— Ты еще не родила?

— Еще нет, — серьезно отвечает Светка. Мы обе склоняем головы над ее большим животом.

— Можно попробовать?

— Тронь, — усмехается Светка. — Он спит сейчас.

Точно боясь ожечься, касаюсь пальцем ее живота.

— Мальчик, наверное.

— Если будет парень, — строит планы Светка, — отдам его в фигурное катание. А девочку в музыкальную школу. Чтобы играла, как ты.

— А как — тебя тошнит?

— Дурочка. Кого же тошнит на девятом месяце? Это вначале. Уже большой ребенок, скоро родится. Хоть бы в отца пошел, отец краси-ивый! — с гордостью говорит Светка, затем отворачивается от нас: — Ты отведи Лео. Мне нельзя в моем положении долго на него смотреть, а то Бог знает кто может родиться.

Мы с Лео поспешно сходим с крыльца, чтобы у Светки не родился Бог знает кто.

Мы идем мимо квасной бочки, которую опекает наш тополь, мимо очереди покупателей с бидонами (жарко!), мимо деревянных ворот, железных оград, ажурных решеток, сплошь оплетенных диким виноградом, глубоких, гулких арок, укрывших отступившую ночь, мимо развешанного в глубине дворов сохнувшего белья (оно снится к разлуке), качелей во дворах, гамаков, курятников, сараев с ржавыми велосипедами, деревянных колод, на которых осенью попеременно рубят то дрова, то капусту, старых диванов, выставленных на просушку, круглых столов с игроками в подкидного, пузатых шифоньеров с шубами и пальто, надушенными нафталином, этажерок со случайными, незабвенными книгами, иконостаса лиц на стенах, как всегда умерших, как всегда прекрасных... Мы сворачиваем на Кировскую и по ней спускаемся к набережной.

Река поблескивает из-за крыш и деревьев — ее тема с каждым шагом нарастает, усиливается, отдельные разрозненные мотивы сливаются в густеющую мелодию с вариациями. Тело с каждым шагом все больше утрачивает вес. Что-то странное есть всегда в спуске к реке. Она преграждает тебе путь, но ты стремишься, забывая про все, к этой блистающей преграде, к этой рябящей от ветра прохладе. Мы идем по набережной вдоль литых решеток, разделенных цепями. Через каждые сто метров стоят чугунные тумбы с буквами на них, складывающимися в чугунную надпись: «Акционерное общество Пастухова. 1898 год». Наверное, прежде к ним пришвартовывались пароходы пароходного общества «Самолет». Тумбы похожи на гигантские гвозди, которыми Пастухов решил намертво прибить улетающуюся время. В конце каждого века вещество времени истончается, становится разреженным, зыбким — таким же, как старый чугун. Это чувствовал и Пастухов. Скоро век, как он чугунными пальцами тянется к нам из-под земли, просится обратно, мечтая хоть на полчаса воплотиться в кого-нибудь из нас, прохожих, чтобы немного постоять у своих чугунных тумб, покурить, посмотреть на медленную, лениво лоснящуюся воду, на пристающий к берегу прогулочный катер «Сергей Тюленин», на то, как ловко матрос набрасывает швартовы на его чугунное детище, круглое и литое, как аккорды до-диез-минорной прелюдии Рахманинова, которые Неля с такой упорной силою вколачивает в клавиши, сражаясь с глухотой собственных пальцев... Возле будки с мороженым Лео приостанавливается, интересуясь, «ошее» ли мороженое, и дальнейший наш путь проходит в заботах, как бы не капнуть на рубашку тающим эскимо. Павильоны, в которых продаются пирожные, печенье, лимонад, конфеты, останавливают нас, как светофоры. Мы, конечно, кутили. Петушки на палочках, воздушная кукуруза, сахарная вата, карусель, катер до Зеленого острова, с борта которого видна Старопочтовая, и обратно. Варлей и Демьяненко в прохладном малолюдном кинотеатре плели свой студенческий роман, отбиваясь от карнавалных горцев на фоне уютной, забавной гайдаевской этнографии.

Лето покачивалось и искрилось, как золотая капля на кончике иглы, — еще покачивалось, еще искрилось...

По возвращении домой обедаем и идем к Лео крутить детские пластинки. Мне нравилось, как артисты умеют передавать голоса животных. Так и представлялось: «Р-р-ав!» — говорит большая собака, сенбернар, с лоснящейся богатой черной шкурой, а не здоровенный дядя, у которого творческой простой. Лео начинает прыгать на четвереньках и лаять, к моему большому восторгу. Тут раскрывается дверь и к нам заглядывает бабка Анька, голова ее в бигудях, острые глаза бегают, губы растянуты в ухмылке.

— Ага, эт ты, барышня?.. А мы только с Верой тебя поминали. Она жалилась, что Тамара прячет от нее внучку. Что ж ты к Вере-то не зайдешь? Ступай к ней скорей. Ступай сейчас. Бросай все и ступай.

По выходным Вера собиралась на рынок за цветами. Я искоса наблюдала за ней, удивляясь про себя: чего уж пудриться, когда ты такая древняя старушка, зачем подводить брови и подкрашивать губы, ведь если и обратят внимание, так только из жалости, из сострадательного желания помочь донести кошелку до остановки трамвая... Но кошелки не было. Вера отправлялась за цветами, и только за цветами. Как к настоящей любви не может примешиваться расчет, так к ее цветам не мог пристать пучок петрушки или сельдерея. Вера красилась, одевалась как на бал, душилась духами «Манон», приготавливая себя к цветам, надевала шляпку с вуалью, на которую прохожие изумленно оборачивались. Эта шляпка времен Веринной молодости сохраняла под своей вуалькой воздух чистых девических побед, воздух иных времен, никогда не пресекавшихся мечтаний, в ее туманную завесу вкраплены давние слезы, и кровь каких страстей запекалась

на Вериных полускрытых вуалью губах, о том знала лишь она. Вера приставала на цыпочки, чтобы увидеть всю себя в зеркале, надевала босоножки на высоком каблуке и оборачивалась ко мне:

— Детка, я пошла за цветами.

Как будто я не знала, куда она пошла.

Как тихо, тенисто у Веры в комнате, как много книг на полках, печенья в вазочке. И какой чистый кусочек неба виден из ее окна между крышами, синяя клавиша. На рояле линейный пробор Полины Виардо, портрет Чайковского кисти самой Веры больше похож на портрет Чехова. Пузатый будильник на подоконнике. Давно не стрекочет. Его сломал Лео. Лео не переносит стрекота часов. Когда он приходит к нам, бабушка первым делом останавливает наши часы с боем. В доме Ткачихи часы стоят в чулане — все, кому надо справиться о времени, заглядывают в чулан. Если Лео приходит к кому-то в гости, часы прячут под подушку, иначе с ним делается истерика. Тенисто, тихо. Старое кресло у старинного столика на гнутых кокетливых ножках. Наверное, как хорошо, утопая в нем, поминутно откидываясь на спинку и поглядывая в окно, застрять на одной странице «Войны и мира»... Это кресло — средоточие ее теперешней жизни, кресло леди Хевишем, просевшее от болезненной мечты о себе самой. Серебристо-зеленое, выцветшее, с торчащими повсюду серебристыми нитями, со многими валиками на подлокотниках и спинке, которыми можно управлять по своему желанию, кресло, приспособленное к изобилию поз, к легкой, кипучей игре ума с действительностью. В нем могла играть свои роли парализованная Сара Бернар. Оно делает все понятным без слов, как сумерки. Вера в нем живет — читает, шьет, вспоминает, пишет письма. Дополнением к креслу — скамеечка, обитая этой же серебристо-зеленой тканью, гобеленом, на котором продолжает ткать время...

И вот входят цветы и Вера, кажущая себе интересной интеллигентной пожилой дамой; жестом дуэлянта она срывает с плеча кухонное полотенце, и оно летит на столик. Розы, которые час назад усердно побрызгал черноусый жуликоватый продавец, имитируя *росу*, она держит отстранив от тела, на весу, на сгибе руки. Поставленные в вазу, розы образуют ровный куст. Белые и красные, набранные вслепую, цветы здесь совсем дешевые, даже неловко за них, белые и красные, дуэт Иоланты и Водемона, война норманнов с англосаксами, неувядаемые страсти. Присутствие роз делает комнату еще более старинной.

— Ну вылитая, вылитая мама!.. — восхищенно говорит Вера, оглядываясь на меня, пока настоявшийся чай струится из носика чайника в шерба-тую кузнецовскую чашку. — Мои ученицы мне часто приносили цветы, ты себе представить не можешь. Они меня любили, мои девочки. Может быть, я больше научила их любить музыку, нежели играть. Знаменитостей из них не вышло. Ну и что ж, все равно я горжусь ими. Твоя мама, конечно, тоже прекрасный педагог, но я не понимаю, чему может научить химия? Химия, она и есть химия, тогда как музыка, искусство... Но ты пей, пей чай, не отвлекайся. Да, это очень старинный инструмент, его прежние владельцы были знакомы с Рахманиновым. Они запросили за инструмент две с половиной тысячи старыми деньгами — разве у меня были такие деньги? Но когда они мне сказали, чья рука касалась этих клавиш, я бросилась перед дядей на колени. Ну что все эти расчеты, эти меркантильные соображения перед мыслью, что, может быть, великая тень до сих пор склоняется над потревоженной музыкой... Ты понимаешь, о чем я говорю? Люди, к несчастью, не все рождаются красивыми и также не все могут чувствовать музыку. Ах, как я рада, что твоя мать учит тебя музыке, она была блестящей пианисткой, можешь мне верить, и если бы не твой отец... Но это между нами, разумеется. Андрей тоже был чуток к музыке, особенно его душе был близок Шопен. Ты знаешь, что у Шопена был роман с Авророй Дюпен? Да-да, Жорж Санд, какое чудо эта ее «Консуэло», я до сих пор запоем читаю...

Я сижу у ее ног на скамеечке. С высоты своего кресла Вера рассказывает меня о маме и учит нас обеих жить. Это ее любимая игра, которую навязало ее кресло и скамеечка, игра в вечную учительницу и ученицу, сидящую у ее ног. Чему она может научить меня, нас, когда сама все потеряла: родных, друзей, положение в обществе, сына, наконец, бывшего жениха моей мамы — Андрея. И сама уцелела чудом, закатившись, словно бусинка, под это громоздкое кресло, которое хотели реквизировать, но не смогли протаскать в дверной проем, оно уперлось, разбухло на глазах, — и революционные солдаты оставили его в покое. Кресло развернуто на юго-запад, всегда на солнце, садящееся над Доном. «У меня абонирована лежанка на закат», — говорит Вера. Да, этого у нее не отнять — закат.

Вера рассказывает про свою жизнь. Была большая семья. Отец — дирижер городского оркестра, мать — актриса-инженер. Братья-студенты строчили статьи в губернскую газету, стремясь приблизить светлое будущее. Уютные зимние вечера, пышные пироги с запеченными в них монетами, живые картины, в которых принимала участие Оленька Спесивцева, будущая великая балерина, с ней Вера посещала балетный класс при театре, вместе с Оленькой для живых картин делали сугробы из афиш, обмазывали клеем и сыпали крупной солью — блестело при свечах; шарады, простонародное лото, к которому пристрастила всю семью нянька Алевтина, забавные стишки к именинам, еловый запах медвежьей шубы отца, похожей на шляпкинскую, импровизации на рояле, клавиш которого (впрочем, так говорил продавец, чтобы заломить побольше) касался сам Рахманинов, акварели, бальный порошок, Римский-Корсаков, партитура «Псковитянки», которую отец изучал уже в Берлине, куда уехал на гастроли. А когда вернулся, всю громыхала Гражданская. Жена репетировала в какой-то ужасной пьесе «Красная правда» молодого, но уже расстрелянного белыми в донских степях драматурга Вермишева. Старший брат Веры, ушедший в конце семнадцатого с отрядом Сивера простым солдатом, погиб, а младшего, сотрудника какой-то новой революционной газеты, казнили деникинцы. «Псковитянка» осталась невостребованной. Смерть обоих сыновей прежде времени свела в могилу ее родителей.

Я поражаюсь той отваге, с какой Вера надевала на голову синюю бархатную шляпку с белой вуалеткой, собираясь со мною в театр. Она казалась себе загадочной старушкой. Ее зеленые глаза туманно мерцали под вуалью.

— Женщина должна всегда оставаться женщиной, — говорила Вера, принимая мое изумление перед ее вуалеткой за немой восторг. — Скажи, это не слишком вызывающие духи? Мне подарила их одна из моих учениц, ее муж, между прочим... ну, это особая история... Короче говоря, резковатые духи, но я так люблю Лерочку, что не могу их выбросить. Давай я тебя чуть-чуть подушу, вот так, вот так...

В тот вечер, тихий, отстраненный, с высокими потемневшими небесами и листвою, намекающей на осень, мы отправились в городской театр. Дорогой Вера объясняла мне, что театр теперь далеко не тот, что был прежде. Когда-то сюда приезжал Таиров и ставил «Оптимистическую трагедию».

— Впечатление было такое, — рассказывала Вера, — что спектакль этот «сердце трепетное вынул и уголь, пылающий огнем...». Как там?.. Ну, не важно. Играла великолепная красавица Лекалова, она рано скончалась, бедняжка, от чахотки, но говорили — несчастная любовь, играла Комиссара не хуже Коонен, хотя я и не видела Коонен, но думаю, не хуже, а когда она говорила Алексею: «Один вопрос: за какую власть ты голосовал на выборах?..» — у меня аж мороз шел по коже... Осторожнее — лужа. Я очень, детка, люблю театр, не правда ли, здание нашего театра похоже на сфинкса или на спящих львов в Ленинграде, зрительный зал — как запрокинутая грива, а вот эти два подъезда по бокам вроде лап...

Шли гастроли одного из московских театров. У бокового служебного подъезда толпились театралы в надежде получить контрамарку или авто-

граф знаменитости. Должно быть, Вера в своей невероятной шляпке походила на старую актрису, уже готовую к выходу на сцену, — толпа почтительно расступилась перед нею, и мы вошли в вестибюль. Старая дама в черном шелковом платье и на высоких шпильках чистила ручным пылесосом чучело огромного медведя. Увидев Веру, она приветливо заулыбалась и сказала, чтобы мы шли в зал на ее место, там есть свободные стулья.

— У меня тут друзья, — строго сообщила мне Вера. — Мой сын работал здесь после войны. В пору расцвета их отношений с твоей мамой они до глубокой ночи пропадали в здешней костюмерной, играли там в переодевания...

— Играли?

— Да, иначе это назвать нельзя. В театре собрана большая коллекция костюмов. После спектаклей они забирались в гардероб и наряжались в театральные костюмы различных эпох, Андрея всегда вдохновляла мечта о перепутавшихся в гардеробной временах — он рисовал твою маму в цыганском наряде Кармен или Фраскиты, в мундирных платьях из «Пиковой дамы», в шитых золотом одеяниях египтянок, в русских сарафанах, а на себя натягивал клетчатые панталоны и мешковатый фрак Трике, суконный опашень из «Царской невесты», парчовый кафтан из «Бориса Годунова»... Из реквизитной они приносили канделябры, веера из страусовых перьев, драгоценные ларцы, картонных лебедей на блюде. Он рисовал твою маму и себя в сценах из каких-то невообразимых спектаклей, известных лишь им одним. В сущности, они оба были еще совершенные дети...

Прежде чем очутиться в зале, мы долго пробирались за сценой через бутафорские катакомбы мимо макета крепостной стены с бойницами, осенней рощи из папье-маше, плексигласового пруда, в прорезях которого торчали плоские лебеди на палочках. Зал театра был заполнен разряженной публикой. Повинуясь невидимому реостату, свет медленно и согласно начинал угасать, оставляя нам несколько секунд на то, чтобы успеть заглянуть в программку.

Это была грустная американская история о двух сестрах из благородной, но разорившейся семьи. Одна из них примирилась с пошлым существованием, которое было предначертано ей судьбой, а другая — нет. Ту, другую, играла нервная, хрупкого сложения артистка, и сразу становилось ясно, что это ей суждено рухнуть в финале под грудой аляповатых декораций. В каждой сцене ее пригвождали и преследовали, стреляли в нее из револьвера, пока наконец она не застыла безжизненной бабочкой в газовом платье в руках грубых американских санитаров. Тогда мы все принялись неистово приветствовать ее гибель, и актриса, отделившись от своей героини, как от собственной тени, стала прижимать руки к груди и кланяться. К концу спектакля она очень устала, эта артистка, еще не очнувшись от своей американской смерти, она принужденно улыбалась нам.

Мы вышли из театра и уселись в театральном скверике перед фонтаном. Ивы свешивали в него длинные гривы, и по строгой воде уже плыли опавшие листья. Я рассказывала Вере о слепых, хоть у меня и было опасение, что она, как человек восторженный, чрезмерно и неправильно отреагирует на мой рассказ. Отец всегда выслушивал меня с умиленным вниманием, потом гладил рукой по голове со словами «Доброе сердечко!..» — совсем как в детстве, когда я, бывало, приходила от больной девочки Хильды. Вера засыпала меня вопросами. Могут ли они себя обслужить? Что это за ноты, по которым разучивают музыку? Что они читают? Есть ли у них еще друзья среди зрячих? Неужели у всех абсолютный слух? Это хорошо, это правильно. Наличие у некоторых людей абсолютного слуха, продолжала Вера, может удерживать мир от катастрофы, как и музыка. Вот, например, она, Вера, живет в сплошном музыкальном потоке, все время что-то про себя напевает, чтобы не слышать улицы. «Люди вокруг, детка, за эти годы сильно изменились, вежливость с улиц ушла. Раньше была между людьми теплота, вежливость — теперь ее нет».

Вера указала мне на небольшое открытое кафе, где кофе подавала в крохотных чашках неудачно крашенная блондинка. Когда-то здесь было здание синематографа «Мираж», оно до сих пор смутно вырисовывается перед Вериным взором в пустыне настоящего, и она, приветствуя обман зрения, часто является сюда в нитяных перчатках, не узнанная под вуалью, сама мираж, ожидая в сумерках, когда же начнет вырисовываться строение синематографа, девочка с косой, в беличьей шубке, под руку с отцом-дирижером, известным всему городу человеком, пришедшие сюда смотреть печальное кино, самое горькое и светлое по чувству единения с другими людьми, но господин Кулик, владелец «Миража», оказывается, умчался в Новочеркасск за разрешением полицейских властей на демонстрацию этого фильма. Синематограф «Мираж» был на месте кофейни, множество гимназистов стояли вот здесь с самодельными плакатиками в руках, требуя показа ленты. Это был не мираж, не художественное кино с яркоглазым Мозжухиным — это был документальный, как мы бы теперь сказали, фильм, и назывался он «Похороны Льва Николаевича Толстого»...

Детство Веры пришлось на те времена, когда поползли по лицу земли одна за другой эти целлулоидные ленты с шелестящими, словно конфетная обертка, событиями и страстями, которые озвучивали сидящие в темноте таперы-импровизаторы. Таперы аккомпанировали беспорядочному движению наступающей эпохи бурей безумных, надрывных, какофонических аккордов. Это была новая музыка, сыгранная новыми пианистами. Позже Вера на своей шкуре поняла, что это такое, когда Брамса приспособляют к пожиранию устриц, а Бетховена — к пальбе из револьвера. Музыка вместе с целлулоидной лентой накручивалась на валик кинопроектора. Целлулоидные мифы, целлулоидные миры, ограненные ювелиром-оператором для вечного сияния вечного времени, — они докатились и до нас из канувших в Лету эпох, как бильярдные шары, их еще долго будут выносить волны перемен из архивов и фильмотек... Сухим солнечным днем веселый Ленин прогуливается по Кремлю с Бонч-Бруевичем, держащим пухлый портфель совслужащего, и Ильич показывает оператору, куда попала эсеровская пуля. Маяковский с закушенной папиросой в клубе театральных работников нацеливает кий на бильярдный шар. Сутулый Горький усмеяется с подножки вагона — прожившись в Европе, он окончательно вернулся на родину. Веселый Чкалов на аэродроме пожимает руки Москвину и Алексею Толстому — еще недавно он летал опрокинув самолет колесами вверх. Все улыбаются, радостно жестикулируют... Колонны матерей в белых полотняных юбках проносят на плечах детишек — ровесников Октября, за ними движутся костюмированные народы СССР, медленно проезжают грузовики с живыми картинами: инженер склонился над кульманом, рабочий держит в руках сварочный аппарат, колхозница прижимает живого поросенка, получившего успокоительный укол, седой ученый всматривается в микроскоп, мускулистый молотобоец бьет кувалдой по картонному глобусу, опутанному цепями капитала... Человеческий глаз распахнут, как щель копилки, в которую, толпясь, проскальзывают картины — чем ярче и доходчивей, тем вернее. На передний план выплывает все, что имеет форму, что прошло режиссуру, оттесняя, отбирая у сердца догадку, что прозрачность и есть несущая конструкция бытия, к которой, как пузырьки воздуха, лепятся души, над оболочкой вещей такие играют зарницы, но человеческий глаз не спешит их увидеть.

Вечерами, чтобы подработать, Вера играла на пианино в кинотеатре «Мираж», а днем работала делопроизводителем в Отделе народного образования. Возвращаясь домой поздно вечером, обессиленная, падала на скамейку у вешалки, прижималась лицом к отцовской шубе и тихо проливали слезы. Нянька Алевтина выскакивала в прихожую, снимала с замерзших Вериных ног боты и растирала ее ступни своими сильными руками. «Благодари своего отца и братьев, — шептала Алевтина, — в них-то бес скакал, они революцию сделали себе и тебе на голову, все не жилось им, не радовалось на белом свете...» Выговаривая все это беззащитной Вере,

которую она, в сущности, очень любила, Алевтина испытывала злорадство в душе. Хватит, она намолчалась. Всю жизнь отдала этим талантливым журналистам, замечательным актрисам, бесстрашным героям, умникам, говорунам, фантазерам и мемуаристам, борцам за счастье всего человечества и женскую эмансипацию, это им, образованным, интеллигентным людям, она прислуживала как бессловесная раба, чернорабочая, о которых с такой болью и общественным пылом писал в газетах ее воспитанник Саша, старший брат Веры, впоследствии погибший в конной атаке под станицей Великокняжеской. Чистота в этом доме была делом ее рук, здоровье детей — плодом ее неустанных забот, они, конечно, не придавали никакого значения еде, но аппетиты при этом имели отменные, да, эти великодушные культурные люди задушили ее, замучили так, что в свои пятьдесят она казалась старухой, но теперь они сами попались в собственные сети, то-то ты теперь и ревешь, Веруша, уткнувшись лицом в отцову шубу, которую надо потихоньку продать, если б не я, вы бы все пошли по миру с вашими театрами и роялем, который, к слову сказать, тоже могут реквизируют, если ты не зарегистрируешь его в этом твоём, тьфу, не говоришь, безобразе...

— Наробразе, тетя Алевтина, — вдруг сверкала глазами Вера. — Отдел народного образования, прошу вас запомнить и больше не коверкать это слово...

— Тю, — говорила Алевтина, удивленная отпором, — как ни назови, все одно сплошное безобразие: у семьи погибшего за их же власть героя реквизируют рояль, да не для детского, ясно, дома, а кому-то себе, себе...

К инструменту Вера долго не подходила. Не было ни сил, ни времени, к тому же приторные вальсики и марши, что она выбивала, глядя на киноэкран, из угрюмого черного пианино, разедали ее руки, как щелок. Днем она стучала на машинке, вечером на фортепиано, все перепутывалось, иногда ей казалось, что печатает она на пианино, а иногда, напротив, играет какую-то странную пьеску на печатной машинке... Тем не менее Вера в это время умудрилась выйти замуж за скрипача из бывшего отцовского оркестра, рассеянного по тихим углам, по мышинным норам, и спустя год родила Андрея. В браке она прожила два года. К тому времени, когда сын начал лепетать, Вера устроилась работать в добровольное общество «Долой неграмотность!» и обучала рабочих письму, чтению и счету в столовой бывшего механического завода Пастухова. Начался нэп, ее муж пристроился играть в пивную. Хозяин платил нанятым им куплетистам и музыкантам по двадцать пять копеек с пробки, то есть с одной выпитой посетителями бутылки пива. Однажды муж собрал свои пожитки и ушел от Веры к немолодой владелице пирожковой, состоявшей в родстве с хозяином пивной.

— Твоя бабушка Тамара в те годы устроилась в швейную мастерскую, приковав себя за руку к крутящейся ручке машинки. У нас обеих были маленькие дети, и мы подружились...

После того как ее семью уплотнили в восемнадцатом, Вера занимала две комнаты с прихожей, заменявшей ей кухню. Во второй комнате когда-то жил Андрей, там все осталось так, как было при нем. Вера входила туда только для того, чтобы вытереть пыль или поставить в глиняный кувшин на просторном письменном столе розу. Андрей был театральным художником. В письменном столе лежало множество папок с пожухшими эскизами к спектаклям, на обложках было написано: «Собака на сене», «Фуэнте Овехуна», «Бронепоезд...», «Ромео и Джульетта», «Трудовой хлеб», «Дачники». У Лауренсии и Дианы было лицо моей мамы. Стул, узкая кушетка, две полки с альбомами репродукции — вот и все убранство комнаты.

Сидя в этой комнате, я закрывала глаза, представляя себе Старопочтовую с ее деревьями и домами, соседей, знающих меня с пеленок, Веру и Тамару, которые бы нянчились со мною, маму, отсюда никуда не уехавшую, Андрея, этого человека с кроткими, скорбными глазами, увеличен-

ными линзами очков, фотография его висела над письменным столом... Станный снимок. Я отходила в угол комнаты, глаза Андрея внимательно следили за мною. Я ложилась на кушетку — и снова встречалась с ним взглядом. Такой взгляд должен быть у отца, не спускающего глаз со своего ребенка. Я бы любила запах шубы своего прадеда-дирижера, если бы она, конечно, сохранилась... Я бы читала Толстого в Верином кресле, училась играть на ее рояле... Вера почти три десятилетия учила девочек музыке и слыла отличной преподавательницей. Моя жизнь тихо протекала бы в берегах Старопочтовой улицы, как мирная река, и мне не пришлось бы утолять свою жажду путешествий.

От Веры я узнала, как Андрей выбрасывал из окна цветы, которые его матери дарили поклонники. «Представляешь, детка, такая ревность... Мне было больно смотреть в окно, как они лежат на снегу...» Когда мы заговорили с Верой о музыке, слова, отдельные жесты, интонации, привычки Андрея посыпались из ее рассказов, как засушенные цветы из нот и партитур опер, которыми дирижировал Верин отец. Я еще и еще раз внимательно просматривала рисунки Андрея: он любил рисовать под музыку, более того, требовал от Веры бесконечных повторов тех или иных мелодических пассажей, чтобы настроить свой карандаш или сангину, как настраивают инструмент по камертону. Плащ его Джульетты Капулетти раздувался, как парус, «фанфары тревоги» Берлиоза, руками же эта юная итальянка словно бы упиралась во встречный поток скрипок высокого регистра... Глумов, скособочив подвижную физиономию, как бы насвистывал начало арии Папагено... Наконец я отыскала в папке мелодию «Арлезианки», хотя в ней всего восемь тактов, не всякий виолончелист возьмется за нее — так смотрела роковая женщина Надежда Монахова с рисунка Андрея, прежде чем кончить счеты с жизнью в последнем акте «Дачников». Все это были мелодически-осязаемые образы — словно рисованные звуками, а не карандашом...

Вера вздыхала после моих слов: да, мелодически... Андрей был прирожденным *мелодистом*, романтическим *мелодистом*, как Григ, но, увы, карандаш попал в его руки прежде, чем Вера, покончив со своим наробразом, снова села за инструмент. Андрей в детстве был предоставлен самому себе, сидел дома в одиночестве, озвученном лишь перезвоном трамваев, и черкал себе на листках бумаги. Вера долго не обращала внимания на то, что сын дни напролет что-то рисует. Однажды пригляделась к рисункам сына и решила показать их одному знакомому художнику, отчасти театроведу. Тот сказал: «Поразительно». — «Что поразительно?..» — испуганно спросила Вера. «Поразительно, что ваш сын не ошибся ни в одной детали. Посмотрите вот эти фигуры — они одеты в рединготы, боливары, епанечки, плис, помпадур, левантин. Где он мог видеть эти наряды?» — «Не знаю, — честно ответила Вера. — В доме давно нет альбомов и таких книг. Прежде все было, а теперь нет». — «Помню холодную зиму двадцать первого... — понимающе усмехнулся художник. — Пусть рисует. Линия нынче не представляет такой опасности для жизни, как слово».

Судя по рассказам Веры, Андрей любил музыку не так, как мы все, простые любители, а как-то тоньше и изощреннее, как любят ее профессионалы-теоретики. С огромного древа музыки он срывал один лист — и вертел его в руках, изучая, препарирруя своим изысканным, раздраженным слухом, смакуя отдельные полутона и оттенки. *Наш* слух, например, чувствует себя оскорбленным, если исполнитель вдруг прерывает начатую пьесу, в которую мы уже успели вжиться, настроиться на ее развитие, Андрей же постоянно останавливал свою мать, играющую на рояле, и просил повторить для него ту или иную полюбившуюся модуляцию. Он мыслил себя не в потоке музыки, как моя мама и Вера, а в отдельной музыкальной фразе. Андрей так и признавался Вере, что иногда, особенно за рисованием, ощущает себя тем или иным лирическим высказыванием, музыкальным афоризмом, восходящей секвенцией, побочной темой одной из моцартовских симфоний, вращающейся в пределах квинты си-бемоль — фа,

которую выпевает валторна... Поэтому и пластинки, сохранившиеся у Веры с тех времен, невозможно слушать: каждая заиграна в каком-то определенном месте. Моя мама всерьез сердилась на него, когда он подымал иглу и возвращал любимую мелодию в исходное состояние, не давая ей дослушать вещь до конца. Ей казалось, будто Андрей варварски расчленяет живое тело музыки. То же чувствовала и Вера. Но Андрей не церемонился с чувствами женщин, и в этом он походил на моего отца. Для Андрея в целом словно не существовало ни «Франчески да Римини», ни «Шехерезады», ни «Пер Гюнта» — он жил избранными звучаниями, короткими восклицаниями духовых, всплесками медных, переливом арфы, бывших, в сущности, фрагментами великой мелодии. То, что казалось ему симфоническим пейзажем, озаренным неповторимыми мелодическими медитациями, ради которых он останавливал мчащийся на всех парах состав того или иного произведения, в ощущениях мамы представало чуть ли не музыкальной катастрофой, террористическим актом, осуществленным холодной, безжалостной рукой. Точно таким же образом Андрей часто пресекал ее сердечные порывы, добываясь от мамы повтора одной и той же насущной для его слуха темы — что она вышла замуж за моего отца по глупости, по молодой глупости и легкомыслию, а вовсе не из-за любви... В такие минуты он походил на хрестоматийного лицемера, который, чтобы обмануть другого (или себя) по-крупному, беспредельно искренен в мелочах, в описании подробностей, доказывающих, что он не лжет и не таит камня за пазухой. И он действительно был искренен, когда говорил, что вся «Шехерезада» Римского-Корсакова не стоит нескольких тактов восходящих секвенций в ее финале, но от этой искренности, ни в грош не ставящей чужое восприятие музыки, хотелось бежать со всех ног.

Мы с нею всматривались друг в друга, как две вот-вот способные разминуться души — одна еще не достигла земли, другая готовилась к возвращению на небо. Мы говорили о «необыкновенных, полных доверия и теплоты» отношениях между Верой и мамой, развивавшихся на невыразительном вначале фоне дружбы с Андреем. А между тем меня интересовал именно Андрей, я считала, что это благодаря ему в наш дом вошла музыка и мы не остались за ее бортом — в том мире, «который не подозревает, что музыка — еще более высокое откровение, чем вся мудрость и философия» (Бетховен). Андрей однажды промелькнул передо мною в окне последнего ночного трамвая: забывшись над карандашным наброском физиономии случайного попутчика, в котором его поразила какая-то черта, он проехал свою остановку и вышел вместе с тем пассажиром в Красном Аксае, после чего полночи брел до дома пешком, но пришел очень довольный тем, что представлял себе теперь комический облик графа Лодовико. Любовью к музыке мама была обязана общению с Верой, и только с Верой. В филармонию мама ходила с нею, сын же ее был вечно занят в театре. Они слушали «Сотворение мира», «Лондонские симфонии», «Зимний путь», «Пасторальную». Вера упомянула о маминой привычке прикрывать ладонью глаза, когда она слушала музыку, и я была вынуждена ей поверить. Вера отняла у Андрея и «Арлезианку» Бизе, о которой мама говорила, что это его любимое произведение. Вера частенько играла маме — она прекрасно читала с листа, и мама покупала для нее все новые ноты в дополнение к «Хорошо темперированному клавиру», бетховенским и моцартовским сонатам, «Детскому альбому» Шумана, «Картинкам с выставки», полонезам и вальсам Шопена, лежащим на рояле любого музыканта. Вера рассказывала о маме, а я на каждом шагу прерывала ее восклицанием: «Этого не может быть! Это не похоже на маму!» — «Да нет, детка, поверь мне, я не видела более жизнелюбивого существа, чем твоя мать, жизнь из нее была ключом! Она, как и Бетховен, мечтала жить тысячекратной жизнью. Я готова поклясться на Толстом, что...» — «Вера, ты что-то путаешь! — не могла согласиться с нею я. — Мама мне сама говорила, что у нее в молодости развилась болезнь *factium vitae*, что в переводе с латыни

означает „отвращение к жизни”». — «О нет! — энергично трясла головой Вера. — Ты все напутала. Это мама рассказывала тебе про меня. Это я была больна такой болезнью. Но она у меня прошла. Я полюбила жизнь, как в конце концов начинаешь любить человека, за которого в молодости выходила без большой страсти. Я помню твою маму с детских лет. Их возвышенная дружба с Андреем... Все считали их женихом и невестой, но потом Андрей уехал учиться в Москву, и появился твой папа... Да, тогда она немного угасла, а когда муж оставил ее — за год до войны, — мама снова ожила, стала прежней. Мы вместе проводили Андрея на фронт. Во время оккупации я играла вальсы югославским офицерам, а мама работала прачкой... Потом, когда пришли наши, мы вместе расчищали развалины, ждали писем от Андрея. Они вдруг пришли целой лавиной — накопились где-то на почте за время оккупации... Потом он вернулся после госпиталя, мой бедный сын, это было в сорок четвертом, мама тогда уже работала в школе, и между ними началась любовь. Какая это была любовь! — воскликнула Вера. — И вот ей пришлось уехать от Андрея, от родных, от меня — *туда...*» Голос ее задрожал. «Как жаль, что ты об *этом* не знала, — произнесла я, — ты бы сумела ее удержать. Как жаль, что ты ничего не знала». Верина рука легла мне на затылок. «Конечно же, я все знала, — вдруг сказала она. — Твоя мама мне первой рассказала все: что ее муж, твой папа, нашелся, что для нее пришлось разрешение на приезд... Мы даже не знали — где это. Знали только, что путь туда лежит через Москву. За день до отъезда она пришла ко мне... — Вера наклонилась и прошептала мне прямо на ухо: — А Андрей ничего не знал! Мы не смогли ему сказать...» — «Но почему? Почему ты не удержала ее? Зачем маме было туда ехать?» — вырвалось у меня. «Это был ее долг, — печально проговорила Вера. — Я хотела на прощание сыграть твоей маме в качестве напутствия псалом «Господь мой — пастырь мой», но при первых тактах Шуберта она подскочила к роялю и решительно захлопнула крышку. Я едва успела отдернуть руку...»

Только в этом чистом и честном жесте я наконец-то узнала свою маму, не пожелавшую заключить перемирие между дикой, непредсказуемой какофонической жизнью и тонким, чувствительным инструментом.

Смотреть правде в глаза — это не может быть временным занятием или увлечением вроде стоклеточных шашек или вязания крючком, глазами ее наполнен воздух, как деревня запахом деревни, но что поделата, когда они помешались на искусстве и жизнь свою строят по его, искусства, законам: книгам, пьесам, партитурам... Например, мама: не посмотри она в театре «Нору» Ибсена, может, у них с отцом не было бы таких раздоров. Например, отец: не выпитай он с молоком матери идеи домостроя, он уступил бы своему природному благодущию. Не влюбись мама в произведения композиторов-романтиков, которые играл ей, наряженной Фраскитой или Марфой — царской невестой, Андрей после спектаклей в пустом здании театра, она не полюбила бы Андрея. Не прочитай «Русских женщин», она, быть может, не поехала бы к отцу за колючую проволоку. По крайней мере, бабушка грешит на Некрасова, считая, что это он заставил маму ответить на письмо отца, неожиданно пришедшее из почтового ящика, где он находился на положении заключенного, но уже хорошо откармливаемого, ценного для государства научного работника, а не сирого тачечника на Колыме, куда он угодил сразу после немецкого плена. Мама ответила на письмо, не мысля ни о чем больше, кроме как поддержать отца в беде. Но тон его писем делался все настойчивей. Сначала он жаждал простого человеческого участия, потом — утешения, потом — признаний, что она все эти годы жила им одним, и мама из милосердия вынуждена была подтвердить это, а потом, добившись от нее и того, и другого, и третьего, начал умолять, чтобы она приехала к нему. Она уклончиво обещала, потому что была уверена — власти ни за что не разрешат ей это. Но времена изменились. Письма летели со скоростью ветра, слова его окружили маму

умоляющим кольцом, отец уже строил планы на будущее, придумывал имена детям. Он забрасывал письма, как сети, — мелкая верткая рыбка просочилась бы сквозь ячейки и ушла в море, но она поняла, что попала, когда всемогущий Завенягин дал разрешение на ее приезд. Письма подхватили ее, как гуси-лебеди, и понесли... Мама объясняет свое бегство от Андрея бедственным положением отца. Но мне ее версия декабризма представляется надуманной. Мне представляется, что мама все еще любила отца, не могла забыть его и поехала к нему именно за тем, чтобы наконец разлюбить, тем более что предлог для соединения с отцом был что надо — его положение узника. А уж оказавшись рядом с ним, не смогла разлюбить Андрея, особенно после того, как он умер, и она, скитаясь без всякой цели по окраинам нашего города, в сущности, убежала от невыносимого взгляда правды...

Статья, по которой отец отправился на Колыму, была убийственной — «пособничество врагу». Допрашивающему его после плена смершевцу отец рассказал все без утайки: как он при выходе из окружения под Нарофоминском раненным попал в плен, отличное знание немецкого языка спасло его от гибели, как некий майор Негель, узнав о том, что он химик, переправил его в Берлин для работы в своей фармацевтической фирме. Отец был уверен в своей невинности и поэтому, оказавшись в западной зоне Берлина, попросил, чтобы его переправили к своим. Американцы предлагали ему работу, но он заявил, что без родины не мыслит своего существования. Каким-то удивительным манером его сознание вынесло за скобки этого порыва тюремные решетки, нары, настольную лампу следователя, горящую, как бессонное око, вертухаев на вышках и топтунов под окнами. Нет-нет, говорил отец в амбулатории шарашки маме, управлявшейся после тяжелого отравления в марте пятьдесят третьего, оковы тяжкие падут, и родина — эта тяжелая, грозная страна, немилостивая к слабым, оступившимся или попавшим в плен к врагу, — встретит нас у трапа самолета, и с каждого из нас будет снято клеймо врага народа — так он утверждал уже после эпохального партсъезда, празднуя наступление новых времен, а мама подносила к его носу свои ручные часики и возражала, что время осталось прежним, от Кремлевской стены до Великой Китайской, и что статья, по которой осужден он, еще переживет его, — так оно и случилось.

Бабушке не нравилась завязавшаяся между ними переписка, но ей и в голову не приходило, во что она может вылиться. Ее волновало, что на почте (и не только на почте) известно, что это за послания с цифровым и буквенным обозначением получает ее дочь. Она приняла на веру слова дочери о том, что ее прежний муж нуждается в простой человеческой поддержке. К тому же она, как и все вокруг, считала уже Андрея мужем дочери, окончательное водворение которого в их доме откладывалось только из-за болезни дедушки Ефима. Они не отходили от его постели, но было ясно, что дело идет к концу. Бабушка видела, что мама ночей не спит, днем избегает встреч с Андреем, но все это относилась на счет привязанности мамы к умирающему деду Ефиму. Если б она тогда могла заглянуть в ее мысли! Если б она знала, что мама, в сущности, сидит на чемоданах, что уже получено разрешение на ее приезд к репрессированному мужу.

Уже был куплен билет на поезд, когда мама наконец решилась ей обо всем рассказать.

Разговор начался после ухода медсестры, приходившей делать бабушке уколы. Как только он задремал, мама выложила бабушке все.

Больше всего бабушку поразило то, каким бесчувственным, тусклым голосом рассказала мама всю правду. Если бы она упала ей в ноги, залилась слезами... Тон ее был сух, независим, как будто она не осознавала безнравственности принятого ею за спиной бабушки решения.

— А твой отец! — шепотом крикнула ей бабушка. — А Андрей!..

— Да, это меня мучит, — ровным голосом сказала мама.

Если б бабушка могла видеть, что творилось тогда в душе дочери. Но мама не могла показать, что с нею происходит, у нее просто не было сил

изображать горе предстоящей разлуки. Бабушка видела одно — сухой, решительный блеск глаз, похожее на маску лицо, кривую улыбку в ответ на ее слова:

— Ты бросишь умирающего отца? Ты бросишь Андрея, который жить без тебя не может?

— Я брошу умирающего отца, — словно эхо, отозвалась мама, — и не буду прощаться с Андреем.

— Не допущу этого, — грозно прошептала бабушка. — Я лягу на порог — попробуй переступи.

Улыбка, как судорога, перекосила лицо мамы: можно было не сомневаться, она переступит.

— Мой муж, — сказала мама, — сидит за колючей проволокой. Мое место рядом с ним.

Она произнесла это через силу, ей был противен пафос, заключенный в этой фразе, но она привыкла к тому, что люди умолкают, когда начинаешь дудеть в фанфары и бить в барабан.

Бабушка решительно встала и ушла в мамину комнату, чтобы разобрать ее чемоданы. Мама подняла голову, посмотрела в зеркало — и вдруг увидела отца, приподнявшегося с постели и манящего ее своею изувеченной рукой. Она обернулась и кинулась перед сидящим в подушках дедом Ефимом на колени.

— Не мучай себя, детка, — прошелестел он, — поезжай к нему. Я тебя отпускаю, — и, сложив три уцелевших на руке пальца щепотью, перекрестил маму.

Утром мама собрала в узел вещи, которые бабушка не успела вынуть из ее шкафа (чемоданы были заперты в кладовке), поцеловала спящего отца и подошла к бабушке.

— Все-таки едешь? — спросила бабушка.

— Да, — проронила мама.

— Только знай, что это — навсегда. Больше ты сюда не вернешься!

С этими словами бабушка открыла ящик буфета, в котором лежали документы всей семьи, и в мелкие клочья разорвала свидетельство о ее рождении.

Она приехала на «объект» и в первые же дни почувствовала нереальность происходящего, будто оказалась в добросовестно сооруженном павильоне, предназначенном для киносъемок фильма-сказки. Там, за его пределами, царил послевоенная разруха, голод, страх, здесь — фантастическое благоденствие и уверенность, что волос не упадет с твоей головы, пока идет работа, к которой все относились с двойным энтузиазмом: во-первых, это было долгожданное дело, о котором мечтает всякий ученый, во-вторых, оно спасло жизнь многим из них.

Она была первой «разрешенной» женой на «объекте», так она и написала бабушке сразу по приезде к отцу. Перечитывая свое первое письмо (на которое, впрочем, она не получит ответа, как и на все последующие письма домой), она задумалась над тем, отчего так много слов в нем взято в кавычки. Конечно же, при управлении объектом была цензура, но ее поразила не только личная ее готовность пойти навстречу неведомому цензору. Что-то в этом было символическое. Сначала она взяла в кавычки слово «свобода». Существовало как бы три степени свободы: первая, вторая и третья зоны, окруженные кольцами колючей проволоки. Человек, переведенный из первой зоны во вторую, считал себя уже более свободным и торжествовал маленький праздник полусвободы или полуосвобождения. Конвой действовал в первой и третьей зонах, где жили заключенные, строители объекта. Во второй проживало лагерное начальство и некоторые научные работники из «вольняшек». Все они жили в финских домиках, питались в одной столовой, где, пока возводились лабораторные корпуса, устраивались «симпозиумы», «совещания», «слушания». Бросалось в глаза

привилегированное положение трофейных немецких ученых, вывезенных из Германии с семьями, личным скарбом, врачами и священниками. Они и содержались, в отличие от своих, на куда более щедром пайке. Их жены рожали детей одного за другим, тогда как жены русских ученых рожать опасались: еще неизвестно было, какое будущее ждет их детей.

Она диву давалась, как быстро весь ученый люд привык к этому существованию в кавычках. Конечно, их можно было понять — в основном, все бывшие зеки, чудом выжившие в Печорах или на Колыме, их вывезли из мест заключения, подлечили, подкормили и, главное, разрешили работать. Все до одного знали, что речь идет о создании А-бомбы, но слово это такое, что его невозможно взять в кавычки, поэтому вслух его никто не произносил.

По вечерам она ходила смотреть на то, как идет строительство лабораторных корпусов. Это волновало весь поселок. Ученые беспокоились, скоро ли они получат возможность для практической деятельности. Ее же интересовало другое. Издали она часто наблюдала, как вторую зону пересекала колонна заключенных-строителей. Шел снег. С ее стороны проволоки он шел в кавычках, уютный, новогодний, елочный «снег» павильона, на который смотришь из тепла, завернувшись в шубу, — оттого он такой красивый. Там он падал на озябших, измученных, кое-как одетых людей, бескомпромиссный, беспощадный снег декабря, в который они один за другим ложились, чтобы отдать ему последнее тепло. Среди этих людей тоже были ученые — ученые-гуманитарии. Между ними и их коллегами — физиками, химиками, биологами — пролегали непроходимые снега. Те со своей литературой, музыкой, философией были не нужны, а эти — необходимы. Научные их цели так удачно совпали с целями государства. Они спасали себя методом погружения в тайны материи, в глубь атома, в такие адские недра, где не действуют человеческие законы. По мере того как зрение ее мужа все больше притуплялось, уходило в работу, ее зрение становилось острее, пронзительней, как будто сквозь ее широко раскрытые глаза на мир смотрело еще одно существо, помогавшее ей видеть то, что происходило вокруг, и в один прекрасный день она наконец догадалась, отчего у нее кружится голова, когда она смотрит на колонну людей, бредущих сквозь снег, и поняла, *что* это за существо смотрит, пристально смотрит на мир из ее глазниц.

Снег идет неделю, месяц, год. Ангелы небесные неутомимо сучат белую нить, она набирает на спицах соседке Луизе петли — лицевые и изнаночные; снег идет с высоты ровно и неутомимо, на одной высокой ноте, которую она вытягивает по вечерам на спевках, словно прядет золотую нить, пока тенора и баритоны слаженно выводят: «Вниз по матушке по Волге, по широ-о-окой...»

Коттедж физика Лебедева, где проходят спевки, ярко освещен, с высоты, наверное, он похож на елочную игрушку, внутри которой горит свеча; вокруг освещенного домика скользят по накатанному голосам, по мелодическому снегу санки, в которые ее маленькая дочь запрягает караульного пса, в прошлом свирепого, а теперь ручного; две лицевые, две изнаночные, петля с накидом; дочка больше всего любит квартет из «Евгения Онегина» — когда мать ее затягивает: «Слыхали ль вы за рощей глас ночной...» «Слыхали ль ви...» — оживленно подхватывает меццо-сопрано — немка Луиза, которая обожает русскую музыку и русскую речь, на спевки всегда является с полюбившимся русским выражением: «Я забежал на огонек...» Снег растет пластами, как дерево кольцами, растет число зарубок на дверном косяке, дочке так понравилось измерять свой рост, что она каждое воскресенье бежит к отцу с линейкой и карандашом, последняя зарубка переросла снежный наст за окном, когда подыметя еще выше, дочка обретет «свободу» — впервые в своей жизни сядет в автобус и поедет в деревенскую школу вместе с детьми своих тюремщиков, но все уже смеша-

лось в коттедже Лебедева, в одной мелодии слились голоса народа и врагов народа, русских и немцев, физиков, химиков, биологов, хор растет, крепнет, мужает.

Скоро будет год, как он просыпается с ощущением непочатой радости и физического здоровья в теле. Он выходит из коттеджа на час раньше, чтобы надышаться свободным морозным воздухом, то и дело останавливается, гасит фонарик, окуная взгляд близоруких глаз в темное небо с улыбочивым месяцем, в светящийся снег, отбрасывающий, словно тени, темные деревья, стоящие по обе стороны тропинки. Он не видит ни автоматчиков на вышках, ни колючки, отделившей людей от людей, деревья от деревьев, не слышит лая собак и радиоголоса громкоговорителя, потому что здесь, в зоне, он наконец-то обрел свободу, о которой мечтал целое десятилетие, начиная с первого дня войны и заканчивая последним днем пребывания на Колыме, когда его и коллегу Москалева, тоже доходягу, положили в сани и повезли на станцию. Чтобы чувствовать свободу, ему не надо, как Москалеву, выписывать из опечатанной квартиры в Москве библиотеку и пианино, ему вполне хватает этой едва отапливаемой лаборатории, размещенной в двухэтажном бараке, возможности читать научную периодику и возобновления переписки с норвежским ученым, разрабатывающим ту же проблему.

Он открывает лабораторию, снимает полушубок, надевает халат, запачканный реактивами. Светит фонариком на циферблат: год 1947-й, февраль месяц, 22-е число, время 5 часов 12 минут утра, — он еще не знает, что ровно через полсутки появится на свет его дочь. Самое любимое его время, затерянность в снегах, в работе. Он накидывает на плечи овчинный полушубок, садится в вертящееся трофейное кресло и несколько минут греет пальцы над спиртовкой. Он сидит ссутулившись над крохотным огоньком, с бессмысленной счастливой улыбкой пещерного человека, впервые добывшего огонь трением одной деревяшки о другую. Он греет свои большие руки, с которых уже сошли мозоли, чтобы поскорее сбылись пророческие сказки человечества об огненных реках, кисельных берегах, воспламенившихся озерах, потопленных градах Китежах, подземных царствах. Отец сидит кутаясь в звериную шкуру, как великан над маленьким костерком, в котором уже столько сгорело и еще сгорит: бедный домишко в Пензенской губернии, высокие волжские кручи, где прошли его детство и юность, сосны, стоящие по берегам, как свечи, полноводные, полнорыбные реки, чистые криницы, зяблики на ветке, снегири на снегу, деревенские завалинки, старые мельницы, малиновый звон на заре, аисты Полесья...

Он не знает сомнений: его собственные научные цели так удачно совпали с целями государства, — но все дело в том, что сомнение заложено в самой природе человеческой, а из природы ничего не исчезает и не пропадает бесследно: от реакции отца с его жестоким временем сомнение выпало в осадок, который еще отложится в костях его детей, в сердцах внуков. Он мирно сидит и мирно дует на свои холодные пальцы, с нетерпением предвкушая, как вот-вот зажжется свет и лаборатория оживет, наполнится людьми и дыхание его трудов разнесется по всему миру. Согрев руки, он принимается за работу.

Проходит с полчаса, следы его успевают замести снег, а еще через полчаса, шурша по снегу, понурившись проходит колонна людей. И дальше по протоптанной тропинке идут и идут люди — колоннами или поодиночке, — и снова тропинку заносит снегом. Ни звука, ни человека, тишина, деревья и снег, безопасность, чистая зона.

Декабрь сорок первого выдался морозным, с частыми метелями. Лагерь советских военнопленных размещался на окраине города в пустых складах-зернохранилищах, наскоро приспособленных под жилые бараки.

Несколько рядов колючей проволоки окружали лагерь, вдоль нее ходили эсэсовцы с собаками. От духоты, зловония, стонов умирающих воздух в бараке, казалось, к утру загустевал. Спали на трехъярусных нарах вповалку, покрывая их своими телами в два слоя. Тот, кто чувствовал приближение последнего часа и не хотел умирать стоя в сбившейся человеческой гуще, выползал наружу и усаживался с подветренной стороны барака, открытым немигающим взглядом встречая холодное морозное солнце.

В тот день их выгнали из барака на общее построение. С помощью астрофизика Бегунова, обняв его за шею, отец с трудом поднялся на ноги, качаясь на каждом шагу от слабости и боли в правом бедре, где засел осколок. Он ясно сознавал, что стоит во весь свой рост, возможно, последний раз в жизни. Прощальный взгляд его, брошенный поверх колючей проволоки, достигал заснеженного леса, горящего над полем рдяного солнечного диска.

Вдоль рядов построенных заключенных двигалась группа немецких чинов в окружении полицейских. Какой-то незнакомый майор, поравнявшись с отцом, вдруг остановился перед ним, сделал к нему шаг, другой и, взглядывая отцу в лицо, резким, срывающимся голосом спросил:

— Was macht du hier?¹

Отец с трудом разлепил распухшие губы и, подумав немного, на чистом немецком языке медленно ответил:

— Ich bin in Gefangenschaft geraten...²

Издав странный звук, майор на глазах у всех неожиданно осел на землю... Фуражка с высокой тульей скатилась с головы, покрытой седым пухом. Подскочивший охранник, не разбираясь, ткнул отца прикладом в лицо, и тот упал навзничь, чтоб никогда уже не вставать с этой черствой от мороза, убитой ногами земли.

...Спустя час он сидел в деревенской избе у раскрытого жаркого зева русской печи, где горели, потрескивая, поленья, и медленно доедал гречневую кашу из офицерского котелка, принадлежащего самому майору Негелю. Отец оказался похожим на сына герра Негеля, молодого обер-лейтенанта, пропавшего без вести на Восточном фронте. Доктор медицины, выпускник Берлинского университета, немолодой уже человек, герр Негель добровольно надел погоны военного медика и отправился на поиски единственного сына в действующую армию. Обманувшись редким сходством, он принял пленного солдата за своего сына и, не выдержав такого потрясения, в первый момент лишился чувств. Придя в себя, он постарался облегчить участь пленного русского. Отца положили в походный лазарет, в котором служил майор Негель. По вечерам он приходил к отцу и, присев у его кровати, вел с ним долгие беседы. Они говорили на самые разные темы, не имеющие ничего общего с войной. Выяснилось, что оба любят одних и тех же композиторов — Бетховена, Вебера. Майору очень нравился Достоевский.

— Mir gefallen sehr Schillers Dramen³, — говорил отец.

Узнав, что герр Негель — совладелец фармацевтической фирмы, занимающейся изготовлением новейших медикаментов, отец спросил:

— Wenden Sie radioaktive Isotope in der Medizin?⁴ — и, услышав ответ, сказал: — Unter uns gibt es Chemiker, Pysiker, Biologen, Mathematiker...⁵

Он принялся перечислять списочный рядовой состав своего взвода, укомплектованного из добровольцев народного ополчения — ученых, аспирантов, студентов московских вузов, — уцелевших остатков своего взвода в количестве нескольких человек, попавших с ним в окружение и плен под Нарой. Брови немецкого майора недоверчиво поползли вверх.

¹ Что ты здесь делаешь? (нем.)

² Я попал в плен... (нем.)

³ Я люблю драмы Шиллера (нем.)

⁴ Вы применяете радиоактивные изотопы в медицине? (нем.)

⁵ Среди нас есть химики, физики, биологи, математики... (нем.)

— Machen Sie etwas für ihre Rettung, ich bitte Sie!⁶ — горячо заключил отец.

После того как рана на бедре затянулась, герр Негель добыл отцу необходимые документы и отправил его в Берлин для работы в своей фармацевтической фирме. Я мало что знаю о жизни отца в Берлине. Знаю, что он поступил на работу и занялся исследованиями в области радиобиологии. По вечерам прогуливался по Берлину под руку со своей немецкой лаборанткой, вскоре ставшей его женой. О чем они говорили во время этих прогулок по Унтер-ден-Линден или берлинскому Зоопарку, не знаю, но думаю, что темы разговоров не выходили далеко за рамки их совместной работы, и с достаточно высокой долей вероятности предполагаю, что в центре его внимания, как всегда, оказывался принцип Паули, проблемы комплексообразования и другие остро насыщенные вопросы современной химии. Еще мне известно, что, принимая решение о своем возвращении на родину, отец вместе с женой оставил в Берлине маленькую дочь...

— Ну, это все литература... — недоверчиво сказал отцу допрашивавший его майор СМЕРШа, выслушав чудесную историю про майора Негеля. — А литературу мы проходили в школе...

Мне хотелось бы возразить этому неведомому майору СМЕРШа, попытавшемуся ограничить литературу лишь рамками школьной программы. Дело в том, что литература, как и музыка, разлита вокруг нас, она в воздухе витает, в облаке плывет. Мы часто живем в литературе, смотрим на мир глазами ее героев, строим судьбу по законам литературного или музыкального произведения, как это доказали всей своей жизнью мои отец и мать. Я думаю, что отец говорил правду, и ничего, кроме правды. Он всегда был человеком кристальной честности и никогда не изменял себе.

Я подымалась все выше и выше над землей, навсегда покидая травы, однажды летом вдруг переросла куст смородины и ощутила жуть собственного роста, уносящего меня прочь от зеленой, густой, спутанной жизни растений. Эти сантиметры роста, которые родители бережно заносили на скрижали дверного косяка коттеджа, были для меня такими огромными, куда больше тех десятков и сотен километров, на которые чуть позже поднялся над землей наш современник Юрий Гагарин. Зеленая знакомая земля выталкивала меня из себя с такой силой, точно опознала во мне инородное тело; уже и золотые шары, и мальвы, разинув граммофончики, смотрели мне прямо в глаза, а потом один за другим меня стали выдавать кустарники во дворе школы, заброшенные леса акации, боярышника, калины — они больше не скрывали меня от отца и его времени, выталкивая под честный проливной солнечный свет. Мне не хотелось туда, там был совсем другой воздух и другие открывались горизонты, но отец уже говорил: «У!.. Тяжеленькая стала! Старенькому папе уже не поднять!» Дрессированное время шло в ногу с ним, никакие события не позволяли ему уклониться в сторону, расцвести на стороне диковатым цветком поэзии или греха, и мое маленькое время, как собачка на коротком поводке, тащилось за ним...

Ум, характер, речь — все в нем было строго организовано. Он на вечном марше минут, до отказа набитых смыслом, каждый час его времени лопался зрелым плодом, и ветер разносил его семена глубоко в будущее. Речь его звучна и отчетлива, как шаг идущего в бой трубача, зажигающего выдохом своих легких целую армию. Дикция безупречна, как у добросовестного иностранца. Он и есть иностранец в этой стране, где говорят скороговоркой, невнятицей, глотая фразы, намеком, полувопросом. Рукопожатие его полновесно, как у статуи Командора, — я видела, как, поморщившись, забирают у него собственную руку, словно уже чужую, его коллеги, но поздно: он успел удостовериться их в своей бодрой, безоговорочной силе.

⁶ Сделайте что-нибудь для их спасения, прошу вас! (нем.)

Почему я не верила в его *труд*, когда он со свойственной ему настойчивостью пытался втолковать мне, что труд, перефразируя его любимого Горького, — Бог свободного человека? Потому, что Богом тут и не пахло: от его труда за три версты разило рабством, унылым дарвинизмом, некоей формулой, в которую живая жизнь укладывалась, как в свинцовый гроб — в такой гроб в пятьдесят третьем году был положен один из его лаборантов после неудачной серии опытов, превратившийся за неделю агонии в мумию, и эта мумия, запаянная в просторную свинцовую домовину, легла в землю на такую адскую глубину, на какую еще не ложились мертвые. Труд был не Богом, которому поклоняется художник, а идолом чиновника, чье вдохновение оплодотворено железной дисциплиной и приносит металлические плоды. Корпуса «объекта», раздвигающие железными ребрами землю, вставали как грозное пророчество, караульные офицеры и начальники стремительно теряли свою спесь, лаборатории плодились как грибы, после испытаний жителей окрестных деревень тошнило, медики составляли первые описания ОЛБ и ХЛБ, солдаты в противогазах бежали в атаку по смертельно зараженной после взрыва земле...

Когда я думала о прошедшем, чувство пустоты, незаполненности объема вызывало во мне головокружение. Я летела в него вниз головой и никак не могла остановиться на хоть сколько-нибудь важном для меня событии, это как глухой колодец, на дне которого лежали вповалку, обнявшись как братья, герои прочитанных книг, обрывки поведенных миру историй и отзвуки событий, клочки текстов, арий, сказок, пословиц-поговорок, конца которых — даже их конца — луч памяти и смысла не всегда достигает: «Чем дальше в лес... тем своя рубашка ближе к телу», «Не плюй в колодец... вылетит — не поймаешь». Я могла припомнить мелодии всех сыгранных мною пьес, начиная от «Ригодона», но каким смыслом одухотворено это мое поступательное движение, условно говоря, к исполнительскому мастерству, кроме мелкого смысла закрепленного за каждым тактом усилия? Допустим, оно освящено неким конкретным результатом, но заполняло ли оно, это движение, это усилие, объем жизни? И в такт чему, наконец, билось сердце, как пульсирующая звезда? Но звезда заполняла отведенный ей объем своим светом, а сердце, даже если оно любит, не заполняет объема жизни. Эту жизнь невозможно удержать на стоптанной поверхности сетчатки. Глаз человеческий рос, рос и вырос в зловещный цветок, корни которого устремлены вглубь, они расщепили атом. Так вторично был сорван райский плод. В сущности, прошлого, сумевшего заполнить объем общего зрения, нет. До сих пор слово «Ватерлоо» приводит наши глупые сердца в трепет, как обещание вечности, и нам не важно, что за ним стоит еще несколько десятков тысяч перебитых европейских мужиков. Прошлое фрагментарно, разлитое по консервным банкам исторических событий, периодов и вековечных кровопролитий, в нем нет условности, нет ни одной увенчанной навсегда мысли, есть только сомнительное величие свершившегося факта, и мы живем этой искусственной инерцией события, от которой выпадают зубы и вспухают десны и накачиваются мышцы пустотой. Объем можно заполнить пафосом, вдруг вспухают какие-то имена вроде Че Гевары или Юрия Гагарина, нас то и дело заманивают под купол происходящих где-то событий, но помогает ли это знать и чувствовать то, что происходит с нами?..

10

У КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА СВОЯ ГЕОГРАФИЯ, ОСОБЕННО В МОЛОДОСТИ, когда всерьез полагаешь, что судьба каким-то образом зависит от твоего перемещения в пространстве; стремишься покончить с азбучными горизонтами детства, садишься в поезд и начинаешь путать следы, отчего, действительно ошарашенная напором мелькающих полустанков и мимо-летных огней, обрывками побочных тем и пестротой ботаники, судьба на какое-то время затаивается, превращаясь в твою собственную тень, сколь-

зашую по земле; оседлость — необходимое условие ее развития, может, поэтому я не даю себе передышки, всякий раз ускользая из ее сетей. Я как преследуемый по пятам беглец: как только почувствую в каком-нибудь человеке или доме обыденность, скуку, тут же отказываюсь от ночлега и стараюсь улизнуть. Я научилась жить по фальшивым документам, которых у меня на руках скопилось множество. У меня два паспорта (первый я сохранила, объяснив в милиции, что потеряла его, и получила второй с временной московской пропиской — я тогда недолго училась в Библиотечном институте), два аттестата, добытые таким же манером, чтобы числиться в двух учебных заведениях сразу, свидетельство об окончании музыкальной школы, а мою трудовую книжку не скучно почитать в электричке. Я люблю свои документы. Это единственное богатство, к которому я отношусь так же серьезно, как скрипач к своему инструменту: мои бумажки хранятся в идеальном порядке в коробке из-под мармелада, на которой изображена желтая роза, однажды восставшая из бумажного плена (см. выше). Всякое новое учебное или трудовое заведение привлекает меня еще и с точки зрения моей коллекции. Из районной газеты я унесла удостоверение внештатного сотрудника, из литобъединения при газете — почти самодельную бумажку члена его, из школы — ученический билет, по которому еще долго разъезжала на поезде, из драмтеатра — справку участника массовки; у меня есть справка об окончании курсов вязания крючком, я была членом товарищества Красного Креста и Полумесяца, накопила массу библиотечных пропусков и пачку чистых бланков с печатями справки медицинской формы 28, нужной для поступления в вуз, освобождение от оздоровительного труда в колхозе у меня тоже имелось. Не было занятия приятней, чем на досуге пересматривать их, положив рядом справочник для поступающих в вузы — мою любимую книгу, в ней вся география нашей страны лежала как на ладони. Я могла послать документы в разные концы света, как три сказочных царевича свои стрелы, решив таким образом найти свою судьбу. Так я и делала время от времени. География — это ощущение ветра свободы в своих снастях.

У слепых своя география. Незнакомое место для них — чужая страна со странным говором топонимики, на каждом шагу чреватая углами и ухабами, словарем непонятных, несклоняемых преград. Комната, в которой они сейчас проживают, — это столица чужого государства, досконально ими изученная, где всякая вещь, до зубной щетки, имеет место вечной прописки, как дома и деревья. Они набрасывают на невидимое пространство мелкую сеть частых прикосновений, приручая его, как животное, размечают дорогу в столовую иными, чем мы, приемами: выщербленная панель и запах каштанового дерева, прохлада густой тени, железная решетка для чистки обуви, ручка пожарного крана. Поэтому они с такой любовью держатся за музыку: она освобождает их от понятий географии и выносит за скобки пространство, которое, в сущности, умещается в горстях. У них нет при себе никаких ксив: все это хранится у родных. Чтобы развеять сомнения в реальности своего существования, не подтвержденной ничем вещественным, они настойчиво стучат по клавишам, апеллируя к миру звука, или машут в воздухе дирижерской палочкой, умножая в уме голоса.

Когда я поднималась на этот этаж и шла по коридору к двери их комнаты, у меня всегда появлялось чувство, будто я пересекаю некий пролив, отделяющий материк от какого-то островного государства. Это и был остров со своими островными законами, со своим, как уже говорилось, языком и порядком, которому и я подчинялась. Я радовалась, что они прощают мне мое двойное гражданство, поскольку именно мне приходится осуществлять их связи с материком; что их живо интересуют тайны страны, где я все-таки была прописана. Мои рассказы, как болтовня приживалки, посещающей разные дома, чтобы собрать сладкую взятку сплетен, они выслушивали с особым удовольствием. Вчера, например, они слышали шум и крики на нашем этаже — я должна была не только описать имевший мес-

то конфликт, но и, задним числом раздав партии действующим лицам, озвучить происшедшую между незваными гостями и девушками нашего общежития заваруху, в которую вмешалась наша вахтерша баба Катя, с позором выгнав гостей. Легкая ирония в адрес жителей материка продувала мою речь насквозь. Так женщина со своим новым возлюбленным посмеивается над тем, кто прежде был ей дорог, сводя всю свою речь к идее абсолютного предпочтения. Но на этом острове, где я могла бы (не то что на материке) царить, существовала крепость, которую мне никак не удавалось взять, — Заур.

Начать с того, что он здоровался со мною всегда последним и как бы нехотя, словно совершая вынужденную уступку. Мне легко удавалось расшуметь Теймураза, Женю и даже Коста, они от души забавлялись и радовались моим рассказам — например, рассказу о том, как мы норовили потихоньку улизнуть с хора: как дирижер удивленно замечает, что голоса хористов звучат все жиже и с каждой минутой почему-то редуют (прежде чем удрать, мы переставали петь и лишь беззвучно разевали рот, чтобы свое *физическое* исчезновение предварить исчезновением *звуковым*), но, продолжая недоумевать, ничего не может с этим поделать и в конце концов смиряется... Заур скорбно качал головой, скривив рот в неодобрительной усмешке. Я знала, что он слеп, но у меня было чувство, что он все время следит за мною из-за приспущенных ресниц, что он пытается разглядеть во мне нечто такое, о чем я сама хочу забыть, какие-то частицы, которые пока находятся во взвешенном состоянии, — мою будущую тяжесть. Он все время за что-то осуждал меня, и это осуждение несло в себе оттенок оппозиционности к другим слепым, которые не могли *видеть* меня такой, какой *видел* он. Он часто пытался раскрыть мне глаза на саму себя. Мы с ним бесконечно выясняли какие-то непонятные отношения. «Ты человек легкомысленный и за наш счет пытаешься как-то компенсировать свое легкомыслие», — обличал он меня таким тоном, будто знал обо мне куда больше, чем даже я сама, и на этот тон, а не на слова вразить было нечем. «В чем ты видишь мое легкомыслие?» — «Да во всем! Если ты хотела учиться, зачем было приезжать в такую даль? От кого ты бежала? Училась бы там, у себя!» — «У нас очень сильное музучилище, я бы туда не поступила, техника не та». — «Так, наверное, проще было подтянуть технику?» — «Нет, не проще». — «Я и говорю, ты хочешь идти по жизни легкими путями». — «Может, я просто стараюсь найти себя?» — «Смотри всю жизнь не потратить на поиски», — сурово говорил Заур, глядя своими невидящими глазами мне прямо в душу. «А на что, спрашивается, мне ее еще тратить!» Как я не любила такие прямые разговоры! Не видела в них никакого, кроме попытки суда надо мною, толку. Какая может быть прямота в отношениях между людьми и в наших словах, если сам взгляд человеческий с юных лет уклонен от мира, совлечен со своих прямых путей и расплывается, как луч, внутри нашего сердца. Его пути извилисты, как наши дороги, он бродит Бог знает где в поисках неведомой цели, мечется в темных извилах души и, не найдя там вечности или не умея ее найти, набрасывается на внешний мир, освященный привычкой. «Поиски своего места в жизни — это всегда предлог, — продолжал Заур, — а предлог не главная часть речи». Так мы с ним перебрасывались фразами, пока я не начинала смеяться и не брала его за руку. «Ну ладно, прости меня, нехорошего человека». — «Я-то прощу, — вздыхал Заур, — а вот жизнь...»

Заур был доволен тем, что живет в небольшом провинциальном городе, где, в отличие от столиц, еще возможны большие похоронные процессии, потому что он-то как раз и работал в похоронном оркестре, приняв эту должность от своего старого отца вместе с его барабаном и тарелками. После выхода на пенсию отец некоторое время сопровождал Заура на похоронах, помогая ему, придерживая его под локоть, пока сыну не привезли из подмосковного поселка Купавна водолаза Манфреда, прошедшего специальную выучку в школе для собак-поводырей. Этого огромного чер-

ного водолаза весь Армавир знал как «похоронную собаку». Даже когда он вел на поводке Заура в магазин или на прогулку, пес выступал в торжественном ритме погребальной музыки, в железном каркасе маршевого ритма. Когда Заур заболел, Манфред один, по собственному почину, сопровождал случавшиеся в эти дни похороны. Ничто не могло удержать огромного пса дома, если он слышал долетавшие с соседних улиц знакомые звуки меди. Он знал, что хозяина среди этой музыки нет, но как одержимый мчался на звук тарелок, присоединялся к процессии и, почти слившись с ногой ударника, замешавшего Заура, торжественно «вел» его на кладбище.

Невидимая для Заура смерть косила вокруг него здоровых и зрячих, как некая беспощадная сила, окруженная наивным, языческим почитанием: цветами, слезами, обвитой траурными лентами музыкой, — все это предназначалось для того, чтобы хоть немного заземлить ее бесчеловечный электрический разряд. Эти венки, позванивающие на ветру жестяными цветами, люди бросали, как спасательные круги на воду, сомкнувшуюся над головой близкого человека, точно надеялись, что сейчас из этой темной воды выпростается рука и ухватится за раскрашенную проволоку и парафиновые листья; люди пытались одомашнить эту дикую стихию — смерть, приспособить ее к своему живому, теплomu чувству, сражались с нею на своей собственной территории, территории ритуала, и ритуалом пытались закрыться от ее простого, как звезды на небе, взгляда. Но Заур не видел ни смерти, ни ритуала. Иногда его томило предощущение собственного бессмертия. Ведь если он не видит смерти, каким образом смерть сможет разглядеть его, Заура, защищенного со всех сторон ее же собственным пологом — тьмой?

Смерть, которую Заур сопровождал, сводилась для него к понятию маршрута на кладбище, к набору трагических тактов и слов. «Строевые похоронные марши» — так называлась эта музыка. Бетховен, Моцарт, Чайковский, Шопен — и особенно любимый Зауром марш композитора Рунова. Впереди идут основные голоса, три или четыре корнета, звучащие как трубы в высоком регистре, за ними — баритон, первый тенор и альт (в партитуре обычно называемые «1-й голос сопровождающий»), последний ряд музыкантов — туба, звучащая как орган и приводящая в движение массы воздуха, словно бьющий колокол, и барабан с литаврами, иначе еще называемый «бубен с тарелками», — эту тяжесть хрупкий худенький Заур нес на себе, подвесив его на ремне через плечо.

«Там-там-та-та...» — распахивались двери подъезда, сквозь рыдание инструментов слышалось шарканье ног. «Табурет ровнее поставьте». «Портрет, портрет вперед...» Звучал сочный щелчок фотоаппарата, благодаря чему Заур и его пес неизбежно попадали в семейные альбомы жителей Армавира. Удары его тарелок гремели, как удары судьбы, — от них в домах звенели стекла. Люди надеялись, что очаг смерти притушен сегодняшней жертвой и трубы с тарелками на какое-то время умолкнут, но он вспыхивал снова, в другом уголке города, как многолетний пожар на торфянике, и похоронный оркестр, как команда пожарных, опять хватал свои инструменты и отправлялся гасить чужое горе...

Зимой музыкантам было труднее играть, чем летом. Чтобы в инструменте не образовался слой льда от дыхания, приходилось работать парами — пока играет один, другой успевал отогреться в машине, и музыка не прерывалась. Замерзшие клапаны музыканты отогревали собственным телом. Зимой тарелки Заура звучали иначе, они как будто высекали из воздуха морозные искры, не говоря уж о темпе похоронного марша, который на холоде значительно убыстрялся, едва удерживаясь в границах приличия и скорбной торжественности.

Звуки похорон шли в привычной последовательности, которая почти не нарушалась. Несколькими тактами марша, топот ног, жестяной шорох венков, шарканье еловых ветвей у входа на кладбище, подле которого звуки ненадолго смолкали. Начиналось петляние между могил с собакой у ноги, Заур держал ее на коротком поводке. Музыканты берегли силы и инстру-

менты на финал. Как только гроб закрывали крышкой и сумрачный работник Леты подходил к нему с молотком, одновременно поднималась труба корнетиста — одного, другого, третьего... Это было сигналом к музыке, к игре «после третьего гвоздя». На «втором гвозде» музыканты вбирали в легкие воздух — и вот волну рыданий покрывала мелодическая волна. Заур работал как настоящий виртуоз. Эффект тремоло он достигал попеременным боем в «бубен» то мягким, то твердым концом колотушки — и барабан рокотал. Ударами по тарелкам мягким концом колотушки он извлекал задумчивый фырчащий звук, похожий на шепот прибоя. Он мог на своих инструментах греметь, шептать, бубнить, шепелявить, звенеть пригоршнями драгоценных камней — это называлось играть «раненым звуком». Играл иногда до «первой лопаты», иногда «до холмика» — все зависело от глубины печали нанимателя или от толщины его кошелька. Чаще всего — «до холмика». Тогда с «первой лопаты» музыканты начинали «филировать» — музыка постепенно затихала...

Но не только скорбные обязанности похоронного музыканта натолкнули Заура на мысль о будущей профессии — он учился в вечерней музыкальной школе игре на флейте. Он видел внутренним взором мелодические переливы, окрашенные в ту или иную тональность. Как моряк, находившийся в долгом плавании, Заур почувствовал вдруг почву под ногами, обратив невидящий взгляд в сторону музыки. И тогда он поступил в наше училище по классу флейты и одновременно на хоро-дирижерское отделение.

Флейту Заур любил не меньше, чем свои барабаны-тарелки, и говорил о ней с некоторой горячностью, что она — абсолютная нежность, ее мелодия — серебристая речка, мирное шествие ясных утренних звуков, стайка рассветных птиц. Как тут не вспомнить Марсия, состязавшегося на своей фригийской дудочке с кифаредом Аполлоном, восклицал Заур, повествуя о том, как бог-победитель содрал со своего соперника кожу и вывесил ее в гроте всем на посмеяние... Самое чудное происходило потом: когда эта кожа *слышала* отдаленные звуки флейты, она начинала двигаться, точно пританцовывая... Флейту действительно можно ощущать кожей, как ласку, как дыхание любимого существа. В сущности, дыхание — это ее смычок. Этой струей воздуха можно управлять, она устремляется к отверстиям дудочки, как ручей, удерживаемый или отпускаемый на волю пальцами. Флейтист специально тренирует свои губы, обучает их для игры, как подросток для поцелуев. Я не могла не верить Зауру, когда он приходил к нам с Нелей в комнату со своей дудочкой и играл пьесы из сборника Платонова — Генделя, Моцарта, Шуберта, «Вокализ» Рахманинова. Последний мы исполнили с ним на экзамене по специальности — я аккомпанировала Зауру на фортепиано, заодно сдав зачет по игре в четыре руки.

Мы с Зауром играем в шахматы. Мне нельзя играть с ним в шахматы. Каждый мой ход он воспринимает как выпад в адрес мужчин, которые все-все делают лучше женщин, и как язвительный намек на его слепоту. Он не может играть вслепую, все дело в этом. Каждую минуту он подозревает меня в тайном воровстве с доски его фигур, в подтасовке комбинаций. Он прислушивается к каждому шороху, мне кажется, его ушные раковины сводит от напряжения. Он, как врач-новичок, надеется услышать в моих легких болезнь, которая в конечном итоге сведет меня в могилу. Имя ее — легкомыслие, дающее о себе знать не только в моих поступках, но и в передвижении моих фигур. Стоит мне пожертвовать пешкой, Заур насупливается, полагая, что я намеренно облегчаю себе задачу.

— Это твоя главная черта, — комментирует он ворчливо, — желание во что бы то ни стало облегчить себе жизнь. Жить не задумываясь.

И он начинает метать все мои ошибки и проступки, отмеченные им, в основание этой теории. Это повторяется всякий раз, стоит мне только посягнуть на логику его игры, исключавшую размашистые жесты и авантюры

вроде размена слона на пешку. Заур признает лишь медленное, поступательное движение к победе без всяких вывертов и сложных комбинаций, представлявшихся ему проявлением личной моей нечестности. Я люблю вести игру на чужой территории. Он начинает выговаривать мне, что вот так же я веду себя и в жизни. Пробежав пальцами мою белую шеренгу фигур, он начинает ныть, почему я не сделала рокировку.

— Экономишь на важных вещах, как все транжиры, — нудит он.

Я и правда до последнего всегда тяну с рокировкой, не люблю защищать короля, он должен сохранять подвижность и отвечать за себя сам.

— Пренебрежение правилами всегда приводит к поражению. Впрочем, тебе все игра, наша группа для тебя тоже игра, а живешь ты где-то на стороне, непонятно где... Тут стояла моя пешка. Нет, я помню, она стояла!

— Заур, я стану записывать ходы, ты все забываешь, у нас был размен...

Я восстанавливаю ход игры, после чего он вынужден согласиться, что размен и в самом деле имел место, только я свою неподвижную, ненужную пешку обменяла на его боевую единицу. Мы продолжаем игру, он сокрушается по поводу пешки, словно испытывает фантомные боли после ее ампутации.

— Неля, — говорит он, — ты бы последила за нашей игрой, а то я ей не верю...

Неля на деревянной доске режет овощи для супа.

— Если не веришь, зачем садишься играть? — отвечает Неля.

— Это только игра, — объясняет он Неле, — вот жить бы я с ней ни за что не стал, жизнь с ней чревата такими опасностями!..

— Что же ты так сокрушаешься, если это только игра, — ласково говорит Неля — и попадает в самую точку.

Заур в принципе не способен к игре, к абстракции, он убийственно серьезен. Он гордится этим своим качеством. Возможно, он и в похоронные тарелки стучал оттого, что нет на свете занятия более способствующего серьезному отношению к жизни. Мертвые всегда серьезны, не то что живые. Истоная серьезность вела его по жизни, заменяя зрение. Если б он прозрел, глаза бы его различили только два цвета, два цвета нашего бескровного сражения, — черный и белый. Это его рыцарские цвета. Если б я могла собрать мудрые слова из книги «В мире мудрых мыслей» и разом спустить их на Заура, и тогда не смогла бы убедить его, что оба эти цвета, скрывающие от него подлинные краски жизни, друг на друга наложившись, дают третий — цвет крови. Вот я сижу перед ним как соперник, играющий белыми. Перевернули доску. И я оказываюсь перед ним соперником, играющим черными. При любом раскладе я Зауру отчего-то неприятель. Он говорит:

— Вот послушай, как Неля режет капусту: тонко-тонко...

— Шинкует, — вспоминаю я русское слово.

— Ага, режет, не то что ты — ломтями.

Всякий раз, когда он возникал на пороге нашей комнаты, гремя коробкой с шахматными фигурами, во мне вскипало возмущение. Накануне мы снова расстались врагами. Я опять обыграла его. Я не должна была его обыгрывать, уже зная, как тяжело это его уязвляет, но я делала это вовсе не из мстительного чувства. Мне хотелось разъять одно звено в его железной логической цепи, на которой я должна сидеть да помалкивать. Да, женщина может обыграть мужчину, и в том числе мужчину кавказского. Да, не все в жизни можно победить усилием воли. Победы и поражения суть одно и то же. Но вот он входил, нащупывал стул. Я расставляла фигуры. Он пытался мне помочь, путая уже расставленное по местам войско, выдавая свое мучительное раздражение, несогласие с окружающим миром, существующим независимо от него и неподвластным его комплексам.

Он вытягивал перед собой кулаки с зажатыми в них черной и белой фигурами, и опять проблема *выбора* нависала надо мною, как скала...

Передо мною сидел слепец, протягивающий ко мне за помощью руки. Он снова все перепутал, доверившись своей теории температур, согласно которой черные фигуры холоднее белых. Я ему не перечила: пусть играет черными, полагая, что это белые. В мои белые ряды затесались черный слон и ладья, а у его черных две центральные пешки — белые. Как можно играть такую партию? Можно, но для этого надо играть со слепцом.

Я говорила: «В левой», — но он не разжимал пальцы. Он хотел, чтобы я прикоснулась к его руке. Он чувствовал, что мир касаний исполнен той простоты и подлинности, каких нет и не может быть в мире слов. И когда я клала пальцы на его кулак, он сам собою раскрывался, выпуская на волю цвет моей победы. Заур улыбался. Наша кожа опять оказывалась умнее нас. Она как раздвижной занавес, вовремя скрывавший от зрителя безобразия и накладки, происходившие на поверхности наших чувств. Почти все на свете, даже плоды, даже лепестки роз, защищено кожицей, как звезды — их собственным сиянием, только она сама ничем, кроме воздуха, не защищена. Под ней в кровеносных сосудах струится кровь, которая от звуков флейты раскрывается, как ночные цветы. Непрерывные вести овеивают ее, она знает многое. На ней свои зримые знаки ставит время. Хорошо жить на поверхности собственной кожи, облаченной в тепло, как в доспехи, но мне этот путь заказан. Было во мне что-то, не дававшее поверить тем впечатлениям, которые она громоздила и умножала, как туманы. Я не могла уйти целиком в ее умную жизнь. Может, это она сама выбрасывала меня, как волны? Она нежность, но я знала, что за этими зарослями притаились страшные чудовища. О нет, я не хотела видеть ее сны! В разгар пира для кожи, когда прикосновение ласковых пальцев обрушивало тебя в воздушную яму, я закрывала глаза и еще сверху прикрывала их ладонью, но они все равно видели, зрили сквозь заросли нежности, сквозь тонкую кость этих чудищ, скуку, измену, и из каждой моей поры, как горькие цветы, вырастала двойственность. Потому я любила зиму, холод и белизну января, а не весну, не лето, при их плюсовых температурах множилось все сущее, которым и без того переполнено мироздание, любила голые деревья, похожие на многозначные числа, на дикие заросли цифр, сводящих мое существование к нулю...

Но едва наши руки расстались, разошлись над столом каждая со своим уловом, как он уже был в напряжении: не обману ли я его...

— Мои черные, — говорила я, поворачивая доску белыми к себе.

Он верил и не верил.

— На, пощупай еще раз, — нагло говорила я.

Он снова брал мою руку, и опять мы оба на минуту успокаивались.

— Да, черные, — умиротворенно говорил он.

Первый ход сделан, как ни странно, в полном согласии с правилами игры, согласно которым начинают белые: первой шагала на e2 — e4 затесавшаяся в его черные ряды белая пешка, словно перебежчик, обязанный теперь личным мужеством доказать свою верность принявшей его стороне. Неля смотрела на меня понимающе, ей казалось, что я обманываю Заура, чтобы из сострадания вручить ему право первого хода, подыграть ему в его амбициях. Но дело не в этом. Я уже сделала свой первый ход, прикоснувшись к его руке. И дальше над нашей игрой, над нашей враждой пойдет совсем другая, странная игра. Он после каждого моего и своего хода ощупывал фигуры, пробегая их пальцами и роняя, я поправляла фигуры, наши пальцы встречались, зависали над доской в невольном жесте примирения, тогда как наши голоса звучали резко и своенравно. Я догадывалась: иногда ему хочется протянуть руку, чтобы я пожала ее в знак нерушимой дружбы, но шла маленькая война, и почему-то победа в ней всякий раз оказывалась важнее любви и мира между нами.

Я уже знала, что Заур отказался от операции, после которой он, возможно, смог бы прозреть. Почему? На мой осторожный вопрос он ничего не ответил. Промолчал, будто я, спросив его об этом, допустила бестакт-

ность, просто сморозила глупость. На такие вопросы не отвечают. Потому что их не задают. Что же двигало им?.. Привычка, «замена счастию»? Это она способна застить человеку белый свет, лишить его подлинной искренности в отношениях с миром? Привычка лишает человеческое существо невинности, создает оседлый образ мыслей? Заур, должно быть, воображал себе свет как мощный ветер, способный сдуть с места все наработанные опытом навыки, унести без остатка звуки, остерегающие его, сделать чужой поверхность земли, разученную на ощупь с помощью палочки, как партитура, выбросить его в мир голым, будто в минуту рождения, и только ночь, одна ночь, будет крышей над его головой. Только ночью, когда милосердная тьма опустится на землю и, как старая нянька, положит бархатную ладонь ему на глаза, он будет обретать утраченную родину, где нет сплошного потока лиц, стирающих его собственное лицо. Ибо свет находится в ведении закона, который правит ясным днем по своему усмотрению и завязывает человека в тугий узел долга и привычки, так что не продохнуть. Зато ночью он, как зверь, забирается на окраину жизни, кладет свою исполинскую голову на лапы и смеживает веки, и человек в эти часы может ходить сам по себе и делать что вздумается: ночь не торгует, не выдает справок, не тычет указкой в географические карты, не шуршит документами. За ночь человек мог бы изрядно поправить свои дела по восстановлению искренности своих отношений с миром, да вот беда — ночью он привык спать, он просыпает во сне свою свободу.

...А между тем что там происходит в моем городе без меня — что-то ведь происходит? Словно огнем, он объят моим отсутствием. Пламенем перемен занимались окраины. Бетон-захватчик налево и направо крушил пространство, подбираясь к Волге. Может, уже весь город столпился на берегу, как Китеж, чтобы при первом же налете моей памяти броситься в воду, уйти на дно. Ураган планировки пронесился по улицам, зачеркивая тополиную аллею, как учтивую фразу с архаическим оборотом. Но к ночи все стихало. Тишина ночи, обитой войлоком изнутри. Ночью город стоял как отложенная шахматная партия, я бродила по нему, пока соперник спал, решала свою задачу. Днем я как сова, нахлобученная на заснеженную ветку, мой ум не в силах различить самое себя в общем мыслительном усилии класса, решающего контрольную по ненавистной алгебре. Но вот часовая стрелка клонилась к сумеркам. Последние минуты урока ползли, как температура. Наконец школьный звонок разметал скрюченные за партами фигурки. Через четверть часа я была уже в клубе и восстанавливалась на доске отложенную партию. Осторожно, как елочные игрушки, вынимала фигуры и расставляла их по местам. Как ни сильна моя власть над ними, каждая из них, как буква алфавита, обладала собственной энергией, личной значимостью. Уже которую зиму я здесь, в шахматном кружке, спасалась от собственного будущего, играя. Каждый мой шаг, каждое действие было чревато будущим, даже простая гамма, даже вязание варежки — все вовлекало меня в кропотливое его *строительство*, буквально на каждом прожитом мгновении крепился вектор, убежденно указывающий на него. Все, в том числе и мой отец, работали для *будущего*. В этом единодушии, в срететированности голосов и вещей я не могла не почувствовать всеобщую растерянность перед ним, перед будущим, как океаном вероятий, не имеющим логики, направления, графика возможных бурь и расписания катастроф, — и тем не менее им следовало овладеть как инструментом для создания собственной музыки.

Начало шахматных партий уже существует. Разве что большой профан или гений смогут изобрести что-то новое. Эти несколько хроматических ступеней пролетаешь на одном дыхании, перед тем как очутиться в своих личных владениях, границы которых еще не в силах охватить ум. Зеркальное начало игры — это русская, итальянская, испанская, шотландская партии или сицилианская защита. После второго хода черных система дает сбой. Битва разветвляется, как дерево. На каждую фигуру наброшено одея-

ние ее возможностей, и только король гол как сокол. Мое шахматное время начинало жадно заглатывать секунды, так что, когда я наконец находила лазейку для спасения, время заканчивалось, партнер уходил, а я сидела на краю проигранного, уже охваченного небитием поля сражения, занятая ретроанализом, обращая время и события на доске вспять. Которую зиму я спасалась здесь от самой себя, а лица партнера не видела. То ли поле моего зрения было сужено, то ли я, как в детстве, играла сама с собой. Надо отметить, развоплощенность в нашем кружке была хорошо поставлена. Мы друг с другом почти не знакомы. Не знали, кто в какой школе учится. На улицах города никогда друг друга не узнавали. Наши фамилии и имена были занесены в шахматные таблицы, висевшие на стенах кружка, но мы толком не знали друг друга по имени. У нас было тихо, шла игра. Даже если залетало вдруг к нам существо из драматического кружка по соседству, в длинном, расшитом стеклярусом на груди платье, мы не вступали с ним в контакт. Мы сами были горазды играть на чужой территории, на половине доски противника...

Именно такой способ игры приветствовал Геннадий Петрович со своей инвалидной коляски, сам похожий на битую шахматную фигуру. Проезжая по проходу мимо играющих, он вдруг с налету, как сидевший в засаде в густом березняке полк, вламывался в чью-то битву. Мы не слышали скрипа его машины, Геннадий Петрович монотонно вращал колеса, скользя взглядом по доскам. И вдруг его железная рука вырастала из-под моей подмышки и, против всяких правил, выхватывала из моих пальцев слона, ставила его на прежнее место, зависала над доской. Это была рука волшебника, готовая вытащить из мешка что-нибудь новогоднее. Мой соперник трепещущими пальцами вопросительно прикоснулся к моей королевской пешке. Геннадий Петрович хмыкал у меня за спиной, и соперник убирал руку. Наконец пальцы учителя снижались над моей пешкой, но не королевской, а фланговой. Мы с противником чуть лбами не сталкивались над моим левым флангом. Но нам пока не видна перспектива этого хода. Геннадий Петрович уже отъехал, его хмыканье слышно в другом конце комнаты. Он был мастер риска, поклонник головоломных комбинаций, он все надеялся с нашей помощью сделать какое-нибудь грандиозное шахматное открытие, подтвердить гипотезу о «ничейной смерти» шахмат, выдвинутую в пору его юности Капабланкой, или что-нибудь в этом роде, он еще видел в шахматных полях непочатый край возможностей и сил, которые смогут привести в движение его ученики с их различными темпераментами, техникой, талантом, но главное — свежестью и наивностью восприятия. Он был честолюбив и подвижен, как ферзь, курсируя вдоль игры, ведущейся на самых разных, в том числе и самых невозделанных, полях начинающими шахматистами. «Время...» — напоминал он мне. Кислороду в моих баллонах на четыре с лишним минуты. Время и его, Г. Лунева, было слабое место. Когда-то Геннадий Петрович проиграл выигрышную партию на первенстве Европы, забывшись над доской, впад в оцепенение от красоты предполагаемой комбинации. Так и я. Я ненавижу время, намотанное, как поводок, на кисть моего противника, я не хочу слышать, как оно вытекает через дыру в пространстве, меня угнетает фатальная направленность его вибрирующего потока, внутри которого движутся различные фигуры и существа, и на это стремление времени к общему порядку даже моей фантазии нечем возразить, даже ей.

Иногда, раздвинув заросли шахматного сражения, вынырнув из какого-нибудь клеточного окопа, я оказывалась перед лицом неминуемой победы, которая начинала всасывать в свою воронку все усилия противника, не видевшего то, что видела я. И все это было так просто, что на мгновение я замирала, мои пальцы словно сводило судорогой: мне хотелось побыть наедине с моей победой, прежде чем она сделается очевидностью для всех. Я скашивала глаза на ребят, обступивших нашу игру: нет, и они ничего не видели. Я проваливалась в блаженное созерцание этой минуты, проноси-

лась над бескрайними владениями моих дней, видела в окне нестерпимым светом сияющую луну, обратную сторону которой, если верить легендам, заселяют наши мертвые. И наши с ними взгляды встречались, пронизывая радужную оболочку, опоясавшую лунный диск, и, переполненные тем, что и нам и им казалось потусторонним, перетекали на чужую (уже, еще) сторону...

Почему это мне приходило в голову? Да потому что однажды в сумерках я зашла на кладбище, расположенное неподалеку от моего дома, в поисках больного сорочонка, жившего у меня на балконе и вышвырнутого неожиданно приехавшей бабушкой, и увидела над собою вдруг такую же ослепительную, как солнце, луну — луна пыталась своими лучами прочесть каждую крохотную травку, каждое березовое перышко моей сороки, которая поджидала меня, усевшись на самой пышной могиле, расстелив по ней одно черно-белое крыло. Усыпанная разноцветной стеклянной крошкой дорожка привела меня к ней. Каждый мой шаг сопровождался шорохом битого стекла, стремившегося опять перетечь в песок, из которого оно вышло. Взяв сороку в руки — сначала она неузнаваемо отковывала от меня за куст жасмина, — я опять, хоть у меня не было с собой закопченного осколка, оглянулась на луну, странным, вибрирующим потоком проливавшуюся на эту тьму, на меловые памятники, похожие на шахматные фигуры — белеющие или обглоданные временем кости, раскинутые по кладбищу в порядке, который способен навеять безумие. Безумный зрачок луны скользил по именам, впиваясь в каждую букву, вокруг, как мошकारа, вились имена, слетавшие с надгробий: Лунев, Кривошеин, Коробейников, Петров, Ситник, Олейников, Эбин, Лыткарев, Майданникова. Я знала эти имена, они значились в турнирных таблицах нашего шахматного кружка. Но как они попали сюда, неужели с той поры, как я отправилась искать свою птицу, прошли года и они все умерли? Я попыталась вспомнить их лица: Петров был очкаст, у Майданниковой была длинная коса, у Коробейникова от волнения часто шла носом кровь (окровавленные фигуры на поле чести), Кривошеин имел привычку, размышляя, дергать себя за волосы, Ситник барабанил пальцами по столу, а Лунев — это фамилия Геннадия Петровича, но и фамилия того ученого, именем которого названа наша улица. Я забрела сюда не случайно: я должна отыскать под этой луной и свое собственное имя... Птица застрекотала у меня в руках, и ее теплое сердце, ударившись о мою ладонь, заставило меня опомниться: луна отвела от меня свой налитый безумием взгляд, и я, оторвавшись от этой глубокой, сомнамбулической игры, ведущейся на лунных задворках, понеслась прочь сквозь сырой аромат сирени, тонкий зов жасмина, горящие, как звезды, розовые кусты, рассыпанные, точно по воде плывущие, тюльпаны. Прижимая к себе птицу, сердце к сердцу, мы неслись к ограде, за которой уже занималось утро, и когда наши крылья вынесли нас за ее пределы — солнце было в центре небесного поля, в зените своей славы...

...Наконец Заур медленно отрывает прикипевшие к ферзю пальцы и делает ход слоном. Проиграв и раз, и другой, Заур кипит от едва сдерживаемого возмущения. Поглупевший ферзь его мечется из одного конца доски в другой, без особого, впрочем, успеха. Простоватый конь скачет в надежде на полюбившуюся вилку. Заур, как раздраженный тиран, перестает щадить свою шахматную интеллигенцию и горячится, ввязывается в рубку, надеясь нанести мне поражение ферзем и конем, — с каждой минута фигур и доска все больше только мешают ему.

— Все, я устала. Прости меня, Заур... — смущенно сметаю я с доски фигуры. — Мне пора заниматься. Приходи, пожалуйста, завтра.

А может, материя время от времени нуждается в покое? Мы не знаем, как воздействует на нее радужка глаза, в которой, согласно учению ирридодиагностики, сосредоточены микроскопические копии наших внутрен-

них органов, прочитываются все мыслимые заболевания. В ней заключена еще не изученная энергия. Платон полагал, что зрительные лучи исходят из самого человека и, соединяясь с дневным светом, создают видение. Живая радужка играет и переливается фантазией, как океан сновидения. Подумать только, в дырах костяного грубого черепа гнездятся золотые огни, освещающие все закоулки этого мира, более того, посягающие и на тот свет, норовя отдернуть звездный полог, сделать дырявым само небытие. Как бы человеку перелицевать слой клеток на сетчатке и обрести возможность погружаться в свой внутренний мир, чтобы приплюсовать к своей жизни неразведенные, дремлющие запасы покоя и воли, мудрости и сердечной тишины?..

11

НА МАМИНУ ТАЙНУ Я НАБРЕЛА СЛУЧАЙНО. ОДНАЖДЫ Я НЕ пошла в школу, решив провести чудный октябрьский день на Волге. От нашей окраины до реки было рукой подать, всего несколько остановок на автобусе. Мимо гаражей, мимо дач, возле которых там и тут жгли листья и картофельную ботву, я спустилась на небольшой причал и забралась в пустую лодку.

В кронах берез, столпившихся на песчаном косогоре, бродили световые триоли; лазурь держала тысячу тактов подряд одну и ту же высокую ноту. Я погружала ладони в волжскую воду, сонно перебивавшую мои пальцы, это было прощание с летом, с последней теплой водой. Ничего лучше этого влажного касания река мне подарить не могла. Я приехала сюда именно за этим ощущением. Под кручей тлел костерок, заваленный палыми листьями, — вечный огонь дачных мальчишек. Сладкий дым стелился по берегу, отравляя воздух горечью утрат, тобою еще не пережитых, и открывая прошлое, о котором ты не догадывался, но которое, как и будущее, еще предстояло тебе пережить. По реке плыла баржа с развешанным на веревках сохнувшим бельем. Маленькая девочка качалась на корме на устроенных там качелях. Я смотрела на нее и завидовала ей, мне тоже хотелось стронуться с места, я жалела, что не могу отвязать лодку и отправиться вниз по течению, чтобы певучим движением было объято все вокруг — и река, и облака над нею...

Тут что-то толкнуло меня под локоть. Обернувшись, я вдруг увидела маму, сидевшую под березами в каких-то полуста шагах от меня. Она рассеянно смотрела из-под руки на Волгу, на противоположный луговой берег, занятый пасущимся стадом. Она-то зачем здесь? От кого прячется в этом пустынном месте? О чем думает?.. Она меня не видела, я это сразу поняла, не видела, как будто я, пока моя прозрачная мысль плыла по течению реки вслед за баржой, сама обрела прозрачность. Я осторожно отвернулась, почему-то уверенная, что она так и не заметит меня. Зрение наше, как и наше существование, слишком часто оказывается в плену у формы, которая не позволяет увидеть действительность в ее наготе. Формально я была на уроке. Мама все молчала и не окликала меня, и я подумала: быть может, я и в самом деле сижу в школе, грежу о реке, против моей фамилии в графе классного журнала не значится «нб»? Вот было бы славно.

Когда я спустя пять минут оглянулась, то увидела, как мама медленно поднимается по тропинке, ведущей к автобусной остановке. Я встала со скамьи, выбралась из лодки и как замороженная побрела вслед за нею. Я тоже начала подниматься по тропинке, удивляясь слаженности наших движений, как будто мы вместе играли какую-то пьеску вроде сонаты-арпеджионе Шуберта для контрабаса и фортепиано. Смычок поднимает эту тяжелую, маслянисто переливающуюся мелодию, как большую птицу поднимает размах ее крыльев, а растения вдоль тропы сопровождают наш маршрут с подробностью клавишных. Вот мама нагнулась и сорвала ромашку с того же мощного узловатого куста, с которого срывала свой цветок полча-

са назад я, — в этом месте мелодия сделала тонкое, едва уловимое движение в сторону, наметив иное развитие темы. Поднявшись на дорогу, мама обернулась, чтобы увидеть блестящую полосу Волги внизу. Спустя две-три минуты то же сделала и я, но, по идее, застала уже несколько иную картину облаков над рекой, и это тоже укладывалось в партитуру в том месте сонаты, где фортепиано отдельно проговаривает пассаж, пропетый контрабасом.

Мы шли мимо дач — на нас оглядывались одни и те же дачники, отрываясь от своих лопат. На остановке мама, а вслед за нею и я порывлись в карманах плащей, набирая мелочь на билет. Она вошла в стоявший автобус и села у окна. Я тоже должна была сесть в него — я так загадала, чтоб довести эту игру до конца. По-прежнему не узнавая, я вскочила на ходу в задние двери тронувшегося автобуса и уселась на последнем сиденье, у нее за спиной. Теперь мы видели все одинаково: гаражи, корпуса нефтехимкомбината, дым, валивший из его труб, деревья, плывущие своими кронами по течению ветра. Колесо пейзажа вращалось, наматывая на свою ось наши мысли: как он чадит, этот завод... от него задыхается рыба в воде, кашляют ангелы на небесах... вот НИИ, там находится лаборатория отца, где он в шесть — десять рук со своими аспирантами разыгрывает сонату Герострата для тротила с динамитом... вот столовая, где рабочие пьют бесплатное молоко, но все равно, все равно это мало им помогает, ни в одном городе не делают столько операций на почках и легких, как у нас, — траченными внутренними органами заводчан выслан этот дымный закат над нефтехимкомбинатом... Тополиная аллея, отделяющая завод от города, — ядовитая, зловещая зелень деревьев-обманщиков, которые, как сорняки, приспособились к химии и выступают в роли козла с колокольчиком, увлекающего овец в забойный цех. В нашем городе дома возникают с невиданной быстротой, но кладбище разрастается тоже...

Так текла наша общая мысль, а между тем я давно, еще у реки, заметила в маме что-то знакомое, пугающее, и только на подъезде к городу меня осенила догадка, *что* именно: в ее одиноких мыслях не было *меня*, я в ней отсутствовала напрочь, в ее одиночестве не было места *мне*, ее дочери! Я всегда чувствовала себя в маме, стоявшей в очереди за молоком, в маме, пришедшей на родительское собрание и укрывшейся за спиной какого-нибудь высокого родителя, в маме, принимающей экзамены у студентов, а сейчас *меня не было на свете*. И только когда мы вышли из автобуса — сначала она, а я за нею, как тень, — я постепенно стала *проявляться* в ней: вот она остановилась перед булочной, вспоминая, есть ли в доме хлеб, вот поднесла к рукам часики, где было написано, что у меня прозвенел последний звонок, что я захопываю портфель и сломя голову несусь по школьной лестнице вниз. Она чуть замедляет шаг, оглядывается с осмысленным выражением лица, наконец видит, *видит* меня, и мы встречаемся с нею у подъезда. Она спрашивает у меня, как прошел день, с таким тревожным выражением лица, будто со времени нашей разлуки пронеслась целая жизнь.

Позже я не раз встречала ее в различных местах: на городском кладбище, сидящую перед какой-нибудь могилой на скамейке, в деревне Липяги, почти поглощенной городом, — она пробиралась под зонтом по грязной улочке между заборами, и у меня не хватило духу окликнуть ее и сказать, что дождь давно кончился... В отдаленных уголках парка у нашего дома, называемого «леском»... Я ходила за нею след в след, как тень, как Зарема. Как-то я даже принесла домой ее сумочку, забытую в сквере у рынка, а однажды подняла ветку липы, которую она долго разглядывала, и тоже углубилась в ее изучение. И что такое — она все не видела меня и не видела. И я решила: не иначе как что-то случилось у нее со зрением — я давно не помню ее с книгой или за швейной машинкой. Она ничего не шьет себе нового, хотя ситец давно куплен. И однажды, улучив подходящий момент (отца не было дома), я подступила к ней с вопросом: что все это означает?..

— Ты еще об этом пожалеешь... — выслушав мое взволнованное повествование о наших с нею не встречах, сказала мама.

Мы сидели на балконе в окружении целого выводка мелких георгинов под названием «Веселые ребята», с трогательным выражением лепестков поворачивавшихся на закат солнца.

— О чем? — мгновенно испугавшись ее слов, спросила я.

Я никогда не знала заранее, как мама отреагирует на тот или иной мой поступок, тогда как реакции отца, вся палитра, были мне известны назубок. Я подумала, что мама сейчас разразится упреками.

— О школе, конечно... Учиться надо хорошо, — без всякого энтузиазма произнесла мама, — а ты, оказывается, все время прогуливаешь.

У меня от души отлегло. Я боялась, что после моего рассказа мама замкнется в себе, а ее «замыкания» мучили меня гораздо больше, чем приступы отцовского гнева.

— Все равно приходится жить по этим законам, — подавив зевок, продолжила мама. — Раз уж вообще появилась на этот свет. Извини, что я доставила тебе эту неприятность, — добавила она.

— Что ты, что ты, — любезно возразила я. — Мне очень нравится жить.

— Да? — удивилась мама, и ее рассеянность на мгновение слетела с нее. — Правда? — продолжила удивляться она. — Вот это славно. Но все же... Учиться следует хорошо. Ведь тебе придется куда-то там поступать, — как бы с отвращением проговорила она, — и с тебя там потребуют приличный аттестат.

— Мама, — я тронула ее за руку. — Мы не об этом говорили.

— Да? — пощупав сухую землю под своими «ребятами», спросила мама. — А о чем же?

— Я спросила тебя, почему ты ни разу не заметила меня, когда мы нос к носу сталкивались с тобой в различных местах? У тебя что-то с глазами?

— С глазами у меня все в порядке. — И эту фразу мама произнесла с отвращением, точно здоровое ее зрение могло нанести ущерб тому, что оно вбирало в себя. — Ты неверно поставила вопрос. Тебе надо было спросить меня, почему я, собственно, шатаюсь по окраинам, в то время как вас с отцом, заметь, нет дома... И я ответила бы тебе: твоя мама немного больна, самую малость, но все же. У меня развилась боязнь замкнутого пространства. Кажется, это называется клаустрофобия. И порою я даже не могу одна находиться в доме.

— И давно это с тобой?

— Давно. Но прежде я просто боялась закрываться в ванной. А сейчас даже не могу положить письмо в конверт. Мои отчеты на завод посылает Шура. И сумку не могу закрывать, и коробочки из-под духов сразу выбрасываю. Все предметы, у которых должны быть футляры, как будто превращаются в меня саму, стоит мне только начать их упаковывать. А почему я тебя не замечала, не знаю. Поищи сама этому какое-то объяснение... — заключила она.

Наши короткие разговоры с мамой похожи на до-мажорную прелюдию Рахманинова в сорок тактов. Она никогда не заговаривает первой, но и не уклоняется от моей попытки завязать беседу. Ее молчание не окрашено тональностью, то есть, как мне кажется, мама всегда находится в одном и том же состоянии духа, которое я бы определила как *собранный*. Когда это слово впервые пришло мне в голову, я спросила себя: а как же ее рассеянные прогулки, когда она ничего вокруг не видит, не замечает никого? Возможно, в ней происходит какой-то мыслительный процесс... она готовит открытие в какой-то там области... «В области облака, — немного пошмеявшись, ответила мама, — я обдумываю диссертацию на тему: творческое начало в облаках...» Ее слова всегда так много значили для меня, но они были крохотными островками, омываемыми океаном молчания. Мама как будто подталкивала меня к мысли, что я должна строить *свое* видение

мира, вынося его, этот мир, за скобки зрения, не учитывая яркого света, раздражающего оптический нерв, потому что он не оказывает на нас никакого *духовного* воздействия. И все-таки однажды я решила спросить ее, почему она так мало беседует со мною, никак не воспитывает, не читает нравоучений... Ответ мамы, как всегда, был неожиданным. Она дала мне задание хотя бы в течение недели внимательно прислушиваться к разговорам людей где угодно: в магазине, в школе, на улице. Я прислушалась — и что же? Человеческая речь подобно прибору выносила на сушу пустые консервные банки, поросшие мхом башмаки, конфетные фантики, расчески без зубов, сломанные зонтики, булавочные уколы действительности, оставляя тайну океана в его глубинах. Вещь всасывала человека в себя целиком, как живую, повизгивающую в горле устрицу. «Темная полированная, — доносилось до меня, — синяя, на бретельках! здесь и здесь вытачки! на ножках, с большим экраном! раздвижная, с валиками! укропчик с тмином залить холодной водой! ее разевшаяся морда, а говорит, что получает сто двадцать! паркет елочкой! пол как зеркало!..» — с энтузиазмом подхватывало эхо в отдаленных концах города, свидетельствуя о зеркальной сущности бытия, воздвигнутого на идее отражения. О Боже! А я-то вслед за отцом любила повторять: самая большая на свете роскошь — это роскошь человеческого общения. Он заблуждался, этот без вести сгинувший в войну летчик! Не под тем небом он летал! Не на ту землю приземлялся! Вирус вещи проник в кровь, поразил легкие, печень, мышцу, мы вдыхали его вместе с воздухом. Из открытой форточки летела музыка-вещь, усиливая пищеварение вещи, стоявшей как удав с разверстой пастью, к которой тихо брели кролики. Это было вкусно. Это была отборная говядина. Когда-то давно вещи были человеку по щиколотку, потом прилив вещей стал подниматься выше и выше и дошел нам до ноздрей.

Через неделю я вынуждена была донести маме, что люди больше всего говорят о вещах и еде, иногда о фильмах, еще о любви... Но и об этом они говорят как о пище, о вещи. «Так что же делать?» — спросила я маму, готовая в ту же секунду по ее совету изменить этот порядок вещей. «Молчать», — пожалала плечами мама. «Как молчать!» — воскликнула я. «Вот так», — сказала мама и замолчала. Музыка оборвалась.

Я смотрела в ее лицо, будто в колодец без дна, я падала в него камнем. Но дно летело впереди меня, как диск, пущенный рукой великана, исчезающая в жаре земной сердцевины, увлекая меня сквозь видения других лиц, иных жизней. Мой взгляд был кипящим источником превращений. Такое на меня иногда находило, когда я долго смотрела в человеческое лицо: оно начинало рассыпаться. На моих глазах отслаивалась кожа, расплетались волокна мышц, лопались жилы, рушилась кость, сквозь которую проступало другое лицо, новая маска, потом другое... И сквозь всю эту меняющуюся плоть, одержимую идеей распада, невредимо проносились глаза, как огни встречного поезда, разрывающие мрак ночи. Изменяясь в цвете и разрезе, они были неизменны в охвате пространства. У каждого младенца, даже у новорожденного, — радужки взрослого человека. Я спросила у мамы, что, по ее мнению, отличает умного человека от глупца. Она была в затруднении. Она сказала, что подумает. Но, очевидно, этот вопрос беспокоил ее, и вечером, сидя у трюмо и вынимая из ушей крохотные агатовые серьги, она сказала, что умный человек не для себя живет. «Так отец — умный?» — недоверчиво спросила я ее. Мама искоса взглянула на меня. «Я не так выразилась: умный не собою живет. — Подумав, она добавила: — И умный видит все так, как оно есть!» — «Мама, а как есть?» — осторожно спросила я ее. «Есть так, как и должно быть, — ответила мама, — но мы перedefируем мир в угоду своему кривому зрению».

Мне трудно судить о том, зачем бабушка, а потом и мама сызмала нагружали меня нашими семейными драмами, которые более хрупкому существу могли бы переломить хребет, но я приучила себя внимать им со здоровой отстраненностью, как страшным сказкам, не позволяя теме «рока»

и «обреченности» укорениться в моем сознании. Мама жаждала не столько понимания (как все люди), сколько сопереживания, но по моим уклончивым взглядам, по паузам, которые я выдерживала, как поднаторевшая в лицедействе актриса, она чувствовала, что я держу глухую оборону, выстраивая прозрачную стену между собою и ее непреходящим отчаянием. Она разворачивала передо мною семейные бездны, но все эти истории я уже знала наперечет. Она все время катила в гору камни, желавшие, чтобы их наконец уже оставили в покое, дали возможность порости сырым мхом. Нет, я не могла ее понять, она не в силах была заразить меня своим отчаянием. Я чувствовала, особенно по ночам, особенно в июне, когда под моим балконом, словно юбки цыганок, кружили расцветающие черемухи, как целые миры идут в меня косяком, и что если я чего-то в жизни не смогу вынести, то именно этого могучего напора красоты, уносящего мелкий хлам семейных тайн и имена людей, уносящего нас всех... Сердце раскачивало меня, как колокол округу. Запах черемухи ночами душил, как слезы. Глаза зарывались в свечение, идущее из глубин земли, в этот свет, перенятый у звезд, дышащий звездами, в пляску теней на стене, облитой лунным светом, слух зарывался в шорохи, далекие звуки гармони, приглушенную пьяную перебранку внизу, под балконом, в собственное настоящее, как у зверя, дыхание, в биение сердца, которое тоже зарывалось, как рыба в ил, в видения другому смертному недоступного счастья... Свидетельством того, что мамин внутренний мир затвердел и покрылся жароустойчивой оболочкой, была эта маниакальная приверженность прошлому, которое она тасовала передо мною, как потрепанную карточную колоду, из нее все время выпадали одни и те же, предрекающие гибель, карты. Одни и те же разговоры, одни и те же музыкальные и литературные произведения она вращала вокруг себя, как Сатурн пылевое космическое колесо. Между тем студенты любили ее, любили за то, что она любила свой предмет, я-то знала, как трудно добиться любви у этих ироничных людей, они любили ее запальчивость, с какой она говорила о кислороде и плюмбуме, ту нежность, какую она питала к продуктам электролиза и крекинга. Они уважали ее мнение, советовались по поводу книг, с ее подачи зачитывались Вознесенским и Евтушенко, которых она боготворила так же, как кислород и плюмбум. Я же читала экземпляры другой литературы, просачивающейся в наш городок по всяким прогрессивным каналам: папиросные, хрупкие, полуслепые стихи Бродского, «Лебединый стан» и «Искусство при свете солнца» Цветаевой, Ходасевича, Ахматову, «Заратустру», слушала Свиридова и Шостаковича, раздражавших мамин воспитанный девятнадцатым веком слух. Для нее девятнадцатый век был убежищем, за которым навсегда захлопнулась бронированная дверь, она ощущала его как некий храм, пространство, заполненное ничем не замутненными образами и еще не извращенными звучаниями: декабристы, Наталья Николаевна, Римский-Корсаков, Левитан, Толстой застыли в нем, как мраморные изваяния. Отец во всем этом потакал ей, во все верил.

Я жила между ними, как стрелка весов, то и дело клевещущая на ноль. Мне не удавалось сохранить равновесие. То меня заносило вправо, на территорию отца, и, одним прыжком вскочив на коня времени, я наверстывала упущенное, неслась с ним слитно, грудь к гриве, то меня уводило влево, ближе к ней, и я парила над прежними своими завоеваниями, не желая вступать в права владения. Тогда я думала, что *пространство невесомо, а время имеет вес*. Даже отец это ощущает: он выжимал свои чугунные гири уже не пятьдесят, как прежде, а тридцать раз — и мне иногда хотелось поделиться с ним своею силой. Он получил для своей лаборатории новую партию аналитических весов, на которых можно взвесить пылинку — но пыль не ложится на Время. Он распаковывал и выставлял весы на абсолютный ноль. Ему, как всегда, необходима точность, педантичность ученой стрелки, чтобы в очередной раз сокрушить пространство над Семипалатинским полигоном. Она чистила картошку, снова забывая про глаз-

ки, то и дело роняя картофелину в миску с водой, вспоминая, как он расхваливал свою новую лаборантку. *Он был чадолюбив, как Время, она бесплодна, как Пространство*, но воля его к продолжению рода была так сильна, что она понесла от него. Когда она ему об этом сказала, он приподнял ее и легко поставил перед собою на стул. Он пристально и серьезно смотрел на ее живот, точно провидел в нем не зародыш, восстающий со дна материнских вод, а скрытую пружину, которая вот-вот раскрутится в жизнь с такой грандиозной, наотмашь бьющей силой, точно в ней таится дух всех его детей, которых ему не дано будет больше народить на свет.

Она проливается, как Пространство, сквозь него, сквозь всех нас, сквозь Время. Я знаю, как *ее* много, но сила *ее* лишена направленности. Ядро *его* атома крепко держит на поводке электроны, вращая свою маленькую вселенную. Голое ядро Пространства изнутри разрывают и одновременно стягивают электростатические и силы яблочного притяжения, природа которых до сих пор не ясна. В *нем* происходит перегруппировка нейронов, брожение ситуаций, окисление воли. Речь *ее* уклончива, как Пространство, уходящее от взгляда в перспективу, застилающееся от нас дымным облаком, сильным солнцем. Жесты *ее* порывисты, неопределенны, как струение голубого воздуха, смыкающего и размыкающего облачные зубцы. *Он эпичен, как Время*, его тема — это тема борьбы человека с судьбой, ее можно также переложить на язык морского прибое, на непрерывную череду времен года. *Она трагична, как Пространство*, у которого отнимают по одному его тайные атомы и заповедные острова, ее тему жалобно выпевает чайка, носясь над прибоем. *Он* уничтожает, как Время, отворачивая взор от слабых, изможденных, хватающихся за ивовый куст в бешеном потоке, но *она* усыпляет, как Пространство, убаюкивая, занося твои крохотные следы своим белым, безгрешным снегом.

12

КАК-ТО В НАЧАЛЕ ИЮНЯ ОЛЬГА ИВАНОВНА («В МРАЧНЫХ воспитательных целях» — как заметил Коста) пригласила всех нас на выступление приезжего слепого поэта. Год, о котором идет речь, был ослепительным летом его славы, обрушившейся на него с ливнем цветов, лавиной писем, громом аплодисментов, со всем тем ураганом любви, о которой только может мечтать поэт. Книгу слепого поэта в личное пользование приобрести было почти невозможно, и юные девушки нашего городка застрочили в тетрадах. Это были стихи о любви, и только о любви. Они пронесли над страной, «как стая весенних птиц», — и «сердце обрело крылья». Слепой поэт создал свой мир на другой планете, о существовании которой мое поколение давно догадывалось, — пропустив меж пальцами официальные ценности нашего мира, поэт удержал в руках простые чувства, сказавшиеся в ясных, каждому человеку знакомых ситуациях. Он писал: «Девчонка стоит на перроне с билетом в озябшей руке...» И невозможно было отвести глаза от этих строк, невозможно не узнать, что же стряслось с девчонкой, отчего у нее в озябших руках билет. «Космической силой влекомый, он шел на свидание к ней...» «И нет в мире неба надежней, чем небо любимых очей...» Эти строки я вытаскивала наугад, как карты из пестрой колоды. «А дальше что?..» — нервничал Женя, проглатывая наживку. Я улыбалась стихам слепого поэта, как малому ребенку, уже кое-что понимая в поэзии. Несколько лет подряд я посещала литобъединение при нашей городской газете, и мне даже доверяли отбирать для публикации в «субботнем листке» стихотворения самодеятельных авторов. Тогда я и узнала о существовании безобидных сумасшедших, нищих дервишей, слепых фанатиков слова — графоманов-стихотворцев. Слова в их стихах цеплялись за лист бумаги, как заблудшие души за край вечности, и казалось, что внутри словаря разорвалась бомба огромной мощности, разметав и смысл и грамматику. Глаголы, зная лексики, лежали вповалку, неподвижно, как бревна, рифмами впритык. Определения ползли, как прибли-

зительные тени рыб в мутном аквариуме. Предмет, о котором шла в стихотворении речь, был гол как сокол и тяжек, как классический куб урока рисования. Пишмашинки, на которых печатают такие стихи, куплены на отложенные для покупки зимнего пальто деньги. Вся надежда была на опечатки, на непредвиденный, непроизвольный жест, из-под них, как из-под могильных плит, вдруг зеленела жизнь, блестел неожиданный луч, и снова небо страницы заволакивало дымом костра, на котором тлело душное тряпье...

Стихотворения слепого поэта мало чем отличались от тех увечных виршей, но что-то в них было такое... какую-то живую нить он все-таки сумел вытянуть из этой дикорастущей, как сновидение, ткани, обвив ее самым простым, детским ритмом, струившейся между пальцев паутинной нитью, соединявшей всех со всеми, как сказка. Сказочно было начало некоторых его стихов: «Однажды девушке приснилось, что в дом ее пришел огонь...» Какой огонь? И что за кони выносят ее из огня? И кто там стоит в тумане, «заклиная небеса»?..

Поэт вышел на сцену в черном мешковатом костюме и темных очках. Наконец-то я его увидела. Будет что дома подружкам рассказать. Он твердо прошел к микрофону. Наверное, пока нас, зрителей, не было в зале, он тщательно изучил этот маршрут. Несколько минут постоял, задрав подбородок, одинокий посреди голого, ускользнувшего от глаз мира. Он слышал, что зал был полон, и улыбка тронула его губы. Перекрывая шум аплодисментов, поэт гаркнул:

Я слышу ваши души...

И прокричал свое программное стихотворение целиком. Рядом со мной взволнованно захопал Женя. Коста сказал: «А что, очень может быть...» К микрофону выстроилась очередь с цветами. Одна девушка наклонилась и поцеловала руку поэта, он встряхнул гривой волос, раскрыл руки, но обнял ими совсем другую девушку. Ольга Ивановна положила нашу сирень у ног поэта и, спустившись в зал, показала мне жестом, что не может от волнения говорить. Слепой поэт снова закричал:

Розы любви и фиалки разлуки,
Я собирал вас на разных лугах...

Я догадалась, что криком он подбадривает себя, потому что ему страшно стоять на сцене перед бушующим морем этих зрячих людей, страшно, когда они бегут на сцену, ему приходится выставлять перед собою руку, чтобы они не сбили его с ног, страшно от поцелуев всех этих невидимых девушек. Когда он кричит, обретает твердь под ногами, а когда кричит и хлопает в ладоши зал, он слегка покачивается, точно находится на палубе корабля, попавшего в бурю.

В перерыве он раздавал автографы. В руке у него была самописка, которой он нашаривал твердь — записную книжку или обложку собственной книги — и ставил значок, похожий на скрипичный ключ. Поклонники, протягивавшие ему книги для автографа, одновременно испуганно отклонялись в сторону от его тычущей в воздух ручки.

Ольга Ивановна попросила меня непременно подвести поэта к нашим слепым, и я, получив автограф, прокричала ему в ухо нашу просьбу. Он энергично кивнул и, выбросив перед собою руки, раздвинул толпу. Я вела его под локоть, дорогой рассказывая поэту, как наши девушки любят его стихи. Он важно кивал. Мои слепые товарищи выстроились у своих кресел. Он уверенно подал руку Ольге Ивановне. И тут же эта рука точно увяла на глазах — это он наугад протянул ее слепым. Ольга Ивановна вполношенно схватила за руку Коста и вложила его пальцы в трепетавшие пальцы поэта. Я стала ей помогать, и таким образом рукопожатие состоялось. Вокруг группы слепых образовалось кольцо, которое через какую-то неловкую минуту решила пересечь одна девчушка, направленная, долж-

но быть, матерью, чтобы вручить поэту тюльпаны. Но она все перепутала и положила цветы на колени Теймуразу.

В сумерках возвращались в общежитие. Мы проходили мимо темного здания музучилища, в отдельных окнах его призывно горел свет. И если прислушаться, можно было различить доносившееся оттуда звучание духовых и струнных — это занимались самые упорные из нас, затверживая в опустевших музклассах свой дневной урок.

Поздние сумерки — мое время. Стоило переступить порог определенного часа, когда солнце уже ушло, но свет его легко таял в замерших над горизонтом облаках, как я впадала в такое же оцепенение. И думала: какой же это назойливый образ — солнце, под деспотической властью которого мы находимся, влачимся толпой за его колесницей до наступления тьмы, подстраиваем под него жизнь, чтоб утром той же почтительной толпой встретить его явление. У моего отца такое положение вещей не вызывает возражений, а для меня оно почти непереносимо: я ненавижу суточные расписания, сезонные графики, учебные сетки, кварталы, полугодия, названия контор по фасаду, кабинеты, в которых закидает жизнь. Но я любила бывать уборщицей в этих кабинетах. Часы моей службы совпадали с сумерками, когда люди уносили отсюда ноги с ликующим топотом, уносились, как листья, подхваченные ветром, в свои дома, и никто из них не подзревал, как просторны и чисты бывают без них пространства кабинетов, какая тишина вселяется в них, как весело гуляет веник, сметая следы их пребывания. Как мне мечталось под занавес, уходя навек из такой конторы, прогуляться веником над всем этим сором, входными и выходными данными, челобитными, фальшивыми заверениями каких-то поставщиков, лизоблюдскими посланиями в министерство, а затем, завернувшись в алое, бархатное, переходящее, верхом на древке съехать к дворнику и сплясать с ним на пепелище.

Так же чудесно мечталось в сумерках в нашем музучилище, в здании с высокими старинными потолками, чудной акустикой, толстыми стенами и надежными, обитыми кожей дверями классов, за которыми мы, студенты различных отделений (к этому времени после года учебы я перевелась на дневное), распределялись стихийно, но абсолютно верно с точки зрения хроматической гаммы, как цвета на палитре, создавая общий инструментальный гул, как облако, стоявшее над зданием: в угловом классе разливался баян, с каждым тактом возрастало влияние флейты из соседней комнаты, впадающей в слабость, но чистое лирико-драматическое сопрано, подхватываемое моей соседкой-скрипкой, долго и упорно изводившей меня канцонеттой Первого скрипичного концерта Чайковского, слева располагалась смежная с моей стихия арфы, затем шел концертный зал, где часенько занимался на блютнеровском рояле Коста, только позже меня, ближе к ночи, когда остальные музыканты покидали здание и уборщица, которой я втайне завидовала, сметала со стен паутину разноречивых звуков. За долгие месяцы моих сумеречных занятий я ни разу в глаза не увидела ни баяна, ни флейты, ни скрипки, ни сопрано, ни одиноко звучащей арфы, я только *слышала* их, за что им всем втайне благодарна, и анонимность звучания всех этих разноязыких инструментов и поющих человеческих голосов таинственно связывалась с этими сумерками, с поющими на разных регистрах облаками.

В одиночестве отыгрывая гаммы и арпеджио, я смиренно думала, что исполнителя из меня не выйдет — не та техника и не то прилежание, и в то же время с гордостью сознавала, что учительницей музыки, как о том мечтала мама, мне также не бывать. Я играла свою программу почти машинально, прислушиваясь к арфе слева и скрипке справа, а мои пальцы протанцовывали мажорное адажио сонаты, подтягивая топорщившуюся, сбивавшуюся с темпа ткань мелодии к аллегро модерато второй минорной, самой сумеречной ее части, запуская в нее руки по локоть, перебирая звуки с наслаждением, а когда угасал последний аккорд этой любимой мною

части, барабанила третью часть, престо, выбирая, как ловец жемчуга, в ней самые чистые минорные места. Почему-то легче дышалось в печали.

Программа моя состояла из четырех произведений. Соната — это прежде всего Гайдн, Моцарт, Скарлатти, Бетховен, позже — Кабалевский и Прокофьев. Прелюдия и fuga — это исключительно Бах, этюды представлял Черни, Геллер, Мошковский, позже Шопен. Для пьес я выбирала Грига, Листа, Шумана, Скрябина — те произведения, как правило, над партитурой которых значится *Lento con gran espressione* (медленно и очень выразительно) и *Andante grazioso* (неторопливо, изящно). Зато Коста в соседнем зале по ночам мыслил целыми концертами: Цезарь Франк, Аренский, Второй Сен-Санса, соль-минорный Брамса и, наконец, самый сложный для исполнителя Третий концерт Рахманинова.

Как только я переступила порог ее дома, мне показалось, я все поняла про Регину Альбертовну. Здесь невозможно было жить, шить, вязать, заниматься женскими делами, видеть нормальные сны на этом продавленном кожаном диване, играть с ребенком среди заброшенной, дряхлой мебели, сиротливо жавшейся к стенам. Мимо этих голых одичавших вещей, лишенных салфеток-статуэток, пожилых, скромных, но все же требующих женской руки, металась Регина Альбертовна, подавая нам жидкий чай с каменной сушкой, как одинокий пловец, стремясь сквозь море из неизбежных встреч, разговоров к диковинному острову музыки, раскинувшемуся посреди ее комнаты, и уже отсюда, с этого вертящегося резного кресла у рояля, расправлялась с нелюбимым, вторичным миром вещей, настроений и инстинктов, затыкая им всем глотки своими импровизациями.

Над роялем низко нависала старинная люстра в виде двух фаянсовых ангелов, придерживающих в полупрозрачных ладошках купол света. Этот рояль, наверное, был сделан когда-то давно на заказ в единственном экземпляре, сложен, как дом, из разных пород дерева с учетом акустических свойств каждого. Он был чист, ухожен, сиял отлакированными поверхностями, клавиатура из слоновой кости была в меру «утоптана» подушечками пальцев, так что звук, казалось, просвечивал сквозь клавиши, как дно сквозь корочку первого льда. Бронзовые педали в виде лап какого-то мифологического зверя победно сверкали. По соседству с роялем раскинулись полки с нотной библиотекой, высокие этажи были уставлены по порядку: Гайдн к Баху, Моцарт к Россини, Шостакович к Щедрину, — а средние, очевидно, в порядке предпочтения: полонезы Шопена отдельно от прочего Шопена, Третий концерт Рахманинова отдельно от всего Рахманинова, прелюдии Лядова, «Норвежские танцы» Грига и так далее. Эти полки, рояль и два ангела, несущие свет в ее музыку, составляли единый живой организм. Рояль так прочно и вечно стоял на своих красиво изогнутых ножках, что казалось, он родился и вырос здесь, до постройки этого дома. Сначала строители воздвигли рояль, затем возвели вокруг него стены, настелили полы, сложили кров и крышу, устроили небо и звинтили созвездия.

Я бы не посмела приблизиться к этому инструменту, но Коста отважно подошел к нему, уселся в кресло и стал разминать пальцы. Регина Альбертовна сказала мне:

— Вы тут поскучайте немножко. Можете посмотреть книги.

Коста привел меня сюда, чтоб показать Регине «несколько мыслей» к своей новой фортепианной сонате. Он так и выразился: «мыслей». Регина для него, как Зюсмайер для Моцарта: она схватывает на лету все его идеи и записывает их. Объяснив это, Коста наставил на меня чуткое ухо, ожидая моей реакции. Я ограничилась замечанием, что Моцарт нуждался в Зюсмайере уже на смертном одре, в период «Реквиема», и если Коста приравнивает состояние композитора к своей слепоте, то он не прав: Бетховен был глух, однако за него никто не делал черную работу.

— Бетховен... — пожал плечами Коста с таким видом, точно его уязвили в чем-то личном. — В одной моцартовской сонате может разместиться

пять Бетховенов, как на территории Сибири сколько-то там Бельгий... «Патетическую» твой Бетховен слул с до-минорной сонаты Моцарта для клавирина, а уж как он поживился «Дон Жуаном» для своей Девятой...

Коста заиграл свою сонату. Играя, он весь сгрудился над клавиатурой, как Демон над душой Тамары, всей пятерней ударяя по клавишам. Похоже, он не на шутку взъярился на них, как молодой Лист, который, случилось, уничтожал на концертах один за другим четыре рояля. Куда только подевалась его сдержанная классическая манера игры, сухой аристократизм «пальцевой техники» поклонника Бузони! Он играл не пальцами, не кистью, не от плеча даже, а всем своим существом, перебрасывая тело от субконтроктавы до самого высокого регистра, звучащего почти на скрипичных частотах, Это была не игра, а гроза. «Грозы — моя специальность», — говаривал тот же молодой Лист. Тут я поняла, что недаром мне вспомнился Лист. В левой руке Коста, в басах, пошла смутная цитата из «Мизерере», мелодия, возникшая в пунктирном ритме и в неожиданных тональностях, вдруг исчезла в триолях и снова возродилась в правой руке, после чего завязалась драма с лобовым столкновением двух центров: на гневный волевой призыв-аккорд, утонувший в огромной паузе, ответил диссонансами дисгармонический аккорд в контроктаве, после чего пошло бурное излияние дисгармоний, показывающих себя с разных сторон, в противовес этому всплыла группа тихих стройных аккордов, гармонизирующих мотив «Мизерере». Несколько глиссандо подряд — и мелодия осторожно, будто на ощупь, вернулась в тонику...

Коста резко отбросил руки и всем корпусом обернулся в сторону Регины Альбертовны. Не знаю, как я только устояла на ногах во время этой бури.

— Это — мое? — робко спросил Коста.

Регина Альбертовна рассмеялась:

— Это я должна спрашивать — твое это или не твое. Ну что ж... — Голос ее был бодр и исполнен любопытства. — Поздравляю. До свиданья, Васильев. Я уж и не чаяла, когда ты наконец переболеешь им. Как это называется?

— По форме, я думаю, все-таки прелюд, а назвал я его «Старость композитора».

— Ну да, с «Мизерере» у тебя хорошо получилось, точно по звуку, — согласилась Регина Альбертовна. — Это ведь Лист написал уже в монастыре?

— Да, в старости.

— Сейчас запишем на магнитофон, — сказала она и протянула руку к катушечному магнитофону «Днепр», стоявшему на нижней полке этажерки. — А вы посмотрите книги, я уже вам предлагала... — бегло взглянув в мою сторону, повторила она.

— Хорошо, — поспешно ответила я и, смиряя свое взвисьшееся от внезапной обиды самолюбие, отключившись от них, от их тандема, в котором не было места ни мне, ни моему мнению о музыке, ни даже моей мысли, отвернулась к книгам.

Разглядывая корешки книг на самодельных книжных полках, я с удивлением увидела, что почти все они были заставлены перепиской композиторов. Письма Рахманинова в двух томах. Письма Мусоргского к друзьям. Письма Чайковского к Сергею Танееву, к братьям и к госпоже фон Мекк. Письма членов «Могучей кучки» к членам «Могучей кучки». Письма Стравинского. Письма Сергея Прокофьева. Собранные вместе, эти увесистые тома производили впечатление. Да, писали — не гуляли. Когда же они все сочиняли свою бессмертную музыку? Письма Верди к Джульетте Стреппони, Грига к Нине, Бетховена к Беттине, Листа к Мари Д'Агу. Вот томик писем Фридерика Шопена... Задумал как-то он написать письмо своему другу Войцеховскому, а на его секретере, по счастью, никакой другой бумаги, кроме линованной, не нашлось, и он, выведя скрипучим пером: «Дорогой Титус!..» — стал излагать свое сообщение нотными знаками. Не

успел опомниться, как вместо повествования о его чувстве к Констанции Гладковской на бумаге оказалась эрветта фа-минорного концерта. А какой молодец был Брамс!.. Он увел у Шумана жену, о чем поставил его в известность четырьмя изумительными по красоте пьесами. Но и Роберт лицом в грязь не ударил, разразившись в ответ гневной «Рейнской симфонией». Вот это мужской разговор!

Пока я листала книги, Коста еще дважды исполнил свой прелюд, отдаленно напоминающий тромбоны в заключительной сцене «Дон Жуана». Стоя за его спиной, Регина Альбертовна переводила эту музыку на нотную бумагу. Как это всегда бывало, когда дело касалось современной музыки, да хоть того же Васильева, любимого композитора Коста, я не могла для себя сразу решить, нравится мне это или нет. Но после четвертого исполнения прелюда поверила, а потом и почувствовала, что это — хорошо.

Давно я не видела гор так близко. Здесь осень была представлена в своей вертикали, глаз брал сразу все цвета радуги октавами, больше чем октавами, и я ощущала это, как какую-то музыкальную катастрофу вроде той, что устраивал Вагнер в «Летучем голландце», когда инструменты слетали с орбит своих звучаний и оркестровая яма начинала завывать, как преисподняя.

Лицо Коста было сумрачным, напряженным, и я не могла понять, почему он вдруг замолчал, отчего с ним произошла такая перемена.

Но что-то странное было в этой окраинной улочке, на которую он меня привел, и, приглядевшись, я поняла — что. Вчера вечером Коста попросил меня проводить его на эту улицу. Он удивил меня своей настойчивостью, долго доказывал, что не может отложить этот визит, никак не может — ни на один день, ни на два. Здесь жили какие-то близкие ему люди. Больше он ничего о них не сказал, а я не спрашивала.

Стоявшие здесь каменные большие дома имели по одному глухому оконцу, как крепости. Отвернувшись от улицы, все они дворами и верандами, увитыми виноградом, смотрели на горы, равнялись на горы, как цыгане-контрабандисты из второго действия «Кармен», поющие хором: «Там свод небес над головой, там Божий мир — землей родной, там наша воля...» Так что же заставило их спуститься сюда, в долину, чья воля, от кого отвернулись они своими окнами? Ведь там в горах, как утверждают, например, астрономы, даже время течет медленнее, пусть на сотую долю секунды, пусть, но ведь и эта сотая доля — жизнь для какого-нибудь крохотного насквозь светящегося насекомого или для огромной и ослепительной, как молния, мысли. Зачем же они спустились с поднебесья, выпустив из отворенных жил горы ее огненную кровь и претворив ее в виноград, висевший гроздьями на шпалерах?.. А между тем мне казалось, что, если хорошенько потрясти, как копилки, эти дома с укрывшимися в них людьми, непременно услышишь, как зазвонит спрятанное в них оружие. Ведь на чем-то должна покоиться горделивая заносчивость здешних мужчин, их дерзость, самоуверенность. Если вычесть из этого племенную честь, задор, размытое понятие собственности, черкески с газырями и надвинутые на брови папахи, как ни прикидывай, в остатке получалось голое оружие.

— Сделай мне одолжение, — произнес Коста. — Тут впереди будет большое дерево... Постой за ним, так, чтоб тебя не было видно со стороны дома, а я подойду к калитке. Все, что увидишь, потом расскажешь мне.

Я осталась стоять за стволом огромного тополя. Коста подошел к калитке и громко постучал по ней палочкой.

Из-за дерева я увидела, как на веранду вышла женщина во всем черном, постояла, приглядываясь к Коста, а затем, осторожно ступая в мягких чунях, направилась к калитке. Она подошла к ней вплотную и стала молча всматриваться в лицо Коста, молча и жалобно, как будто хотела и не решалась высказать какую-то просьбу... Постояв перед ним, женщина так же бесшумно удалилась.

— Я вышла из своего укрытия, взяла Коста за руку. Он задал мне какой-то вопрос по-грузински, потом, спохватившись, переспросил по-русски:

— Что ты видела?

— Пожилая женщина, — ответила я. — Она стояла в двух метрах от тебя. Неужели ты не слышал, как она подошла?

— Они все ходят неслышно, — зло ответил Коста.

Я собиралась уже спросить, что означает эта таинственность, как со стороны соседнего двора послышалось восклицание:

— Коста!

Девочка лет пятнадцати, выглянувшая из беседки, удивленно произнесла его имя. Из беседки выскочил юноша, за ним мужчина и женщина с встревоженными лицами. Я заметила, как мужчина крепко схватил юношу за руку и что-то тихо сказал ему. Потом шепнул на ухо женщине, и она заулыбалась нам. Одернув грубый овечий свитер, мужчина приветливо молвил по-русски:

— Э, так ты вернулся, Коста?

— Как видите, батано Рустам, — ответил Коста с вызовом в голосе.

— Добро пожаловать, дорогой, — сказал Рустам и, подойдя, распахнул перед нами калитку. — Добро пожаловать, девушка, — обратился он ко мне.

— Это моя невеста, — крепко сжав мое запястье, сказал Коста.

— Вот как? — недоверчиво произнес Рустам. — Твоя мать не против русской невесты? — как бы с улыбкой спросил он, глаза его серьезно и внимательно изучали меня.

— У нас в Цхинвали многие теперь женятся на русских.

— Многие, но у Эристовых, наверное, это будет первый случай, — с непонятной интонацией заметил Рустам.

— И Эристовым пора приобщаться к традиции.

— Пожалуйста, проходите в беседку, — сказал Рустам. — Мы только сели ужинать. Нателла угостит вас сахараджанами...

Мы шли вслед за Рустамом по усыпанной гравием дорожке. Коста серьезно произнес, наклонившись к моему уху:

— Помни, ты моя невеста. Только веди себя правильно. Первая не заговаривай, а если тебя будут о чем-либо спрашивать, отвечай степенно и лишних слов не говори.

— Может, мне следует голову покрыть платком? — усмехнулась я.

— В этом нет нужды, — строго ответил он.

Тут я заметила, что та странная женщина из соседнего дома стоит у забора, отделявшего ее двор от двора Рустама, и смотрит на нас. Батано Рустам сделал едва приметное движение головой в ее сторону, но она все продолжала стоять, пока мы не скрылись в увитой виноградом беседке.

Над нашими головами свисали тяжелые дымчато-сизые гроздья, похожие на гнезда диковинных птиц; виноградные листья пылали, заполненные горящим солнечным светом. На большом блюде в центре стола высилась гора лепешек, рядом с ней миска с топленным маслом. На другом блюде лежала горой свежемытая зелень, яблоки, желтые груши, виноград.

— Ты все еще занимаешься музыкой со своей учительницей? — спросил батано Рустам.

— Да, я поступил в музучилище.

— Вот как? — произнес батано Рустам как бы с удивлением, но я почувствовала, что оно наигранно. Он, видимо, все знал о Коста; у него было мужественное, задубевшее от солнца настоящее мужское лицо, и притворство давалось ему с трудом.

Батано Рустам разлил вино по мельхиоровым стаканчикам. Девушка и мать взяли бокальчики в руки, а юноша не брал свой стакан до тех пор, пока отец не повернул к нему головы. Но и Коста не торопился поднять свой бокал. Я видела, как батано Рустам напряженно ждал этого.

Повисла тяжелая, как мне показалось, пауза. Женщина с тревогой смотрела на Коста, в глазах девушки светилось сострадание, а юноша не скрывал своей пренебрежительной усмешки. Наконец Коста произнес:

— Нет ли у вас водки?

— Отчего нет, дорогой, есть и чача, и водка, что твоя душа пожелает. Нателла... — поспешно сказал батано Рустам женщине, которая тут же поднялась из-за стола.

Батано Рустам выплеснул из всех бокалов вино на землю и наполнил их водкой. Коста взял свой бокал. Как только он это сделал, я заметила, что на лице тети Нателлы проступило облегчение. Рука его с бокальчиком застыла над столом, и все потянулось с ним чокнуться, кроме юноши, которого и суровый взгляд отца не заставил сделать это.

Батано Рустам повторно еще раз звонко стукнул своим бокальчиком в бокал Коста.

Все смотрели на слепого гостя.

Он поднес бокал к губам и залпом выпил водку.

Я чуть пригубила и поставила свой бокальчик на стол. Батано Рустам с Коста заговорили на грузинском языке, а мы с тетей Нателлой стали беседовать о грузинских блюдах. Она сказала, что они с дочерью с удовольствием научат меня их готовить, если жених будет отпускать меня к ним. Что цахараджаны лишь тогда получают по-настоящему вкусными, когда свекольную ботву режешь мелко-мелко, как, например, режут кинзу. Кое-кто кладет в начинку еще и брынзу, но она этого не делает, потому что тогда исчезает грибной привкус лепешек. Их пекут в печи — до той поры, пока они не начинают раздуваться, как пузыри: это означает, что пироги готовы. Тетя Нателла спросила, не возьму ли я лепешек с собою в общежитие. Я обратилась к Коста: можно ли мне это сделать? Коста, не прерывая своего разговора с батано Рустамом, резко махнул рукой, запрещая мне это.

...Как только мы, распрощавшись с хозяевами, вышли за калитку, я спросила у Коста, что все это означает. Он ответил, что объяснит мне все, а пока сам хочет кое о чем меня расспросить. Мы шли по улице вниз. Коста шагал сам, постукивая перед собою палочкой, он почти никогда не брал меня под руку, как это делали другие слепые. Я чувствовала, как он сейчас возбужден. Он немало выпил за вечер. Первый вопрос Коста оказался для меня неожиданным.

— Женщины сидели за столом? — спросил он.

— Да.

— Мальчик ел вместе с ними? — продолжал Коста.

— Какой мальчик?

— Сын батано Рустама, Тенгиз.

— Он вовсе не мальчик, а молодой человек.

— Так он ел или нет?

— Нет, только выпил водку.

— Выпил прежде, чем я поднес бокал ко рту, верно? И не захотел чокнуться со мною. За него чокнулся Рустам. Он, видно, думал, что я ничего не пойму.

Что-то не позволяло мне рассмеяться над этими вздорными вопросами, как будто я уже вошла в роль кавказской невесты.

— Да, он выпил прежде тебя. И не чокнулся. Потом сразу ушел.

— Стало быть, тот человек вернулся домой... — как бы про себя заметил Коста. — Мальчик всегда считал его за своего старшего брата.

— Какой человек? — спросила я.

— Сын женщины, которая смотрела на меня у калитки. Но я и так догадался, что он в доме... Их калитка прежде шаталась, теперь ее починили. Значит, он вернулся из тюрьмы... — повторил Коста.

— А что сделал тебе этот человек? — осторожно спросила я.

— Он убил брата моего отца, — через паузу, неохотно ответил Коста. — Это случилось ровно девять лет назад. И с тех пор в годовщину этого события я всегда навещаю дом Рустама.

— А при чем здесь батона Рустам? — спросила я.

— Они с этим человеком родственники и живут рядом.

По лицу Коста как будто прошла судорога, он вдруг покачнулся. Я почувствовала, что он с трудом сохраняет равновесие, и взяла его под руку. Иногда кто-нибудь из слепых привозит в общежитие вино, и они пили его, угощали и меня. Допьяна никогда не напивались, но я заметила, что на Коста вино всегда действовало сокрушающе — выпив, он сильно менялся.

— Если не я, клянусь, его убьет мой сын... Ведь слепота не передается по наследству, верно? У меня будет сын, и они все понимают это. Ты заметила, как они тебе обрадовались? А сопляк открыто смеялся надо мною, я это почувствовала. Теперь они будут говорить, что Коста сломался, взяла в жены русскую... Считается, что сыновья от русских матерей быстро забывают родовые заветы отцов. Особенно если проживут какое-то время в России. Поэтому мой сын будет жить всегда со мною, я не отпущу его учиться далеко от дома. Он должен сначала выполнить свой долг. Если б ко мне хоть на минуту вернулось зрение и я смог увидеть этого человека... Слушай, ты мне должна помочь... Мы с тобой выследим его, да? Ты подведешь меня к нему и подашь знак, чтоб я смог схватить его за шею... Ну что, что ты молчишь?..

— Я не буду помогать тебе в этом, — ответила я.

— Но ты видела, как они смеялись надо мной? Видела, да? Как унижали меня, пользуясь тем, что я слепой? Я подарю тебе и твоим родителям дом с виноградником, клянусь памятью отца... Большой каменный дом со всей обстановкой, коврами и мебелью, только помоги мне...

— Нет. Этот человек уже искупил вину, каким бы плохим он ни был, он отсидел в тюрьме. Смирись, успокойся... Ты просто сегодня много выпил. Ты умный, тонкий человек, не может быть, чтоб ты не понимал всю дикость этого обычая...

— Э, слушай... — произнес Коста ровным голосом. — Помолчи до нашего прихода в общежитие. Грузинские невесты не дают советов мужчинам, не задают лишних вопросов, не лезут в мужскую жизнь...

После окончания сессии за Зауром и Коста приезжали родственники на машинах.

Теймураза мы с Ольгой Ивановной усаживали в автобус, а Женю я сама провожала на вокзал к поезду.

В окружении родственников и Заур, и Коста очень менялись, они сразу отдалялись от меня на какое-то расстояние, словно малознакомые люди. Оба рассеянно пожимали мне руку, дверца машины прочно захлопывалась за ними, отсекая меня как будто навсегда. Глядя на них, устраивающихся в салоне, позабывших про меня и уже оживленно беседующих с родственниками, мне делалось обидно, я даже как бы на минуту забывала, что они слепые. Прощального взмаха руки меня обычно достаивали их родственники, видевшие, как я переминаюсь с ноги на ногу у дверцы машины. Эта мгновенность предательства меня всякий раз больно ранила. Мы были еще слишком молоды и не умели читать в сердцах других, мне и в голову не приходило, что они просто стеснялись родичей, не хотели показывать своих истинных чувств и потому напускали на себя это высокомерие. С Теймом мы прощались сердечнее: я усаживала его в автобус, просила соседей приглядывать за ним, а потом выходила и стучала ему в стекло, к которому он прикивал своими окулярами. Прощание с Женей было долгим. Мы выходили из общежития и садились в трамвай, идущий на вокзал; в поезде мне в порядке исключения проводница тут же выдавала постельное белье, я открывала Жене минеральную воду и доставала из чемодана его тапочки, после чего мы обнимались, и я выходила на платформу. Женя из тамбура неумело махал рукой, рядом со мною стояли другие провожающие, не знавшие, кому предназначено его приветствие, без прощального взгляда словно повисшее в воздухе. Иногда я удалялась, не

дожидаясь отхода поезда, и видела, как Женя стоит у окна и наугад машет рукой мне в спину.

Помню одну осеннюю ночь. Мои слепые товарищи уже разъехались, до начала занятий дневников еще полнедели, а я приболела, простудившись на ветру в сырой вечер у Терека. Передо мной на тумбочке лежит забытый Женей свисток, который купила ему мама для его одиноких романтических прогулок, чтоб прохожие или милиционер в случае чего могли оказать ему помощь. Я лежу с температурой, лоб мой горит, на нашем этаже никого, кроме меня, нет, время от времени я с надеждой притрагиваюсь к свистку, рассчитывая, что, если мне сделается совсем плохо, у меня еще останется сил дунуть в него и призвать вахтершу бабу Катю на помощь.

Во всем теле ломота и жар, в крови толкались, роились мои больные лейкоциты, а в мозгу, стоит только смежить веки, начинается какое-то роение, оползание странных сновидений, в которых участвую я и слепые, но здесь все наоборот, как в зеркале, выворачивающем нас наизнанку: я слепа, а они, все четверо, — зрячие... Местность, по которой мы кружим, мне неизвестна, но я могу вообразить себе ее при помощи звуков не поддающегося определению инструмента, похожего и на арфу, и на фортепиано. Я не знаю цели нашего путешествия. Я начинаю подозревать, что мои спутники зачем-то морочат меня, таская по этой долине. И думаю: за что они так со мною, почему они молчат и все время шагают впереди, не позволяя себя догнать? Я в изнеможении ложусь на землю. Что я им сделала? Разве я хоть раз бросила их, когда они были слепыми? Разве пыталась скрыться, когда у них заканчивались продукты? Разве я специально обобрала Женю, лишив его свистка? Нет, это он нарочно забыл его, зная, что я вскоре ослепну. Я хочу нащупать свисток. Звуки неведомого инструмента сгущаются, как грозовые тучи, я пытаюсь стряхнуть с себя сон, чтобы прозреть, я боюсь, что не сумею пробудиться, и тогда в моем мозгу зазвучат неведомые чужие регистры, мне станут показывать сны один страшнее другого, и я вынуждена буду смотреть их, как приговоренный мученик, оставленный лежать на земле с отрезанными веками, чтоб взгляд его всегда был открыт солнцу. Кто знает, какие сны кладет нам Господь под соломенную гробовую подушку?.. Я открываю глаза: за окном поблескивает влагой тьма. Несколько суток напролет над городом пылит дождь. Капли дождя кишат на стекле в свете фонаря, как блестящие жуки, наползая друг на друга. Стоит немного повернуть голову, и рисунок дождя в окне превращается в стремительное роение лейкоцитов под микроскопом или, напротив, в небесные тела, размножающиеся во взаимном безумном пространстве друг против друга расположенных зеркал. Кошмар лепится к моему сознанию, как грязь к колесу телеги. Закрываю глаза, и начинается то же самое: кто-то мощной рукою выжимает мой мозг, и образы хлещут из него, и вот опять эта мгlistая долина, звук пораженных ознобом струн, где я всегда буду жить между вращающимися шестеренками трех планет, навещающих сплин, — Ураном, Нептуном и Сатурном. Я дотягиваюсь до свистка и свищу в него с такой силой, что потолок идет трещинами и дождь хлещет в проем стены...

13

В ТОТ ДЕНЬ, КОГДА ЭТА БОЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА, ВОЗЛЮБЛЕННАЯ моего отца, увела меня с детской площадки, шел холодный, ни на минуту не прекращавшийся дождь. Я играла с подружками во дворе под деревом, когда ко мне подошла длинная фигура в сером и, закрыв лицо, протянула мне руку, я вложила в нее свою, и мы быстро-быстро куда-то пошли. Мы шли долго, и я испытывала в эти минуты какое-то нежное, тянущее чувство, напоминающее прощание с жизнью, окрасившее улочки, через которые мы спешили, фантастическим вечерним светом, хотя позже мама уверяла меня, что все это произошло в утренние часы. Еще она говорила, что эта женщина не стала бы скрывать своего лица, потому что я ее

хорошо знала, не раз видела у отца на работе, и потому с такой готовностью протянула ей руку. Но я помню все именно так: мелькающие дома в тихом, граненом свете сумерек, серая, отворачивающая от меня лицо фигура, за которой я едва поспеваю, и торжественная печаль, точно меня во исполнение моей детской мечты уводят за край земли, за слой сиреневых облаков.

Когда мама позвонила в институт отцу и сообщила, что я исчезла с детской площадки, он мгновенно понял все. Эта женщина после случившегося у них разрыва подстерегала его то на работе, то на улице, угрожая неведомой карой, если он не вернется к ней, беременной. Отец всячески старался успокоить ее, обещая позаботиться о ребенке. После звонка мамы смысл ее угроз стал ему ясен. Он бросился в милицию, вот почему скандал этот впоследствии принял общегородской размах.

Набегавшись по улицам в поисках меня, мама вернулась домой и села возле окна на табурет. Капли дождя на стекле были похожи на следы каких-то существ, но куда они вели? Мама видела перед собою перепутанную, лежавшую вповалку мокрую траву, медленно восстающую ото сна, словно дождь уже кончился. Ее ясновидящее сознание покачивалось в ритме этого восстановления, простираясь над тонкой, едва заметной в траве тропинкой, по которой в этот момент брела я, но *прозрачность* виденного была такой, что она различала тяжелые перламутровые капли, растрепавшие головки клевера, слышала тихий, как внутри облака, звук дождя, уходящего в корни растений...

— Неужели не помнишь, тогда все время шел дождь, — говорила она потом, суеверно понижая голос при слове «дождь», как будто речь шла о смерти.

Действительно, я помню, что в какой-то момент та женщина раскрыла над нами большой старомодный зонт и шуршащий блеск струй обступил нас по кругу со всех сторон, как нечисть из «Вия», но также помню, как на окраине города во рву некошеном это громоздкое перепончатое сооружение с хрустом сложилось в клюку, которой женщина раздвигала траву, торопливым шагом идя впереди меня. От дождя не осталось и следа, словно солнце, пока она закрывала зонт, вплотную подступило к окраине и выпило с травы всю влагу.

— Он шел всю ночь и следующее утро... — вспоминала мама. — Неужели не помнишь, как это можно забыть?..

Да так, очень просто, дело в том, что тройственный союз лета, детства и свободы нерушим, какие б усилия ни прилагала память по восстановлению фактов: куда ни оглянешься — всюду вдохновенная зелень, золотистый речной песок, тропинки, лодки, качели... Да, что-то помню, конечно, помню, как женщина раскрыла и сложила свой зонт, и в его черных складках, должно быть, и исчез ливень из той точки, в которой мы находились, как улетучивается из пространства мелодия — несколько алмазных синкоп еще сорвалось с краев запирающегося на латунную пряжку перепончатого неба. Вслед за отливом красок с небосвода тишина стала сочиться из всех пор стоявших стеною, вперемешку с собственными тенями, растений. После дождя они дышали открытыми ртами, как дети во сне. Вот проплыла замшевая мята с крестовидными веточками, вдруг дико взглядывала на меня ромашка, невнятное бормотание пастушьей сумки с истончившейся на цветках желтизной перемежалось пламенным восклицанием мака, щитковидные соцветия тысячелистника проносили в своих мелких корзинках белый и розовый аромат, между ними вился фиолетовый чабрец, и трепет этих оттенков был похож на колебание длинной струны... И вдруг вся эта нежная пастораль наматывалась на бешеный рев поезда: мы останавливались и одинаковым движением зажимали уши руками. И снова цветы торопливо спускались с насыпи, лишь только исчезал шум поезда. Время от времени где-то звучали человеческие голоса, и женщина говорила: «Пригнись!» Голоса кого-то окликали, но никто не отзывался, а мы обе ныряли в траву, как кузнечики, и трава на поверхности

изображала полную непричастность. А я видела изнанку травы, на полтона глуше ее же собственных солнечных плоскостей, видела всю подноготную нарождающегося в травах сумрака: тени, как скошенные, заштриховали поперек продольное волокно растений. Вдруг голоса прозвучали где-то рядом, и женщина, как встревоженная серая птица, взлетела наверх и исчезла за кромкой нашего рва.

С криком: «Тетя!» — я вскарабкалась следом. Передо мною стелилось зеленое поле клевера, ромашки, донника, и таких же причудливых форм и оттенков на разных высотах стелились над горизонтом облака. Там, в сумрачных тучах, вповалку лежали завтрашние дожди, очерченные вольфрамовой нитью солнца, чуть выше закатное золото истончалось в лимонные тона, где облака еще настаивали на своей утренней белизне, плывя в сторону обессиленной лазури. И эта картина менялась от малейшего взмаха ресниц, казалось, ее нельзя трогать взглядом, как дитя, лежащее в колыбели. И все это пространство неба, пронизанное немислимой красотой разлуки, солнце уводило за собою, как игрушечный парусник на нитке, — легко, легко, легко.

Женщина не оглядываясь спешила вперед, туда, где посредине цветущего поля одиноко чернел сказочной головой богатыря ржавый остов автобуса. Боясь отстать, я быстро перебирала ногами, но встречные цветы то и дело окликали меня: сюда! сюда! — и я поневоле замедляла шаг.

Автобус номер 72 наполовину зарос травой, как заброшенная могила. Сирота, одиноко торчащая посреди зеленого поля, одряхлев, насквозь проржавев, он пытался породниться хотя бы с крапивой, прикинуться своим среди высокого иван-чая, чтобы избыть собственную чужеродность, привечал сусликов, горбился, припадая на передний буфер, но ничего ему не помогало: его вещество жило отдельной от поля жизнью. В нем чувствовалось патриархальное достоинство исчерпавшей свое назначение вещи. В пустые глазницы выбитых окон нет-нет да всплывали еще видения улиц. Радостное содрогание прошло по его днищу, когда мы забрались внутрь и присели на опрокинутый ящик. Пол, проваленный в отдельных местах, был усыпан битым стеклом. Вести автобус было некому, но мы, очевидно, куда-то поехали, потому что через какое-то время оказались перед длинным бароком с палисадом, в котором стояли раскидистые, увешанные звонкой ягодой вишни. Под крыльцом с горестным выражением мордочки вытянулась окоченевшая мертвая кошка, только шерстка на ней, которую теребил ветер, была живой.

— Пойдем, пойдем, — дернула меня за руку женщина, — и не шуми, идти надо тихо...

Мы вступили в длинный, темный коридор, и тут боковая дверь в конце его отворилась и на нас быстро-быстро, лихо отталкиваясь от пола двумя обувными щетками, покатыл широкоплечий безногий в тельняшке, на крохотной коляске. Он с разбегу затормозил перед нами.

— Явилась! Кто тебя звал! Твою маманю давно уже снесли на кладбище, а ты все ходишь и ходишь. И тебя скоро снесут!.. — убежденно воскликнул он.

— Что я вам, мешаю, что ли, — огрызнулась женщина, — мы с дочкой переночуем в чулане, вот и все.

— Какая дочка, нет у тебя дочки... — Он уставился на меня возбужденно-веселыми глазами, которые, как ни у одного из взрослых, приходились как раз вровень с моими. — Девочка, ты чья?

— Сказано, дочка, — отрезала женщина, — у меня скоро и сынок будет, уйди с дороги...

Она ухватила безногого сзади за шею, развернула его и с силой показала по коридору, как нагруженную тряпьем тележку.

— У, ненормальная!.. — заорал безногий, исчезая в проеме двери.

Мы вошли в крохотную каморку. Запах застарелой слежавшейся знакомой печали слабо поприветствовал меня, когда мы переступили порог

этого логовища. Позже он иногда достигал меня в полупустых театральные залах, где на горизонте далеких подмостков актеры разыгрывали спектакль как бы в запаянном пространстве стеклянной колбы: видны их жесты и слышны голоса, но жизнь от сцены отделяло непроницаемое стекло и безучастная тьма зала. Женщина усадила меня на высокий табурет у стены и, сказав: «Спокойно сиди», вышла.

Вещи из разных углов робко взглядывали на меня. Обернувшись с крюка, на котором он висел с больно вывернутыми рукавами, зашевелился ватник, с мышинным шорохом чуть привстал прутьяной веник, дрогнуло в кадushке сухое, давно погибшее растение, высунула язык сквозь треснутое стекло керосиновая лампа, звякнуло ведро, до краев наполненное колодезной тенью, мотки веревки уютно свернулись, точно, уснув, грелись на солнце. Женщина вернулась и сунула мне в одну руку очищенное яйцо, а в другую нейлоновый чулок, набитый мелкими луковичками.

— Ешь, — обратилась она к одной руке, а другой сказала: — Это тебе куколка, играй с Богом, — и снова вышла.

«Куколка», с шорохом сглатывая, перекатывала в моих пальцах скользкие тельца лукович, смутно напомнивших разнокалиберные планеты солнечной системы, для удобства выстроенные на одной оси. «Куколка» оказалась безошибочной точкой приложения памяти: стоит мне увидеть у какой-нибудь золотки чулок, набитый луковичками, я вспоминаю освещенные тающим золотом луковой шелухи сумерки из высокого полуразбитого окошка... Разглядывая стекло, я ощутила внезапность удара мяча или камня, выбившего из заплесневевшей пыльной мути кусок цельного, удобно пригнанного под взгляд пространства. Эта дыра в окне очертаниями напоминала какое-то суверенное государство на политической карте мира у отца в кабинете: певучая плавная линия западной границы переходила в острый мыс на юге, которому, ей-богу, не хватало восклицательной капли Огненной Земли, неровное, с бухтами, восточное побережье перетекало в бесчисленные фиорды трещин на севере, и вдоль этой прозрачной страны подробно, как река, прорисовывалась ветка вишни со всеми своими притоками и рукавами, по берегам которых лепились произвольно вырванные из зеленого океана сумерек созвездия.

Из карманов своего плаща с капюшоном я извлекла: носовой платок, пару раковин, пару пуговиц, увеличительное стекло для наблюдения за муравьями — им же можно разжигать сигнальные костры, — плоский пятак, расплющенный под колесами трамвая, и цесаркино перо, подаренное мне одним мальчиком. Я перевернула дощатый ящик, валявшийся в углу, и застелила его своим платком, усадила «куколку», воткнув ей в голову цесаркино перо, порезала плоским пятаком яйцо и разложила его по долькам в половинки раковин... Получилось очень хорошо, но следовало бы приручить как можно больше предметов в этой камерке — и веник, и ватник, и веревку, — чтобы, вытеснив страх за порог, обжить ее и обустроить. Из веревки получилась петляющая тропинка, а из прутьяного веника, поставленного в банку, — большое раскидистое дерево. Мне не давала покоя мертвая кошка у крыльца. Мне бы хотелось похоронить ее с почестями, ведь она, возможно, пережила трудную, полную опасностей и лишений жизнь и заслужила, чтобы ей напоследок вырыли ямку, застелили дно листьями, обложили вишневыми цветками и по-человечески забросали землю. И тогда у меня в этих краях была бы еще и могилка, за которой можно ухаживать. И тогда бы я совсем прижилась в этом чулане. Это очень важно — уметь мгновенно пускать корни везде, куда бы тебя ни забросила судьба.

Было совсем темно, когда женщина снова вошла в камеру, села в углу на корточки и стала смотреть на меня. Лунный свет падал на ее лицо, и я видела ее большие, полные слез глаза. Мне снова вспомнилась мертвая кошка, лежавшая в палисаде, и я сказала: «Тетя, можно я выйду на улицу?» — «Зачем тебе?» — спросила она. «Я хочу похоронить киску». — «Зачем тебе?» — снова спросила она. «Это моя знакомая киска, — соврала я. — Я узнала ее личико. Она гуляла в нашем дворе». — «Раз знакомая,

иди», — позволила женщина. Я уже вышла из каморки, когда она окликнула меня: «Что ж ты, руками будешь копать ямку?» — «А у вас нет совочка?» — «Беда с тобою, — сказала она и взяла лопату. — Пойдем, я выкопаю тебе ямку...»

Но не успели мы выйти за порог, как увидели, что из темноты к нам стремительно движутся две фигуры. Женщина схватила меня за руку и потянула в дом, но следом за нею влетели мужчины, и тогда она жалобно закричала, прижимая меня к себе: «Не трожьте нас! Это моя дочка!» Меня спросили: «Девочка, ты чья?» — и я ответила: «Я дочка этой тети...» Но тут снова выкатил на своей коляске безногий моряк и заорал милиционерам:

— Обе врут! Девочка чужая. А этой — давно место в психушке...

В отце была одна странная, глубокая черта, сводившая на нет все его попытки завязать с миром прочные связи, проникнуться его перепутанной корневой системой, ощутить целостность существования. Он слишком многое обещал жизни, но слишком мало сумел ей дать. Будь у него зоркое сердце, он бы углядел в себе эту опасную черту и сумел бы с ней справиться, ведь он прежде всего был *человеком слова*. Но то, что он обещал, шло поверх слов, поверх обещаний. Он пробуждал в людях какие-то немислимые надежды на перемену в их судьбах, он выставял себя гарантом этих перемен — и всякий раз оказывался шарлатаном, поманившим большого верой в его исцеление. Но, быть может, дело тут вовсе не в обаянии и даре записного шарлатана, а в том, что люди, поверившие ему, были действительно больны неизлечимо — страхом, неверием в себя — и просто недостаточно сильно любили жизнь — не эту, в которой им зачастую не давали развернуть свои способности, преследовали за убеждения, душили творческую мысль, а просто жизнь... Отец никогда не думал о том, чтобы произвести на окружающих неизгладимое впечатление, но оно всегда оказывалось настолько мощным, что его можно было сравнить с головокружительной страстью, мгновенно меняющей облик мира, когда жизнь начинает прорастать из каждой поры невиданными чудесами. Все в нем покоряло людей, особенно молодых: его твердая вера, что жизнь, несмотря ни на что, прекрасна, независимость суждений, сила и самостоятельность, то, что он воевал, сидел в лагерях и шарашках, что был близок с Курчатовым, знал Тимофеева-Ресовского и Риля, что он свободно говорил на трех европейских языках, был остроумен, необычайно работоспособен, что вокруг него спонтанно завязываются праздники, какие-то чаепития, арбузики и капутники, что он одинаково любезен с ректором и институтской вахтершей, что здоровается с нищими за руку, величая их по имени-отчеству, что у него красавица жена. Все это было так, он действительно был таким, каким его видели, но все-таки, будучи больше самого себя, он бывал и другим, не вмещааясь в созданные для себя рамки и установки, — быть может, именно в этом и заключалось трагическое его обаяние. Не он представлял угрозу для общества, а общество, на мой взгляд, еще не сумело дорости до отца, поэтому оно всегда оказывалось страдающей стороной.

После скандала с той женщиной, получившего большую огласку, отца общим голосованием изгнали из института, и он уехал устраиваться на работу в Куйбышев. Однажды его коллеги явились к нам в дом целой делегацией. Мы недавно получили квартиру и даже как-то сумели ее обставить. Но когда они возникли на пороге, мама сдержанно пригласила их на кухню, показав гостям, что душевных излишней от нее ожидать не следует. Они прошли за нею гуськом по коридору, двое мужчин и одна женщина, с сумрачными лицами жертв, влекомых на заклятие. Наверное, этим людям представлялось, что они пришли с благородной миссией, с предложением помощи и поддержки в трудную минуту. Но я видела перед собою каких-то старых, невзрачных людей со слежавшимися мыслями, с бесприютной душой, напрасно ищущей себе пристанища в науке, негодующих на жизнь оттого, что наука оставила их с носом, безнадежно блеклых... Их

смущало отсутствие на лице мамы какого-либо отчетливого чувства, это сбивало их с толку, и они никак не могли начать. И когда мама сухо спросила: «Чем обязана?» — востроносый молодой человек, ответственный секретарь института, с гримасой, означающей, что он понимает тягостность возложенной на него миссии, но иначе поступить не может, извлек из кармана вчетверо сложенную газету и протянул маме.

Мама мельком взглянула на заголовок статьи — «Авантюрист на кафедре» — и тут же вернула ее.

— Вы уже прочли статью? — удивленный, спросил секретарь.

— Мне незачем ее читать, я знаю, что там может быть написано, — проговорила мама.

— С нашим институтом связались компетентные органы, — почтительным к органам тоном сказал секретарь, — и они сообщили...

— Я уже догадалась, что они связались с вами, и представляю, что они вам сообщили, — перебила его мама.

Секретарь развел руками, и в разговор вступила крупная пожилая преподавательница органической химии, которую отец называл гренадершей.

— Здесь сказано, что ваш муж во время войны активно сотрудничал с немцами...

— Не сомневаюсь, что там именно так и сказано, — с отвращением произнесла мама.

— Вы хотите сказать, что это неправда?

— Я совершенно ничего не хочу сказать, — нетерпеливо возразила мама. — Это вы что-то имеете сообщить мне... Что именно? Я уволена?

Мамин вопрос как будто поставил эту маленькую группу в затруднение. Третье действующее лицо, мамин начальник Андрей Андреевич, профессор, всегда относившийся к ней с симпатией, протестующе поднял руку:

— Нет, что вы! Напротив, мы очень просим вас остаться... Нам кажется, после того, что произошло, вы не должны следовать за вашим мужем...

— Об этом позвольте судить мне самой, Андрей Андреевич, — сухо заметила мама, и тут поднялся ответственный секретарь, бывший папин аспирант, видимо раздраженный ее тоном.

— Мы очень, очень в нем разочарованы — как в человеке и ученом! — сказал он.

Тут у меня буквально руки зачесались их выгнать. Они, видите ли, разочарованы! Да воображают ли эти люди, что говорят! Отец был волшебными очками, через которые они видели себя большими и яркими, такими, как он, и вдруг эти очки слетели с их глупых носов, и они снова видят в зеркале все ту же свою вчерашнюю, приевшуюся физиономию и не знают, что с ней поделать. Пошли вон отсюда, дураки! Мой отец, обманщик и развратник, он выше вас всех на несколько голов, хотя бы потому, что он сам обманывает, а не обманывается, сам развратничает, а не сплетничает о чужом разврате!

И тут «гренадерша», полная негодования, сообщила новость, которую они, видимо, решили выложить в последний момент.

— Вы не все знаете. Мы считаем, что ваш муж явился виновником гибели той женщины... — с удовольствием произнесла она. — К нам дозволились из милиции и сообщили, что она попала под поезд. Наверное, это не случайная смерть. Скорее всего, бедная женщина наложила на себя руки...

И тут они все получили вознаграждение за свой приход. Мама побелела лицом и сползла по стене на пол. Вокруг нее тут же началась беготня со стаканами воды, носовым платком и валерьянкой...

ОКАЗАВШИСЬ ОДНАЖДЫ В МОСКВЕ, Я СЛУЧАЙНО НАБРЕЛА на библиотеку для слепых. Это было удивительно. Еще полчаса назад, поднимаясь по эскалатору станции «Добрынинская», я вспоминала, как

Коста рассказывал о своих поездках в Москву. Мать и сестра отводили его в библиотеку на целый день, а сами отправлялись по магазинам. Его там уже знали и даже, горделиво сообщил он, питали к нему слабость, особенно библиотекарь Зоя Федоровна, да и заведующая Тамара Алексеевна тоже, встречали как родного, чаем поили, а когда Тамаре Алексеевне случалось ездить в нотную библиотеку для слепых, Коста увязывался туда с нею. Судя по его рассказам, он вел себя в библиотеке так же, как любой зрячий заядлый книголюб: долго бродил между полок, насыщаясь прикосновением к корешкам книг, раскрывая их на любой странице, вытягивая нити уже знакомых сюжетов, перебираясь из одной страны в другую, из прозы в поэзию, наслаждаясь бродяжничеством пальцев, под которыми оживали слова. У него дома тоже были книги, которые мать выписывала через общество слепых, но здесь их было — как прекрасных наложниц в гареме. Улыбка, должно быть, бродила по его лицу...

Я медленно шла в сторону Зацепы, продолжая все это вспоминать. Проходя мимо одного тусклого здания, я ощутила какой-то толчок и подняла голову. Прямо перед моими глазами в немытом окошке белела за стеклом картонка с надписью: «Библиотека для слепых. Вход со двора». Обрадовавшись, будто встретила на чужих улицах знакомого, я пошла туда, куда указывала стрелка.

За конторкой сидела худенькая миловидная женщина в очках.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте.

— Вы Зоя Федоровна?

— Нет, Зоя Федоровна отлучилась по делам, уехала на полчаса в нотную библиотеку.

— На Куусинена?

— Да.

— А вы Тамара Алексеевна?

— Совершенно верно.

— Привет вам от Коста из Цхинвали.

— От Костика? — улыбнулась она. — Спасибо. Давно не приезжал Костик. Вы тоже из Цхинвали?

— Нет, но мы учимся вместе.

Все свободное пространство вокруг нее было заставлено кассетами.

— Скажите, пожалуйста, а как выглядят у вас книги?

— Хотите посмотреть? Пожалуйста, можете пройти...

Я прошла в зал, заставленный полками с огромными, тяжелыми книгами. Это были фолианты желто-серого цвета с тисненными синими буквами аршинными названиями, все почти одинаковой толщины — книги-близнецы, похожие друг на друга, как истории болезней. Разницу между ними могли почувствовать только пальцы. Я трогала их корешки, брала в руки, раскрывала, но с их страниц на меня смотрела какая-то арабская вязь, китайские иероглифы... Их внешний вид ничего не говорил мне; в обычной библиотеке, бывало, тронешь корешок книги пальцем, и он в ответ зазвенит, как клавиша, знакомым звуком, и с потревоженных страниц, как пузырьки воздуха, поднимаются знакомые имена. Здесь все молчало. «Овод», — прочитала я огромное слово на огромном томе и вспомнила свою плотную синюю книжицу. Я раскрыла «Овода», но никаких доказательств, что это именно «Овод», отыскать не смогла. Прикрыв веки, я попыталась на плотных страницах прочитать имя Джеммы, но мои слепые пальцы нащупали только мелкую сыпь неведомых муравьиных букв — если это были буквы. А вот «Анна Каренина»... Эта мелкая рябь на озерной глади означает не что иное, как «Все смешалось в доме Облонских...». Но где здесь круглое «О»? где «все»? где «дом»?.. Целая полка была заставлена тяжелыми снарядами «Войны и мира» — среди каких страниц затерялся вальс Наташи, об этом знает Коста. Здесь он был бы моим зрячим проводником, он водил бы моей слепой рукой по пупырчатым страницам. И еще — у этих книг не было запаха! В библиотеке не было запаха книг.

Толстая слепая девушка со старческим лицом сидела за столом и, устремив взгляд сквозь стену, читала левой рукой. Должно быть, левша. И я, по привычке заглянув в ее книгу, увидела там то же — стершуюся наскальную живопись, татуировку, неведомый алфавит, тайну которого не дай Бог прочесть. Эти книги навевали сон и страх, как если бы все музыкальные произведения транспонировать в одну тональность.

В Москве мне предстояло выполнить одно важное поручение. После окончания сессии за день до отъезда Регина Альбертовна вручила мне запечатанный пакет из плотной серой бумаги, надписав на нем фамилию человека, которому предназначалась посылка. Я должна была встретиться с ним и отдать пакет. Я знала, что находилось в этом пакете. Две магнитофонные катушки с записанными на пленку фортепианными сочинениями Коста, ощутившего в себе дар композиции и мечтавшего теперь о встрече с этим загадочным человеком — жителем Москвы, бывшим однокурсником Регины по Гнесинскому училищу, а ныне современным авангардным композитором. В отличие от Регины Альбертовны, училище он не закончил, в свое время пострадав в ходе каких-то бурных революционных событий на факультете, после которых был отчислен с их третьего, что ли, курса — за неисправимый формализм, задолженность по политтеоретическим дисциплинам и вызывающую несдержанность в объяснениях с ректором. Он был дружен с Региной, слал ей письма на Кавказ, куда она уехала преподавать после того, как решила, что исполнителя из нее не выйдет, и даже заезжал к ней иногда в гости по дороге в свой любимый Дилижан, всегда даривший его приливами осеннего вдохновения.

...Я набрала номер телефона. Трубку долго не брали, потом я услышала резкий недовольный голос:

— Вас внимательно слушают.

— Простите, что беспокоила вас, — заговорила я. — Я в Москве проездом, через несколько дней уезжаю домой, у меня для вас пакет от моей учительницы музыки Регины Альбертовны...

— Да, Регина написала мне. Речь, кажется, идет о сочинениях одного молодого композитора — очередного местного гения, раскопанного Региной во глубине кавказских руд?.. Неугомонная женщина. Этот парень, как я понял, болен? Он что — прикован к постели, полностью парализован? Почему он перекладывает на женщин свои творческие дела?

— Он слепой. Но очень талантливый и умный человек.

— Хм. Час от часу не легче. Как же он ноты-то записывает и читает? Ах, ну да — по Брайлю. Надеюсь, что это не песни под гитару. Предуспеждаю, что эстрады для меня не существует. Ладно, давайте вот как с вами договоримся. Вы оставьте, пожалуйста, свой пакет в моем почтовом ящике, а через два дня попробуйте мне перезвонить. К этому времени, я надеюсь, уже смогу вам что-то сказать. Адрес мой вы знаете?..

Адрес я знала.

Не сразу я заметила, что слепые мои товарищи боятся грозы.

Впервые я увидела здешнюю грозу из окна их комнаты. Задолго до ее начала мы перестали разговаривать; первой умолкла я, а затем затихли и они. Мы чувствовали, что в воздухе идет буйное созревание катастрофы. Мертвенный зеленоватый свет сгушался в небе, и вот настала невыносимая, отчетливая, прозрачная тишина, какая бывает в театре, когда дирижер уже поднял палочку, но музыка еще не грянула. Тишина царила за моей спиной, будто и слепые тоже затаили дыхание. Им, должно быть, казалось, что тьма, окутавшая их с рождения, — недостаточная защита перед лицом еще большей тьмы, и вот — затаились в ее предчувствии. И тут зазвучали голоса титанов, разрывающих небесные тела, как сырое мясо, и сокрушающих душу ни на что не похожей музыкой... На небе поминутно происходили страшные, картинные обвалы облаков. Ветер, как бунтовщик, размахивал стягами волокнистых полотнищ, озаренных снизу лучами заходяще-

го солнца, голубое небо ломилось сквозь тучи, разрываемые в клочья и тут же сраставшиеся, как будто души, растворенные в нем, с безумной силой рвались обратно на землю. Величественному действию этой грозы гораздо больше подошла равнинная местность, здесь, в этом пространстве, сокращенном горами, грозе было тесно, не для того она копила свою графитовую мглу и собирала в нее влагу, чтобы удариться с размаху в крохотное донце города. Здесь драма грозы начиналась сразу с четвертого акта и завершалась гибелью невидимых героев-титанов, после чего в мире наступала такая тишина, как будто заодно с ними погибали и зрители.

Наша комната вздрагивала в испуганном свете молний. Слепые сидели по углам, закутавшись в одеяла, как истуканы с белыми лицами и остановившимися белыми глазами, будто молния лишь секунду назад испепелила их зрение, а гром, раскалывающий небесные тела, стремился теперь отнять последнее, что у них осталось, — их абсолютный слух... Я закрыла окно, отодвинув яростный шум дождя, и никогда больше не оставляла их одних в майские и июньские вечера, когда сгушался озон и деревья начинали так шелестеть листьями, точно силились заговорить человеческими голосами.

Наутро после грозы Коста пришел к нам, чтобы рассказать сон, увиденный им нынешней ночью.

Его слова повергли меня в замешательство. Слепые видят, подумалось мне; парадокс, заключенный в этой фразе, вовлек мою мысль в воронку метафор, доступных личному опыту, и слова, которыми они были обозначены, рвали смысл в клочья. Сначала моя мысль, как намагниченная, вращалась на поверхности аналогий: «глухие слышат», «парализованные двигаются», «предметы ведут беседу», — затем соскользнула глубже: «мертвые живут» и «живые мертвы», — после чего вступила в эпицентр алогизма «я — не я», и, когда я на секунду ощутила, что «я не — я», сознание померкло, как меркнет, наверное, помраченное песней око соловья...

Между тем Коста счел мое молчание за приглашение к рассказу и заговорил, возвращая мою фантазию в обычные пределы. «Видел» для него, как и следовало ожидать, означало «слышал».

— Представь себе, — молвил он, — мне приснилась ре-минорная фантазия Моцарта, исполненная в соль-диез миноре от начала и до конца. Вообразить себе не можешь, какое это страшное неудобство: я во сне как будто пытался сдвинуть планету, желая транспонировать мелодию обратно в ре минор. Проснувшись, долго не мог прийти в себя, вспоминая это странное звучание. Если б я сам был этой мелодией, у меня возникло бы ощущение, что моя душа перебралась в чужое, незнакомое, неудобное тело. Проймай мысленно хотя бы несколько тактов — чувствуешь, как мелодия пытается занять чужое место?.. Теперь я понимаю, почему Шуман сошел с ума, когда все его мысли начали соскальзывать, как приговоренные, в си минор. Попробуй переведи в любую другую тональность «Лунную», от ее меланхолии не останется и следа, и лунный пейзаж исчезнет... Впрочем, — небрежно закончил он, — если ты не можешь этого представить, пойдем, я тебе сыграю.

Я быстро освоилась с домом Ольги Ивановны, но если обывание слепых в этом доме происходило путем прикосновений, то мое протекало за счет зрения и слуха. То, что видел глаз, было декорацией, которой не следовало доверять, вернее, частями декораций, подобранных из разных спектаклей, поспешно объединенных в страдающий мерцательной аритмией организм. А еще жилище ее представляло собою неверно решенную задачу по гармонии. Неточная модуляция изломанной в суставах мелодии, кое-как сплетающейся в картину обрамленного диким виноградом заката, который, собственно, и проливал угасающий свет истины на ошибки ведения гармонического голоса, ладовую чересполосицу резного красного дерева старинного буфета, переходящего в черную полировку благородного «Блютнера» и спотыкающегося об уцененные временем книги, штампо-

ванный шкаф и грубые театральные портьеры. Разные тональности, различные лады, сплошная дисгармония, но тем не менее совокупная душа этих вещей слилась в мерцающем воздухе залы.

Коста иногда играл нам на рояле. Темный воздух этой залы как нельзя более подходил Шопену или Скрябину, а слепые были самой благодарной публикой, таявшей на разных глубинах дома в мягких креслах и на диване. Но Ольга Ивановна меня мучила. Она сидела в картинной позе вождя, слушающего Гольденвейзера, по временам оживая, чтобы пальцами повторить в воздухе какую-нибудь музыкальную фразу, и я, как приступа дурноты, ждала, когда она достанет из кармана платок и поднесет его к действительно увлажнившимся глазам. Мне были непереносимы ее слезы, я видела за ними многовековую дрессуру человеческого зрения, натасканного на жест, на штамп. Этот носовой платок... Чего бы я не отдала тогда за неожиданность поступка, авантюрное проявление свободного духа... вот если бы, предположим, думала я, Ольга Ивановна отрешилась от Скрябина, выхватила из кармана револьвер и всадила пулю в изображение человека, закрытого, как подслушивающий Полоний, шторками, в своего действительно расстрелянного отца, от которого ее вынудили публично отречься на комсомольском собрании Ташкентского театра оперы и балета, куда она поступила перед войной молодой, начинающей солисткой, — может быть, это бы его воскресило. Как не могли воскресить слезы. И когда однажды в конце зимней сессии я пришла к ней одна, чтобы послушать «Демона» (коробку с пластинками я давно у нее заприметила), я специально поставила свое кресло к окну, чтобы не видеть ее слез...

Я давно не слушала «Демона», а между тем это была любимая опера отца. Отец в этот год прихварывал, наверное, давала о себе знать знаменитая катастрофа на Урале, в результате которой в озерах Швеции и Канады до сих пор находят мышьяк и цезий. Мы с мамой успели улететь с объекта до аварии, а отец, работавший на ликвидации ее последствий, — после. Очевидно, у него незаметно развилась ХЛБ. Появилась быстрая утомляемость, озноб по утрам, ороговение кожи на суставах. Письма его ко мне изменились. Из них ушло его обычное морализаторство и всегда удивлявший меня пафос, словно за его плечом стояло государство и косило в письмо свой неподкупный глаз; теперь он писал про дачный участок, который недавно получил, про приобретенный им садовый инвентарь, про то, как он уже разбил землю на несколько частей, чтобы разное рассаживать на ней растительные культуры и разное их удобрять. Как всякий истинный естественный испытатель, он уже распланировал садовую работу на годы вперед, обложился справочниками и выписками из агрожурналов, надеясь в скором будущем опытным путем добиться максимальной урожайности этих розоцветных многолетних и клубненосных. Он больше ни о чем меня не спрашивал, словно боялся задавать вопросы о будущем, чтоб не искушать саму судьбу...

В этой опере массовые сцены, на мой взгляд, самые замечательные. Ни прозрачный, как эфир, романс Демона, ни мелодичная песня Тамары в последнем акте, ни предсмертная ария Синодала не могут идти в сравнение по богатству музыкальной ткани с хорами, с «Ноченькой», с «Ходим мы к Арагве светлой...». Но особенной мощи и красоты хор достигает в сцене, в которой старый слуга сообщает о гибели Синодала, голоса Тамары, Демона и князя Гудала он поднимает на недостижимую высоту музыкальности, и реплика Демона («К тебе я стану прилетать...») низвергается с этой высоты, как горный водопад. Тамара молит отца отпустить ее в монастырскую обитель, и соболезнующий хор сразу проникается ее горем, пока отец еще пытается прибить к уговорам. Как ропот, нарастают требования хора: «Благослови ее!» В этом хоре, в древнем голосе мудрости, созревает отцовская жертва: «Иди, дитя мое, под Божьей сенью отдохни...»

Слезы подступили к моим глазам. Я представила себе отца, отпускающего меня в мою судьбу, в безвестность, в безграничный мир с такой же тревогой и кротостью, как и старый князь. Он слишком стар и слаб, что-

бы научить меня, чересчур доверчив, чтобы оградить от демонов мое сердце, ему бы довести до завершения свою научную тему, а потом разобраться с розоцветными... *Борьба Ангела и Демона* закипела в оркестре над синим зигзагом Кавказского хребта. Я знала, чем дело кончится. Я потихоньку оглянулась на Ольгу Ивановну. Она сидела за закрытым роялем, перелистывая партитуру оперы со странным выражением лица, точно собиралась уличить исполнителей в неточности. Уловив мое движение, она подняла голову и рассеянно усмехнулась, когда Ангел провозгласил: «Ко всему, что сердцу мило, не касайся ты!..»

— Перед войной я пела Тамару... — сказала она. — Боже, как я любила эту оперу! Это была моя лучшая партия, я исполнила ее не менее тысячи раз. В войну мы выезжали на фронт с концертами, много ездили по госпиталям, я пела для раненых. Во время одного из концертов простудила горло. У меня развилась болезнь связок, о сцене пришлось забыть. Я чуть не наложила тогда на себя руки... Муж от меня ушел, отец был арестован и пропал без вести...

— А почему вы отказались от своего отца? — мстительно задала я свой вопрос, продолжая думать об отце *своем* и невольно подставляя его на место этого человека с трагическими глазами, закрытого от всех шторками. Ответ Ольги Ивановны меня как бы мало занимал, я знала заранее, что она скажет о трагизме эпохи, о слепой верности идеалам, о круговой поруке коллективной вины.

— Мне очень хотелось спеть Тамару... — сказала Ольга Ивановна просто.

Я молчала, пораженная ее ответом. Такое мне и в голову не приходило.

— Вы бы знали, каких сил мне стоило получить эту партию... Сколько вынести грязи. Вы, сегодняшние, и представить себе не можете, в какое время мы жили, какими мы были доверчивыми, беззащитными девочками, летевшими, как бабочки, на огонь святого искусства. Я верила, что отец бы меня понял. Мне очень хотелось петь...

Откровенно говоря, урок сольфеджио нашей группе, обладающей абсолютным слухом, был не нужен. Внести в него какую-то новизну можно было только путем расшатывания звукового ряда и пополнения гаммы четвертьтонами, но в этом случае мы лишались последней своей опоры, тонкой и прочной, как барабанная перепонка, преобразующая первобытный рев хаоса, — семи звуков устойчивой гаммы. Не так уж много на свете постоянных, ни от чего не зависящих вещей и отлитых в вечности формул. Картина мира постоянно меняется, невозможно уследить за каким-нибудь отдельным пейзажем, как за летучим облаком, но простая гамма — это цепь, на которой ходят хоры стройные светил, вот почему я думаю, что слух старше зрения и барабанная перепонка честнее хрусталика, выполняющего помимо главной своей функции еще и роль приманки для разноцветной бабочки пола.

На уроке сольфеджио я слышала *абсолютно* наравне со слепыми, но еще и *видела*, видела зряшность всех этих игр в поддавки с семью звуками, потому что между ее вопросом (аккорд?) и нашим ответом (что это за аккорд) не было ни малейшей паузы, ни с волосок лазейки, куда бы могло просочиться какое-то подобие *наставничества*: выходило, что наша Ольга Ивановна, приставленный к своему предмету пожизненный часовой, была нам совсем не нужна. Она только создавала видимость, а мы послушно, как зеркало, отражали ее мысль, что она нам нужна. Мне это было не впервой, я всю свою жизнь прожила по условиям чужой, развязанной задолго до моего рождения игры, и мне был понятен энтузиазм ее ветеранов.

Я чувствовала, как проходит драгоценная пора ученичества, видела, как проплывает мимо, горя иллюминацией, ее торжественный корабль, но, как во сне, ничего не могла сделать для того, чтобы за мной выслали

спасательную шлюпку. Учителя мои большей частью оказывались бессовестными шарлатанами и фокусниками, незаметно стянувшими с кисти моей руки мои часы, мое чистое, единственное время, они одурманивали мой мозг чадом своих унылых, сомнительных знаний, полученных ими самими из третьих рук. Они с большим толком научились распоряжаться своими пороками, чем мы — добродетелями. Они были отпетыми мошенниками и лицемерами, но пока не знали об этом. Лицемерен ли волк, несущийся по следу косули? Самая большая драма мира в том, что он вечно голоден и его не насытит урожаем, собранным со всех планет. Наверное, где-то были учителя, способные научить чему-то еще, кроме лицемерия и цинизма, но куда за ними плыть? Где они скрывались? Не найти к ним путеводного ориентира, а если я и дотянусь когда-нибудь до настоящего наставника, кто может поручиться за то, что к тому времени самые чистые и глубокие ячейки моего мозга не затянет тиной. И вот приходится слушать старческое бормотание унылых рутинеров и висеть на их дряблых нитках, как марионетка, чувствуя, как из тебя, точно кровь, вытекает по капле доверие к жизни и ум сжимается в низких температурах всеобщего помрачения. И я уже не верила ни единому их слову: ни что Татьяна — натура исключительная, ни что Шуберт принадлежит к группе композиторов-романтиков, я боялась во все это поверить, старалась сразу забыть урок, чтобы зараза ко мне не успела пристать...

Но слепым-то зачем было корчить из себя еще и слабослышащих? Они-то для чего включились в эту игру — из жалости к Ольге Ивановне, что ли, которая в их лице могла лишиться своей полставки? Ведь этот мир не смел распространять на них свои нечистые законы, почему они не могли заявить: не примазывайтесь к нашей беде! Ведь они с налету, как бабочек, ловили ритм и звук, их шильца, похожие на прибор для забора крови из пальца, тут же накальывали мельчайшую пыльцу паузы на нотный стан, ни одному звуку не удавалось соскользнуть неопознанным с их странной карандашей. А наша учительница продолжала тем не менее ломать комедию якобы обучения нас сольфеджио, не умея предъявить ни одной нашей ошибки, ни секундной заминки после того, как прозвучал аккорд. «Секст... квартсекст... малая терция... квинта...» — хором отвечали мы. Может, весь процесс сводился для нее к надежде на одну-единственную ошибку в диктанте, которая укрепила бы ее позиции и вдохновила на дальнейшую вербовку слепых с абсолютным слухом из всех регионов Кавказа?

Во мне все время жил соблазн раскрыть слепым глаза на Ольгу Ивановну, я хотела дать им понять, что ее бескорыстная к ним любовь, перед которой снимал шляпу весь директорат училища, была замешана на опасении вылететь из штатного расписания, что вкусные чаи, которые мы гоняли в ее доме, заварены не на столь альтруистском составе, как кажется, что ее трогательные и самоотверженные попытки приручить эту дикую, доисторическую стихию, каковой была их слепота, на самом деле есть свирепое желание удержаться на плаву, стремление оградить себя от конкуренции среди молодой поросли выпускников консерватории, ищущих места, не дать справдаться себя на пенсию, чтобы в конечном итоге иметь возможность, навещая внуков, торжественно вытащить из авоськи лишний кулек дорогих конфет.

По весне, когда начинали зацветать наши яблони, Ольга Ивановна выводила слепых на прогулку. Среди непрочной, почти непосильной для зрачка красоты цветущего райского сада мы с ней вдвоем, как два грешника, провозжали четырех ангелов в сторону заката и нагло, будто купцы, поднаторевшие в своем зрячем торговом деле, расхваливали сад, как товар. В это время небо брало свою самую высокую синюю ноту, которая пронеслась над садом, как вздох, и после нее уже выкатывали огненные колеса южных созвездий. И весь мир был полон таким чистым звучанием, что ответом ему могли быть только слезы. Но как объяснишь это слепым. Ольга Ивановна начинала читать стихи. А у меня сердце сжималось от неловкос-

ти. И это был Блок, это была, допустим, «весна без конца и без края...». Слепые неуверенно морщили рты в улыбке. Произнесенные нестерпимо фальшивым приподнятым тоном, в котором многие люди ее поколения покоились всю жизнь, как в мутной оболочке бычьего пузыря, насколько ее стихи отличались от тех великих строк, которые глаза бережно вынимали, как драгоценность из бархатного футляра. Как невыносимо звучат наши голоса, особенно на закате. Мне хотелось потрясти ее за плечи. Неужели для этого типа так называемых интеллигентов нет ничего святого: ни чужого горя, ни поэзии, ни природы, ни немного озноба красоты... И я не верила их восторженности, их любви к жизни. Какая может быть восторженность, когда они жили в такие времена, пережить которые можно было только шепотом, скорчившись в уголке, не поднимая глаз, перебегая майдан на цыпочках — именно так они и поступали; читали своими восторженными голосами предписанные им, быстро выцветающие стишки, надрывали глотки на марше или просто открывали рот, чтобы не нарушить общей восторженной синхронности. Они гордятся, что сумели выжить и сохранить душу живую, но у меня, к несчастью, абсолютный слух. Когда они говорят о своей любви к жизни, я слышу, как голоса их дают трещину, не выдерживая тяжести горечи и неправды.

— Какой дивный аромат, Коста, понюхай...

Коста нюхает цветок. Она изо всех сил пытается им подыграть, делая вид, будто от мира мало что убудет, если его только осязать и слышать. Это заведомая ложь. Мир так богат и разнообразен, рудименты наших органов чувств не в силах охватить и миллионную его часть... Ольга Ивановна ласково посыпает их головы лепестками яблонь. Слепые, зажмурившись, чувствуют, как порхает мимо их лиц красота сада, как сад, стряхнув на них свою пыльцу, целиком уносится в сон... Почему бы им было не трахнуть кулаком по тоненькой перегородке между явью и забытьем, между светом и тьмой, почему бы не дать пинка зрячим, играющим с ними в свои игры, почему бы не выйти из своей батисферы в чистый космос отчаяния и крика — так нет: они, как глупые дурнушки, радующиеся любому знаку внимания, тянутся к тем, кто мнит себя зрячим.

В ту весну ветер выл над нашим городом с таким страшным, жестяным звуком, точно все силы небесные навалились на какую-то ледяную, примерзшую к земле дверь. Дым, валивший из труб нефтехимкомбината, смешивался с темными клочьями летящих по небу облаков, как пепел огромного кострища. Ночью гул ветра усиливался, по крышам прокатывались грохочущие звуки, ветер гнал в спину весну, и казалось, что она вот-вот вмерзнет в лед, как доисторическое животное, и время застынет на ледяной отметке. Но если календарь все же возьмет свое, осилит бесчинство зимы, какая же, мнилось, хлынет из всех пор земли весна, какие обрушатся на землю краски, какие восстанут надежды!

Именно благодаря ветру приоткрылась передо мной завеса, за которой скрывались чувства отца, таинственные чувства человека, которого я никак не могла до конца разгадать.

Это было письмо... Оно было адресовано мне, а я должна была вот-вот уехать на Кавказ.

«Дорогая дочь... — прочитала я, ползая по полу кабинета и собирая развеванные внезапным сквозняком бумаги (в голове у меня промелькнул образ почтальона, например моей старой игрушки, заводной курицы, под крыло которой отец когда-то прилаживал свои послания, чтобы, покрутив как следует ключиком, направить курицу в соседнюю комнату, где я медленно выздоравливала после очередной болезни), — ты снова далеко, среди гор, среди чужих людей, так далеко, как была тогда, когда я впервые взял тебя на руки и почувствовал, что это мое дитя, но вместе с тем зреющая бесконечно далеко в небе душа...» — писал отец своим крупным готическим почерком.

Я отвела глаза. Это письмо было адресовано мне, но еще не отправлено, не вручено, и я не знала, могу ли прочитать его прямо сейчас... Прикрыв форточку, я стала укладывать бумаги отца на письменный стол, размышляя, что же могло означать это письмо, как странно, ведь я еще здесь, рядом с ним, по вечерам отцу все еще приходится затыкать уши ватой, когда я играю перед сном очередную порцию гамм... Кажется, ничего не мешает нам сесть и поговорить. Ничего — но нет, это непредставимо. Такая даль, такая невозможность. Ее не осилить словом. Я уже давно отвожу глаза от его глаз, так же, как от мертвых очей слепых, которых я могу видеть, а ни меня — нет, и поэтому я стараюсь на них не смотреть, чтоб не встречать их невыносимых взглядов. Я не могу отвечать на его вопросы, они так же наивны, как вопросы слепца Жени. Возможно, отец это почувствовал, оттого и не вызвал меня для беседы в свой кабинет и не направил на меня, как бывало, свет своей настольной лампы: чтобы как следует видеть тебя, дитя мое!.. Но, может, причина не в этом, может, он, как всякий человек слова, питал доверие не к звуку, который к делу не пришьешь, а к бумажному слову, что не вырубить топором, занесенному на скрижали. Может, рассчитывал на эффект расстояния, на то, что тоска по дому удесятрит мое внимание к его словам...

Осталось разгадать, почему он написал письмо ко мне сейчас, авансом. Поразмыслив, я набрела на самую заурядную причину: в мае у отца началась очередная серия опытов в институте, и он знал, что времени у него не будет. Поэтому, пока оно есть, он должен был использовать его для дела, для письма, которое тоже труд, в отличие от простого разговора, — по крайней мере требует собранности, протертых носовым платком очков, света настольной лампы, бумаги, то есть всех атрибутов его божества...

Остальное я дочитала уже «среди гор», спустя полторы недели:

«Я оценил молодой задор, с которым ты обличаешь учителей своих. Верно, это камешек и в мой огород. Но твоя беда в том, что ты рассматриваешь различные явления, в частности лжеучительство, обособляя их от самой себя, ведь ирония — это и есть попытка обособить. Твоя ошибка: ты считаешь, что учителя присваивают твоё драгоценное время, не будь их, мнится тебе, ты расцветешь, как пальма под солнцем. Это мнение неверное. Ты уже приискиваешь себе объяснение собственной несостоятельности, отсюда твоё критиканство, отсюда бесплодная, слепая ирония. Её отец — штамп (в склонности оному ты пытаешься обвинить меня), мать — лень и поверхностность. Любого «учителя», любого человека в своей судьбе следует рассматривать в контексте личного душевного опыта и некой природно-божественной данности, к любому явлению надо подходить смиренно и, главное, терпеливо, не строить о нем поспешных умозаключений, приводящих к одной из самых разрушительных идей: если мир таков — значит, я буду таким же. Именно на этой зыбкой почве плодятся демоны пессимизма, которым надо твердо сказать: да, мир таков, учителя несовершенны, люди за редким исключением заурядны, но я буду таким, словно он исполнен радости и благородства. Прошу тебя, сохрани это письмо...» — заканчивал свое послание отец. Это «прошу тебя» вместо привычного «требую» поразило меня, как проявление отцовской слабости... Я свернула письмо и спрятала его в коробку с документами.

Однажды Коста пригласил меня послушать музыку одного современного композитора.

Это была магнитофонная запись, сделанная на концерте с живого звука в Таллине. Коста строго предупредил меня, чтобы я на время отбросила все свои традиционные представления о классике и что музыка эта — гениальна. Мы слегка с ним поспорили, возможен ли случай гениальности в наши дни... Поток времени замутился, стоит ему, времени, отстояться в каком-нибудь творении художника, как через десяток лет идеи и образы начинают выпадать в осадок: слова, например, больше не удерживают в себе литературу, цвета — живопись, а звук — музыку. Коста сердит-

то возразил, что это традиционные мелкие доводы, окрашенные обычным пессимизмом, и, проговорив: «Имеющий уши да услышит», нажал кнопку магнитофона.

Это была атональная, лишённая ладовых свойств музыка, в нашей стране она ещё существовала на птичьих правах, поскольку постановления партии от сорок восьмого года о формализме в искусстве, и в частности об атональной музыке, создающей бессвязное, хаотическое последование звучаний, ещё никто не отменил. И в самом деле, ничего так не боялись учителя наши, как хаоса, они настаивали, что и звуки должны маршировать стройной шеренгой в определенном порядке, что слова должны точно выражать чистоту наших намерений, а кисть, как указка, обязана демонстрировать определенный предмет. Но хаос — одно из условий существования души, часть миропорядка и высшей гармонии, вот почему мое поколение поразила болезнь двойственности: мы не знали, где кончаемся мы, а где начинается государство, осуществляющее свой пристальный пригляд.

Эта музыка не имела темы, её можно было безбрежно продолжать и вправо, и влево. Я сейчас узнала её по отдаленному эху стеклянного звона, создававшего странный, сновидческий эффект, присутствующий во всех произведениях этого композитора. Казалось, в ней не было логики, она воздвигала свои построения в каком-то немзыкальном, запредельном пространстве, её образы громоздились, как грозовые тучи над горным озером. То, что я принимала за стекло и железо, на самом деле оказалось колоколами, колокольчиками и ксилофоном в обрамлении скрипок высоких регистров и хроматическими комментариями альтового гобоя. Это объяснил мне Коста. Прикрыв веки, как слушают музыку зрячие, он вполголоса продолжал свои объяснения, помогая себе рукой: «Челеста, альты, ионика, заметь, а не фортепиано...» Мне было интересно, какие образы проплывают под его пульсирующими веками. «Сейчас подключатся голоса, — предупредил Коста, — они называют имена: Антоний, Иоанн, Августина, Аполлинария, Лариса, Гермоген, Вероника, Владимир...» — «А как имя композитора?» — спросила я. «Вячеслав».

Я шла в гости к этому композитору.

По телефону мне был строго указан день и час, маэстро может уделить не более тридцати минут, большая просьба не опаздывать. Сварливым тоном. В котором, впрочем, против нашего первого разговора, зазвучала таки отчетливая трещинка. Или мне это показалось?..

Я вошла в знакомый уже подъезд с геранями и традесканциями вдоль белых кафельных стен, со стеснением вспоминая, как на глазах недоверчиво следящей за мною старушки с пуделем долго пыталась затолкать в узкую щель почтового ящика пакет с пленкой, пока не обнаружила, что ящик свободно болтается на одной петле и, таким образом, легко раскрывается для любых вложений. Как, впрочем, и изыятий.

Выйдя из лифта, я нажала перед нужной мне дверью кнопку звонка. Дверь открыла статная женщина в кухонном переднике, с круглым, мягким лицом, с русой, на месте сразившей меня, косой, уложенной короной на голове. Она безмолвно приняла из моих рук букетик ромашек, купленный по вдохновенному наитию у метро, и пригласила пройти в конец длинного коридора.

На кухне спиной к батарее отопления сидел на корточках бородатый человек и ел из миски картошку с укропом. Перед ним на табурете лежала телефонная трубка, к которой он время от времени наклонялся, чтобы сказать: «Да-да, я понимаю...» Из трубки лился напористый голос, слов было не разобрать. Не вставая с корточек, бородач подал мне свою руку — бугристой мужицкой ладонью вверх; недоумевая, я вложила в его протянутую руку свою, как он вдруг, сжав мою руку будто клещами, неожиданно оперся о нее и привстал, с видимым усилием разогнув спину.

— Миль пардон, мадемуазель... Радикулит, враг всякого композитора и человека.

Он отставил пустую миску на подоконник, одернул на себе красивый, но несвежий клубный пиджак и громко сказал:

— Кстати, вот вам пример классического контрапункта... — он кивнул на телефонную трубку, что-то говорившую свое газовой плите, уставленной жизнерадостно кипящими кастрюлями, — или, если для вас это более внятно, параллельности существований...

Мы сидели в кабинете. В этой голой комнате стоял лишь рояль. В углу светилась кубиком дорогая стереосистема.

— Вам нравится Москва? — спрашивал меня композитор. — Вам она должна нравиться. Вы музыкант, город заряжает вас ритмами и звуками. Вы живете в мире звуков. Что есть музыка и что есть жизнь? Думали ли вы когда-нибудь: сопряжены они или раздельны? Слушая музыку, что мы осознаем в этот момент? Мы понимаем звук, понимаем флейту или понимаем свое существование через звук, через флейту?.. Кто может ответить на эти вопросы?.. Музыка вашего друга талантлива. Сегодня я запишу в своем дневнике, что у меня побывал в гостях слепой музыкант. Не важно, что сам он отсутствовал, — важно, что я услышал его музыку. Я профессионал и слышу не просто то, что исполнено, но как и кем, я слышу и вижу автора, чувствую взволнованное биение его сердца, и хотя я не вижу рук, но представляю себе, как они летают по клавишам, перебрасываясь одна через другую, и слышу музыку, которая охватывает меня чувством радости и просветления... Я вижу свет в его душе, это главное. Не хочу загадывать, что будет с его талантом. Я переписал для себя несколько его пьес, лучшие фрагменты их войдут в третью часть моей симфонии-тетралогии «Утро мира». Эта тема будет носить название «Визит слепого композитора»... Передавайте ему мой большой привет.

Вечером в комнате подруги, у которой я остановилась в этот свой приезд в Москву, я писала письмо Коста.

Дом подруги стоит на берегу реки Яузы. Слово «берег» совсем не соответствует действительности, оно выжило по привычке, как и слово «Яузарека» — эта издыхающая на глазах, продирающаяся сквозь заросли камыша, едва цедающая свои воды речонка, текущая в каменных берегах. Сегодня посредине ее я увидела мертвую дикую утку; отчего она погибла, не знаю, но умерла с достоинством, спрятав голову под крыло, чтобы не видеть собственной смерти, зарылась в свое последнее тепло — другое крыло распласталось по почти бездыханной воде, слабо и прощально перебиравшей перья... Эта умирающая река течет в нескольких десятках шагов от моего временного жилища, и люди, прогуливаясь вдоль нее, стараются не замечать ее судорожного большого дыхания среди упругих, мощно встающих на ее пути камышей.

Накануне я побывала в специализированном магазине «Рассвет», где, выполняя просьбу Коста, купила рельефную линейку, с помощью которой слепой может вступить в переписку со зрячим. Собственно, Коста меня и имел в виду. Так что эту линейку я приобрела как бы и для себя тоже. Я даже попробовала в темноте кое-что с ее помощью написать. Спустила какое-то время мне показалось, что мои пальцы обретают особую чувствительность, как будто к их подушечкам потихоньку стекаются с поверхности кожи самые чуткие рецепторы. Указательный, средний и безымянный начинают «прозревать». Это занятие увлекло меня, словно я пустилась в муравьиное путешествие сквозь запутанные травы оврага, проходя землю вниз головой — подушечками пальцев. Я ощущала в них биение крови, которая сквозь кожу пыталась прочесть обращенные к ней письма, пульсацию нервных окончаний под броней ногтей.

Это было самое длинное письмо в моей жизни, потому что каждая буква в нем была строительством буквы, ваянием буквы. Я включила свет и некоторое время смотрела на свои руки, как на какой-то родившийся орган, посторонним изумленным взглядом, словно, пока я плавала в темноте, они еще больше выросли, раздвинулись в локтевом сгибе, в кисти и в каждом отдельном суставе пальцев. Я смотрела на них, как занятый гру-

бой физической работой человек смотрит на руки пианиста, дивясь их ловкости, силе и нежности. Но руки пианиста несравненно грубее рук слепца. Я помнила, как они скользили над учебником сольфеджио для слепых, как трепетали над линейками нотного стана, и, наблюдая это легчайшее дуновение жеста, нельзя было не думать о сноровке, о кропотливых часах привыкания к азбуке, об усилении памяти — настолько оно было невесомо-талантливо. Это даже странно, казалось мне теперь, что руки, созданные для такой ювелирной, насекомой работы, способны взять почти полторы октавы. Такие чуткие пальцы!

Я перевела глаза на свою работу. Мой текст выглядел как телеграмма, проплывавшая сквозь цепочку затерянных на просторах страны полустанков и глухих лесоповальных пунктов. Вот что у меня получилось: *«Дузрой Кустрт! Ы копиро тесе релыжнуя лиеньку... Я повтысвала у кумфтозотура... Он фазал, щта ты тоше кений...»*

Подругины стенные часы стрекочут, секундная стрелка дергается, время идет нервическими рывками, будто и его течение преграждают какие-то разросшиеся на пути камыши, бытовой человеческий хлам. Неровное, прерывистое дыхание часов, цедающих секунды, скрежещущий звук нацеленной в пустоту стрелки. И это мое время, отпущенная мне единственная моя собственность в чужом доме, наполненном комариным писком воздухе.

Зачем я пишу эти корявые фантастические строки в чужой комнате своей уехавшей подруги, неужели только затем, что сейчас, ночью, в чужом доме особенно остро чувствуется плавное, неостановимое движение реки, которая унесет и меня, и потому я пытаюсь слабыми руками удержаться за слова, как за ивовый кустарник, зная, что течение все равно оторвет меня и от них, и от теплых рук жизни, унесет по стремительной своей накатанной дороге?..

Почему меня с самого детства так тянуло в чужие дома? Я заводила ненужные дружбы, набивалась в гости, чтоб только побывать под чужим кровом, увидеть иной, устоявшийся быт. Вечерами на улицах города старалась хоть одним глазком заглянуть в освещенное окно, где кипела другая жизнь. Жилище человека должно в какой-то степени отражать ход его мыслей. Здесь, в комнате подруги, все нестройно, вразнобой, предметы разноязыки. Портреты на стене от Спинозы до Пастернака должны свидетельствовать о диапазоне ее интересов. На обоях желтой акварельной краской намалевано солнце, эти аляповатые лучи рассыпаны, как копыя, разящие покой и порядок, который должен быть во всяком жилище. На книжной полке — сундук, который царит в душе мечтательного человека, пытающегося своим мыслям придать подобие формы, а жизни — подобие смысла. Иннокентий Анненский находится в столь унижительном соседстве, что кажется существом, умершим во время чумы, — ни родственников рядом, ни близкой души, кругом одни чужие, объединенные лишь общей смертью во времена чумы. Не корешки книг, а надписи на общей могиле... И взгляд мой дергается, как секундная стрелка: вот старушечье простое, в черном платочке лицо, лицо бабушки моей подруги, и я смотрю на него, точно есть надежда, что старушка разомкнет свои сомкнутые, проваленные губы и расскажет о том берегу, где сейчас и она, и Иннокентий Анненский, и все те, чьи лица развешаны здесь безо всякого порядка и мысли, которые смотрят и смотрят в свое сбывшееся будущее и ничего не знают о нем, зато знаю я. Вот и моя фотография: подруга поместила ее между лучей разросшегося во всю комнату жутковатого солнца, и я так же, как они, смотрю в будущее, но не знаю его.

Она живет одиноко, но жизнью своей довольна. Зовут ее Нина. Когда-то она проживала в нашем городке, пока не разменялась на Москву, где доживала свои последние дни ее больная мать. Днем она работает медсестрой в больнице, вечером, лежа на этом широко продавленном темно-зеленом ложе, читает, запустив пальцы в конфетницу, или смотрит телевизор, или размышляет о жизни. Когда я порой звоню ей по межгороду, она разговаривает глухо и нетерпеливо, как человек, которого оторвали от

важного занятия. Боже ты мой, наши занятия! Наша невидимая, скрытая от глаз людских жизнь, полная самообмана, в котором невольно участвуют все эти лица — от Спинозы до бабушки в черном платке. И каждая вещь здесь, от статуэтки Будды до портрета сибирского кота, дышит незнанием человека самого себя, и каждая — отражает его, как это мутное, бельмова- тое зеркало в рамке, покрытой золоченой бумагой. Зеркала текут, как реки, отражая то одного, то другого, то третьего человека на своей глади. Старушка перед ним поправляла платок, которым потом занавесили стек- ло, подруга видела себя девчонкой, юной девушкой, тридцатилетней жен- щиной, увидит себя и старушкой. Что ей Спиноза? Поддерживает, как кол, переполненную плодами одиночества ветвь... По вечерам они все со- бираются в тесный кружок, ограждая подругу крепче, чем стены бастиона. Они шепчутся с нею, здесь она чувствует себя значительной, не то что в родном коллективе, там-то ее называют чудачкой, странной девкой... Она смотрится в книги как в зеркало, видит отражение собственных мыслей и радуется этому. И я смотрюсь в ее стены как в зеркало и вижу себя, дро- жщую от дыхания чужой жизни, пораженную догадкой о нищете соб- ственной.

В гостях у композитора я долго не смела раскрыть рта, таким ярким, полнокровно живущим показался мне этот человек. Мучимая робостью, страдаая от косноязычия, я только смотрела на него и слушала. «А вы-то часом не глухонемая?» — шуточно поинтересовался он. Тот день, в кото- рый мы смогли бы встретиться с ним, отстоял от меня слишком далеко — на десятки и тысячи верст, которыми я напрасно старалась подменить свои дни. День, когда я смогу жить так же смело, ярко и решительно. Встречи не случилось, но она была — такой вот намечался парадокс. И я уносила свои дни с облегчением и радостью. Этот визит не был для меня пустым. Вечером в своем дневнике я записала: «Сегодня я побывала в гост- ях у замечательного композитора...»

Уезжая, Нина просила меня об одном: чтобы я не забывала кормить ее хомячка. Зверек живет в клетке на кухне. Днем он мирно спит, но ночью встает и начинает бешено раскачивать стены своей темницы. Впервые услышав этот дергающийся, странный звук, я выскочила на кухню: он пы- тался просунуть голову между спицами клетки, он метался в поисках вы- хода, сотрясая ее. Глаза наши встретились, и я отвела взгляд. Я могла дать ему свободу, но мне жаль было подругу: это был единственный на свете близкий ей хомячок. Уже которую ночь я вздрагивала от звука трясающейся клетки, как от крика отчаяния, и мучилась стыдом, что не могу протянуть ему свою руку, в которой легко и естественно лежит свобода, и думала о том существе, которое также видит, как я трясусь и раскачиваю в ярости свою клетку, но оно не хочет дать мне свободу, ибо — это понимаю даже я, — чтобы получить свободу, не надо распиливать решетку, отворять засо- вы, сбрасывать оковы. И все же мне больно, что я не могу помочь зверь- ку, потому что боюсь обидеть подругу. Вот так мы все время живем на территории чужой свободы и чужого закона. От этих мыслей мне стано- вится душно, страшно, хочется отпереть дверь и уйти от этих стен и этих глаз, от этой умирающей в ста метрах реки, и я снимаю с полки книгу, рывком открываю ее, чтобы уйти в другую, полную свободы и вольного ветра, как парус, комнату, где стены не кривляются, а часы перестают дер- гаться, и погружаю измученный взгляд в простую, любимую с детских лет картину:

«...я любовался грозой, сидя в библиотеке».

КУДА УВЕЛА МЕНЯ ТА ЖЕНЩИНА? И КТО ВЕРНУЛСЯ ИЗ ТОГО путешествия — я или другая девочка? Однако с какой готовностью я при- няла сторону этой женщины перед лицом настигшей нас погони... Как легко отказалась от родителей, лишь бы остаться в пыльном, затянута

паутиной чулане среди отживших свое вещей, где я уже успела сдружиться с венником, «куколкой» и даже прожить крохотную часть своей жизни. Я променяла родителей на закатный луч цвета луковой шелухи в разбитом окне, затянута пыльной паутиной. Я умела лепить свои гнезда из конфетных коробок и бумажных роз, плоских горячих пятаков и старых документов, вишневых косточек и фортепианных клавишей, флаконов и пудрениц. Я вила их из веток на дереве, как птица, в снежном сугробе, на речном обрыве в песчаной норе, вырытой рыбаком-одиночкой, в бетонном кольце забытой трубы и поросших земляникой окопах минувшей войны. Меня не покидало ощущение, что в лице этой женщины судьба предприняла попытку расплести узор неизбежного, отклонить мой взгляд от бездарно заигранной материи, влить в глазницы иное вещество, зрячее каждой своей молекулой, уверившее бы меня в подлинности *моих* чувств. Мое внимание и поныне приковывает поразительная *симметрия* двух смертей: Андрея Астафьева и той несчастной, помешавшейся от горя женщины, их обоих, вдруг поднятых над жизнью какой-то поистине роковой мечтой и разбившихся о третью — невозможную, невероятную мечту о вечной любви моих родителей, которая, схваченная окоченевшими руками двух мертвецов, в конце концов пошла могильным прахом. В течение года их общей жизни они пытались разлюбить друг друга, но им это не удалось, и тогда им пришлось прибегнуть к помощи других, зная, что дело будет крепко, когда под ним струится кровь. И эта кровь никак не могла уйти в землю. Во время бурных ссор родителей она начинала бить струей прямо из выжженного на полу пятна в отцовском кабинете, фонтанировать из стен, заливать кухню, покрытую осколками разбитой ими же посуды. Я зажимала уши, но все равно слышала, как те мужчина и женщина стучат в свои гробовые крышки, призывая моих родителей на суд. Отец не мог простить маму, ведь она ему не просто изменила, а изменила в такие дни и годы, когда измена женщины могла быть расценена хуже, чем предательство. Мама была себя в грудь, пытаясь объяснить, что измены не было, ведь незадолго до войны они расстались, он уехал от нее в Москву, сделался учеником академика Зелинского, а в октябре добровольцем ушел на фронт с московским ополчением, и что — напротив — это она пожертвовала любовью Андрея, чтобы помочь отцу вынести его нелегкую судьбу за колючей проволокой, что это он ей изменял — и с той бедной женщиной, и с другими. И я тогда вспоминала о странной *симметрии жизни* отца по ту и другую сторону фронта... Кто эта немецкая женщина, берлинская жена отца? Ведь она мать девочки, а теперь уже, наверно, девушки, почти моей ровесницы, которая приходилась мне немецкой сестрой. Увижу ли я ее когда-нибудь? Бог весть.

Нам всем становилось тесно в нашей огромной квартире, трем живым и двум мертвым, и я выскальзывала на улицу, шла через сугробы по парку к своей снежной норе, вырытой в плотном слежавшемся снегу у ограды, зная, что в ней стоит такая тишина, что туда не достучаться ни живым, ни мертвым, и что снег заносит одинаково все, даже горячую кровь — их кровь, мою больную, оглушенную их мстительными криками кровь, выбрасывающуюся, как рыба от недостатка кислорода, на белый снег, и кровь тех двух людей, которая, разбившись вдребезги, еще была жива, еще изнемогала от утекающей вместе с силами жизни, от непереносимой боли: они как будто вымаливали друг у друга окончательный, разящий в самое сердце удар, зная, что удар этот рано или поздно будет нанесен. О Боже, ослепли они, что ли? Ведь перед ними была я! Или они не видели, что удары, которые они адресуют друг другу, попадают в меня, что их мертвые пытаются схватить меня своими ледяными руками, иначе отчего я так часто кричу во сне... Я укладывалась в своей снежной берлоге, и снег звучал как тихая песня, залечивал мой израненный слух, проходя сквозь то, что было слухом, что было взглядом, что было глубже и тише меня самой. Как ни измучили меня они, эти двое живых и двое мертвых, они не заставят меня возненавидеть жизнь: прислушавшись, я могу разобрать, о чем гово-

рят ангелы по своим каналам с людьми и о чем лепечут шестиугольные снежинки Кеплера, впервые описавшего их, каждая в своем оперении, скользящие по спутанному, как грива волос, воздушным руслам. И я засыпала, и снег засыпал надо мною, как добрая, измученная нянька, и, засыпая, я вяло думала о том, *во что* может вылиться когда-нибудь мой сон, — но мне это уже было безразлично.

Мне так и не удалось выяснить, почему перемирие, заключенное между мамой и бабушкой во время моей детской болезни, не превратилось в глубокий и прочный мир, но, делая выводы из наших с бабушкой бесед, то откровенных, то уклончивых, у меня возникло предположение, что мама попыталась переложить на нее часть той ноши, которую она несла как жена необычного, странного человека, а бабушка ее признания использовала в собственных целях, продолжая по старинке упрекать маму за совершенный ею роковой выбор и уязвляя ее достоинство даже глубже, чем это мог сделать отец. Я доказывала бабушке, что ничего «рокового», исключая мамину склонность к унынию, в ее жизни не было, что отец не такой страшный человек, как ей кажется, что в конце концов венцом этого союза было мое появление на свет, но бабушка мне не верила — она была убеждена в том, что если бы мама вышла замуж за другого человека, она была бы счастлива. Каждый год в годовщину гибели Андрея, происшедшей, как считала мама, по ее вине, она ложилась щекой на прожженное пятно под ковром и плакала под звуки «Арлезианки». Ее так и не удалось убедить в том, что это было не самоубийство.

...Прежде чем осесть в этом приволжском городе, наша семья вдоволь покочесила по стране. То ли отец перенял у своей судьбы эту неприкаянность, а может, древняя цыганская струя вплелась в его кровь, и он как огня боялся оседлости... Не помню наших бесконечных переездов, но помню: угол комнаты, крепко увязанные тюки, среди которых хожу я в поисках какой-нибудь игрушки... Ребенок все время прячется за спину вещей, как ни привстает на цыпочки память, ей не разглядеть из-за комода очередной пейзаж за окном, меняющийся, как времена года.

Отцу с его прошлым трудно было устроиться на работу, а еще труднее — удержаться на ней. Весной 1962 года на имя отца пришла цветная открытка из западногерманского города Эссена, задумчиво пропущенная цензурой спустя год после ее отправления. Открытка была подписана: «Д-р Негель» и содержала церемонно-напыщенные поздравления в связи с первым полетом человека в космос, осуществленным нашим соотечественником Юрием Гагариным. Открытка заканчивалась так: «Mitdem 12. April 1961 hat eine neue Ära in der Geschichte der Menschheit begonnen»⁷. Видимо, эта открытка, прошедшая через руки компетентных органов, и закрыла окончательно отцу секретный допуск, после чего он был вынужден перейти на мирную, или народнохозяйственную, как он любил говорить, тематику. Тайная папка, содержащая отжимки из его прошлого, повсюду как тень следовала за ним, раскрываясь в меняющейся политической ситуации на одной и той же странице. Переезжая с места на место, он снова и снова пытался убежать из немецкого плена, выбраться из Берлина, по которому он, военнопленный-остарбайтер, мог свободно передвигаться. Эта свобода передвижения по Берлину, зафиксированная в давнем документе, и сковывала все его движения в будущем. Директора НИИ или ректоры институтов, прельщенные количеством его научных трудов, опубликованных по всему свету, принимали отца на работу, доверившись предвзятой справке о реабилитации. Мы вселялись в очередной барак, предвкусывая скорое получение отдельной квартиры... Но тут приходила папка. Так в переездах прошло несколько лет, папка раскрывалась компетентными органами уже с изрядной долей усталости и лени, но в моем отце уже срабатывала привычка

⁷ 12 апреля 1961 года началась новая эра в истории человечества (нем.).

к перемене мест. Что-то ему здесь не нравилось: то ли направление исследований, ведущихся на предприятии, то ли окружающие люди, то ли природа... Мы с мамой, как невольники, следовали за ним.

Странно — ключевое слово моих странствий. Это потому, что я никак не привыкну жить. Странно соединяются в моей судьбе имена городов. Они парами слетаются ко дню и месту моего рождения, как птицы. Новочеркасск, где родился один мой дед, окликает Лондон, где увидела свет бабушка, где-то в Пензенской губернии в своем имении родился мой дед-священник, взявший в жены уроженку Майкопа. Кронштадт — место рождения моего отца, Ростов-на-Дону — матери. Он шел к ней с севера на юг, потом — с востока на запад, и снова они встретились в Обнинске, куда спустя еще полвека по какой-то случайной, загадочной прихоти судьба приведет ее умирать. Под Челябинском родилась я, если верить документам. Куда только судьба не забрасывала родителей: Москва, Берлин, Ташкент, Колыма, Новочеркасск, Краслава, Куйбышев, — тут уж география привита на истории, как веточка яблони на груше. История вертит географию, как карусель, все стремительней, корни генеалогического древа волочатся по земле, и ось, на которую она насажена, все глубже уходит в золотое сечение вечности.

Отец говорил, что его силу питают деревья и снег. Прочность, белизна, прозрачность стимулируют его творческую мысль ученого. Стерильная ясность пейзажа, отчетливость формулы. Мою фантазию питает музыкальная абстракция облаков. В их плавных очертаниях заключены философские школы, гороскопы приблизительно истолкованных судеб, кучевые гекзаметры небесного прибора, Ветхий и Новый Заветы. В те минуты, когда я лежу на траве и слежу за грезами облаков, мне становятся внятны слова «мой отец», «моя мать», потому что из моих глазниц сегодня истекает в мир живое сознание, оно протекает сквозь меня, как доисторическая подземная река, и я могу ответить им только своим творческим порывом.

Длинные сосульки цедают по капле бедную душу зимы. Снег, как любящая душа, вкладывает всего себя в это последнее, предсмертное сияние. Как трогает сердце его апрельская слабость, поневоле задумываешься об участии незримых, невыразимых, тающих сил в устройстве наших судеб, легких, как поплавки на воде... Високосный день устремляется в свою високосную, неправильную вечность, а в обратную сторону друг другу в затылок уходят зимние сны — наконец-то они нас покидают. Воспользуемся счастьем весны, как найденной на дороге монетой, что только не купишь на нее! Под ногами дорога, покрытая апрельской слюдой, под нею майские жуки с драгоценными рогами, стрекозы, переносящие с места на место переливающийся слюдой воздух, пение встающих трав.

Эта весна совпала с моею собственной весной. Были до нее и после другие весны, но такого чистого, тревожного совпадения уже не было. Над Волгой, ударяя в разрывы облаков, поднималось солнце; под вечер с необоримой повторяемостью наплывали кучевые облака. Глубоко во мне зрели взрослые тайны, которые магниевой вспышкой должны были рано или поздно озарить этот мир. Сколько запечатанных писем я носила внутри себя, не подозревая об этом, но когда пришла пора их открыть, я оказалась уже подготовленной к вестям, содержащимся в них: что сердце может спать, как человек, но может и бодрствовать, что любовь не бывает единственной, что невозможно доверять до конца зримой реальности, что не кровью, не потом, не слезами, а привычкой (род слепоты), как клеем, схвачены разные фрагменты нашего бытия и что главное дело жизни, каковым бы оно ни было, требует тишины и смирения. Но все это были тайны завтрашнего дня, а сегодня мне по нашей школьной почте через головы одноклассников, через скучные формулы контрольной, в которых могла уместиться творческая мысль, страсть и мука многих поколений математиков, пришла записка на английском языке — длинная, с ошибками, но я мгновенно перевела ее, и когда он оглянулся, наши взгляды встретились.

лись: по ним можно было, как по мосту, перевезти всю грядущую тяжесть наших жизней...

На другой день я пошла в эту парикмахерскую.

Хорошо помню ту минуту, когда я села в кресло и мы в зеркале вдруг встретились с нею глазами. Она была вдвое старше меня, брюнетка с горячими карими глазами, с морщинками вокруг рта, в которых плавала улыбка счастья, радость полноты жизни, одарившей ее вдруг с такой же щедростью, как и меня. Мы смотрели друг на друга, пораженные нашим сходством. Она взъерошила мне волосы, что-то напевая, повязала вокруг моей шеи простыню. Потом задумалась, провела рукой по моему затылку, взглянула на меня в зеркало, прильнула щекой к моей щеке, соображая, что бы сделать с моими волосами... Она с улыбкой перебирала их пряди, расчесывала щеткой. Доверие к ней переполняло меня, когда я одну за другой протягивала ей шпильки, и когда наши пальцы встречались, это было как обмен новостями, мы не могли удержаться от улыбки. Закончив, она снова прильнула к моей щеке, оценивая свою работу, тщательно поправила мне локоны за ушами. «Теперь *всегда* приходи ко мне», — сказала она, и тут мы обе на мгновение застыли и, как бы застыдившись, опустили глаза. Мне показалось, будто после слова «*всегда*» какая-то тень упала на зеркало. Оно словно зашипело, как шипит пластинка после того, как окончилась мелодия. Что в нем было такого страшного, отчего упала тень? Едва она произнесла слово «*всегда*», как занавеску, пузырящуюся от ветра, вдруг отнесло далеко в сторону, словно брачный полог Руслана и Людмилы, взвихренный чужой волей, видением грозного мира, прильнувшего к стеклу и глядящего на нас разверстым, пустым взглядом. Чем мы могли от него заслониться, что противопоставить ему — завитые локоны? пасущиеся на столе бигуди? крохотные стекляшки в ушах?.. Из зеркала на нас на полной скорости понеслось будущее, и я почувствовала, что это слово «*всегда*» необходимо сейчас же побить еще большей козырной картой, его рифмой, его эхом, аккордом, взятым октавой выше: *никогда*.

Никогда.

16

ПРИШЛА РАННЯЯ ЗИМА С МОКРЫМ, СТРУЯЩИМСЯ, НЕ ДОЛетавшим до земли снегом, упорно стоявшим над нею, как наваждение. Иногда он сменялся мельчайшим, словно пыльца, дождиком. Хмара поглотила и Эльбрус, и Столовую гору. Ранним утром радиоточка металлическим голосом провозглашала: «Зурэ Ордженикидзе...» Эти звуки в сочетании с плавно сворачивающей в сторону Востока мелодией гимна, с чужим инструментальным гулом экзотических инструментов начинали мучить мой слух, и я чувствовала, как во мне постепенно накапливается, словно тяжесть, чужесть этого края. Чужая речь, которой я прежде внимала с восторгом первооткрывателя, смуглые лица прохожих, непонятные слова, написанные родными буквами на вывесках и полосах газет, — от всего этого хотелось поскорее укрыться в родных просторах. Я скучала по дому, по маме, по нашей музыке. Когда в нашем городке начинался снегопад, вокруг становилось на несколько децибел тише. Слух словно вытягивался в ровную нитку, оплетенную, как телеграфные провода спичечными голосами, шепотом небесных сфер. Бывали дни зимою, когда начинавшийся за нашим домом лес казался не лесом, а богатым воображением леса, невесомой фантазией зимних бурь, проносившихся в Арктику. Иней следовал малейшим изгибам одетых в сосульки ветвей, обнимая их бахромой. Плакучие березы походили на заледеневшие фонтаны и чуть тренькали от ветра. Деревья стояли как большие числа, перемножая в воздухе схваченные льдом и инеем ветви. Снег, сон, хрупкие позвонки прозрачных веток. Лес казался легкой конструкцией, которую мизинцем можно положить на ребро. Если смотреть на снег лежа, приложив к нему щеку, видно, как часть его исчезает во тьме, не долетая до земли, часть вьется, как

песнь духов над водами, и не может ни в небо взлететь, ни опуститься на землю, и в этом промежутке, между небом и землей, между облаком и снегом, между анданте и аллегро, творится вся сказка.

...Словно чувствуя это мучительное, нездоровое, простудное томление природы, слепые начинали хандрить. Они начинали тяготиться друг другом. С ними происходило то же, что могло случиться с людьми, страдающими личной несовместимостью, запущенными в одном экипаже в черную дыру космоса. Будь они зрячими, их бы ничто не связывало, настолько они были разными, и наверняка бы нашли себе других товарищей. Но они были вынуждены терпеть друг друга, как сокамерники, и эта вынужденность сосуществования, вероятно, унижала их больше, чем какие-то мелкие услуги со стороны зрячих. Они все еще держались вместе, но почти переставали разговаривать, за ужином с раздражением прислушивались друг к другу и чаще обычного подносили ко рту пустую вилку... Ужину предшествовали мелкие стычки: если Коста и Заур хотели есть жареную картошку, то Женя и Теймураз тут же объединялись в своем требовании картошку сварить, их голоса всегда делились поровну, и тогда они оборачивали настороженные лица ко мне, точно речь шла о каком-то жизненно важном решении. Чтобы насолить друг другу или выразить свое несогласие, они брали в столовой разные блюда, путая подавальщицу и задевая других локтями. Различные предметы в их комнате покидали насиженные места, как при морской качке, они все время что-то искали, едва не сталкиваясь лбами друг с другом. Как-то Теймураз смахнул с тумбочки свои очки с двухсантиметровыми линзами. Одно стекло разбилось, и он ровно наполовину утратил свое небольшое преимущество перед остальными слепыми и вместе с этим — свое обычное добродушие. Он гнал меня в аптеку, но в аптеке, конечно, таких очков не было, их делали на заказ. «Потерпи, — уговаривала я его, — скоро будешь дома...» Теймураз знал, что линзовые бифокальные очки так просто не купить, но чтобы мне выказать свою обиду, совсем перестал ходить в столовую и по утрам угрюмо жевал корочку хлеба, запивая ее вчерашней заваркой.

Вечерами они все больше спасались по своим углам, забравшись на кровати с ногами, точно сумерки прибывали, как вода, и они, неподвижно лежа в своих челноках, на самом деле яростно гребли друг от друга. Дверь в их комнату теперь была постоянно открыта, из ее черного зева, как из-под земли, где ворочались заживо закопанные, несся безмолвный крик: зайдите к нам! заберите нас с собой! развеите эту ночь! Они лежали и вслушивались в шаги в коридоре, эти шаги соседей по этажу, невольно затихавшие перед дверью их комнаты, точно идущий переходил на цыпочки, стараясь потихоньку миновать этот черный квадрат на полу коридора, падавший из проема их двери, словно свет наоборот, его темная, выворотная сторона. Все звезды двигались по своему расчисленному курсу, огибая черные дыры, у каждого был свой путь — но он есть и у слепого, который идет мимо зрячего мира, выстукивая каждый свой шаг палочкой, как сошедший с ума кладоискатель.

И тогда они пытались разбежаться в разные стороны. Так разбегается вконец обнищавшая семья в надежде добыть пропитание поодиночке. Женя уходил к девочкам со своего отделения, которых всегда считал существами недалекими и взбалмошными, он сдавался на их милость, как бывший генерал своему денщику, сумевшему поладить с новыми властями. Заур сидел в красном уголке и слушал телевизор. Тейм до глубокой ночи просиживал со своим аккордеоном в темном пустом классе, и я боялась, что он, не дотянув до экзамена по специальности, заиграет свою программу. Коста в темном углу читал какой-нибудь фолиант, прихваченный из дому. Женя все время просил: «Научи меня какой-нибудь игре...» Учиться играть в шахматы он не захотел, и я научила его одной игре из своего детства — достаточно простой для того, чтобы считать себя ее изобретательницей...

Это была игра в вопросы-ответы. В центре ее спрятан неизвестный предмет, произвольно выбранный, вначале почти несуществующий. Он находится где-то в комнате. Он мог быть шкафом или ручкой от дверцы шкафа, склянкой с йодом, вилкой или строчкой из томика Коста Хетагурова. Тот, кто ищет, набрасывает на окружающий предметный мир сеть из своих вопросов, как слепые набрасывают сеть частых ощупывающих прикосновений. Вопросы, вопросы текут, как жидкий расплавленный воск, на котором, постепенно отвердевая, возникает отгиск предмета...

К нашей с Женей игре остальные слепые поначалу относились недоверчиво, долго прислушивались к нашим голосам, а потом постепенно все, включая Коста, присоединились к ней. Вопросы Заура всегда были прямолинейны, грубовато-честны, и он был в состоянии отыскать лишь то, что «бросается в глаза», то есть чисто функциональные вещи вроде стакана или тапочек. Коста был ироничен и изобретателен, он пытался определить душу предмета, был способен к объективации абстрактных образов. Тейм ориентировался по звуку: он выявлял возможную инструментовку загадки, часто гадая по созвучию, аллитерации, тем самым удостоверяя абсолютность своего слуха. Женя путал следы, тянул и тянул с вопросами, радуясь, как ребенок, каким-то неожиданно возникающим смыслом, идеям, хотя предмет уже был как бы проявлен, но он все крался к нему, пока еще не названному и погруженному в темноту, как кошка, — до тех пор, пока кому-то, например Теймуразу, все это не надоедало и он не выкрикивал: «Ножка от стула!..»

Незаметно я втянулась и полюбила эту нашу бредовую игру, сумасшедшие на здравый слух вопросы, легкость этих касаний, высекающих одну за другой феерические идеи. Мы точно просеивали эфир в поисках заветной мелодии, подбирались к ней все ближе и ближе и одновременно разбирали ее на отдельные звуки, как вскрытую струнную деку рояля. Эти полные недосказанные описания, когда они начинали *видеть*, а я — *осязать*, когда твои вьющиеся, как болотная мошкара, слова, облепливающие кусок абсолютной пустоты, постепенно начинают придавать ей форму вещи... Этот перекрестный допрос предметов, окликающих друг друга, медленная уступка пространства, тщательная, ученическая прорисовка материи... Этот энтузиазм уже проявленных качеств, метод исключения при условии *абсолютного* исключения мира за окнами, за стенами, за дверью... И наконец — пританцовывающая дикорастущая поэзия личной интонации, устремленная к коде, в которой мелодия уже проговаривается во всей своей чистоте...

Итак:

Оно ровное?.. Оно сине-красно-зеленое?.. Оно неподвижно?.. Как оно звучит, если щелкнуть по нему ногтем, — глухо-звонко-никак?.. Оно полное?.. Внутренне собранное?.. Оно горит синим пламенем?.. Если им запустить в окно, стекло разобьется?.. Оно легкое?.. Оно странное?.. Может ли вызвать слезы?.. Какая нота присуща его глубине?.. Какой инструмент в силах его выразить — рояль, арфа, крик родившегося ребенка?.. Сколько спичек можно положить в отбрасываемую им тень, если такая я имеется?.. Выразимо ли оно числом?.. Оно способно причинить боль?.. Оно может расти?.. Оно может пережить человека или это часть его самого — как рука, нога, почка?.. Оно настойчиво?.. Может ли оно выразить основное свойство жизни?.. Оно бесконечно, как идея?.. Оно холодно и горячо одновременно?.. Есть ли у него оси координат?.. И наконец: из чего оно состоит — песка, белка, звездной пыли? — каков его в самом деле состав, отчего при мысли о нем тебя пробирает дрожь, глубокая детская грусть и чувство робкой благодарности?.. Ты понял, ты понял, что мы говорим о *Времени*? Ну да, об этой игрушке, этом обязательном предмете твоей обстановки, как стол или диван, мы разбираем его, как старый разошедшийся рояль, вся комната уже заросла его винтиками, струнами, клавишами, свистульками, числами, кеглями, голосами и подголосками, а мы с тобою

все видим — оно по-прежнему цело. Давай же продолжим: ему и в самом деле нет ни дна ни крыши?.. Оно затмевает Луну и Солнце?.. Оно и правда пролетает сквозь нас неузнанное, как счастье?.. И можно ли о нем вопрошать судьбу?..

Наши слова сплетались в сеть, эта сеть набрасывается на невидимое, мерцающее, прозреваемое нами. Вопросы звучат со всех сторон, их словно задают вразной и на разные голоса спевшиеся в своем бреде поэты. Уже лес вопросов стоит, как заколдованный зимний бор, перемножая в морозном воздухе ветви ответов, над зарытой в снег при царе Горохе вещью. Кто я такая, чтобы знать, о чем идет речь?.. Кто такая, чтобы прятать ее в себе?.. Она чересчур велика для моего ума, ее углы впиваются в мой мозг, извлекает же ее из меня, как стеклянный осколок из сказки, поразивший уже зрение, слух, память, циркулирующий по моим кровеносным сосудам, пока не занесло его в дрогнувшее от догадки о тщете собственной сердце... И я уже не знаю, какие нужны вопросы, чтобы выманить из меня ее табуированное *имя*. Какие вопросы: вкрадчивые, ласковые, по касательной уходящие в нашу общую память — или честные, прямые, какие задают подвешенному, словно на дыбе, на потолочной матице? Я не знаю, что вам сказать, да и что вы во мне потеряли — не помню. Не помню, светило ли оно или просто больно ныло, как маленький слепой плавающий под сердцем ребенок. Делайте со мной что хотите, только найдите *слово*, чтобы отпереть эту вещь, заговорить льющуюся кровь, *словом* все отпирается, останавливается, все ящики с мертвецами и небо с ангелами. Да, все наверное так, но ты забыла, опять забыла, что речь идет об одной комнате, населенной слепцами, об ограниченном, как твой ум, пространстве, а все то, что простирается за ее окнами, стенами, дверью, согласно правилам игры, как бы не существует, как не существует шахмат вне шахматных полей. Все, что не в комнате, — опрокинуто, как песочные часы, в пустоту, поражено чужой волей, особенно голоса, слетевшиеся, словно птицы в кормушку, в наш репродуктор, голоса, звучащие в комнате, а на самом деле — за окнами, за стенами, за дверью.

Бывают дни, когда я боюсь своих жарких глаз. Они, как гиперболоид инженера Гарина, уничтожают перспективу. Под действием моего взгляда неодушевленный предмет начинает откладывать термостойкие яйца, из которых нарождаются символы, высасывающие его собственную суть. Мои глаза оплетают мелкую житейскую ситуацию венком метафор, примеров, уподоблений, назиданий, из которых мне не выбраться. Вот, например, *заярдака*, которую делает мой отец по утрам... Почему моему взгляду не остановиться, не увидеть все как есть, как действительно есть: старик хлопчет о своем здоровье, а вовсе не тренирует упругий мускул идиотического послушания той тупой и косной силе, которая вертит вокруг себя карусель жизни. Он вынес войну, плен, Колыму, шарашку, его били сапогами в лицо, пах, подвешивали, как Христа, на потолочной матице, его подвергали унижениям, связанным с реабилитацией, и теперь он просто желает на своих двоих достойно дойти до могилы. Что я хочу от него?.. Чтобы, не нарушая логического хода своей судьбы, он кинулся куда глаза глядят, закрыв лицо руками, крепко зажмурив глаза, в какую-то растительную жизнь в окружении своих розоцветных, прочь от общества, в чистую мысль клубненосной природы, как царь Эдип?.. Конечно же — нет. Кто я такая, чтоб судить отца моего, чтоб указывать, как ему жить-доживать... Но зачем он прикидывается зрячим? Подняв над головою гирю, которая и так всю жизнь незримо висит над ним, вцепившись рукою в воздух, словно в мачту корабля, он орет как безумец, что видит некий берег, на который могу высадиться и я, но мой взгляд уже сожрал горизонт и не видит ничего, кроме умопомрачительной волны, перекатывающей, как арбузы, головы барахтающихся слепцов. Да что говорить! Двум нашим поколениям не докричатся друг до друга, мы стоим по разным берегам реки. «Вас по-

губила ваша преступная наивность!» — кричим мы им. «А вас губит ваш угрюмый инфантилизм!» — подпрыгивая, кричат нам они. «Это вы сделали нас такими», — кривляясь как обезьяны, хором вопим мы. «А нас сделали такими вон те...» — кричат они и машут в сторону еще одной, текущей за их спинами реки. Скоро вода подмоет берега, и нас всех унесет течение вместе с обрушившимся песком и илом, а мы все кричим, указывая друг в друга пальцем... Вот куда уводит меня мой взгляд: в болеутоляющую прохладу реки. А за взглядом, как конь на привязи, следует судьба. Вода помнит все, вода уносит все: упавшую ресницу, осенний лист, жизнь человека, — но она же и приносит — погружаемые в волжскую воду ладони своим отражением смотрят на нас из Дона, Терека, повторяя рисунок нашей ладони с точностью до наоборот, как в зеркале. И вот что я думаю: пока не растрчена попусту моя гремучая тоска, надо бы поставить между собою и горизонтом лист нотной бумаги, как это уже сделал Коста, куда воображение без большого ущерба для жизни могло бы откладывать свои термостойкие яйца-ноты. Только так можно выпасть из синхронной работы механизма, уничтожающего перспективу, и найти свою личную музыку, которую нельзя обойти.

Наступила весна, и опять за окном моросил мелкий дождик. Погруженный в туман город напоминал утопленника с открытыми глазами, с свободно плавающими над головой, как шерсть на плывущем животном, волосами. Тема дождя в этих краях весной, как и зимой, неисчерпаема, она сводит на нет всю огромную работу города по захвату окружающей природы. Трава, пользуясь передышкой, восстает в полный рост, мелкие листья клевера, как дети, бережно несут сквозь туман круглые, целебные капли к реке. Туман заглушает звуки. Но когда мы достигли парка, туман рассеялся по ущельям, разноцветные зонты сложили дождь, солнечные лучи веером рассыпались из-под свежего облака...

Из аттракционов работала только карусель. Неожиданно, в приливе какого-то мечтательного озорства, я предложила своим слепым товарищам покататься на ней. Они как будто переглянулись, по крайней мере впервые за последнее время, время их ссор и размолвок, сделали какое-то движение друг к другу. Не знаю, почему мне пришла в голову карусель в качестве мировой, примиряющей их чаши. Мы пристроились в очередь, окруженные совсем маленькими детьми. Их родители озирались на нас и энергичными жестами показывали мне, чтобы мы прошли вперед. Когда карусель остановилась, я принялась рассаживать их: кого на лошадку, кого на оленя. Я велела им крепко держаться за гриву и за рога и оглянулась на очередь из детей и их родителей, но никто не посмел двинуться за нами следом. Полупустая карусель тронулась с места, увозя слепых за игрушечный горизонт. Они проплывали мимо меня, как аллегорические фигуры на старинных часах на какой-нибудь городской ратуше... Вот плавно проскакал на коне Коста, он, наверное, не чувствовал, что скачет по кругу, как не чувствуем этого все мы, проплывая по жизни мимо одних и тех же зубок затверженных житейских ситуаций; вот проехал Заур, испуганно припав к рогам оленя; вот растерянный Женя на двугорбом верблюде; вот Тейм, увереннее всех державшийся в седле, самодовольно машущий рукой цветому по пятну — какой-то женщине в плаще, похожем на мой. Я держала их зрячие посохи в руках — изящную тросточку Коста с посеребренным чеканным набалдашником, типовую белую трость Жени, которой он имел право останавливать уличное движение, изготовленную на далеком заводе артелью инвалидов, отрезок дюралевой трубки, принадлежащий Тейму, и любовно вырезанную родичем из горного аула самшитовую красивую палочку Заура, — а они скользили мимо голых неувеличивших апрельских берез, мимо Столовой горы, мимо детей и взрослых, смущенно примолкнувших, глядевших во все глаза на эту невиданную карусель...

Мы опять шли по аллее, когда Коста заявил, что намерен теперь прокатить нас на *своей* карусели, от которой тоже закружится голова, он в этом ручается. Выдержав паузу, в течение которой мы усиленно обдумыва-

ли его загадочные слова, Коста извлек из внутреннего кармана плаща бутылку портвейна.

Первым моим побуждением было отказаться от этой карусели, но слепые уже радостно ощупывали бутылку. Женя заявил, что он еще никогда не пробовал портвейн.

— Попробуешь, — сказал Коста и, наклонившись ко мне, тихо прибавил: — Не сердись, всего одна бутылка...

Мы остановились у детской площадки и устроились в песочнице, на ее боковых досках, придвинувшись друг к другу лицами, пятеро заговорщиков, сблизивших свои лица и колени для тайного совета. Коста ловко зубами откупорил бутылку, и мы стали по очереди прикладываться к горлышку.

— Из горла!.. — сделав свой глоток, радостно провозгласил Женя.

Легкая волна хмеля сразу сняла их отчуждение, мы вдруг оживленно заговорили о каникулах. Каждый стал настойчиво зазывать меня в гости, с каждым новым глотком портвейна картина моего приезда к ним дополнялась все новыми штрихами и подробностями... А я уже думала о своем. Давно не было писем из дома, недели две уже. Каждый день я собиралась пойти на переговорный пункт, но денег было в обрез, и я откладывала разговор, надеясь, что письмо вот-вот придет. Сейчас я вдруг почувствовала себя настолько одинокой, что решила во что бы то ни стало поговорить сегодня с родителями.

Погуляв вдоль Терека, посидев на сырых камнях у его буйных гиперборейских бурунов, продрогнув на свежем ветру, мы вернулись в общепитие.

В комнате не сиделось. Неля, хлопнув дверью, ушла заниматься в музыкал. Неля не сказала мне ни слова, и в ее беглом взгляде я увидела, как это всегда бывало, когда я возвращалась от слепых, коротко вспыхнувший укол ревности. Вечера у нас с нею проходили в полном молчании, и я уже думала о том, что, наверное, пора менять свою соседку на какую-нибудь другую девушку нашего училища. Я поставила туфли сушиться на батарею, надела свое лучшее платье, с красно-желтым осенним рисунком, вылила на себя остаток французских духов, все то, что осталось от них на доньшке, невидимые миру слезы, уже разбавленные несколькими каплями водопроводной воды, и отправилась к слепым.

В углу их комнаты лежал Коста на кровати, согнувшись над большим фолиантом. В первую секунду мне показалось, он заснул, но тут я увидела, как пальцы его мерно трепетали над страницей, и они не прекратили своего движения, даже когда я вошла.

— Выпить еще хочешь?.. — спросил он, безошибочно узнав меня по дыханию, движениям, неслышному скрипу суставов, трепету сердца, хотя я помалкивала, я еще не сказала ему ни слова, как вошла.

— А где остальные?

— Пошли за вином в магазин.

Рука Коста наконец замерла, улеглась отдохнуть на странице. Другая рука достала из-под кровати початую бутылку вина. Пальцы его обученной грамоте правой руки продолжали придерживать строчку, как дети держат пойманное насекомое (божью коровку) подушечками пальцев, не давая ему убежать далеко.

— Что ты читаешь? — спросила я.

— Первый том «Войны и мира».

Я взглянула на страницу, но ничего не увидела на ней, кроме следов все того же неведомого мудрого сверчка-древоточца.

— И на чем ты остановился?

— Разговор князя Андрея с Пьером на пароме. Скажи мне, что такое паром?

— Это такое плавучее сооружение, на котором перевозят через реку людей и наземный транспорт.

— Вроде плота?

— Да. Напомни, о чем они говорят на пароме?

Рука Коста стронулась с места, осторожно отпуская строку на свободу, и поползла по странице.

— Пьер считает, что раз существует лестница от растения к человеку, то она должна вести еще выше, к Богу, а князь Андрей не верит ему. Наверное, он полагает, что более вероятно обратное движение. Как ты думаешь, кто из них прав?

— Никто. Человек, испугавшись высоты, застрял на перекладине.

— Этого не может быть, закон всемирной эволюции никто не в силах отменить.

— И в эволюции есть своя инерция. Допустим, атомы в молекуле расползаются, но возникает другой конгломерат, а результат — мнимость, поскольку жизнь новому соединению дает смерть прежнего. И все, в сущности, стоит на месте.

Рука Коста недоверчиво снова устремилась в путь по следам мудрого сверчка. Я чувствовала, как тело наливалось жаром и гудело, как гудит стог в жару, солому которого золотит солнце, взрывающее эту мелкую насекомую травяную жизнь, сок перебродившего винограда бродил теперь во мне, в моих нервах и жилах, на краткий миг затмевая, как Солнце затмевает Луну, мою слабую кровь, устилая изнутри золотой солнечной пылью мое горящее лицо, глаза, ладони, плечи, мысли, обретавшие воздушную легкость... Коста был мне теперь братом. Я знала, что должна ходить за ним, как за Лео (как он сам сейчас идет, ведомый другим Лео — Лео Толстым), потакать его капризам и причудам, всеми силами выправляя страшную, непоправимую (но поправимую! поправимую!.. требовательно вздрагивало сердце) ошибку природы, вызванную какой-то неправильностью нашей общей судьбы. Я обязана была сидеть, думать за нас двоих, обхватив голову руками, раскидывая мыслью там и тут в поисках выхода. Потому что я *видела*, а он не видел эту жирную мертвую пыль атомного распада, покрывшую липким слоем нашу мебель, книги, деревья, музыкальные инструменты, висевшую вокруг нас в контрфорсах солнечного света, мы запечатлевали ее в поцелуе на губах, мешая с вином и любовью, мы заворачивали в нее цветы и успевали, как ни странно, донести их по назначению. Что бы мы ни делали, куда бы ни шли, она повсюду наступала на нас, как стон, растворившийся в воздухе, подстерегала, прикидываясь, словно оборотень, то птицей, то пнем, то зверем...

Мы должны были с ним избыть это чувство биологической, вечной, неостановимой, как деление урана-235, уже дошедшей до самых молекул усталости, сразившей нас, поразившей его зрение и мою кровь, мы должны были стать достойными своего поражения, своего угасшего зрения, своей умирающей крови, мы должны были принять это со смирением, как справедливое наказание, связанное с временным поражением в правах, с насмешкой горькою обманутого, но прозревающего, видящего впереди выход, как видят его заживо заваленные шахтеры, и в своем подземном кратком сне продолжающие работать лопатами и сорванными в кровь ногтями, прозревающие на оборотной стороне залитых тьмою век выход из обрушившегося тоннеля... Мы должны были с ним хоть на рисовом зерне, на маковой росинке выстроить свой дом, заселить его детскими голосами.

— Почитай мне, пожалуйста, вслух, — попросила его я.

— От чтения вслух можно заболеть горловой чахоткой, — возразил он. — Знаешь что, давай теперь лучше поиграем в *мою* игру...

— Какую?

— Спорим, я смогу определить, когда ты смотришь на меня, а когда — нет. Спорим, я это чувствую. Только ты все время что-то говори, я должен слышать твой голос, а я буду определять: смотришь ты на меня в эту минуту или нет...

— Я вижу, как предо мною лежит мир, разобранный на детали и фрагменты, которые все больше перемешивает ветер перемен, лишая всех нас

конечной надежды на то, что когда-нибудь по чертежам старинных книг можно будет перебрать этот пестрый безумный хлам, которым обернуто человечество, как пещерный человек, обернутый вокруг талии первой звериной шкурой: подъемные краны, кегли, баллистические ракеты, небоскребы, мраморное поголовье вождей, лампы дневного света, закон Бойля — Мариотта, шпангоуты, пудреницы, рояли... («Ты не смотришь!..» — сказал Коста.) Все это никак не может означать, что мне бы хотелось прожить свою жизнь без лифта и радио. («Не смотришь!..» — повторил Коста.) Но мне бы хотелось хоть на минуту ощутить здравую мысль природы. Пусть отправятся обратно в недра золото, нефть, алмазы, колчедан и малахит, аптека вновь утечет в траву, Периодическая система перестанет падать из колб и труб, литература по слову уберется в вокабулярий, схваченный тугим переплетом. Пожалуй, доли секунды мне хватит для того, чтобы унести на сетчатке образ Бога, представление о котором мучает меня своею неопределенностью... («Нет, не смотришь, не смотришь!..») Но может быть, все еще в будущем? Может, все эти мельчайшие частицы слетятся на Его могучий зов, раздробленные кости природы сростутся? Может, этот образ уже плавает в масляной оболочке бешено вращающихся деталей и механизмов, в речном и нагорном тумане, интриге сновидений, под которыми дремлет зародыш новой жизни? («Вот сейчас смотришь!» — сказал Коста.) И стоит ли задаваться такими вопросами, когда в мире то-то и то-то все время происходит и газеты захлебываются такими-то и такими-то новостями? Но я вижу, как ветер сдувает с них текст, оставляя чистые белые страницы, на которых проступают такие огромные буквы, что само слово, составленное из них, какое-то слово, можно разобрать только из космоса — с очень большой высоты и при особой прозрачности воздуха... («Смотришь, смотришь!»)

Слова нужны глазам, ушам. Слова сами по себе не имеют ни запаха, ни цвета, ни вкуса, как чистая вода. Они ничего не выражают, как вкус слезы, пролитой по радостному или горестному поводу, они сами по себе невинны, как дети, в них идет своя детская игра молекул, они делятся, как клетка: корень отбрасывает тени всевозможных смыслов, суффиксы и приставки посвистывают щеглами, покрывают добрыми утиными головами... («Ты все время отводишь глаза...» — сказал Коста.) Сколько уж лет я соединяю слова в предложения, и каждое мое слово обходится в секунду чистого времени моему слушателю или читателю, но как бы стремительно ни летело перо по бумаге, что бы ни орал крупный шрифт заголовка и ни лепетал петит, я вижу, как идет распад новостей, не успевают глаза пробежать строку — начинается война, не успевают установить радиоточку или посадить лесополосу для целлюлозно-бумажного комбината, как каждая почка, каждый погонный метр кабеля прогнивает новостями, и все газеты оказываются вчерашними, остаются лишь слова, слова, муравейники слов, которые и скелета, пожалуй, от читателя-слушателя не оставят, вчистую сожрав его жизнь. Одна новость догоняет другую, но ничего не меняется, так экономный кат ставит своих жертв вплотную в затылок, чтобы пристрелить всех одной пулей, только уровень презрения человека к себе и себе подобным вырос до чрезвычайности и доходит всем нам уже до ноздрей... Чрезвычайно мало хочет от жизни человек: не предмета, а его блеска, не слова, а газет, первобытных пещерных ритмов. И из этого я заключаю, что никаких таких новостей нет, ничего не происходит. Я знаю только одно: я не хочу зачинать и вынашивать ребенка, который, родившись, будет обязан стать убийцей... Я не хочу, чтобы *моими руками* убивали, пытали подвешенных на потолочной матице, насиловали, грабили, отнимали последнее, создавали дамбы и бомбы и выжигали цветущую землю, превращая ее в мертвую безжизненную пустыню... Я вижу, что Бог вездесущ, как вещество, но человек не перестает убивать человека. Слеза все катится и катится из глаз ребенка, но Бог вездесущ, как вещество...

— Ты хотела сказать, вездесущ, как жизнь... — поправил меня Коста. — Но смерть к нам всего ближе, ближе даже, чем воздух, она отклады-

ваит личинки в поры нашей кожи, и мы, в сущности, сражаемся с жизнью на ее территории. Мы сражаемся с жизнью, а не со смертью. Я слышу ее музыку, как эхо нашей музыки, она нежно повторяет каждый изгиб нашего ума, каждое наше движение. Она повторяет за нами все-все. Она может дремать, как споры микробов в почве, но никогда не ошибается, где только зарождается жизнь, она тут как тут. Смерть сама ничего не хочет, это жизнь накликает ее на себя. Смерть всегда с сожалением забирает к себе людей, она нежна, она жалеет жизнь, завидует ей, вечно крылатой, и всегда настороже... Она всегда ограждает жизнь от нежизни — вот что. Она, как цепной пес, охраняет жизнь... Скажи мне, ты красива?.. — настойчиво спросил он. — Ты можешь положиться только на свою красоту? Когда заглядываешь в зеркало, не замечаешь часом, как смерть смотрит тебе через плечо?.. Нет? Я слышал твою игру, ты играешь «со слезою», потому что ты слабая. Регина Альбертовна говорит, что руки у тебя хорошие. Дай мне свою руку...

Коста привстал с кровати, и рука его коснулась моей руки... Я не могла уже ничего предотвратить, даже если б пожелала, потому что, как только его чуткие пальцы задребезжали на лунках моих ногтей, я оказалась вовлеченной в его мир, где не на что было опереться и спрятаться негде. С необъяснимым страхом я смотрела на то, как его пальцы с быстротой и легкостью насекомого передвигались по моей руке, по моим открытым плечам, коснулись моего лица, задержавшись на мгновение на глазах, веки мои под подушечками его пальцев затрепетали, как строчка из Толстого, как две неосторожные бабочки, пойманные в горсть, — кожей я чувствовала тепло его пальцев, оно проникало сквозь нее даже глубже, чем холод поднимающегося к сердцу небытия... Он долго, упорно, осторожно выслеживал меня, выдавая себя то за пень, то за птицу, то за камень придорожный, и наконец, когда я почувствовала себя невидимкой, привыкнув к нему, незрячему, он вдруг окружил меня сетью своих ощупывающих прикосновений...

Я вдруг вспомнила, как кто-то рассказывал мне о признаках, по которым криминалисты определяют срок пребывания утопленников под водой. Сморщенные «руки прачки» указывают на то, что бедняга утонул несколько недель назад, черные «перчатки смерти» — что он находится в воде несколько месяцев. Руки прачки, находясь постоянно в воде, теряют чувствительность, тогда как руки слепого так же чутки, как глазное яблоко, прикрытое веками. Не знаю, почему в эту минуту мне припомнился утопленник, свидетельствующий о себе подушечками пальцев, может, потому, что я сама была как беспомощный труп, по руке которого ползет насекомое...

Когда пальцы Коста только пустились в это медленное путешествие, я услышала, как где-то над нами в музыкальном классе кто-то невидимый стал неумело подбирать песню «Дороги дальней стрела». Пальцы у этого горе-пианиста постоянно соскальзывали в фальшивый звук, нащупывая ближайšie клавиши, потом возвращались, чтобы подобрать прервавшуюся мелодию, при этом левая рука убегала от правой в другую тональность. Этот мотив никак не мог сложиться под пальцами пианиста, и я закрыла глаза, надеясь, что в темноте ему будет удобнее совершать мелодическое передвижение, потому что мой абсолютный слух и тут оказался сильнее меня, это он диктовал мне условия того, как мне жить, как поступать, пальцы Коста опять ненадолго прилипли к моим векам (глаза чем-то притягивали его), розовая темнота, опущенная сетью ресниц, напомнивших голые спутанные ветви зимнего леса, теснее припала к ним, и тут, «как слеза по щеке», мелодия песни скатилась наконец к своей последней фразе...

Дыхание Коста оевало мне лицо, в этот момент я превратилась на его губах в какое-то нежное слово, оброненное на чужом языке, — и этот чужой гортанный язык, изобилующий шипящими, резкий, как запах нашатыря, привел меня в чувство. Чужая речь воздвигла мою кость, уже сокру-

шенную нежностью, из пепла. Мы только что обнимали друг друга, я подставляла ему губы, он неумело меня целовал, я чувствовала вкус его слюны, пахнувшей табаком (моя пахла вином), и вдруг его рука сжала мое трепещущее нежностью горло, чтобы я не смела крикнуть о помощи на своем языке... Мы стали сражаться, словно в зеркале, в обратной перспективе страсти, в черноте амальгамы, как будто цеплялись друг за друга, как цепляются утопающие, чтобы выплыть на поверхность реки, рыча и извиваясь. С треском порвалось мое любимое платье. Но мне уже было все равно.

И тут звуком распахнувшейся двери, будто волною, нас выбросило на берег, населенный людьми, где правили суровые законы их слуха, абсолютного слуха Теймураза и Заура, вошедших в комнату с бутылками вина и услышавших мой сдавленный крик.

— Ты что с ней... здесь происходит?! — крикнул Теймураз, разглядев наши замершие, сплетенные тела.

Хватка Коста ослабла. Я рванулась, выбираясь из-под его тяжелого тела, словно дух, слетела с кровати и выскочила за дверь, там со всего маху налетев на Нелю, ойкнувшую в испуге.

Я долго сидела у почты под чинарой, оглушенная случившимся, я медленно приходила в себя, перебирая в памяти все шаг за шагом, фразу за фразой, словно прокручивала фильм задом наперед, пытаюсь определить, где я ошиблась, что сделала не так, почему не видела то-то и не сказала так-то, каждое мое слово, каждый жест теперь словно представляли в новом свете, как в пьесе, сыгранной плохими актерами по законам дурно понятого символизма. Что-то случилось со мной, со всеми нами. Кажется, есть какой-то американский роман под таким названием — «Что-то случилось». Что-то кончилось. Виноватой я себя не чувствовала. Виной всему была моя слабость, мое короткое дыхание, робкая кровь. Сбежав от них, я переделалась в комнате, без сожаления бросив в корзину безнадежно испорченное платье, надела теплые сырые туфли и выскочила из общежития. Мне нужно было сейчас поговорить с мамой, услышать ее голос...

Из окна переговорного пункта выглянула телефонистка и сообщила, что я могу взять трубку. Я сорвалась к телефону.

Мама на все мои вопросы отвечала, что я напрасно трачу деньги: дома все в порядке. Мои чувства, перевоплотившись на миг во что-то непонятное, загадочное для меня и всех нас, называемое электротоком, в мгновение ока пронесли по проводам и передались маме.

— У тебя что-то не так?.. — спросила она, насторожившись. — Что-то случилось? Как ты себя чувствуешь?

— Все нормально, мама. А где отец? — спросила я.

— В командировке, — неохотно призналась она.

— Как же ты одна?

— Очень хорошо.

— Когда он вернется?

— Очень хорошо, — словно не расслышав моего вопроса, ответила мама, и тут нас разъединили.

Перезванивать было бесполезно. Я знала эту манеру мамы отвечать «очень хорошо» через большие паузы, в течение которых она, вполне вероятно, едва справлялась со слезами. Что-то там, дома, происходило, я это чувствовала на расстоянии, точно так же, как она почувствовала, что со мною что-то случилось. Возможно, сломался наш старенький «Рекорд». Чайковский, Глинка, Скрябин вылетели в форточку, и дома наступила великая замогильная тишина. Наша растущая взаимная тревога друг за друга, как ни странно, помогла нам справиться с собою, свои горести словно таяли, отступая перед призраком еще больших горестей и тревог, и это странное чувство самоотвержения в пользу другого приносило облегчение.

Подходя к общежитию, я увидела несущуюся по мосту Регину Альбертовну. Походка ее утратила свою боевитую целеустремленность срочного телеграфного сообщения, как будто сквозь нее сейчас зигзагами проходила встречная «молния», на ходу она всплескивала руками, поправляя сползавшую с плеча лямку сумочки, губы ее непрерывно шевелились, она громко разговаривала сама с собою; когда я подошла ближе, то поняла, что слова ее были адресованы мне, но я не могла их слышать, мне мешал шум Терека.

Чем ближе мы сходились, тем ярче разгорался в ее лице непонятный мне гнев, и наконец, когда мы сошлись лицом к лицу, она окатила меня с головы до ног яростным потоком слов:

— Вот вы как!.. Вот вы какая!.. Я не думала, что вы на такое способны!.. Вы не музыкант, вы пьянь! Ступайте к директору! Там вас уже ждут. И можете сказать ему, что нашим с вами занятиям пришел конец!.. Из-за вас тяжело пострадал Женя — ему разбили голову...

Я застыла, сраженная на месте. Господи, Женя-то тут при чем! — пронеслось в голове. Я бросилась бежать в сторону общежития. Последние слова Регина Альбертовна кричала мне уже в спину, и только одно слово, слово «конец», опять догнало меня и потонуло в реве Терека. Да, что-то случилось. Что же, Господи ты мой?..

Женя с забинтованной головой лежал на кровати. Рядом с ним в позе терпеливой сиделки, готовой пересидеть всех, но высидеть свое, расположилась Неля.

— Не понимаю, чего это они... — пожаловался мне Женя, едва я влетела в комнату. — Вхожу, а тут все дерутся. И мне врезали. Дали вот бутылкой по голове... — с гордостью добавил он.

Из их рассказа я постепенно, шаг за шагом восстановила картину всего случившегося здесь за то время, пока я ходила на переговорный пункт. После моего бегства между Теймуразом и Коста разгорелась безобразная драка. Теймураз успел разбить беззащитному Коста нос. Коста, наугад отбиваясь, свалил очки с переносицы Тейма, тем обезоружив его. Оказавшись на равных, они медленно и осторожно, как бойцы с завязанными глазами, стали охотиться друг на друга, в поисках противника махая перед собою кулаками, отвечая на каждый подозрительный звук ударами в воздух. Сначала досталось Зауру, на которого они, не разобравшись, оба набросились. Тот как умел защищался. В ход пошли бутылки, катавшиеся под ногами. В какой-то момент одна из бутылок и задела голову стоявшего в дверях Жени. Лишь отчаянный крик Нели остановил дерущихся... Прибежавшая на шум вахтерша баба Катя вызвала медсестру, та смазала зеленкой кровоточащую ссадину на его лбу и забинтовала голову...

Ничего страшного, храбрился Женя. Всего лишь выросла шишка. Фатима положила на нее медный пятак, сказала, что скоро все пройдет. Зато в момент удара с ним что-то произошло, он почувствовал нечто необыкновенное, он думает даже, что он что-то *увидел*. Он действительно что-то увидел, что-то новое для себя. Будто близкая вспышка солнца, которое он прежде ощущал как розовый свет на веках. Розовую тень. Жаль, что все случилось так быстро и он ничего не успел рассмотреть. Может, для него еще не все потеряно и ему стоит сделать операцию на глазах?.. Ведь бывали же случаи, когда потерявшие зрение слепые люди прозревали после близкого разряда молнии или того же удара по голове... Погладив Женю по лицу, коснувшись губами его забинтованного лба, я спросила:

— А где остальные? — Я опять задала свой роковой вопрос, прозвучавший уже сегодня один раз в этой комнате и приведший к роковому исходу.

— Они все у директора. Тебя тоже ищут... Неля говорит, что это ты во всем виновата, я только не понял — в чем? Что ты сделала?..

Неля, до сей поры сидевшая в углу и скорбно качавшая головой, резко поднялась с места и прошествовала к дверям комнаты, дерзко и независимо стуча каблучками.

— Ничего, — сказала я ему, опять, как маленькому, коснувшись губами бинта, скрывавшего его шишку, накрытую пятаком. Почему-то этот нелепый пятак меня успокоил, я почувствовала, что ничего фатального и непоправимого не могло случиться в мире, где людей лечат зеленкой и девдовскими пятаками.

Я смотрела на Женю, растекаясь взглядом по его лицу, вспоминая ту далекую минуту (как же давно это было!), когда он впервые оказался предо мною, выплыв из утреннего тумана, в котором они собирали опавшие яблоки. Его лицо опять было близко и беспомощно-растерянно, оно ничего не выражало, не подсовывало мне никакого чувства взамен себя — доброго беспомощного лица, распластанного под скалкой чужого взгляда, как тесто. Увидят ли еще когда-нибудь мои глаза такое младенческое лицо со смеженными от невыносимого света веками, за которыми плавают погруженный в вечный сон зрачок...

— Я зашла попрощаться, Женя... — сказала я. — Я уезжаю домой.

— Но ты ведь скоро вернешься, да?

— Не знаю, наверное, нет.

— Нет? Но почему?.. А как же мы все? Как же ребята? Как же ты уедешь не попрощавшись?.. Они обидятся, что ты опять их бросила.

Он сказал «опять бросила», я не поняла, что он имеет в виду под словом «опять» — разве я их прежде бросала? — нет, это они меня бросали: тогда, одну в общежитии, совсем больную, и в том тяжелом сне, в той сумеречной долине, выразимой лишь звуками, они ушли от меня вперед не оглянувшись, оставили лежать одну на земле, слабую, слепую...

Женя нащупал на тумбочке рельефную линейку и взял в руки тетрадь.

— У тебя есть ручка? Дай мне, я запишу твой адрес.

Я дала ему свою ручку и стала диктовать адрес. Женя мучительно долго обводил каждую букву, на которую наматывалась незримая секундная стрелка их ничем не защищенных ходиков, времени, ходящего по кругу, как лошадка на карусели. «О» или «а»? — спрашивал он. Я отвечала, глядя на обложку нотной тетради остановившимся взглядом. В моей ручке кончилась паста — а Женя все писал. Мой адрес выпал на бумагу, как снег, и, как снег, — растаял. У меня еще долго не будет постоянного адреса, а когда он наконец появится, не станет меня, той, что сейчас без страха и сомнения диктует свой старый адрес слепцу, записывающему его невидимыми буквами, точно его рукой водит зрячая судьба.

— Пока в Ростов, — сказала я, — а дальше видно будет.

Мы растерянно обнялись; я в последний раз раскрыла дверь этой комнаты и в последний раз закрыла ее, твердо зная, что больше уже никогда ни его, ни других слепых не увижу.

Я опять шла по городскому мосту.

Навстречу мне двигалась Ольга Ивановна. Она рассеянно шурилась на выглянувшее солнце, на уходящие с неба тучи, на Терек, неукротимый, легендарный, вечный, как вечна великая музыка о нем, — и Терек, и музыка, перетекая, жили друг в друге, затмевая самих себя, и кто из них прежде кончится — река ли иссякнет, музыка ли умрет, — Бог весть.

Увидев меня, Ольга Ивановна просияла так, что я поняла: она еще ничего не знает. Ее недоуменный взгляд скользнул по моему чемодану.

— Ольга Ивановна, я должна с вами попрощаться. В кармане у меня лежит билет на поезд, — соврала я (билета у меня еще не было). — Через два часа я уезжаю.

— Что-то случилось дома? Да?.. Но ты вернешься к экзаменам? Обязательно приезжай.

— Я не вернусь, Ольга Ивановна. Я решила бросить училище.

У нее, бедной, даже лицо вытянулось.

— Почему?..

— Мне все надоело, — сказала я ей правду.

— Тебе осталось всего полгода — и диплом в кармане!..

Она вдруг задохнулась, так много слов, так много чувств сразу нахлынуло на нее. Я стояла рядом с нею, напоследок греясь в лучах ее простоватой восторженности, на которой можно было отдыхать, положив голову, как на подушку. Я все топталась на одном месте, находя сомнительное удовольствие в этом кратком мгновении еще не тронутого прошлого, всей кожей щеки, лица, всего тела чувствуя исходящее от него тепло, быстро улечувывающееся на глазах, — увы, Ольга Ивановна жила уже в моем прошлом, и, как гость из прошлого, она могла говорить только о нем, она была словно слепая (не знающая), она не замечала меня теперешней — живой, смятенной, теснимой со всех сторон безжалостной действительностью. Голос ее звучал проникновенно, в нем сквозила тревога за меня, я вслушивалась в это тремоло бывшей солистки как замороженная, не слыша слов, скользивших по обочине моего сознания и уплывавших в какую-то дурную бесконечность. Слова, которые она произносила, должно быть, были справедливы, но для меня они давно утратили смысл. Она о чем-то спрашивала, я что-то ей возражала, и когда она заметила, будто моя беда в том, что я слишком погружена в себя, я резко ответила, что, наверное, есть во что... Она осеклась, споткнувшись об эту неожиданную мысль, но затем добавила, что вокруг люди и с ними надо хоть как-то считаться. Такт за тактом — и начнется ведущая тема, я уже знала ее тональность, ритмический рисунок и звучание — здесь мне отведена басовая партия, несколько глухих, как в бочку, аккордов той же тональности, необременительный аккомпанемент. Все это я уже слышала.

— Почему я должна оправдываться? Я свободный человек...

— Как трудно с тобой разговаривать, — огорчилась она.

— Это оттого, что я не дура, — объяснила я.

— Зачем ты мне грубишь? — сказала она.

— Нет, я просто говорю то, что думаю.

Она вздохнула и вдруг, как будто отбросив наконец свое притворство, легким жестом положила мне руку на лоб.

— Бедная голова, какой в ней туман, — сказала она и пошла вперед не оборачиваясь.

— Вы не хотите со мною попрощаться?

— Нет, не хочу, — бросила она через плечо. — Какой туман, да. Ты сама для себя бедствие. Это до поры до времени тебе все сходит с рук... Конечно, ребят ты со счетов уже сбросила, а ведь они так привязаны к тебе. Бедствие, бедствие... — Приговаривая это, Ольга Ивановна пошла к общежитию, а я постояла, посмотрела ей вслед и направилась в другую сторону — в сторону вокзала.

Все равно нас ждет разлука, ей можно заговаривать зубы всяческими посулами, из нее можно выдергивать по нитке воспоминания, о ней можно не думать, как о собственной душе, но я хочу смотреть прямо в ее правдивое лицо. Меня завораживает ее тайное имя — любовь. Но она прозрачнее любви, она наводит на окружающий мир разящую навывлет резкость. Те, с кем мы разлучены, живут на Луне, на обратной ее стороне. И не надо обманывать себя: мы никогда не встретимся. Если они захотят повидаться с нами, пусть берут билет на состав пролетающих, как электроток по проводам, сновидений. Прощание — условность. Если бы мы расстались с ними после получения диплома, никто (кроме меня) не почувствовал бы уродства этого вялого, лишнего темперамента и мужества расставания, его иллюзорного, едва тлеющего в коридоре дней света, поэтому я ухожу сейчас, отворив дверь разящему свету разлуки так, как сделала бы это сама судьба, но осторожнее. У меня не было в запасе никаких подходящих случаю слов, никакой координации между слухом и голосом, между сердцем и рукою. Правда, я не слишком верю выраженным чувствам, потому что знаю, что к *выражению* чаще всего прибегают, когда чувства нет, когда пользуются лицом, как набором масок, а руки заставляют выполнять роль хлопушек. Потому мне и было так покойно со слепцами, что им не требовалось мое *выражение*. Я пожалела, что не рассказала Ольге

Ивановне про свою коллекцию документов. Что я могу сделать, какими словами объясняться с ними? Я уже давно поняла, что наставники мои ревнуют меня к моей собственной жизни. Но с меня хватит, я долго раскланивалась с тенью своей вины, а она долго, как болванчик, кивала мне в ответ.

Я увидела их всех из окна вагона в последнюю минуту, оставшуюся до отправления поезда.

В стоявшей на перроне толпе провожающих произошло какое-то смятение, словно перед людьми пронесся маленький смерч, и они расступились в стороны... Слепые выскочили на перрон и вереницей, держась одной рукой за плечо впереди идущего, заковыляли к поезду. Они двигались прямо на меня, слившись в одно многорукое тело, четырехглавое существо, как в танце летка-енька, которому я их учила. Впереди шел Теймураз, хотя на нем не было очков и он видел сейчас не больше других. Разгоняя встречных людей своими палками, они шли напряженно вытянув шеи, вслушиваясь и вглядываясь в кромешную тьму впереди себя. Казалось, еще одно усилие — и они прозреют и заметят меня, спрятавшуюся за вагонным стеклом, как рыба в аквариуме, окутанную безопасными подводными сумерками, куда не проникнуть взгляду. Я всей душой рванулась им навстречу, не двинувшись с места, и от этого рывка как будто перестала видеть, пережив ослепительный взрыв в глазах, ослепнув на мгновение. Я смотрела на них, на то место на перроне, где они ковыляли, но видимость вдруг резко ухудшилась, как будто к вагонному стеклу, залитому опять пошедшим дождем, приставили двухсантиметровые линзы. Люди слились в одно странное, уплывающее в туман прошлое. Вокзал выкатился из глаз, как слеза. Поезд тронулся. А я все еще силилась разглядеть за окном слепых музыкантов, Столовую гору, пробившийся сквозь тучу луч солнца... Но слезы не давали увидеть красоту разлуки.



ОЛЕГ ГУБАНОВ

*

ОТОЙДИ, СТОЙ, НЕ ДВИГАЙСЯ

* *
*

Никогда я не был в Караганде,
я ее лишь проезжал на паровозе
под мостом автомобильным в темноте.
Но лучше напишу об этом в прозе.

Дескать, никогда я не был в Караганде.
Помню, по мосту ехал троллейбус,
в пустом салоне горел свет.
А потом станция Караганда-Сортирочная.

На каменной оградке белел снег,
точней, иней, для тех мест было морозно.
Никогда я не был в Караганде,
и говорить об этом уже поздно.

А ведь меня там ждали, в Караганде,
Караганда — город немцев и казахов.
Немочка какая в худой своей красоте,
с волосами блондинки и набором запахов.

Немцы, они народ такой —
хоть и европейцы, а трахаться любят.
Это еще известно от первой мировой;
и русские народные песни о трагичности судеб.

Бывало, так скажут: «Ну, спой, спой»,
а и чего не спеть, когда выпил или тем паче трезв.
Я ж отказать не могу, я парень простой,
ну и затянешь, бывало, как шофёр в степи замерз.

А они, немцы-то, немцы —
ой, заводной народ, —
сразу плясать, выстраиваются в шеренги
и прусским шагом ведут хоровод.

В Караганде-то не так, там дома другие,
там климат континентальный, там воздух сухой.
Там немцы тоскуют по России,
хотя до России подать рукой.

Ну, Берлин — это мы помним, как же.
Поджог рейхстага, Жуков на белом коне,

фрицы в почетной страже,
Гилмор на вертолете, Ростропович поет на стене.

Дикие утки, гуси, толчея проходов,
Капитолий на Капитолийском холме,
орды варваров, германцев, гугенотов, готов.
Первый Рим должен быть разрушен, и все утопает
в праздничном огне.

Да. И за столько лет, как говорится, за столько весен
никогда не видеть немку, не побывать в Караганде.
Заморозки, скоро осень.
Скоро осень, а ты — где?

А ведь мой дядя, почивший в бозе,
не шадя себя погиб, освобождая от немцев Берлин,
чтобы я сейчас на мирном паровозе
промчался по запасному пути.

И всего-то было выйти из вагона,
пешком немного пройтись,
потом на трамвае, метро...
А я вона —
в уборной на трубе обѣсися.

* *
*

открой рот
скажи: а, б
ветер ли в окна летит
больно ли стало тебе

вот
в правой руке гвоздь
верхом на вороне сидишь
покорябана ли твоя совесть
предназначена ли тебе жизнь

взмах
полные уши крови
полные ноздри песка
выковыриваешь из глаз иероглиф
жажда любви — ты далека

жажда смерти
стоит близко
ногами трогаешь цементную пыль
Господи, я расту низко
Господи, мое имя ковьяль

отойди
стой
не двигайся
мне смешно
разве ты не дышишь грудью?
разве это окно?



ГЕНРИХ САПГИР

*

ПУСТЬ ВАВИЛОН ВСКИПИТ ОГНЕМ

Мыло из дебила

послевоенный дом — с угла
подсобка... дальше — тьма и топи...
в подвале фабрика была
рано поутру в пикапе
приезжали два «козла»
выносили замороженных
двух дебилов нежно-розовых
дверцы хлоп хлоп
развернулся — и уехал пикап

дворничиха из подъезда вышла
фабрика работала неслышно
там под лестницей — внизу
мурло растворяло дебила в тазу
всегда в платке и в зимней шапке
ломом шуровало в дымной топке
кричали дети наверху
запах морга и вагона
крепкий запах самогона
целый день стоял в цеху

в котле бурлило и кипело
через края стекала пена
мурло повсюду успевало молча
посмотрит на манометр — не врет
кран подвернет и тряпкой подотрет
ощерясь на огонь по-волчьи
подкинет угля в топку
нарежет хлеба колбасы
пригладит длинные усы
и молча опрокинет стопку

лаборатория — каморка
здесь ляжешь и уже привык
в углу гнилой картошки горка
на верстаке — стеклянный змеевик
тусовка? посиделки? не скажи
сидят на корточках суровые бомжи —
сократы с виду и моржи
сидят и девушки лет сорока
наколки синяки и разные срока
живого места нет — исколота рука
Учитель наш — алкаш по кличке «Дед»

на бритом черепе над ухом — след
там продолбили дырку говорят
и заложили атомный заряд
план у него давно готов:
в водопровод подсыпать СПИД
в канализацию — карбид
а в вентиляцию — иприт
как будто раскаленный прут
мы голыми руками гнем
пусть Вавилон вскипит огнем!

и вот поэт — наш гений-самоучка
наш лысый Блок и наша авторучка
он воздевает ручки-спички
(смотреть неловко без привычки):
«старик оставь тщету и спесь
измерен ты и взвешен весь
себя ощупай поскорей-ка —
грудинка вырезка корейка
икра сарделька субпродукты —
прекрасно упакован друг ты
деликатес гуляет в пасти
но если мяса нет на кости
все ж не грусти — когда умрешь
для мыла будешь ты хорош»

вот так — кто занят самогоноварением
а кто — стихами общим говорением...
вздыхали пели допивали
гудела фабрика в подвале...
в парфюмерии видали
шик парижский и так далее? —
мыла нежные головки
в полном блеске упаковки
пахнут мускусом жасмином
чем-то диким и невинным...
это мыло нам сварили из дебила

Как будто главное

как будто главное забыл
еще минута —
и станет рай
утробой
адам...
что я — мало
или много?
ведь яблоки и гусеницы
рядом —
и вспомню...
вспомнил!
рот с ушами?
свечка Бога?..
вспомнил но как будто

не мне ль дана свобода?
Боже мой!
в тоске и страхе

прижимаясь к стенкам —
жжет изнутри
слепительная
точка! —
не сам ли стал
я собственной тюрьмой? —
из живота — ни жабы
ни росточка...
срастаюсь узник
со своим застенком

проснулся ночью
весь в поту
...и с визгом в мозг —
усвой его
развей! —
(малыш играет
с голым пузом...)
и *знание* —
от затылка
по хребту
...сморчком
и старичком-тунгусом —
чужой зародыш
гибели своей

огрызок яблока —
вот на глазах ржавеет
...и числа
без смысла
и травы не правы —
и птицы...
и человек
в свою реальность
верит?..
остыл твой чай
там муха плавает
уже не шевелится

не крылья
вырастают у меня
Бог смотрит
нашими глазами:
уходит
прожигая кроны
солнце
и тень моя
растет на склоне дня —
вот отчего
мы видим сами!
так всякий атом
в истине проснется



ВЯЧЕСЛАВ ПЬЕЦУХ

*

ГОРОДСКОЙ РОМАНС

Рассказы

ШКАФ

Этот шкаф долгое время числился по бутафорскому цеху Орловского драматического театра имени Тургенева и преимущественно играл в пьесе «Вишневый сад». Шкаф был самый обыкновенный, двустворчатый, орехового дерева, с широким выдвинным ящиком внизу и бронзовыми ручками, чуть взвывшимися едкою зеленцой, но, главное дело, был он не книжный, как следовало у Чехова, а платяной; по бедности пришлось пририсовать ему масляной краской решетчатые окошки, и на глаз невзыскательный, областной, вышло даже как будто и ничего. Во всяком случае, и зрители фальши не замечали, и актеров она нимало не раздражала, впрочем, провинциальные актеры народ без особенных претензий, покладистый, по крайней мере не озорной. Бывало, во втором акте подойдет к шкафу заслуженный артист республики Ираклий Воробьев, взглянет на него с некоторым даже благоговением, как если бы это была настоящая вещь редкого мастерства, картинно сложит руки у подбородка и заведет:

— Дорогой, многоуважаемый шкаф! Приветствую твое существование, которое вот уже больше ста лет направлено к светлым идеалам добра и справедливости; твой молчаливый призыв к плодотворной работе не ослабевал в течение ста лет, поддерживая в поколениях нашего рода бодрость, веру в лучшее будущее и воспитывая в нас идеалы добра и общественного самосознания... — и все это со светлой нотой в голосе, искренне и несколько на слезе.

Между тем «многоуважаемый шкаф» лет тридцать простоял в мебелированных комнатах «Лиссабон» на 3-й Пушкирной улице, потом в помещении губпросвета у Очного моста, потом в городской военной комендатуре, то есть отродясь в нем ничегошеньки не держали, кроме исходящих и одежды, побитой молью, но тем более изумительна способность к такому самовнушению, которое превращает в святыню мешчанский шкаф.

Всего отслужил он в театре пятнадцать лет; и горел он, и отваливались у него ножки, и много раз роняли его пьяные монтировщики декораций, а мебелина — как ни в чем не бывало, только ручки у нее все больше и больше брались едкою зеленцой. А перед самой войной в театр пришел новый главный режиссер, Воскресенский, и велел для «Вишневого сада» купить настоящий книжный шкаф взамен упаднически раскрашенного платяного, и ветеран долго дряхлел в бутафорском цехе, пока его не подарили актрисе Ольге Чумовой на двадцатилетие ее сценической деятельности, которое она отмечала в сорок восьмом году.

Таким вот образом старый шкаф попал на улицу Коммунарв, в двухэтажный бревенчатый дом, в квартиру номер 4, где кроме Ольги Чумовой, ее мужа Марка и племянницы Веры обитали также молодожены Воронины, умирающая старуха Мясоедова и одинокий чекист Круглов. Комната Ольги была до того маленькая, что шкаф сильно затруднил передвижение

от двери к обеденному столу, а впрочем, это было еще терпимое неудобство по сравнению с тем, что квартира номер 4 делилась на закутки фанерными перегородками, и так называемая слышимость превышала всякую меру человеческого терпения; запоет ли одинокий чекист Круглов арию Розины из «Севильского цирюльника», примется ли стенать старуха Мясоедова, или займется своим делом молодожены — все было слышно в мельчайших подробностях и деталях; Марк сядет писать заметку в стенную газету, и то старуха Мясоедова расшумится: дескать, спасу нет от мышей, хотя это всего-навсего поскрипывает перо. Как раз из-за ненормальной слышимости в квартире номер 4 и случилась история, которая представляется маловероятной в наши сравнительно безвредные времена.

А именно: однажды поздним октябрьским вечером 1950 года Ольга Чумовая, ее муж Марк и племянница Вера сидели за чаем под богатым голубым абажуром, который давал как бы лунный свет и бледным сиянием отражался на лицах, скатерти и посуде; по радио передавали последние известия, за окном противно выла сирена, созывая работников ночной смены, Ольга задумчиво прихлебывала чай из китайской чашки, Вера прислушивалась к игривым препирательствам молодоженов Ворониных, а Марк читал за чаем «Войну и мир»; он читал, читал, а затем сказал:

— Не понимаю, чего Толстой так восторгается народным характером войны 1812 года?! Какую-то дубину приплел, которая погубила французское нашествие, — черт-те что!.. Народ не должен иметь навыка убийства, иначе это уже будет сборище мерзавцев, а не народ, он должен трудиться, обулаивать свою землю, а защищать национальную территорию обязана армия, которую народ содержит из своих средств. Уж так истари повелось, что народ созидает и отрывает от себя кусок на прокорм жертвенного сословия, военных, которые в военное время убивают, а по мирному времени учатся убивать. Так вот, если война принимает народный характер, то это значит, что армия никуда не годится и по-хорошему ее следует распустить. Спрашивается: чему тут радоваться, чем гордиться, если народу приходится делать за армию ее дело, бросать, фигурально выражаясь, мастерок и брать на себя страшный грех убийства? Стыдиться этого надо по той простой причине, что если у государства никудышная армия, то это срам!

Ольга пропустила мужнин монолог мимо ушей и поведала невпопад:

— А у нас в театре сегодня было открытое партсобрание...

— Ну и что?

— Ничего особенного. Ираклий Воробьев доказывал, что только в эпоху Иосифа Сталина артист поставлен на должную высоту.

Вера сказала:

— Ну, это он принижает наши достижения: у нас люди всех профессий поставлены на должную высоту. Я прямо ужасно горжусь нашей страной, несмотря даже на то, что который год не могу построить себе пальто.

Вообще все как-то не обратили внимания на слова Марка, и напрасно, поскольку их легко можно было истолковать в самом опасном смысле: де гражданин Чумовой вредительски извращает народный характер Великой Отечественной войны, умаляет историческую победу партии Ленина — Сталина над германским фашизмом и клеветает на Советскую Армию, которую, по его мнению, следует распустить. Впоследствии, видимо, кто-то истолковал слова Марка именно таким образом, ибо в ночь на 24 октября пятидесятого года за ним пришли. Вероятнее всего, что это оказал рвение по службе одинокий чекист Круглов, хотя он был с Марком в приятельских отношениях и считал себя по гроб обязанным Ольге, которая заговорила ему грюжу в паху и много раз останавливала носовое кровотечение; однако было не исключено, что донесли молодожены Воронины, которые вождели сравнительно просторную комнату Чумовых, хотя в ту минуту, когда Марк наводил критику на Толстого, они игриво препирались между собой и вряд ли уловили опасный смысл сказанного; наконец, могла под-

гадить старуха Мясоедова, даром что она одной ногой стояла в могиле, хотя она была малограмотная старуха и не отличала левого уклониста от кулака. Но как бы там ни было, в ночь на 24 октября в комнату к Чумовым ввалились чекисты в сопровождении дворника Караулова, подняли с постели Марка и предъявили ему бумажку:

СССР
Управление Государственной Безопасности
Орловского горотдела МГБ
Ордер № 543

Выдан 23.X.1950 г.
Действителен 2 суток.
Сотруднику Нечитайло В. Н.

Тов. Нечитайло,

Вам поручается произвести обыск и арест гр-н. Чумового М. Г., проживающего ул. Коммунаров, д. 5, кв. 4.

Всем органам Советской власти и гражданам СССР надлежит оказывать законное содействие предъявителю ордера при исполнении им возложенных на него поручений.

Начальник Орловского ГО МГБ: Туткевич.
Секретарь: Гудков.

Ночной этот налет показался Марку столь невероятным, что он даже с интересом прочитал предъявленную бумажку и не мог сдержать нервной улыбки, когда у него изъяли черновик заметки для стенгазеты, томик Достоевского и костяной нож для разрезания бумаги из бивня морского зверя. Улыбаться ему было вроде бы не с руки: увели его, бедолагу, год продержали в тюремной камере, осудили за участие в подпольной фашистской организации и упекли в колымские лагеря. Там он как в воду канул, ни слуху ни духу не было о нем до самого освежающего 1956 года, когда Ольга Чумовая получила из областного отдела госбезопасности свидетельство о смерти ее супруга от воспаления легких и справку, извещающую о том, что за отсутствием состава преступления дело гражданина Чумового производством прекращено.

Ольга же, напротив, пережила в ночь на 24 октября такое тяжелое потрясение, что ей отказал язык; племянница Вера в отчаянье и так к ней подъезжала, и сяк, но Ольга не могла ни слова из себя выдать и только вращала безумными глазами, как механические совы на стенных часах или как сердечники во время жестокого приступа ишемии. Впрочем, дар речи вернулся к ней очень скоро: три дня спустя после ареста Марка чекист Круглов намекнул соседке, что вот-вот и за ней придут, и дар речи внезапно вернулся к Ольге, словно он только затаился в ней на семьдесят два часа.

— Чему быть, того не миновать, — сказала Ольга и как-то ушла в себя.

На самом деле она и не думала покоряться слепой судьбе, и весь вечер они с племянницей Верой судили-рядили, как бы обвести ее вокруг пальца: можно было бежать из города куда глаза глядят, да только в чужих людях без средств к существованию не прожить, а Ольга не умела даже помыть посуду; можно было уехать на Украину, в городок Градижск под Кременчугом, где жила Ольгина бабка, ведунья, известная всей округе, да только и актрису Чумовую там знали во всей округе; наконец, можно было как-то спрятаться и в Орле. Тут-то племяннице Вере и пришла в голову остроумная мысль вполне национального образца, которая не пришла бы ни в какую голову, кроме русской, а именно: решено было, что Ольга просидит какое-то время в платяном шкафу, подаренном ей на двадцатилетие ее сценической деятельности, пока недоразумение не развеется и Марка не выпустят на свободу. В тот же вечер Ольга засела в шкаф,

наутро всей квартире было объявлено, будто бы она уехала из города в неизвестном направлении, и чекист Круглов со странным удовлетворением сообщил, что теперь на нее объявят всесоюзный розыск и, скорее всего, найдут. Между тем за Ольгой не пришли ни на другой день, ни на третий, ни даже через неделю — видимо, Круглов оповестил свое начальство об исчезновении Чумовой и ее искали в иных местах.

Первое время Ольга вовсе не выходила из своего оригинального убежища, опасаясь быть обнаруженной как-нибудь невзначай, и даже справляла нужду в горшок, который племянница Вера подавала ей дважды в день. Изнутри шкаф оказался на удивление поместительным: в нем разве что гулять было нельзя, но свободно можно было стоять не пригибаясь, вольготно сидеть на маленьком пуфике, спать лежа, немного согнув ноги в коленях, и даже делать гимнастику, если исключить из программы некоторые особо резкие упражнения вроде прыжков на месте. Для вентиляции Вера проделала шилом дырочки в боковой стенке, для освещения в шкафу была поставлена свеча-ночник в миниатюрном подсвечнике, наполнявшая помещенье запахом гари и старины, — одним словом, многое было сделано для того, чтобы бытование в древней мебели было удобней и веселей; впоследствии Вера туда еще и электричество провела, так что получилась как бы отдельная жилая площадь, целый чуланчик с удобствами, который в условиях перманентного жилищного кризиса мог быть даже предметом зависти для многих обездоленных протастов.

Чуть ли не всю первую неделю жизни в шкафу Ольга Чумовая последовательно изучала его внутренность, испытывая при этом чувство первопроходца, попавшего в незнакомые, занимательные места. На задней стенке имелось созвездие загадочных дырочек таинственного происхождения, похожее на созвездие Близнецов; на левой боковой стенке виднелись трещинки, складывающиеся когда в горный пейзаж, когда в физиономию Мефистофеля, каким его вырезают на чубуках; на правой боковой стенке, не считая отверстий для вентиляции, были вбиты три гвоздика неизвестного предназначения, на которых болтались толстые выцветшие ниточки, похожие на высохших червячков; на правой створке шкафа были нацарапаны слова «Памяти праведников Прокопия и Нафанаила» — видимо, заклинание от моли; на левой створке не было ничего.

Очень скоро оказалось, что Ольга обитает в шкафу не одна: в правом верхнем углу жил себе паучок, к которому у нее сразу возникло некоторым образом коммунальное отношение, то есть отношение одновременно товарищества и разлада. Презабавный это был паучок: он то медленно, точно в раздумье, спускался по невидимой ниточке, то вдруг ни с того ни с сего молниеносно взмывал по ней вверх, иногда он раскачивался, повиснув на задней ножке, как цирковой гимнаст, всегда появлялся из своей потаенной норки, стоило поскрести ногтями по стенке шкафа, а если кашлянуть, например, почему-то тотчас прятался и долго не вылезал. Позже Ольга даже ставила опыты с паучком: подсовывала ему мушек, которых ловила для нее племянница Вера, сажала его на палочку и переселяла в другой угол шкафа, проверяла реакцию на изменения влажности, на разное освещение, на шум и в конце концов пришла к выводу, что пауки — в высшей степени благоустроенные существа, то есть совершенно довольные собой в окружающем мире и миром вокруг себя. Между прочим, из этого вывода последовала первая в ее жизни социально-этическая идея: поскольку пауки благоустроены потому, что знают бытовую культуру на генетическом уровне, как закон, через который невозможно переступить, постольку высшая цель социалистического строительства состоит в том, чтобы на протяжении нескольких поколений воспитать человеческое существо, генетически довольное собой в окружающем мире и миром вокруг себя, хотя бы для этого человека нужно было довести до статуса паучка. Чтобы укрепиться в своей идее, Ольга попросила племянницу Веру взять в районной библиотеке какую-нибудь книжку о

мелкой жизни, затем последовали основательные труды по энтомологии, и, сколь это ни удивительно, со временем Ольга сделалась едва ли не самым крупным специалистом в Орловской области в области физиологии насекомых. Она потом даже вела спецсеминар в Воронежском педагогическом институте по безусловным рефлексам у телефонов и в шестидесятом году защитила по ним кандидатскую диссертацию, что называется, «на ура».

Вообще жизнь в шкафу оказалась не такой уж и скучной, как представлялось ей поначалу, ибо и ученое занятие у нее нашлось, и, хочешь не хочешь, жила она жизнью своей квартиры. То старуха Мясоедова смертно, как-то окончательно застенает — кажется, вот-вот и вправду отдаст Богу душу, то, вернувшись со службы, что-нибудь интересное поведает одинокий чекист Круглов, то Воронины из-за чепухи затеют незлой скандал или займутся своим молодым делом, а Ольга по частоте и глубине дыхания угадывает фигуру. Кроме того, она одно время репетировала Катерину из «Грозы», каковую накануне ее исчезновения начал ставить режиссер Воскресенский, но вскоре бросила, ибо вдруг почувствовала отвращение к своему прежнему ремеслу. Наконец, Вера догадалась подвесить репродуктор подле дырочек для дыхания, так, чтобы радио можно было слушать при самой ничтожной громкости, и, таким образом, Ольга всегда была в курсе событий, которые происходили в отечестве и вокруг. Сидя в шкафу, она сердечно радовалась успехам восстановления народного хозяйства, разрушенного войной, и остро переживала такие драмы, как предательство маршала Тито, небывалое наводнение в братском Китае и вспышку холеры на Соломоновых островах. Любопытно заметить, что некоторые события она с необыкновенной точностью предсказала, например, она напророчила Берлинский кризис и поражения французов под Дьенбьенфу; смерть Иосифа Сталина она накаркала за полгода до того, как в начале весны пятьдесят третьего года он скончался от инсульта на ближней даче. Разумеется, Ольгу томило мучительное однообразие ее жизни, но когда уже совсем становилось невмоготу, она говорила себе, что, верно, будни актрисы Гиацинтовой не намного разнообразнее ее буден, то же самое: зубрежка, репетиция и спектакль, зубрежка, репетиция и спектакль, — даром что она столичная примадонна, вращается и вообще.

Это соображение было тем более основательным, что за время Ольгиного сидения в шкафу квартира номер 4 пережила ряд значительных событий и перемен. Приходили печники из домоуправления переключивать печку в комнате Чумовых, и Ольга битых четыре часа просидела в шкафу ни жива ни мертва, опасаясь дышать полной грудью, а душе того — опасаясь впасть от страха в обморок и вывалиться наружу, к изумлению печников. Как-то, в пору обеденного перерыва, когда в квартире никого не было и даже старуха Мясоедова с градусником под мышкой стояла в очереди за мукой, забежали домой перекусить молодая Воронина и Круглов, но даже не прикоснулись к своим керогазам, а сразу вступили в связь, и Ольга подумала, ужаснувшись: а что, если и ее Марк грешил с молодой Ворониной, воспользовавшись обеденным перерывом? Коли так, то это еще мало, что его посадили, а нужно было его примерно четвертовать. Летом пятьдесят третьего года, в ночь, арестовали Круглова; той ночью Воронины занимались своим молодым делом, старуха Мясоедова помирала не на шутку и даже примолкла, охваченная отходной истомой, сам Круглов зубрил английские неправильные глаголы — видимо, его собирались переводить на заграничную работу, — когда в квартиру номер 4 ввалились чекисты в сопровождении дворника Караулова, повязали бедолагу по рукам и ногам, поскольку он несколько раз норовил выброситься в окно, избили и увели. А старуха Мясоедова той ночью в конце концов померла, и три дня спустя племянница Вера таскала Ольге с поминального стола то блинчиков с селедкой, то кутьи на блюде, то крахмального киселя. В январе пятьдесят четвертого года комнату Круглова отдали Ворониным, и пьяный плотник из домоуправления долго ломал фанерную перегородку,

пока не заснул с топором в руках.

Однако события и перемены выдавались довольно редко, и обычные дни были похожи друг на друга, как воробьи. Поднималась Ольга без пятнадцати минут шесть, поскольку одинокий чекист Круглов поднимался в шесть, и, справив нужду, забиралась в шкаф. Там она усаживалась на пуфик, подпирала голову руками и слушала звуки своей квартиры. Вот зазвонил будильник у чекиста, тот испуганно всхрипнет напоследок и принимается хрустеть суставами, потягиваясь в постели. Затем он начинает заниматься гирями (гири иногда тупо стучаются друг о друга), приговаривая при этом одно и то же, именно на вдохе:

Гвозди бы делать из этих людей... —

и на выдохе:

Не было б в мире крепче гвоздей, —

а Ольга тем временем подумывала о том, что классик написал, в сущности, вредительские стихи. После гимнастики Круглов долго и основательно умывался на кухне, напевая арию Розины из «Севильского цирюльника», а примерно с половины седьмого его партию постепенно забивали прочие голоса. Начинала постанывать старуха Мясоедова, жалобно так, точно она просила помощи на каком-то неземном языке; сквозь ее стоны мало-помалу прорезалось сладострастное дыхание Ворониных, и старуха вдруг замолчит — видимо, прислушивается к молодым звукам любви — и вспоминает свое бывшее. После шумели одни Воронины: они нудно спорили, кому выносить горшок, звенели посудой, шаркали тапочками и уморительно трудно одевались, ибо ни одна вещь у них не знала своего места.

— Зинк! — говорил *сам*. — Куда, к черту, запропастились мои носки?!

— А я почему знаю! — отвечала ему *сама* и потом заунывно отчитывала супруга за непамятливость и небрежность, пока носки не находились в ящичке с песком, устроенном для кота.

За завтраком они всегда разводили политические беседы.

— Я не понимаю, — например, говорит *сам*, — чего тянет резину английский пролетариат?.. Нет, правда, Зинк... Чего они там резину-то тянут, чего они не скрутят свою буржуазию в бараний рог?! Безработица у них страшная, уровень жизни постоянно падает, уверенности в завтрашнем дне нет никакой, а они, понимаешь, ни шьют, ни порют!..

— Наверное, у них муку без очереди дают, — гадает *сама*, и Ольга чувствовала, что у Зинаиды Ворониной в эту минуту на лице оживает мысль. — У них, поди, тогда произойдет социалистическая революция, когда начнутся очереди за мукой.

Сам говорит на это с поддельной силой:

— Ты давай сворачивай эту враждебную пропаганду, а то я на тебя в органы наступчу.

Затем Воронины отправлялись на службу: *сам* — в пожарное депо, *сама* — в Орловский энерготрест, — и в квартире наступало относительное затишье; относительное, собственно, потому, что все же время от времени постанывает старуха Мясоедова, приглушенно шепчет радио, осыпается штукатурка на новой печке, вода каплет из рукомойника, кот точит когти о войлочный коврик, на кухне возятся мыши, сами собой поскрипывают половицы в передней, иногда кто-то пришел и ходит. Томно как-то на душе, не по-хорошему ожидательно, как будто съела нечто непонятное и теперь с тоскою думаешь: что-то будет... Радио от скуки послушать, что ли?..

«...Некоторые думают, что уничтожения противоположности между трудом умственным и трудом физическим можно добиться путем некоторого культурно-технического поравнения работников умственного и физического труда на базе снижения культурно-технического уровня инженеров и техников, работников умственного труда, до уровня среднеквалифицированных рабочих. Это в корне не верно. Так могут думать о коммуниз-

ме только мелкобуржуазные болтуны. На самом деле уничтожения противоположности между трудом умственным и трудом физическим можно добиться лишь на базе подъема культурно-технического уровня рабочего класса до уровня работников инженерно-технического труда. Было бы смешно думать, что такой подъем неосуществим. Он вполне осуществим в условиях советского строя, где производительные силы страны освобождены от оков капитализма, где...»

Все это, конечно, так, но тоска, тоска...

Отключившись слухом от радио, Ольга открывала наполовину ближнюю створку шкафа, к которой была привязана веревочка, другим концом намотанная на мизинец, чтобы в случае опасности можно было мгновенно захлопнуть створку, брала в руки какой-нибудь труд по энтомологии и замирала, лакомясь светом дня. С улицы, сквозь бревенчатые стены, до нее долетали звуки обычной жизни, включая весьма отдаленные и неясные вроде шума воды, извергающейся из колонки на углу Коммунаров и 10-летия Октября, — кстати заметить, за время добровольного заточения ухо у нее наострилось до такой степени, что, если на двор приходил точильщик, она легко различала, когда он точит ножик, когда топор. Проедет полуторка, скрежеща гнилыми рессорами, объявится старьевщик-татарин и заорет бабьим голосом, мужики подерутся у пивного ларька — все ей любопытно и дорого, потому что приобщает к нормальной жизни.

Затем наступало время ученого чтения и заметок, за которыми незаметно проходил день. Там возвращалась племянница Вера из своего техникума, и они с полчаса обменивались записками: Вера сообщала Ольге городские новости, а Ольга писала всякую чепуху. Постепенно угасал дневной свет, ощутительно и торжественно угасал, как гасят люстру в Большом театре, и Ольга зажигала в шкафу свечу. От капли огня нутро шкафа преобразалось, становясь похожим на пещеру отшельника, и Ольга принималась строить чудные грезы, а то силой воображения норвила получить из профиля Мефистофеля контур Балканского полуострова, а из горного пейзажа — выкройку дамского пиджака. Иногда ей приходило на мысль, что так, как живет она, не живет никто.

Около шести часов вечера возвращались со службы супруги Воронины и сразу принимались за свою вечную беззловную перепалку.

— Зинк! Я вчера под статуэтку трешницу положил, а теперь ее нет, небось ты куда-нибудь задевала...

— В глаза я не видела твою трешницу! Ты ее, поди, пропи, бессовестная твоя морда, а на меня вешаешь всех собак!

— Ну вот!.. А я эту трешницу хотел отдать в фонд борьбы корейского народа, и теперь мне в профкоме намьлят холку.

— Ничего, и без твоей трешницы обойдутся. Поди, на эту самую корейскую войну идет такая прорва народных денег, что это непостижимо человеческому уму! А сами впроголодь живем, как последняя гольтепа, зато у корейцев есть из чего стрелять!

— Зинк! Ты давай сворачивай эту враждебную пропаганду, а то я на тебя в органы наступаю...

Последним, что-то часу в десятом, возвращался домой одинокий чекист Круглов; он раздевался и в одних подштанниках садился зубрить английские неправильные глаголы.

И все население квартиры номер 4 нимало не подозревало о том, что Ольга Чумовая, член семьи врага народа, по-прежнему обитает вместе с ними под одной крышей, тихонько, как мышка, сидя в своем шкафу. Раз только, когда Ольге нездоровилось и она невзначай чихнула, старуха Мясоедова сообщила соседям, что, видимо, помер в заключении Марк, что, видимо, он приходил на свои девятины попрощаться с родным домом, бродил по комнате и чихал. Да как-то чекист Круглов, встретив в прихожей Веру с пачкой свечей для Ольги, спросил ее, в раздумье нахмурился брови:

— И зачем тебе столько свечей, ешь ты их, что ли?..

Вера сказала:

— Ем.

— И вкусно?

— Вкусно.

— Ну да, конечно, — принялся сам с собой рассуждать одинокий чекист Круглов, — у нас ведь в России как: не по хорошему мил, а по милу хорош. Вообще насчет свечей — это интересный почин, моя бы власть, я бы всю Россию посадил, скажем, на солидол...

Тогда-то Вера и провела в шкаф электричество, чтобы снять подозрение со свечей.

Наконец в декабре пятьдесят шестого года пришла бумага из областного отдела госбезопасности, извещавшая о том, что за отсутствием состава преступления дело гражданина Чумового производством прекращено, и Ольга вылезла из шкафа, таким образом воротившись в живую жизнь. На радостях выпили они с Верой бутылку «Крымской ночи», наговорились всласть, сходили погулять по улице Ленина, обсуждая во время прогулки новые моды, наведались в театр и, вернувшись домой, завалились спать. Только просыпается Вера на другой день, а Ольги нет: ни на кухне ее нет, ни в уборной, ни на дворе; отворяет Вера шкаф для очистки совести, а там Ольга сидит, подперев голову кулачком, и слушает звуки своей квартиры.

МУЖИК, СОБАКА И СТРАШНЫЙ СУД

А вот еще почему у нас так много бездомных развелось — потому, что собакам по нраву кошачий корм. То есть чудные на Руси в другой раз наблюдаются следствия, но причины бывают еще чудней.

Мужик нигде не работал с октября девяносто третьего года, когда на берегу Москва-реки, в районе Калининского моста, прогрессисты устроили регрессистам кровавую молотьбу. Эта скандальная история вогнала мужика в такую депрессию, или по-русски сказать тоску, что он, как отрезал, перестал ходить в одну двусмысленную контору, где занимались социальным планированием, и даже не всегда охотно выглядывал в окошко со своего девятого этажа. Жена его, служившая юрисконсультком в Моссовете, поначалу была довольна, что ее благоверный отсиживается дома, так как малый он был загульный и все равно получал гроши, но постепенно это ее начало раздражать: ну, действительно, куда это годится, чтобы мужчина во цвете лет день-деньской валялся на диване и в исключительном случае мог починить электрическую плиту... Но покуда она терпела; месяц терпела, другой терпела, пока ее не вывел из себя, в общем, пустячный случай: собака откусила у кошки хвост. А надо сказать, что в их двухкомнатной квартире на Севастопольском проспекте существовал небольшой «уголок Дурова» — кошка, собака и попугай; попугай бытовал отдельно, в железной клетке, кошка обжила шкафчики и шкафы, собака занимала нижний эшелон, как говорят у летчиков, и поэтому между животными никогда особых трений не замечалось, только в один прекрасный день собака подъела за кошкой корм, кошка из мстительности, свойственной ее полу, помочилась на собачью подстилку, и тогда собака, озлившись, откусила у кошки хвост.

Жена, как нарочно, была довольно равнодушна к собаке, но так нежно любила кошку, что даже истерики не устроила, а просто сказала мужику как бы голосом мертвеца:

— Забирай своего убийцу, и чтобы ноги вашей не было в этом доме.

Впрочем, не исключено, что дело было не в откушенном хвосте, а в том, что мужик, день-деньской валявшийся на диване, ей порядком поднадоел, или в том, что она возымела виды на одного бойкого молодого человека из департамента капитального строительства, но, скорее всего, дело заключалось именно что в хвосте. Как бы там ни было, мужик повздыхал,

прицепил собаке к ошейнику поводок и ушел, на прощание хлопнув дверью.

Выйдя из подъезда, они добрались до первого перекрестка и приостановились в раздумье — каждый как бы сам по себе в раздумье, — куда идти. Идти было, в сущности, некуда; жил в Гальянове один безалаберный приятель, который приютил бы мужика даже с крокодилом, однако наземным транспортом до Гальянова было не добраться, а в метро с собакою не войти.

— А все ты, ненасытная твоя морда! — сказал мужик с укоризной. — Ну что тебе дался кошачий корм?!

Собака посмотрела в другую сторону и виновато задышала, высунув язык чуть ли не до земли, мужик порывлся в карманах, нашел зубочистку, пробку от шампанского, миниатюрный гаечный ключ и почтовую квитанцию, потом обратно рассовал по карманам свое добро и стал смотреть в ту же сторону, что и пес. Выглядели они вроде бы ухоженными — собака в теле, мужик в дорогой замшевой куртке и выглаженных штанах, — а уже угадывалось в них что-то жалкое, брошенное, навевающее печаль.

Смеркалось, нужно было где-то прилаживаться на ночлег, и, по обычаю всех мужей, изгнанных за проступки, бедолага отправился на вокзал. Долго ли, коротко ли, а уже зажглись слепые московские фонари, дважды начинал и переставал валить снег, и заметно поредела толпа прохожих, пока они добирались до ближайшего, именно Киевского, вокзала, запруженного народом и вообще жившего какой-то отдельной жизнью. В результате продолжительных поисков мужик нашел-таки уголок за аптечным киоском, и они с собакой устроились на полу, вернее, на картонных листах от каких-то коробок, валявшихся на полу, и уже собрались вздремнуть, да не тут-то было: подошли к ним двое милиционеров, обругали и стали гнать. Собака рассудительно подчинилась, сделав стойку по направлению к выходу, а мужик возроптал.

— Ну что вы, парни, в самом деле! — говорил он. — Меня жена выгнала из дому, в карманах пусто, если не считать пробки от шампанского, — что же мне теперь, на улице ночевать?!

— А наше какое дело! — последовало в ответ. — Мало того, что ты бродяга, да еще при тебе кобель...

— К тому же без намордника, — добавил второй милиционер. — Это какой-то нонсенс!

— Хорошо, а в отделении милиции у вас переночевать можно?

— Можно. Набей морду вон тому гражданину в очках — и сразу обеспечишь себе ночлег.

— Правда, надолго, — добавил второй милиционер. — Годика так на два.

— А собаку со мною пустят?

Этот вопрос почему-то отнюдь не рассмешил милиционеров, а разозлил, и они взащей вытолкали мужика вон, причем пару раз слегка съездили по затылку. В свою очередь, такое неделикатное обращение отнюдь не оскорбило мужика, а скорее озадачило, поскольку поставило перед загадочной, даже в высшей степени загадочной причинно-следственной связью: стоит только собаке откусить у кошки хвост, как человек попадает в иной круг жизни, словно в чужую страну, где дерутся милиционеры и нужно бывает подолгу ходить пешком... То есть как много нового может вдруг открыться человеку только из-за того, что собакам по нраву кошачий корм!

Выйдя на привокзальную площадь, мужик с собакой повернули направо, туда, где раньше была стоянка такси, но, правда, по-прежнему существовали багажные отделения, побродили немного среди людей, поглазели на товар в бесчисленных лавочках и киосках и в конце концов притулились у бетонного забора, огораживавшего строительную площадку гостиницы «Славянская», — собака стоймя, а мужик на корточках, подпе-

рев голову кулаком. Пес продолжительно посмотрел на хозяина, изобразив глазами грустный вопрос, дескать, долго еще мы будем с тобой таскаться, на что мужик ответил тяжелым вздохом. Студено было, под ногами прохожих хлюпала черная жижа, в которой отражались оранжевыми пятнами фонари, бродили кругом какие-то подозрительные личности со зверскими физиономиями, зловещее контральто сообщало о прибытии поездов.

— А знаете, почему в Москве исчезли такси? — послышался вопрос справа, и мужик обернулся на голос: рядом с ним сидел на ящике из-под пива старик с синюшным лицом, в меховой шапке и в драповом пальто, настолько замазанном грязью, точно о него вытирали ноги. — Потому что Россия получила свободу слова.

— Сомневаюсь, — сказал мужик. — Но вообще это, конечно, срам. Я лично затрудняюсь назвать столицу государства, где, как в Москве, не было бы такси.

— Его, наверное, еще в Лхасе нет. В Лхасе и Катманду.

— В Катманду есть.

— А вы почему знаете?

— Из путеводителя по этому самому Катманду.

— Раз вы такой начитанный, то скажите, пожалуйста, есть ли Бог?

— Судя по всему, нету. Если меня жена ни за что ни про что выгнала из дома, а на вас такое удручающее пальто, то, думаю, Бога нет.

— А вот и есть! — ликуя, сказал старик.

— Доказательства?

— Доказательства, как говорится, не заставят себя ждать. Выпить желаете?

— Да не против...

— Тогда пошли.

Старик, мужик и собака как-то вздрогнули от первого усилия перед движением и пошли. Они миновали площадь, забитую автобусами и грузовиками, подземный переход, обжитый многочисленными нищими, замусоренный скверик, где на пластиковых мешках из-под удобрений спали цыгане, Бородинский мост, за которым повернули направо, потом налево, в Ростовские переулки, и, наконец, оказались в московском дворике, соединившем в себе два антагонистических качества, то есть одновременно загрязненным и уютным. Посредине дворика стояли мусорные контейнеры, а чуть наискосок чернел куб какого-то строения с металлической дверью, запертой на висячий замок, без окон и с плоской крышей; из стены этого загадочного строения торчал обыкновенный водопроводный кран, какими пользуются дворники и владельцы автомобилей. Старик вытащил из кармана граненый стакан, подставил его под кран, другой рукой отвернул вентиль, и — чудны дела твои, Господи! — в любезную русскому сердцу емкость полилась тягучая струйка водки, что было очевидно даже и априори, так как в ноздри немедленно шибанул крепкий сивушный дух.

— А вы говорите, что Бога нет, — сказал старик и протянул мужику стакан.

Мужик с чувством выпил и поинтересовался:

— Интересно, откуда она течет?

Старик в ответ:

— А черт ее знает! Течет себе и течет... Только побожиться, что тайна этого живительного источника останется между нами.

Мужик побожился, они выпили по стакану на брудершафт, потом просто так выпили по стакану, не обращая внимания на жалобное ворчание собаки, которая не любила, когда хозяин напивался в ее присутствии, и, вероятно, в результате легкого опьянения старик пригласил мужика переночевать в одном заброшенном доме, где он давненько-таки обитал со своей женой.

— А супруга не заругает? — спросил мужик.

— Не беспокойся, она у меня ничего... взаимная старушка, — ответил ему старик.

Хозяйка и вправду оказала мужику самый радушный прием, в котором прозвучала даже и светская нотка, даром что на ней были валенки и телогрейка, пахнувшая бензином, даром что окна в комнате этого заброшенного дома были занавешены рваными одеялами, постелями служили прибитые матрасы, из которых торчала вата, и висели там и сям отклеившиеся обои, даром что на ужин была подана вонючая похлебка, кажется, из рыбьих голов и селедочной требухи. И все же было в этой вечеринке что-то донельзя симпатичное: уютно теплилась керосиновая лампа-молния, топилась буржуйка, источавшая пряное тепло и некий незнакомый, старинный запах, давно отошедший в вечность вместе с пайковым хлебом и кружевными воротничками, старик толковал о санскритских корнях русского языка. Но, с другой стороны, все это было странно, поскольку мужик и не предполагал, что люди могут существовать на такой манер в конце двадцатого столетия, в столице могучего государства, и обстановка вызывала в нем нервный, настороженный интерес. «Господи Иисусе Христе, — говорил он себе, — до чего же богатая у нас жизнь!»

Старика, видимо, задела такая этнографическая позиция, и он сказал:

— Главное, три раза в день заливать глаза. Вот возьми меня: я уже до того допился, что ничего не вижу вокруг себя... Плюс еще то преимущество, что меня обходят стороной даже бешеные собаки.

— Да я ничего... — смешался мужик, — в том смысле, что я ничего не имею против. Тем более что впереди у меня та же самая перспектива: три раза в день заливать глаза.

И он поведал супругам о том, как его собака подъела кошачий корм, кошка в отместку помочилась на собачью подстилку, собака откусила у кошки хвост и в итоге жена выгнала его вон.

— А я бы на вашем месте, — сказала старуха, — подала в суд. Раз жена из-за такого пустяка выгнала вас из дома, то пускай алименты платит. Вы вообще трудоспособный мужчина?

— Я бы этого не сказал.

— Тем более пускай платит! Да еще у вас кобель считается за дитя!

Они немного поспорили втроем на этот предмет, и в конце концов мужик согласился, что именно так ему и следует поступить. Правда, наутро он засомневался в своем намерении, но старик нацедил ему из заветного крана похмельный стаканчик водки, и мужик бесповоротно решил обратиться в народный суд.

Когда он взял своего пса на поводок и они двинулись в обратном направлении, в сторону родимого Севастопольского проспекта, вот что сразу бросилось в глаза: всего сутки прошли, как они оба забичевали, а уже и у мужика вроде бы куртка пообтерлась, и у собаки обвис некогда бодрый хвост — видимо, резкая перемена образа жизни у нас не проходит даром. Можно было смело держать пари: если бы им вздумалось пристроиться где-нибудь в людном месте просить милостыню, они без хлопот набрали бы порядочный капитал.

Поскольку русского человека потрясти трудно, мужик почти не удивился тому, что в суде безропотно приняли заявление и назначили слушание по его делу на следующий понедельник, — то ли в новых социально-экономических условиях наша юстиция растеряла ориентиры, то ли накануне не так свирепствовал московский криминалитет, но поворотливость нашего правосудия оказалась необыкновенной, даже невероятной, и даже она показалась бы подозрительной, если бы на дворе не стоял девяносто третий, мятежный, год. Эту неделю мужик с собакой прожил в заброшенном доме у стариков; они выпивали помаленьку и разговаривали о влиянии демократической мысли на рост уголовной преступности и падение производительности труда.

А там наступил и волнительный судный день. Заседание началось с того, что секретарь суда, молоденькая женщина с прыщиком на носу, потребовала вывести вон собаку, на что мужик потерянно возразил:

— А куда я ее, спрашивается, дену?! У нее больше нету никого, и оставить мне животное негде, потому что мы бездомные, потому что у нас даже нет жетончиков на метро!..

Не исключено, что именно это сбивчивое заявление с самого начала решило дело, ибо оно внушило всем присутствовавшим щемящее чувство жалости, да еще судья и оба заседателя были мужчины, которые не могли не порадеть своему брату в житейском горе. Собаку решительно оставили, и, верно, это был первый случай в истории судопроизводства, если не считать эпохи инквизиции, когда привлекался к ответу мелкий рогатый скот.

Жена сразу почуяла, куда клонится дело, и заявила составу суда отвод.

— Это заговор, а не суд, — канючила она, — потому что вы с истцом заодно, тоже небось шлендры и керосините почему зря! Одним словом, я требую, чтобы руководил процессом прекрасный пол!

— Размечталась!.. — сказал судья.

Этот ответ так поразил жену, что она больше не дебоширила и даже сравнительно спокойно выслушала решение по делу, а было решение таково: ответчица обязывалась ежемесячно выплачивать истцу двадцать пять процентов своего заработка плюс пять процентов на содержание домашнего животного в связи с тем, что по причине нервного потрясения от 4 октября 1993 года истец частично утратил работоспособность, а собака в «щенячке» была записана на него.

— Я на этот суд и не надеялась, — сказала жена, выслушав приговор. — Живучи в нашей стране, можно надеяться только на Страшный суд!

— А у нас всякий суд страшный, — сказал председатель, — у нас веселых судов не бывает, у нас что ни инстанция, то, натуральным образом, страшный суд.

Жена говорит:

— Только я этим паразитам алименты платить все равно не буду. Чтобы я оторвала от сердца двадцать пять процентов своего жалования — да не в жизнь! Это же будет не пито, не едено — миллион! Нет, пускай уж эти гады возвращаются домой, деньги целее будут.

Вроде бы мужику с собакой только того и надо, однако возвращаться под родимый кров мужик отказался наотрез, и даже месяца через два он женился на секретаре суда, той самой молоденькой женщине с прыщиком на носу. Вот, между прочим, почему еще у нас пожившие мужики женятся на молоденьких: потому что собакам по нраву кошачий корм.

СТУДЕНТ ПРОХЛАДНЫХ ВОД

Существует предание, что якобы незадолго до Октябрьской революции в Москве, вернее, в ближнем Подмоскowie, в селе Измайлове, объявился молоденький юродивый Христа ради, который называл себя Студентом Прохладных Вод. Происхождение этого причудливого самоназвания остается неясным, особенно в части прохладных вод, но кое-что от студента в нем, по некоторым сведениям, действительно наблюдалось, например университетская тужурка с голубыми петлицами, сальные волосы до плеч и круглые очки в металлической оправе, придававшие ему сильно ученый вид.

В скором времени Студент Прохладных Вод прославился на все северо-восточные московские околотки и сельскую местность, лежавшую за Преображенской заставой, как маг и волшебник в области женских болезней, преимущественно бесплодия, которое он вылечивал в четырех случаях из пяти. Равно неизвестно, каким именно способом он пользовался от бесплодия женщин Басманной части, Сокольников, сел Черкизово, Семеновское, Богороцкое и целой волости деревень, однако определенно известно то, что от страдалец отбою не было, и, по соображению отдельных

старушек, легче было попасть на прием к московскому генерал-губернатору, чем на прием к Студенту Прохладных Вод.

Конец этой полезной деятельности был положен в 1919 году, когда Студенту запретили практиковать как гасителю и мракобесу от медицины, нживающему себе политический капитал на вековой непросвещенности города и села. Юродивый запрета не послушался, как и следовало ожидать, поскольку по исключительному своему статусу он не боялся никого и ничего; верно, ему и бояться-то было нечем, напроць в нем отсутствовал инстинкт самосохранения, и тогда его расстреляли в Преображенском монастыре. Бездыханное тело Студента Прохладных Вод два дня валялось неприбранным, а затем исчезло, как вознеслось. Молва народная утверждает, будто покойника выкрали почитательницы его дара, некогда исцеленные от бесплодия, и похоронили в Измайлове, на кладбище при Рождественской церкви, где-то на задах, вроде бы в левом дальнем углу, к которому присоседилась позже бензоколонка. Скорее всего, именно так и было, ибо на протяжении многих лет, чуть ли не до середины пятидесятих годов, женщины, прослышавшие от своих бабушек о Студенте Прохладных Вод, ходили прикинуть к его могиле. Районные власти несколько раз срывали надгробный холмик, дважды перезахоранивали подозрительные останки, однако страдальцы каким-то наитием обнаруживали заветный клочок земли, пластались на нем ничком и лежали так, покуда их не сгоняли церковные сторожа. Некоторые после такой терапии действительно понесли, а те, кому она нимало не помогла, считали, что легли не на ту могилу.

Легенду о Студенте Прохладных Вод, которая в те годы едва теплилась в памяти народной, Веня Сидоров слышал от своей бабушки по женской линии, и она ему почему-то запала в душу. Во всяком случае, когда он заканчивал курс наук в Московском университете, то вздумал писать дипломную работу на тему «Городские суеверия в первые годы советской власти», имея в виду легенду о Студенте Прохладных Вод. Одно его смущало во всей этой истории: что легендарный целитель был расстрелян без особенных оснований, — но он подумал-подумал и решил, что этот пункт можно будет запросто обойти.

Дело, однако, оказалось куда сложнее. Даже в страшном сне с четверга на пятницу Вене Сидорову не привиделись бы те мытарства, через которые ему довелось пройти: он две недели просидел в архиве Мосoblздрави, обползал все кладбище при Рождественской церкви и навел справки о каждом захоронении, часами торчал в женских консультациях Первомайского района и таскался по квартирам в пространстве между улицами Никитской и Меховой, пока изыскателя не схватили милиционеры, словившие ему при аресте одно ребро. Заметим, что Веня Сидоров был малый настойчивый, даже настырный, и поэтому в конечном итоге он своего добился, то есть он не того добился, на что рассчитывал, а истины он достиг. Во-первых, в архиве Мосoblздрави ему удалось обнаружить донос от 1919 года, писанный еще в правилах дореформенной орфографии, в котором Студент Прохладных Вод фигурировал под своим природным именем и фамилией — звали его в действительности Иван Максимович Щелкунов. Затем из документов ему открылось, что таковой никогда не был погребен в пределах Измайловского кладбища и вообще неизвестно, был ли он погребен. Но главное, Вене Сидорову случайно повезло найти родную сестру Студента Прохладных Вод, которая служила при свечном ящике в старообрядческой церкви на Преображенской площади и была еще довольно деятельная старушка. В один прекрасный день Веня посетил ее и сказал:

— Здравствуйте, бабушка! Я бы желал навести кое-какие справки о вашем брате.

— Како веруешь? — ни с того ни с сего спросила его старушка.

Веня Сидоров на мгновение смешался, но отвечал прямо:

— По коммунистическому образцу.

— Это еще ничего. Главное, что ты не табачной церкви.

— Ну так вот: я бы желал навести кое-какие справки о вашем брате...

— И говорить о нем не хочу, потому что он жулик и еретик! Сами с ним объясняйтесь, если пришла охота. Он тут неподалеку живет, 3-я Прядильная улица, дом 15, квартира 7.

— То есть как это — живет?! — в изумлении спросил Веня.

— Обыкновенно живет, как все. Ноги плохо ходят, а так — живет...

— А разве его не расстреляли в девятнадцатом году?

— К сожалению, до этого не дошло.

— Вот те раз! А я-то думал, что его как раз расстреляли и похоронили на кладбище при Рождественской церкви, хотя документы о том молчат. Чего же тогда женщины ходят полежать на его могилке?

— Ходить-то они действительно ходят, да нечистый их знает, чего они ходят, может быть, они, наоборот, рассчитывают на аборт!..

Веня Сидоров был до такой степени потрясен сделанным открытием, что даже не осмотрелся в старообрядческой церкви, куда он попал впервые, а прямо от старушки сел в 11-й трамвай и поехал в Измайлово выводить на чистую воду Студента Прохладных Вод. Дорогой он почему-то думал о том, что у него уже полгода не плачено за комнату на Стромынке, а после о подозрительно низкой урожайности зерновых. «Это, конечно, необъяснимо, — говорил себе Веня, — что в эпоху развернутого коммунистического строительства трудоспособность русской деревни приближается к африканской; наверное, во всем виноват резко континентальный климат, или магнитные аномалии, или Тунгусский метеорит...»

Дверь ему открыл небольшой старик, который передвигался при помощи стула, совершенно лысый, в очках со значительными диоптриями, в галифе на подтяжках и ветхих домашних туфлях на босу ногу. Веню Сидорова он впустил сразу и без вопросов, вероятно приняв его по старости за участкового милиционера, либо разносчика пенсии, либо лечащего врача. Веня прошел в комнату, чрезвычайно бедно обставленную, сел за стол и сделал обиженное лицо.

— Скажите, — обратился он к старику, — вы и есть тот самый знаменитый Студент Прохладных Вод, который морочил головы женщинам в первые годы советской власти?

— Если вы из милиции, — ответил ему старик, — то должен вам сообщить, что у меня в голове три мухи живут, — это будем иметь в виду.

— И давно они там у вас поселились?

— В семнадцатом году.

— Кусаются, что ли?

— Не то чтобы кусаются, а щекотно.

— Ну, это еще ничего...

— Вот и я думаю: ничего. За давностью лет с меня взятки гладки, что было, то прошло, и поэтому для милиции я никакого интереса не представляю.

— Бог с вами, Иван Максимович, какая еще милиция, я ученый, хотел работу о вас писать...

— А то имейте в виду, что у меня в голове три мухи живут...

— Это я буду иметь в виду. Только как же мне о вас работу писать, если вы бессовестно всех надули, если вы живы-здоровы, вместо того чтобы лежать на Измайловском кладбище и проводить в жизнь легенду о Студенте Прохладных Вод?!

— Вам, молодой человек, хорошо рассуждать после Двадцатого съезда КПСС! А вот как вызвали бы вас в Чека в девятнадцатом году да сказали бы: «Ты это что себе позволяешь, собачий сын, не сегодня-завтра настанет социализм, а ты тут нам разводишь вредное колдовство!» — да еще показали бы наган вороненой стали, так не было бы о вас ни слуху ни духу до самого Двадцатого съезда КПСС! Я, прямо буду говорить, человек малодушный, и поэтому сразу уехал, с глаз долой, в деревню под Моршанском,

потом работал механиком на тралфлоте и только сравнительно недавно вернулся назад в Москву. Поселился я тут, на 3-й Прядильной улице, и ушам своим не верю: оказывается, женский плавсостав до сих пор верит в Студента Прохладных Вод!

— А кстати, — сказал Веня Сидоров, оживясь, — зачем вы себе взяли такой причудливый псевдоним?

— Потому что у нас чем непонятней, тем больше веры. Вот отчего у нас до революции народ такой был религиозный? А оттого, что у него Бог был един в трех лицах, как, к примеру сказать, моя старуха-покойница одновременно была прокуратура, соцсоревнование и завком. А почему потом все советскую власть боялись? Потому, что у нее слова были непонятные, вроде главапу, — что ни слово, то «руки вверх»!

— И вы думаете, действовал псевдоним?

— Еще как действовал, потому что лечил я женский плавсостав по самой обыкновенной методике — срам сказать. Хотя я в молодости конь был по женской линии и оттого всегда получал положительный результат. То есть слепая вера плюс неутомимая похоть, в итоге — положительный результат. У меня даже одна семидесятилетняя старушка нечаянно родила, у меня родила женщина, у которой в туловище даже не было чем рожать...

Веня Сидоров сказал в приятном удивлении:

— И откуда такая сила?!

— Сейчас объясню, откуда: потому что закрылся завод «Гужон». Я до семнадцатого года работал учеником слесаря на заводе братьев Гужон, корячился по четырнадцать часов в сутки, и поэтому мне было не до баловства. А потом завод у большевиков закрылся, и я пошел в Студенты Прохладных Вод. Популярность у меня, прямо буду говорить, была страшная, как у Пата и Паташона, поскольку в первые годы советской власти у наших мужиков не об том сердце болело и они своими женами занимались халатно, без огонька. А потом меня вызывают и говорят: «Ты это что себе позволяешь, собачий сын, не сегодня-завтра настанет социализм, а ты тут нам разводишь вредное колдовство!»

Веня Сидоров ушел от Щелкунова донельзя огорченным: жаль было времени и усилий, потраченных на работу «Городские суеверия в первые годы советской власти», жаль было обаяния легенды о Студенте Прохладных Вод, раставшей без следа, почему-то жаль было старика Щелкунова, но больше всего было жаль себя — это и понятно, поскольку ему предстояло все начинать с нуля.

В том же году Сидоров защитил дипломную работу, подтверждавшую примерами из практики социалистического строительства ту истинно гениальную догадку Ульянова-Ленина, что идея, овладевшая массами, становится материальной силой, и устроился завскладом в столовую № 2. Между тем давняя встреча со Студентом Прохладных Вод не прошла для него даром: уже в наше время он взял себе псевдоним Ширинский-Шихматов и победил на выборах городского головы в Набережных Челнах. В ходе предвыборной кампании он показал чудеса изобретательности и однажды, будучи не в себе, едва не упомянул о трех мухах, которыми якобы отмечены исключительные натуры, но вовремя одумался и смолчал.

КИЛЛЕР МИЛЛЕР

Андрюша Миллер, между прочим праправнук того самого генерала Миллера, Евгения Карловича, руководителя Русского Общевоинского союза, которого чекисты ухитрились в Париже в тридцать седьмом году, получил через десятки руки задание пристрелить одного дельца. Передали ему конверт с адресом и фотокарточкой жертвы, пистолет ТТ и три тысячи долларов авансу купюрами нового образца. Андрюша первым делом пересчитал деньги, потом посмотрел на фотокарточку — и обомлел, узнав сво-

его школьного учителя физкультуры, который в седьмом классе поставил ему двойку за упражнения на коне. Эта самая двойка отчего-то запала в душу, и Андрюша подумал, с неприязнью глядя на фотокарточку: дескать, так тебе, дураку, и надо, не суйся в коммерцию, если ты по образованию педагог. И он живо представил себе, как встретит своего бывшего учителя возле лифта, медленно вытащит пистолет, всадит в старого дурака полловину обоймы, потом сделает контрольный выстрел в голову, дунет для шику в ствол и скажет гробовым голосом: «Будешь знать, козел, как киллерам двойки ставить!» Вообще Андрюша был человек неплохой, но глупый; на судьбе у него было написано стать мужем, отцом и директором галантерейного магазина, но, как известно, оголтелое наше время нарушило ход светил, и Андрюша вдруг позарился на романтическую профессию наемного убийцы, сразу не сообразив, что дело это, по малости сказать, не божеское и за него когда-нибудь взыщется в полной мере.

А Саше Размерову, жителю небольшого рабочего поселка во Владимирской области, снится сон... Будто бы является ему Бог Саваоф, но только почему-то в образе чинной старухи в белом глазетовом платье до полу и в белой же косынке с резной каймой, садится напротив его постели и говорит: в скором времени, говорит, разразится новый всемирный потоп, в котором сгинет все человечество за его бесчисленные грехи, так вот ты, Размеров, построй ковчег, присмотри себе семь пар чистых и семь пар нечистых и жди дождя. Саша Размеров спрашивает: за что, мол, такая честь? За то, отвечают, что ты в жизни мухи не обидел, что у тебя даже зловка на голове сидит и соколом глядит...

Размеров был человек мнительный, он два раза в году ездил во Владимир проверяться в туберкулезном диспансере и поэтому безусловно поверил в сон. Недели не прошло, как уволился он с молокозавода, где работал оператором в котельной, и принялся строить ковчег из подручного материала: бруса у него имелось кубометра три, крышу он разобрал в летней кухне, занял у соседа сколько-нисколько вагонки, да еще заборчик пошел на слом. Весь поселок над ним смеялся, а он знай себе тюкает топором и приговаривает при этом: «Смеется тот, кто смеется последним», — и гвозди, которые торчат у него изо рта, шевелятся, как живые. Долго ли, коротко ли, а к лету у него на задах, прямо на сотках, предназначенных под картошку, тяжело лежало на боку судно гигантских размеров по масштабам Владимирской, глубоко сухопутной, области, где и «казанка» в редкость и считается чуть ли не кораблем. Отстроился Размеров и стал ждать проливных дождей. Уже и осень на носу, и кое-где опятами взялся его ковчег, а потопа все нет и нет...

А Витя Шершень, хозяин нескольких продовольственных ларьков, покупал в Битцевском комплексе новый автомобиль. Происхождения он был самого что ни на есть демократического, в детском возрасте злобно завидовал владельцам велосипедов, на первой своей машине, «копейке», ездил под национальным флагом, и как только у него появилась возможность приобрести настоящей автомобиль, словно какое затмение с ним случилось на почве экономии и расчета, словно обуял его пункт несоразмерности качества и цены. Скажем, присмотрел он в тот день «лендровер» девяносто пятого года выпуска и крепко призадумался над комментарием продавца: зажигание у автомобиля, по словам продавца, было электронное, сцепление — автомат, бортовой компьютер контролировал расход топлива, имелась тракторная передача и лебедка с якорем, миниатюрный телевизор и пуленепробиваемое стекло — словом, чистая греза, а не автомобиль, вот только цена кусалась и пункт несоразмерности вгонял в беспочвенную тоску. Витя Шершень походил вокруг «лендровера», погладил ладонью передние крылья, заглянул под капот и удостоверился в наличии основных агрегатов, подергал дверцы, подержался за выхлопную трубу и молвил:

— Хорошая машина, ничего не скажешь, вот если бы она еще без бензина ездил, самостоятельно, — тогда да...

Видимо, это в нем говорил застарелый ген мироеда и кулака.

А Николай Иванович Спиридонов, главный инженер московской пуговичной фабрики имени Бакунина, в тот день что-то почувствовал себя плохо. Ни с того ни с сего защекало в ноздрях, заложило уши, перед глазами поплыли крошечные червячки, а в животе образовалась странная пустота. Николай Иванович немедленно прервал совещание по итогам второго квартала, вызвал автомобиль и уехал к себе домой.

Дома он долго ходил взад-вперед от застекленной двери до письменного стола, прислушиваясь к биению своего сердца и раздумывая о том, что за недуг с ним приключился, потом решил поставить себе градусник и прилег. Когда через десять минут он вытащил градусник из-под мышки, с ним от ужаса едва не случился обморок: ртуть поднялась до отметки сорок один градус и две десятых. «Это конец!» — сказал себе внутренним голосом Николай Иванович и почувствовал, как у него холодеют ноги. Сердце защемила тоска, тоска, на глазах навернулись слезы, и так вдруг стало жаль жизни, деревьев за окном, счастливых воробьев, чирикавших во всю глотку, жены Нины, которая теперь останется на бобах или еще того чище — скоропалительно выскочит замуж за какого-нибудь пошлого молодца, своей пуговичной фабрики имени Бакунина, что хоть волком вой; и завыл бы Николай Иванович, от всей души завыл бы, убитый горем, кабы не соседи за стеной, которые чуть что, сразу вызывали наряд милиции по 02. Завещание, во всяком случае, следовало написать, и, преодолевая дурноту, то и дело подкатывавшую к горлу, Николай Иванович поднялся с дивана и сел за стол. Он потянул к себе лист бумаги, вытащил из нефритового стакана паркеровскую авторучку, нехорошо крякнул и записал первые, обязательные, слова: «Находясь в здравом рассудке и твердой памяти, завещаю...».

Удивительное дело: излагая свою последнюю волю, он управлялся своей незамысловатой прозой, которая местами еще и грешила канцеляризмами, но мало-помалу слог завещания становился все возвышенней и пышнее, пошла гипербола, аллегории, вдруг сама собой проклюнулась рифма, и Николай Иванович даже не заметил, как у него из-под пера потекли стихи. Сочинялось о старости, о неизбежности ухода, о смертной тоске, и то, что началось словами: «Находясь в здравом рассудке и твердой памяти, завещаю...», фантастическим образом завершалось такой строфой:

А вот другая бабка,
Эта — лежит на лавке как мешок,
В ее глазах погасло лето,
В ее глазах идет снежок.

«А ведь поэт, настоящий поэт!» — воскликнул Николай Иванович внутренним голосом, перечитавши свои стихи. И ему стало так больно из-за того, что поэтический дар проснулся в нем накануне смерти и после него останется одно-единственное стихотворение приблизительно в двести строк, что он уронил голову на бумагу и зарыдал.

А Витя Шершень так и не купил себе новый автомобиль. Он был сильно зол на пункт несоответствия качества и цены, который совершенно овладел им в последнее время и осрамил в глазах всех продавцов юго-западного округа, он был несчастлив, поскольку не чувствовал себя вполне русским человеком, которому и в трезвом виде море по колено, и в конце концов решил раз и навсегда вытравить из себя застарелый ген мироеда и кулака. Засел он на три дня в ресторане гостиницы «Метрополь» и так крепко поиздержался, что напоследок официант пожертвовал ему полторы тысячи на метро.

А киллер Андрияша Миллер около девяти часов утра, в то время как Витя Шершень продирает глаза после запоя и Николай Иванович Спиридонов рыдал, уронив голову на бумагу, поджидал на лестничной площадке своего бывшего учителя физкультуры, лаская в кармане полупальто пистолет ТТ. Этажом выше хлопнула дверь, Андрияша снял оружие с пре-

дохранителя, одним махом одолел два пролета и тронул учителя за плечо. Бывший физрук сразу его узнал.

— А-а! Миллер, прогульщик несчастный, двоечник, шалопаи! — сказал он, улыбаясь весело и несколько ядовито. — Ну, чем занимаешься, как живешь?

Рука у Андриюши, что называется, дрогнула, поскольку не ответить на вопрос педагога было нельзя, и пистолет так и остался лежать в кармане.

— Живу я хорошо, — ответил Андриюша, — на пять миллионов в месяц. А профессия моя — киллер. То есть ликвидатор по заказу, вроде фирмы «Заря», как раньше окно помыть.

— Вот еще слово дурацкое выдумали: «киллер»... — сказал физрук, нахмурился и добавил: — Ну какой ты, Андриюша, киллер, урка ты, мокрушник, сокольниковская шпана.

— Вы, Сергей Сергеевич, кончайте издеваться над человеком, — серьезно сказал Андриюша. — То, ё-мое, двойку ставят на ровном месте, то говорят оскорбительные слова!..

— А я и не издеваюсь, я тебе правду говорю: урка, мокрушник и сокольниковская шпана.

Лицо у Андриюши вдруг как-то осунулось, плечи опустились и взор попрутук, как бывает с людьми, когда им ставят ошарашивающий диагноз, он развернулся и стал медленно спускаться с лестницы, вычерчивая ногтем зигзаг на перилах и размышляя о том, что если он в действительности не киллер, а мокрушник, то, наверное, надо менять работу. Как все-таки, заметим, влиятельно у нас слово: если, скажем, ты путана, то живется тебе радостно и привольно, и совсем по-другому себя чувствуешь, если блядь.

Тем временем вернулась с работы жена Николая Ивановича, увидела заплаканного супруга и схватила себя за щеки.

— Прощай, Нина! — сказал ей Николай Иванович. — С минуты на минуту отдам концы. Температура у меня сорок один градус и две десятых.

— Дурень ты, дурень! — сказала Нина. — Этот архиерейский градусник давно выкинуть пора, он уже два года показывает сорок один градус и две десятых!

Вот уж, действительно, трудно постичь психологию человека: Николай Иванович даже отчасти огорчился этому сообщению, он посмурнел, как-то подтянулся, некоторое время походил взад-вперед от застекленной двери до письменного стола, потом взял в руки исписанные листки, поморщился и, скомкав, выбросил их в корзину.

Между тем ковчег Саши Размерова стал настоящей достопримечательностью, его даже вписали в путеводитель по «Золотому кольцу», и туристы, приезжавшие во Владимир, специально делали крюк, чтобы попытаться полюбопытствовать на диковинку, даже скоро стали от ковчега щепочки отщипывать на сувениры, но Саша Размеров, что называется, ничего. Его единственно угнетало, что потопа все нет и нет; уже по радио сообщили, что и Голландию затопило, и Германию залило, а во Владимирской области стоит сушь... Торчит Саша в чайной напротив почты, пьет кислое пиво, гордо поглядывает на своих собутыльников и время от времени говорит:

— Если Бог, — говорит, — когда-нибудь окончательно осерчает на людей и решит поглотить всех до последнего человека, то, я думаю, русские — на десерт.



НИКОЛАЙ ГЛАЗКОВ



НО И ПРИРОДУ Я НЕ ПОСТИГ, КАК НЕ ПОСТИГ СМЕРТЬ

Николай Глазков (1919 — 1979) был поэт выдающийся: он выдавался из ряда вон, стоял особняком, был не похож, не вхож, не характерен и не ангажирован.

Это Коля Глазков. Это Коля —
шумный, как перемена в школе,
тихий, как контрольная в классе,
к детской
принадлежащий
расе —

так написал его портрет Борис Слуцкий.

Глазков был и есть крупнейший остров в море — преимущественно мелком — русского поставангарда. К началу 40-х годов, когда от могучих эго-футуристов, от словотворцев-будетлян осталось лишь глухое воспоминание (титаны умерли, силачи ушли в подполье, слабаки выродились и адаптировались к поэтике соцреализма, то есть, как сказал в тех же стихах Слуцкий, «кто спустился к большим успехам, а кого — поминай как звали!»), молодой Глазков учредил несвоевременную плеяду «небывалистов» и стал во главе течения, коему предрекал быть дочерней ветвью будетлянства.

Увы. Небывализм был стерт с лица советской словесности и ушел в «сам-себя-издат».

Глазковские небывалистские поэмы начала 40-х являются производными единого замысла — связанные перекрученными текстологическими нитями, они долгие десятилетия протомились в столе. Алексей Терновский — друг Глазкова, соратник по небывализму и один из знатоков его наследия — пишет: «В годы войны Глазков отложил «Азию»... а отдельные фрагменты из нее... использовал в известном нам «Поэтограде». Тем интереснее сегодня вернуться к истокам «Поэтограда», к поэме «Азия»...»

Сейчас пришла ренессансная пора в нашем, читательском, познании глазковского творчества — нам предстают новые и новые стороны этого явления.

Поэма «Азия», публикуемая здесь впервые¹, отмечена свежестью первоизданного слова — этого, по Хлебникову (а он был наиглавнейшим учителем Глазкова), «вещества духа». А еще об авторе «Азии» можно сказать словами другого его учителя — Сергея Третьякова (посвященными, впрочем, Алексею Крученых, который также входил в круг глазковских предтеч): «...он с неопишуемой любовью вдыхал в себя свежий запах речевой древесины — языкового материала».

В «Азии» сосредоточились важнейшие мотивы Глазкова-небывалиста: география и история как личное пространство лирики; родина как «космическое „я”» художника; образ «бродяг, не от безделия бродящих»; поэзия как высшая в своем бескорыстии ценность; утопическое уравнивание христианства с «алостью знамен»... Кстати, Глазков этой поры и коммунизм трансформировал в личную, поэтико-анархическую утопию, вписывая его в фантазийное пространство своего Поэтограда:

Публикация Н. Н. ГЛАЗКОВА.

Благодарим А. В. Терновского за помощь, оказанную в работе над этим материалом.

¹ Поэма печатается в сокращении: читателю предлагаются наиболее сильные и недублируемые в иных уже известных изданиях фрагменты.

Коммунизм, по-моему, Поэтоград,
Где все люди — богатыри.

Впрочем, в этом «коммунистическом проекте», думаю, гораздо больше лукавого юродства, нежели социальной наивности.

Философская трактовка Азии как историко-географического феномена, включающего безусловно и Россию, развивает духовные поиски крупнейших футуристов — от того же председателя Земшара Велимира до Бенедикта Лившица, чей «полтораглазый стрелец» вполглаза глядел на Европу, а в полтора — на Азию. Глазков же в своей поэме смотрит на Азию — в оба! Азийский взгляд на Россию и на собственное бытие предоставил Глазкову огромные возможности расширенного зрения, и совмещенья времен, пластов, земель, и сотворчества с природой, историей, мифологией.

*Ткань поэмы ничуть не выцвела и не обветшала: она ворожит ярчайшей звукописью, чарует игровыми и каламбурными рифмами, поражает емкой афористичностью. Традиции фольклора и авангарда, взаимоумножаясь и питаясь полнотою глазковского жизнелюбия, скоморошества, парадокса, дают небывалый (вот он: **небывализм**) лиро-эпический результат.*

«Черт ногу сломит в «Азии» — поэме...» — не без тревоги и не без гордости сообщает нам автор.

«Азию», я полагаю, надо читать медленно и сотворчески: смакуя каждую строчку. Открытия Глазкова драгоценны.

Новизна завалена старьем,
Эрой рабства было это время, —

можем мы и нынче, более полувека спустя, повторить вслед за поэтом.

Новизна не стареет и в нетях — современный читатель, как археолог, открывает сокровенные дары Николая Глазкова.

Татьяна Бек.

АЗИЯ

Эпиграфат

1. Пули пели, пали
На горячие поля.

В. Хлебников.

2. Всю эту сволочь
Надо сволочь,
Со стен Китая
Кидая.

В. Маяковский.

3. Россия — лен, Россия — синь,
Россия — брошенный ребенок.
Россию сердцем вознеси
Руками песен забубенных.

Н. Асеев.

4. И идут без имени святого
Все двенадцать вдаль.
Ко всему готовы,
Ничего не жаль.

А. Блок.

5. Пошел шататься
По берегам.

В. Каменский.

6. Туда вступить не смеет ВАПП,
Там правит ЮГОЛЕФ.

С. Кирсанов.

Вступления

1. Лунное

Будь луна блин,
Ее бы давно съели,
Межпланетные корабли
Направив к заветной цели.

Будь луна серп,
На земном шаре
Спелые колосья все б
Этим серпом сжали.

Но луна не
Производства орудье,
А поэтому на луне
Никогда не бывали люди,

А впрочем, вовсе не поэтому,
А просто руки коротки
И в рейс пускаться межпланетный
Трудней, чем дуться в городки.

А мне луна дороже ордена,
Какого нету у меня.
За то, что под луною родина —
Мое космическое «я».

Луна вершит морей приливами
И отступающей волной.
Она лежит в пруде под ивами,
И все бывает под луной!

2. Солнечное

Солнце ярче луны,
И больше на солнце пятен.

3. Земное

Я поплыл под водой,
Воду всю загребая.
Эх, наш век золотой
И земля голубая.

Мир все так же сиял,
Гениальный и плоский.
Вдруг ударился я
Головою о доски.

Тут я воду глотнул,
Чтобы стало мне легче,
И спустился ко дну,
Погружаясь, как в вечер.

Солнца жаркий кусок
Улыбался планетам,
И пушистый песок
Простирался на дне там.

Время, словно вода,
Протекало по дну там,
И секунды тогда
Поравнялись минутам.

Полусмерть увидав,
В жизнь влюбившись, как в бабу,
Там, где струилась вода,
Я поплыл на арапа.

Выплыл; дальше плыть стал,
Воду всю загребая.
Я и в жизни мастак,
Эх, земля голубая!

Глава первая

Яприм не спал и не лежал
И губы не кусал,
А только мыслил и бежал
Куда глядят глаза.

Он лег в степи и там уснул,
Баюканый травой.
Еще его клонил ко сну
Протяжный ветра вой.

Когда рассвет заблистал розоват,
Яприм пробудился от сна.
Вытатуировал — я азиат
И поставил восклицательный знак.

А Кавказ — это тоже Азия.
Над вершинами небо серо.
По горам по Кавказским лазаю,
Повстречал Яприм Агасфера.

Агасфера старикана,
Старикана Агасфера.
Так глушат водку из стакана,
Так проникают в стратосферу.

Так песенку поют блатную.
Так, наконец, Яприм был рад.
Он подошел к нему вплотную
И заорал: — Здорово, брат!

И ухватил его в объятья,
А тот дрожит
И говорит: — Все люди братья,
А я вечный жид.

Яприм сказал: — Сегодня вечер.
В дровянике дрова сухи.

Пойдем ко мне. Я тоже вечен,
Как сочиняющий стихи.

Пойдем со мной в мою берлогу,
Она налево от реки.
Там выпьем водки очень много
И будем жечь черновики.

Агасфер тогда закричал,
Сотрясая эхо высот:
— Я иду от начала начал —
Вот уже тысяча девятьсот —

И к тебе в берлогу не прочь,
Коль налево она от реки. —
И они по снегу пошли,
А держали такую речь:

— Агасфер! Ты немало жил,
Протекал повсюду твой путь,
А поэтому расскажи
Мне про Азию что-нибудь.

— Ладно, расскажу тебе. Но что же?
Многих пешек армия легла —
Азия на шахматы похожа,
Где ее история — игра!

Яприм сказал: — Как русло для реки,
Как человеку воздух,
Так Азии нужны хорошие стихи —
И никаких загвоздок.

Потом они явились в дом,
Там Агасфер стихи читал.

Евангелие от Агасфера

В детстве верят мамам или папам,
А потом уже не верят.
И тогда четырехстопным ямбом
Сочиняют всякие стихи.

Потому что заменяет веру
Неверие само.
А евангелие от Агасфера —
Людям всем письмо.

Можно верить в бога или в черта,
Нужно верить в коммунизм.
Но не так, чтоб сомневаться в чем-то
И смотреть обратно или вниз.

.....

Глава четвертая

Азия давным-давно возникла,
Самая из всех земель земля большая,
И косматой полосатой шкурой тигра
Распласталась на Восточном полушарье.

Тигр огромный, как крокодил,
Погруженный в тростник зеленый,
Ревел, подпрыгивал и подходил,
Полосатый и разъяренный.

В правой Яприм держал нож,
В левой револьвер из железа.
Револьвер совал тигру под нос,
А ножом тигра резал.

Тигр ревел,
Но не кусался зверь злючий,
Ибо знал, что револьвер
Существует на всякий случай.

А известно с давнейших пор,
Всякий враг — существо умнейшее.
Тигр был враг и из двух зол
Выбирал наименьшее.

Улепетывая от Яприма,
Тигр вдаль полз,
И проходили мимо
Все деревья от пальм до берез...

Вдруг очнулся Яприм и
Сообщил Агасферу он —
Надо путь держать напрямик
Во страну чужедальних сторон.

Там шакальи стаи
Бросаются на падаль,
И в снежной пене зарастают
На Гималаях водопады.

Там Ганг — священная река,
А в ней не мелко.
Индус приходит на ее берега,
Как мусульманин в Мекку.

По ней покойники плывут,
По ней покойники плывут,
По ней покойники плывут,
Плывут, плывут покойники.

Вода там черная, как гроб,
Который десять лет в земле,
И всевозможностью углов
Ложатся тени на земле.

Они, как девушки, лежат,
В дремоте утренней тоня,
И их невинности лишат
Огнем лучей дневного дня.

Глава шестая

— Что сказал Прометей про метель? —
Агасфер у Яприма спросил.
Ничего не сказал Прометей,
Только дождь моросил.

Ревела осень многоглазием
И очень многое затмила,
Но лишь Москва — столица Азии,
А потому столица мира.

Они стояли у реки,
А перед ними Азия.
Так поступают вопреки,
Изображая несогласие.

Переплывая вплавь границу,
Яприм, огнем смертельным ранен,
На берегу чужом склонился,
Умирая.

А было так — огни сверкнули,
Влача баржу огня и меди,
И, попадая, искра пули
Зажгла костер прощальный смерти.

Агасферу Яприм сказал:
— Там стреляли. Стреляли там.
Умираю, словно корсар,
Сообразно своим годам.

А не хочется расставаться
С миром образов и идей.
Эх, заняться бы реставрацией
Жизней умерших людей.

Я похож на свою страну,
Я хочу на родине умереть. —
Яприм бросился в речную волну
И утонул там.

Глава седьмая

Марсияне и россияне!
Вам посвящаю стих.
От луны исходит сиянье,
Как от иконных святых.

Ныне луна мне кажется меньше,
Чем раньше она была.
Пей же
Кубок большого орла.

Черт ногу сломит в Азии — поэме.
Лишь Агасферу ни черта.
Яприм убит, а в это время
Спускался вечер, как чадра.

Все разметут земные бури,
Утеса кроме одного,
И Агасфер таков, и пули
Отскакивали от него.

Агасферу, ему умереть хотелось,
Но он умереть не мог.
И он исчез, удаляясь через
Покрывающий камни мох.

Эти все события, которые
Летописей хартии хранят,
Во любом учебнике истории
Все найдут, которые хотят.

Новизна завалена старьем,
Эрой рабства было это время.
Ирод был царем,
И Христос родился в Вифлееме.

Безразлично, был он или не был.
Но и не родиться он не мог.
Но манил людей с земли на небо,
Потому что был пророк и бог.

Однажды я, упившись брагой,
Его прогнал, как негодяй,
И он сказал — пойдешь бродягой,
Не умирая никогда.

И я сказал — пойду, пожалуй
(Как пароходы и года).
И по всему земному шару
Иду неведомо куда.

Вне веры я, вне вероятья
Заброшен, брошен навсегда.
Погибли все мои приятели,
И не осталось ни следа.

А христианство развевалось,
Как будто мир стоял на нем.
Оно напоминало алость
Знамен.

.....

...Я видел — века проходили.
Я видел века. Но о них
Нынче любой проходимец
Может узнать из книг.

Не смейтесь, друзья, надо мною.
Я слышал: какой-то граф
Нашел глубоко под землею
Беспроволочный телеграф.

В то время не был домовой
Записан в книге домовой.
Сидел он в книге дымовой
И вдаль глядел.

Но и природу я не постиг,
Как не постиг смерть.
Ежели я утомил — прости:
Могу про разлуку спеть.

— Разлука ты, разлука,
Чужая сторона.
Угробили из лука
Сиамского слона.

Лежит он на границе
Аннана и Таи.
Туда, к его гробнице,
Тропинку протори.

Черт его додери,
Черт его возьми,
Черт его побери.
Приходит двадцатый век.

Наступает 10-й год.
Наступает 20-й год,
Наступает 30-й год,
Наступает 40-й.

А Русь была.
Она как Азия возникла,
Она как море поплыла,
Она и в море не погибла.

Она осталась на земле
И в тракторах и в хлебе,
И в Днепрогэсе и в Кремле,
И в небе и на небе.

Не растворяя двери в мир,
В миру своей фантазии
Был не от мира Велимир,
Великий гений Азии.

Он, как Разин, в Азии был,
Как пять пальцев Азию знал.
— В один завиток трубы;
Небывалая новизна:

Наши годы войны,
Что карты мира смешала, —
Орут небывалые воины,
Председатели земного шара.

Да здравствует бюджетянство.
Революция это в стихах.
Да здравствуют бюджетяне
На земле и на небесах.

А Сергей Есенин разве
Не читал во всех кабаках —
Золотая,
Дремотная
Азия
 опочила на куполах —

На куполах монастырей,
И им не нужно менестрелей.
Стоят бутылки на столе,
А люди дрыхнут на постели.

Я уважаю всех бродяг,
По Эсесерии бродящих,
Всегда в какой-нибудь продмаг
За четвертинкой заходящих.

Мне говорил мой друг Игнат —
Пусть все погибнет, все-таки
Из табуретки станут гнать
Искусственную водку.

Но это все не это,
А мне иное надо.
Когда придет победа,
Приду к Поэтограду.

Сразится Азия со всеми
Под предводительством Москвы,
И в день весенний и осенний
Войска пройдут через мосты.

Произойдет такая битва,
Когда решится ИЛИ — ИЛИ.
Потом война была убита,
И труп ее валялся в мире.

Потом народы в вечер летний,
Перемирившись меж собой,
Споют
 — это БЫЛ наш последний
 и решительный бой.

Я вижу в новой эре
Заманчивые дали,
Березовые ели,
Какие не бывали.

Поэтоград.
Победоград.
Прозэтоград.
 Хороший город.

Хочу, чтоб людям повезло.
Чтоб гиря горя мало весила.
Чтоб стукнуть лодкой о весло —
И людям стало сразу весело.

Чтоб было самое оно
Людей всемирных ради
И чтоб вселучшее вино
Лилось в Поэтограде.

Пути МЕЖПЛАНЕТНЫХ ладей,
Как женщины, будут воспетыми.
Не станет бездарных людей,
Враждующих вечно с поэтами.

Не будет совсем идиотов,
Всякую всячину путающих.
Не смыслящих ни на йоту
В прекрасных футурах и будущих.

А я иду куда неведомо,
Не возвращаясь никогда.
Как говорится меж поэтами,
Иду неведомо куда.

И, может быть, никто не ведает,
Сметая тысячи преград.
И, может быть, никто не ведает,
Что все идут в Поэтоград.

Не все дойдут,
Но все идут,
Хотя
И не хотят.

<1940 — 1941.>



Н О В Ы Е П И Е Р Ё В О Д Ы

УОЛЛЕС ШОУН

*

ЛИХОРАДКА

Уоллес Шоун — современный американский актер и драматург. Автор пьес «Тетя Дан и Лемон», «Мари и Брюс», «Мой обед с Андре» (в соавторстве с Андре Грегори) и «Плакальщик». Наши зрители могли видеть его в заглавной роли в фильме Луи Маля «Дядя Ваня на 42 улице». Издание «Лихорадки» (1991) автор сопроводил следующим примечанием: «Этот монолог был написан в предположении, что его можно будет читать в домах и квартирах, перед десятью — двенадцатью слушателями.

Чтецы могут быть самые разные — женщины, мужчины, постарше и по-моложе».

*Посвящается
Д. и У.
Джулио и Барбаре
Деборе и Бальтазару
Тому и Кристине.*

Я путешествую... и внезапно просыпаюсь в предрассветной тишине, в незнакомом гостиничном номере, в бедной стране, где не знают моего языка, — и меня бьет дрожь. Почему? Что-то происходит... где-то... далеко, в другой стране. Да, вспоминаю. Казнь. В газете было написано, что — сегодня, именно в этот час.

У меня перехватывает горло. Вот они входят — идут — за человеком, лежащим на койке, — человек похож на кота, лицо у него такое широкое и такое черное, что надзиратели, открыв его камеру, снова пугаются, робеют. Ему бреют голову и часть ноги, чтобы электроды плотно прилегли к коже.

А теперь его вводят в другую камеру, пристегивают к креслу кожаными ремнями. Руки пристегивают к подлокотникам, чтобы они не дергались при свидетелях, ноги пристегивают к ножкам кресла... Наливается ли ужасом его сердце? Голову ему закрывают капюшоном, чтобы мы не увидели его боли, его страха, его искаженного лица. Лопочущейся кожи! Мы видим только, как его тело слегка дернулось кверху.

Вам не кажется — когда вы путешествуете по чужой стране, — что запахи ее остры и тревожны? А когда вы просыпаетесь среди ночи — внезапно, — когда просыпаетесь в неурочный час, — когда путешествуете где-то и просыпаетесь в чужом месте, — вам не становится страшно?

Я не могу унять дрожь.

Лампа возле кровати не зажигается, электричества нет. Повстанцы взорвали мачты электролинии. В бедной стране, где не знают моего языка, идет маленькая война. В каждом гостиничном номере — свечи с маленькими подсвечниками. Я встаю, зажигаю свечу, иду со свечой в ванную. Там я ставлю свечу в подсвечнике на пол, становлюсь на колени перед унитазом, и меня рвет. Потом я сижу и дрожу на полу ванной, на холодном кафеле, жаркой ночью, в жаркой стране. Я не могу встать — и сижу тихо, трясусь, как будто сижу в снегу. А в углу — коричневое на кафеле — насекомое, большое, как водяной клоп, плоское, тяжелое, с твердыми,

будто металлическими, ногами — и оно ждет, присев, решает, куда ему двигаться. Секунда — и оно заползло за раковину, лезет в дырку, которая тесна для него, — но пролезло — пролезло в нее, исчезло. И я вижу себя. Я вижу себя. Миг прозрения.

День рождения справляют в дорогом ресторане. Да — стол, красиво и мило украшенный, причудливая ваза посередине, зеленая с розовым, женщины с яркими губами, мужчины в красивых рубашках — и подарки, нелепые, неожиданные, смешные подарки, и официанты подают осетрину и разливают вина — и там я. Я тихо беседую с худенькой бледной женщиной в красно-синем платье о ее романе с немолодым мужчиной, о фильме, растревожившем ее, об актрисе, психиатре, преступниках, о ночных прогулках по лесу, о неутолимой жажде буйного секса, о страданиях отчаявшихся людей, которые живут в перенаселенном приюте через улицу от дорогого ресторана. И, разговаривая с этой женщиной в красно-синем платье, я думал, что я — человек, который думает об этом застолье, испытывает разные сложные чувства в связи с ним, которому в этой встрече что-то нравится, а что-то нет, и нравятся некоторые люди, но не все, нравится розовая с зеленым ваза и не очень нравится красно-синее платье. Но нет. Нет. Я вижу это ясно. Я вижу себя с маленькой вилочкой — я не был человеком, который *думал* о вечеринке. Я был человеком, который *был* на вечеринке, который сидел за столом, пил вино и ел рыбу.

Мы не говорили о рыбе, мы не говорили о ресторане, мы говорили о горных озерах на севере Таиланда и о перенаселенном приюте на другой стороне улицы. Но где мы были? Где мы были? Не на озерах, не в приюте... Мы были там, только там, за столом, в ресторане... Да, возможно, для некоторых людей... возможно, для некоторых людей, живших в начале двадцатого века, скрытой и бессознательной была их внутренняя жизнь. Возможно, единственным, что эти люди видели, был внешний мир — их окружение, их поступки, а о том, что происходит у них внутри, они не имели понятия. Но и от меня было кое-что скрыто. Что-то, часть меня, была от меня скрыта, и думаю, именно та часть, что лежит на поверхности, то, что мог разглядеть во мне любой человек, глядя из окна проезжающего поезда.

Ибо о том, что у меня внутри, я знаю немало. Я изучал свои чувства с девятилетнего возраста! Свои чувства! Свои мысли! Невероятной истории моих чувств и моих мыслей хватило бы на десяток переплетенных в кожу томов. Но история моей жизни — моего поведения, моих поступков — это тоненькая книжечка, и я ее никогда не читал. И не хотел никогда читать. Я всегда полагал, что она будет ужасно скучной. Что там будет? Глава первая. Мое детство. Я родился, я закричал. Глава вторая. Остальное: я сохранялся. Я встал, я пошел на работу, я пошел домой, я пошел спать. Я пошел в ресторан и ел рыбу. Кому интересно? Господи, неужели я должен уехать в бедную страну, где не печатают книг на моем языке, неужели я должен повалиться на кафельный пол в незнакомой гостинице для того, чтобы мне пришлось наконец раскрыть эту скучную книжку, историю моей жизни?

И меня снова рвет. Боже мой.

Нет, я не стану ее читать. Не буду. Родители любили меня. Они растили меня, чтобы я думал о людях, о мире, о человечности и красоте, а не о ресторанах и рыбе. Я родился для сознательной жизни. Свет лампы. Теплая комната. Мой отец в кресле, читает о Китае. Мать с газетой на диване. На столе в графине апельсиновый сок.

И они читают мне книгу о людях в форменных костюмах, о тех, что приходят к нам и помогают нашей семье: приходят со всех концов прекрасного города — сильный из гастронома, почтальон с письмами. Такие хорошие. А на улице старушка из пекарни наклоняется и вынимает мне глазированную булку. Господи, я никогда не сомневался, что жизнь драгоценна. Я всегда думал, что жизнь надо *праздновать*.

Сегодня я сходил в учреждение, тихое учреждение — несколько шкафов и стульев, — а занималось оно тем, что регистрировало все случаи политических убийств, пыток, изнасилований — изнасилований, используемых для пытки или в ходе пытки. На стенах висели фотографии — окровавленные трупы друзей. Кровь была ярко-красная. На одной из фотографий — школьная учительница, убитая возле школы. И были черно-белые снимки застенчиво улыбавшихся женщин и мужчин, сделанные при жизни, — они были приколоты рядом с фотографиями их трупов. Лица светятся добротой.

И я подумал о том, как заботливо учили меня родители не писать мимо унитаза, не пачкать сидений в туалете, избегать гриппозных и простуженных, избегать сквозняков, избегать холодных промозглых комнат.

Я подумал о том, как они научили меня любить путешествия — прекрасные поездки на поезде. Чудо ночной езды среди полей, в маленьком купе; чистим зубы в движущемся поезде.

А тут, с пола ванной, я вижу за окном при лунном свете роскошные горы бедной страны, пропитанные кровью невинных, кровью этих застенчивых лиц, разбитых смиренных лиц.

Гуляем по саду с мамой — громадные розы. И по темному сосновому лесу — отец показывает мне желтую птицу. Спаси меня.

Понимаете, я люблю Бетховена. Люблю слышать, как смычок налетит на струну. Люблю следить за скрипичной фразой, протяжной, как долгий оргазм, истекающий бечевой звука. Люблю выйти вечером в космополитический город и сидеть в темном зале, глядя на танцовщиков, впархивающих друг другу в объятья.

А допустим, что некоторых людей — людей, чьи сердца несомненно полны любви, — вдруг будят среди ночи отряды вооруженных мужчин. Допустим, это их бросают в вонючий фургон с ковриком и топчут сапогами, покуда их окровавленные губы не набухают до размера апельсинов. Да, я был жив, когда это творилось, я жил в городке, чьи улицы залиты кровью безвинных жертв, я носил одежду, которую сдирали с них, когда их насиловали и убивали.

Но я люблю скрипку. Я люблю музыку, танцоров, люблю все, что вижу и к чему прикасаюсь. Город с его огнями, театры, кафе, газетные киоски, книги. Вечный праздник. Жизнь надо праздновать. Жизнь — это дар.

И не выношу, когда люди говорят: «В детстве я любил слонов», «В детстве я любил воздушные шарик» Означает ли это, что, если сегодня они останутся и посмотрят на воздушный шарик или на слона, они *не будут* любить их? Почему *не будут*? Я думаю, мы продолжаем любить то, что всегда любили. Как же иначе? И что еще я всегда любил — а вы? — как замечательно упаковывали, заворачивали маленькие ценные вещички — подарки, которые преподносили друг другу на Рождество или в день рождения взрослые. Какую-нибудь, скажем, фарфоровую чашечку или блюдце, или маленькую фарфоровую вазу. Сначала там будет коричневая картонная коробочка или магазина, такой величины, как будто там будет деревянная лошадка из трехколесный велосипед, — большая коробочка, но, когда поднимашь ее, она оказывается невероятно, волшебной легкой — и ты представляешь себе, что эту большую коричневую коробочку запечатывал могучий, мускулистый индустриальный рабочий, совсем не интересовавшийся ее содержимым. А потом кто-то взрезал ножом коричневую липкую ленту на крышке, и, когда эту ленту растаскивали, раздавался могучий индустриальный треск. И внутри этой большой картонной коробки ты находил другую коробочку, завернутую в толстую глянцевую бумагу и перевязанную яркой толстой шелковистой лентой, в которой не было вовсе никакой нужды, и ты сразу представлял себе, что эту внутреннюю коробочку упаковывала деликатная и скромная дама, с мягкими от душистого крема руками, — и она с большой бережностью относилась к тому, что было в коробочке. А потом, когда снимали и ленту, и бумагу и открывалась сама

коробочка, чистая, молочно-белая, кто-то снимал с нее крышку, и ты слышал легкий, шелестящий звук — будто птенец завозился в гнезде или хомячок в клетке, — то вздыхали тихонько крохотные кусочки жатой бумаги, слегка расправляясь после того, как убрали крышку. И тут начиналась самая волнующая часть, выяснение, что именно есть в коробке, кроме клочков жатой бумаги, — и есть ли вообще что-нибудь, потому что первой твоей мыслью было: ну, на этот раз тут действительно ничего нет. Тут кто-то, — может быть, ты сам — запускал руку в коробочку и шарил в бумаге, словно ныряльщик, отыскивающий жемчужину, — и наконец она натыкалась на что-то твердое, туго завернутое в бумагу другого сорта, и, когда снимали эту последнюю обертку, глазам являлась чашка или блюдце, или крохотная вазочка, способная вместить лишь один цветок. Если бы вы увидели эту чашку или блюдце, или вазочку где-нибудь на полке в магазине, вы бы подумали, что в ней нет ничего особенного, или если бы вы увидели ее в куче подобных вещей где-нибудь в темной пыльной лавке, торгующей всяким хламом, вы бы не выделили ее из мусора, но, когда ее вытащат из большой картонной коробки, а потом из бумаги в молочной коробочке, она покажется вам самой ослепительной вещью на свете. И какой же нежной, какой хрупкой и драгоценной. И вы будете правы — так оно и есть.

И мои друзья, и я были хрупкими, нежными, драгоценными детьми и всегда это знали. Знали по тому, как нас укутывали — в мягкое белье, которое нам клали на постель, в мягкие носки, чтобы не натерли ноги.

И я помню, как моя милая красивая мама, моя невинная мама, говорила мне и моим друзьям, когда нам было лет девять или десять: «Будьте осторожны, детки, не ходите к Первой авеню. Это плохой район. Там хулиганы».

А мы и не подозревали, что это значит. И она не подозревала. Мы думали, что есть такие ребята — хулиганы — может быть, им нравится быть такими. И они живут в определенных районах — может быть, потому, что там живут их друзья. Милые люди собрались в нашем районе и живут вместе, и это хороший район. А Первая авеню и другие авеню — плохие районы, там собрались нехорошие люди, и этих районов надо избегать.

Мы и сейчас их избегаем — все мои друзья и я. Плохих районов. Люди, живущие там, обидят тебя, побьют тебя, порежут, убьют. Все, кто готов обидеть тебя, собираются в таких районах, как вода в стоках. И это ужасно. Это жутко. Зачем людям причинять друг другу вред? Я всегда говорю друзьям: мы должны радоваться тому, что живы. Мы должны праздновать жизнь. Мы должны понимать, что жизнь прекрасна.

И не должны ли мы украшать наши жизни и наш мир так, как если бы это была постоянная вечеринка? Не должны ли висеть бумажные колокольчики на потолке и бумажные шары, белые и желтые ленты? Не должны ли люди танцевать и обнимать друг друга? Не должны ли ломиться столы от сладостей и подарков?

Да, но мы не можем устраивать праздники в той же самой комнате, где людей пытаются, где людей убивают. Мы должны знать, где мы, а где те, кого пытаются и убивают. Не в той же самой комнате? Конечно... но разве нельзя воспользоваться какой-нибудь другой комнатой? Можно, но там мы все равно услышим их крики. Ну а тогда — может быть, здание на другой стороне улицы? Ну, можно — но не возникнет ли странное чувство, если во время нашего праздника мы подойдем к окну, посмотрим на здание напротив, где мы сейчас находимся, и подумаем о том, что сейчас здесь льют кровь, убивают людей и разбивают мошонки.

Кто они — те, кого пытаются и убивают? Мне объяснили: последователи Маркса.

Кружится голова, и я опускаю лоб на пол. Виски мне будто перевязали веревкой и то натягивают, то отпускают, натягивают и отпускают, а в животе — режущая боль.

У себя на родине я всегда любил жить в гостиницах. Одним из высших удовольствий для меня было — уснуть в гостинице, в каком-нибудь новом городе, проснуться пораньше, когда поют птицы, заказать в номер кофейник, а потом снова лечь в постель и, попивая кофе, звонить друзьям. Я проводил так часы — говорил по телефону, смеялся, пил и пил кофе и смотрел, как солнце заглядывает в окно и движется по комнате. Потом вставал и приступал к дневным делам. Но гостиница в чужой стране — это совсем другое.

Расскажу вам о забавном происшествии, случившемся сегодня за обедом. Впрочем, скорее моя реакция на него была забавной.

В отеле давали банкет. Перед всеми — громадные тарелки с едой: ветчина, креветки, омар, дичь. Я стоял снаружи, а на ступеньках неподалеку от меня сидела девушка лет шестнадцати. Это была крестьянская девушка, босая, ноги ее выглядывали из-под выцветшей юбки. Глаза у нее были влажны, словно ее высекли. Она чего-то ждала, застыв на каменных ступеньках в позе, исполненной удивительной серьезности и грации. Внезапно из отеля вышел хорошо одетый молодой человек с глупым выражением лица. Он направился к девушке, и по тому, как он махнул ей, я понял, что она служанка в его семье. Он нес ей крохотную тарелочку с несколькими фасолинами. Это был ее обед. Она улыбнулась, принимая этот дар, и у меня немедленно возникло желание ударить молодого человека в лицо, зашвырнуть его в кусты. Реакция, в самом деле, забавная. Кем я себя вообразил — революционным партизаном на неделю? Потом он вернулся в гостиницу, естественно не заметив меня, и на этом все кончилось. Примерно год назад я провел день на нудистском пляже с группой людей, которых я не очень хорошо знал. Среди прочих, голый, на солнце, лежал человек, все время рассуждавший о «правлящем классе», «элите», «богатых». Целый день: «Богатые — свиньи, все до одного свиньи, однажды эти свиньи получат то, что им причитается», — и все в таком духе. Это был мужчина с большими усами, худой, нездорового вида, но очень красивый, и он беспрерывно курил. Рассуждения его перемежались смехом — сердитым лаем, возникавшим всегда неожиданно. Всю свою жизнь я слышал о таких словах и таких фразах, но ни разу не встречал человека, который ими действительно пользовался. Мне показалось это довольно занятным. Но примерно через месяц после этого произошло нечто странное. Куда бы я ни пошел и с кем бы ни вступил в разговор — в поезде, в автобусе, на вечеринках, в очереди в кинотеатр, — все говорили, как он: богатые свиньи, пробьет их час, они все, как один, свиньи — и так далее. Я подумал было, что схожу с ума. Мне показалось, что я рехнулся. Это в самом деле происходит? Все стали коммунистами, кроме меня?

И происходило это как раз тогда, когда коммунизм окончательно умер и социальные патологоанатомы спорили, чем вызвана его смерть. Судя по газетам и журналам, никто не печалился о почившей системе, и казалось, все интеллигенты и политические деятели, когда-либо подпадавшие под ее обаяние, разбежались кто куда в поисках убежища. Так кто же тогда эти люди, которые в меня вцепляются?

Однажды у себя на крыльце я нашел подарок от неизвестного — том первый «Капитала» Карла Маркса, в коричневом бумажном пакете. Шутка? Всерьез? И кто мог прислать эту книгу? Я так и не выяснил. Поздно ночью, голый, в постели, я ее полистал. Начало было непостижимо — я не мог его понять, но, дойдя до той части, где говорилось о жизни рабочих-шахтеров, рабочих-детей, я почувствовал, что вдруг задышал медленнее. Как же он сердился! Страница за страницей. Потом я вернулся к более ранней части и набрел на фразу, когда-то слышанную, — странную, тревожащую, довольно уродливую фразу: речь шла о «товарном фетишизме». Я хотел понять это дикое словосочетание, но пришел к выводу, что понять его, наверно, можно будет, только переменяв всю свою жизнь.

Объяснение его было очень невнятным. Например, люди говорят: «Двадцать ярдов полотна стоят два фунта». О каждой вещи люди говорят,

что она имеет определенную стоимость. Это стоит столько-то. Это пальто, этот свитер, эта чашка кофе — каждая вещь стоит определенных денег или некоторого числа других вещей: одно пальто стоит трех свитеров или таких-то денег — словно пальто, вдруг появившись на земле, содержит в себе какую-то стоимость, вроде души, словно пальто — фетиш, физический объект, в котором содержится живой дух. Но что на самом деле определяет стоимость пальто? Что определяет цену пальто? Цена пальто возникает из его истории, из истории всех людей, которые занимались его изготовлением и продажей, и из всех отношений между ними. И если мы покупаем пальто, мы тоже вступаем в отношения со всеми этими людьми, но игнорируем их, делая вид, что живем в мире, где у пальто нет истории, а оно просто свалилось с неба с готовой ценой внутри. «Мне нравится это пальто, — говорим мы, — оно недорогое», — словно это свойство *пальто*, а не завершение истории обо всех людях, которые его делали и продавали. «Мне нравятся картинки в этом журнале». Голая женщина прислонилась к забору. Мужчина покупает журнал и глядит на картинку. Мужчина заплатил женщине, чтобы она разделась и прислонилась к забору. Фотография содержит свою историю — минуту, когда женщина расстегивала блузку, то, что она при этом чувствовала, что ей сказал фотограф. Цена журнала — шифр, который описывает отношения между всеми этими людьми: женщиной, мужчиной, издателем, фотографом — кто командовал, кто подчинялся. Чашка кофе содержит историю крестьян, собиравших плоды, — некоторые теряли сознание под палящим солнцем, некоторых били, некоторых пинали.

Два дня я видел товарный фетишизм повсюду вокруг меня. Это было странное чувство. На третий день я утерял его. Оно исчезло. Я больше не видел фетишизма.

А вскоре после занятий с этой книгой я как-то ждал автобуса. И некто с очень приятной улыбкой стоял позади меня; его худая грудь была прикрыта вылинявшей майкой, и на майке было напечатано одно слово — название одной революционной страны. Автобус запаздывал, минуты шли, и в конце концов я улыбнулся в ответ на улыбку стоявшего позади меня и спросил у него: «Вы были в этой стране, которая у вас на майке?» И носитель сказал: «Да — а вы там тоже были?» — и лицо его при этом потеплело. Потом подъехал автобус, и неизвестный вошел, но это был не мой автобус. Примерно через полгода я был на вечеринке в благополучном районе города и много выпил. Ночь была темная. Улицы — мокрые. Я быстро шел мимо каких-то синих деревьев и вдруг увидел освещенное место; человек с ореховым лицом и седыми волосами, в темном костюме ловил такси. Он тоже был на вечеринке, но мы не разговаривали. Он спросил, не в одну ли нам сторону, оказалось — в одну. Он говорил с музыкальным акцентом. Мы сели в такси. Руки у него странно дрожали, а в тембре голоса было что-то от густого темного сиропа. Изъяснялся он краткими ироничными фразами, и немного погодя я смущенно спросил: «Не могу понять, что у вас за акцент, — вы откуда?» Он посмотрел на меня хмуро и с подчеркнутой иронией объяснил, что прибыл из революционной страны, чье название я видел тогда на майке. Он служил там по дипломатической части. «А в вашу страну трудно попасть?» — спросил я. Он любезно ответил, что очутиться там можно через несколько часов.

Сколько-то месяцев спустя я отправился в эту революционную страну. То, что я слышал о ней, оказалось выдумками. Солдат и вправду было много, но мне они казались похожими на пастухов с ренессансных картин. Их зеленые мундиры напоминали пижамы. Я весьма прибодрился. Я беседовал с чиновниками, приходившими на службу с рассветом, — все было усталые, но очень вежливые, покладистые, с чувством юмора — некоторые были даже душевными, некоторые грустными. Однажды я остановился на площади и написал в записной книжке романтическую фразу: «Эти застенчивые улыбки для меня — как сад». Жил я в дорогом, роскошном отеле, и мороженое там действовало на меня, как наркотик, — вос-

хитительное, легкое, ароматное. Я не мог оторваться от этого поразительного мороженого. Журналист, с которым я познакомился в гостинице, объяснил мне, что восторгаться революцией из-за мороженого — наивно, потому что это именно *изъян* в революции: ресурсы отвлекаются на изготовление мороженого, тогда как некоторым людям все еще не хватает еды. Замечание по существу, но он упустил одно: мороженое было сказочное.

Я продолжил мою поездку и решил посетить другие бедные страны. Я ездил по бедным странам, чьих названий не было на майках, чьи солдаты имели странное выражение на лицах; богатые семьи там сидели в сияющих ресторанах, поедая тарелку за тарелкой многоцветного мороженого, но когда я попробовал эти мороженые, вкус у всех был один и тот же и ни одно не было восхитительным. Я ослаб, выслушивая рассказы об электрических пытках, о состоянии тел. Я видел фруктовые сады несравненной красоты, где работниц насильовали и вешали на деревьях. Но однажды в ясное солнечное воскресенье я зашел в крошечную церковь, заполненную худыми лицами, и там раздавалось радостное пение и священник говорил о любящем Христе, о важности прощения — о терпимости, милосердии. А однажды днем в темном кафе я пил чай с вооруженной партизанкой. С Хуаной, последовательницей Маркса. Это было немного страшно. Кожа у нее была желтоватая, глаза чересчур блестящие. Казалось, ее сжигает мучительная болезнь. Ну, не совсем последовательница Маркса. Но имя его казалось ей чудесным, и даже его портрет казался красивым, потому что, в отличие от других философов и образованных людей, объяснила она мне, Маркс сделал странный жест — бросил свою жизнь к ногам бедняков. Иначе говоря, Маркс был *их* последователем. Он был на их стороне.

Я все пытался узнать что-нибудь о ней самой. Она уже давно не была дома. Она любила родителей. У нее было двое маленьких детей. Муж умер в двадцать с чем-то лет. Она воспаленно рассказывала мне о сестре, которую убили, и все время стискивала и разжимала руки. Голову ее сестры изуродовали. После смерти сестры она покинула деревню и пошла в горы, искать повстанцев. Она научилась по нескольку дней обходиться без еды. Самообладание, достоинство дикого животного.

Я вернулся домой, к прежней размеренной жизни. Но не мог не заметить, что со мной происходит нечто ужасное. Сперва я отмахивался от этого, старался не обращать внимания, как на неприятный симптом, — в надежде, что он исчезнет сам по себе, — но это не исчезло. Что же творилось со мной? Я всегда говорил: «Я счастливый человек. Я люблю жизнь», — а теперь какое-то страшное безразличие или пустота, зародившиеся где-то внутри, завладели мной мало-помалу. То, что раньше обрадовало бы меня или развеселило, теперь не рождало отклика. Иногда казалось, что кто-то меня душит.

Я навестил знакомую семью — близких друзей. Прежде я не бывал у них дома, хотя разговоры о таком визите у нас шли годами. «Это наша спальня, — открывают дверь. — Здесь спит ребенок». Все комнаты были красивые — простота и вкус, какая-нибудь выразительная деталь, изящные вещички из дальних стран. В детских комнатах — небесно-голубые обои, даже на потолке, полки с большими желтыми цыплятами и утятами. Но мне было нехорошо. Мне было тошно. Я ничего не чувствовал — я коченел.

Я отправился на спектакль с компанией приятелей — легендарная актриса в замечательной роли. Крах героини приближался с каждой минутой. Дом ее детства продадут, ее любимые вишни будут срублены. Под яркими огнями актриса играла гнев, бравладу, и сцену оглашал ее молодой смех, говоривший о самообмане. Ей придется жить в парижской квартире, а не в поместье, которым она владела прежде. Поместье купит ее бывший крепостной. Сочувствие и горе ее старого брата в конце концов вызвали слезы у крупного мужчины в плотном пиджаке, сидевшего рядом со мной. Но неприятность заключалась в том, что я почему-то неожиданно перестал быть собой. Меня это не трогало. Почему именно нам полагалось плакать?

Она лишится своих владений... Теперь ей придется жить в квартире... Я не мог вспомнить, почему мне полагается плакать.

Возвращаясь со спектакля в такси, мои друзья критически отзывались об одном из актеров. Его исполнение было вялым, неубедительным, непродуманным. Если его герой вел себя таким образом в первом акте, то его последующие поступки нельзя объяснить. Я, застыв, глядел в окно автомобиля.

Иногда мне бывало хорошо. Помню одно утро — чудесное голубое небо, — я стригся. Ласковые руки укладывали волосы у меня на голове пышной шапкой. Потом я купил себе пару удобных носков, а потом, разглядев их внимательнее, купил еще две пары, потому что найти носки, которые меня устраивают, не так-то легко! Потом я пошел в симпатичный ресторанчик и пообедал с женщиной в лимонно-желтом костюме, которую знал с восьми лет. Но когда я сел в такси и поехал по городу, противное, мутное чувство вновь овладело мной. Оно зарождалось где-то в животе и разливалось по груди и по ногам. А желудок пульсировал совсем как сердце. На лбу и шее холодный пот. Я перестал быть собой. Когда такси остановилось, тот, кто вылез из него, не был мной. *Меня* не было нигде. Тот, кто расплачивался с шофером, на самом деле был никто.

Меня дождалась женщина, с которой много лет назад у нас был очень счастливый роман. Мы улыбнулись, мы обнялись, но обняла она не меня. Я держал в объятиях будто не человека, а куклу с электрическим подогревом. И сам я был странно пахнущей куклой. В старой квартире, полной воспоминаний, мы говорили о недавнем спектакле, о фильме, о кошмарном выступлении танцевальной группы, где работала наша общая знакомая; мне было рассказано об обеде с нашей подругой Надей, художницей, которая помимо живописи занялась дизайном, и о деревянных фигурках, контрабандой вывезенных из Мексики, для чего их пришлось завернуть в белье. У нашего остроумного друга Петруса украли бумажник. Как ни удивительно, полицейские поймали вора, убежавшего по улице. Петрус сказал, что досье на него длиннее биографии Генри Джеймса. Приключения Петруса в полиции и в суде были уморительны — Петрус есть Петрус. Но, слушая этот рассказ, я вспомнил, как подруга моей матери однажды сказала мне: «Люблю тебя за твой милый, громкий, веселый смех», — и отметил, что сейчас мой смех похож на сдавленное покашливание.

Мы собирались пообедать с другим нашим приятелем в гостинице возле учреждения, где он работал, но, встретившись с ним, по ошибке забрели в танцевальный зал гостиницы. Там зажиточного вида чиновники, возможно уже удалившиеся на покой, танцевали под жуткую музыку со своими женами — мужчины с широкими бедрами, в мешковатых брюках, с монетами в карманах и жены в цветастых платьях, с прическами, похожими на парики, — и наш приятель сказал: «Господи, какие несчастные. На них больно смотреть. Как печально жить», — а я смотрел на чиновников в темных костюмах, не ощущая ничего, кроме оцепенелого безразличия, стянувшего даже рот, — какого-то кислого безлюбья, ужасного, гнилого безлюбья.

А под конец обеда приятель сказал нам, что его отец умер. Он описал больницу, врачей, машины. Похоже, ему казалось, что до этого никто не умирал, казалось несправедливостью, что должен был умереть его отец. Он не пожалел никаких средств, чтобы по возможности продлить жизнь отца и облегчить ему смерть насколько возможно. Отца окружали специалисты и трудились изо всех сил, чтобы избавить его от страданий. А я, не удержавшись, заговорил о тех, кто каждый день умирает под пытками, окруженный на смертном одре *другими* специалистами, которые делают все возможное, чтобы *их* пациент умер в невыносимых муках, воя от боли.

Слова мои были неуместны. Где же мое сочувствие к другу? Его потеря была подлинной. Он смотрел на меня с ужасом.

Наступило Рождество. На улицах и в магазинах царило праздничное настроение, и однажды ночью я увидел сон: мне снилось, что сейчас Рождество и у меня чудесная семья, двое или трое маленьких детей, и в этом сне я вдруг проснулся, потный от страха, и пошел в ванную чистить зубы. Моя щетка, паста и стакан стояли, как обычно, на полке. Я взглянул в зеркало, и эта полка с принадлежностями стала крениться. Стакан медленно сполз с нее, упал и разбился на толстые острые осколки. Я потерял равновесие, поскользнулся и наступил прямо на осколок. Кафельный пол залила кровь. Прибежала семья. Я плакал, всхлипывал. «Простите, — сказал я, — я больше не смогу дарить вам подарки. Я всех вас люблю, но больше не хочу дарить вам подарки». Слова эти вырвались у меня сами собой. Я не понимал, почему я их говорю. Я всегда хотел, чтобы мои дети были счастливы. Я всегда хотел, чтобы они получали все самое лучшее. Потом я проснулся и стал думать о сновидении, о подарках. Я думал о Рождестве, об улицах, магазинах. Для этого ли люди рожают детей — чтобы тоже рыскать по улицам, поглощая, покупая только «самое лучшее» — лучшую пищу, лучшие наряды, все лучшее, — тоже для того, чтобы требовать «самого лучшего»? Разве еще не хватает людей на свете, которые требуют самого лучшего, добиваются самого лучшего? Нет, мы должны родить новых, а потом собрать еще больше сокровищ, еще больше самого лучшего для наших новых детей, потому что наши дети должны иметь самое лучшее, и будет позором для нас, если мы их этим не обеспечим. Мы ни перед чем не остановимся, чтобы дать им самое лучшее. Я был в очень плохом состоянии. И не то чтобы мне так понравилась моя последняя поездка. Но я чувствовал, что, может быть, должен съездить туда еще раз — съездить в бедные страны, — что, может быть, так я излечусь от своей тошноты или беспокойства — или как там назвать это чувство. У меня даже не был распакован один чемодан. И я решил: ну... может быть... И вот я здесь.

Последнюю ночь на родине я провел в гостинице аэропорта. В номере надо мной допоздна играла музыка. Я позвонил портье и пожаловался. Лежа в постели, я представлял себе, как слушают музыку люди наверху. На них удобная одежда для досуга, они свободны и веселы — может быть, немного выпили или накурились. Может быть, танцуют. Я всегда любил песню, которую играли наверху, — красивая песня, и сейчас испытывал острое удовольствие: лежа на подушке и слушая песню, ждал минуты, когда гостиничный охранник постучит в дверь наверху и музыка оборвется на середине фразы.

Я пытаюсь встать и выйти из ванной. Поднимаюсь на колени, но встать не могу. На бортике ванны висит пурпурный коврик. Я хватаюсь за него, стягиваю его на пол, подтягиваю и просовываю под себя.

Вы знаете? — в городе, где я вырос, в городе, который и люблю больше всех, бывают ночи, когда для дождя слишком холодно, но небо еще не может разродиться снегом, хотя чувствуется, что оно не прочь, — и тогда в какую-то минуту каждая машина, и лицо, и стеклянная витрина вдруг покрываются тончайшей влагой, вроде той, что видишь на замороженной вишне, — и в такую ночь, когда идешь по улицам чистой части города, ты видишь мужчин в длинных, до земли, пальто, и с плотно закрытыми ртами они грубо смотрят на рыжеволосых женщин, чья помада и серьги идут рябью в перемежающемся свете и полутьме тротуара. И вот этого никогда не поймут коммунисты, этого коммунисты никогда не поймут, так же, как я никогда не пойму человеческой порядочности.

Слушайте, вот что я хочу у вас спросить: у вас когда-нибудь были друзья из бедных? Понимаете, по-моему, у многих людей есть такая мысль: а почему бы мне не завести друзей среди тех, кто беден?

Я рисовал себе это столько раз — это было как навязчивый сон. Каждый день я видел множество людей — людей, занятых физическим трудом, — кто-то случайно привлекал мое внимание, кто-то со мной говорил,

и я думал: как славно... славно... Если бы... — и я воображал себе... Но все, что я воображаю, каждый раз кончается плохо.

Я всегда воображаю, как они приглашают меня на обед, — и не знаю, в чем дело, — что-то есть в свете лампочек, в паркетинах, чуть выступающих над полом, и тыходишь и говоришь себе: чудесно, все чудесно, просто чудесно, — но знаешь, что это не так, — и откуда-то доносится какой-то липкий запах, из передней, из комнаты, и тут же телевизор, и стены окрашены глянцевой розовой краской, и больные детишки чихают и кашляют. И стулья жесткие, и, в конце концов, ты садишься на пол и ерзаешь по полу, пытаешься найти опору для спины. И тебя кормят, и мясо жирное, и кусок мяса у тебя на тарелке как будто становится все больше и больше. И все невероятно мило. И кто-то меняет у младенца пеленку. А через неделю тебе звонят и приглашают снова, и ты не знаешь, что сказать, поэтому снова идешь, а потом, может быть, еще раз, спустя несколько месяцев, а потом... не знаю... то ли ты переезжаешь в другую часть города, то ли совсем уезжаешь из города, а может, они из города уезжают, — но в следующий раз ты попадаешь к ним через год, а потом уже никогда не попадаешь.

Господи Боже, что со мной творится? Кажется, от меня ничего не осталось. Кажется, я не могу думать... я ничего не помню... Как это я всегда говорю? Я убежден, что есть... Я убежден, что...

Нет — стоп. Каждый человек — это человек, каждый человек в чем-то убежден. Мой друг Боб — мой друг Боб убежден, что «демократия — наихудшая форма правления, за исключением всех остальных». А Фред — Фред убежден, что «сегодняшний бунтарь есть завтрашний диктатор». А Наташа убеждена, что крестьяне в бедных странах хотят только, чтобы их оставили в покое и позволили возделывать свои поля, и что им никакого дела нет до правых и левых идеологий. Марио убежден, что социальная критика в пьесах и фильмах действеннее всего тогда, когда она выражена через юмор. А Индрани убеждена, что произведение искусства, включая оперу и балет, способны изменить личность, а через это — общество. А Тошико убеждена, что единственное, чем может способствовать человек решению мировых проблем, — это внушить своей семье правильные понятия. Анна-Мария же верит, что богатые и бедные должны жить как друзья и трудиться сообща, чтобы будущее стало лучше прошлого.

Но вопрос... вопрос вот в чем: изменилось бы что-нибудь, если бы не Боб, а Фред полагал, что демократия — наихудшая форма правления, за исключением всех остальных? Что, если бы Фред проснулся однажды утром и подумал, что он верит в это, и забыл, что на самом деле в этом убежден его друг Боб?

Фред в чем-то убежден — это ясно. Но что это значит? И значит ли что-нибудь? Я не помню...

А мои убеждения? Да-да, у меня есть убеждения, да, я верю в человечность, в сочувствие к другим, я отвергаю жестокость и насилие...

Что? Ты одобряешь жестокость и насилие?

Нет — я сказал, я отвергаю жестокость и насилие... Господи, — отвергаю, отвергаю...

Но я еще помню, что я люблю, — помню ведь? — даже если не помню своих убеждений. Я знаю, что я люблю. Я люблю тепло, уют, удовольствия, любовь... письма, подарки... красивые тарелки... картины Матисса... Да, я эстет. Я люблю красоту.

Да — бедные страны красивы. Бедные люди красивы. Как прекрасно — быть при деньгах в стране, где большинство народа бедно, ехать в такси по жутким трущобам.

Да — нищая может быть красива. У нищей могут быть красивые губы, красивые глаза. Ты далеко от дома. Ее простая шаль кажется тебе элегантной и уместной — так и надо одеваться. Она приближается к тебе издали. Она старая, худая, да и вид у нее больной, очень больной, смертельно. Но лицо ее кажется прекрасным, соблазнительным — оно светится. Она

нравится тебе — тебя к ней влечет. Да, думаешь ты, — у тебя в кошельке деньги, ты дашь ей денег.

И голос спрашивает: почему не все? почему не отдашь ей всё, что есть?

Осторожно, такой вопрос может отравить тебе жизнь. Твоя любовь к красоте может тебя просто убить.

Если ты слышишь этот вопрос, значит, ты болен. Ты душевно болен. У тебя нервный кризис.

А ванная кружится, вертится с невыносимой быстротой. Я смотрю на унитаз.

Ответ на вопрос, идиот. Не стой как столб. Я не могу отдать нищей все деньги, потому что я...

потому что я...

по...

Одну минуту. Одну минуту. У меня *есть* убеждения. И *есть причина*, почему я не могу отдать нищей все мои деньги. Да, я дам ей *часть* — я всегда даю с удивительной щедростью людям, имеющим меньше, чем я... Но, во-первых, вполне объяснимо, почему деньги *есть у меня*, и именно поэтому я не собираюсь отдавать всё. Другими словами, я эти деньги, черт возьми, *заработал*. Я много работал. Я работал. Я работал. Я много работал, чтобы заработать эти деньги, и эти деньги — мои, потому что я их заработал. Я заработал деньги, и поэтому они *у меня* есть, и я могу тратить их, как мне угодно. Это — основа всей нашей жизни. Почему я могу жить в этом отеле? Потому что я заплатил за жилье — своими деньгами. Заплатил, чтобы здесь жить, и это дает мне определенные права. Я имею право здесь жить, и чтобы меня обслуживали и делали для меня то, что положено. Вот, например, сегодня утром горничная оставила мой номер в беспорядке. Пол был грязный, свежего белья не постелили, корзину для мусора не вынесли. А я платил за жилье, платил за то, чтобы меня обслуживали, имею на это право, но горничная не обслужила меня как полагается. И это неправильно.

Снова накатывает приступ рвоты. Мои плечи тянутся к унитазу и тянут за собой меня. Моя голова тянется к фаянсу, и меня рвет, и рвет, и снова рвет.

Почему эта старуха больна и умирает? Почему у нее нет денег? Или она никогда не работала?

Идиот, жалкий идиот, конечно, она работала. Она работала по шестнадцать часов в поле, на фабрике. Она работала, горничная работала. Ты говоришь, *ты* работал. Но почему твоя работа приносит тебе так много денег, а их работа не дает им практически ничего? Ты говоришь, «заработал» деньги. Чудесное выражение. Но как же ты «заработал» так много и в такое короткое время, а они за то же время «заработали» так мало?

Жар пробегает по мне маленькими волнами, пурпур коврика все густеет и густеет, громадные, толстые водяные клопы покрывают пол и бегут, быстро. Сотни — и бегут, построившись некими фигурами. Я встаю, чтобы они не пробежали по мне, и высокий революционный охранник в нижней рубашке поднимает ногу. Он поднимает ногу. А потом разворачивается и бьет меня ногой в лицо, и я падаю назад, спиной на нары, на жесткие нары. Я в камере, а охранник лезет в большую сумку и вытаскивает тоненькую книжонку, вроде бы знакомую. Он швыряет ее мне и выходит из камеры. «Прочти ее, — говорит он. — Прочти. Прочти ее».

Я подбегаю к двери камеры и кричу: «Это вы называете народной властью?» — но он уже ушел. Я кричу и кричу, у меня саднит в горле. Но я здесь один, и со мной только эта уродливая книжонка. Я сажусь на нары и начинаю читать; на ладонях у меня выступает пот.

Ну конечно, именно то, что я и ожидал увидеть. Самые нудные вопросы — с подробными ответами, как будто жизнь человека — это таможенная декларация. Глава первая: в какой стране я вырос, в каком городе, на какой улице? Расовая принадлежность моих родителей. Сколько они зара-

батывали. Чем я питался. Чему меня учили. Глава вторая... — это невероятно, черным по белому: «Моет голову каждый день, если не опаздывает» — закрыть кавычки. Открыть кавычки: «Собираясь обедать с друзьями или в театр, принимает ванну и переодевается в чистое». Да что же это такое творится? Ведь это не имеет совершенно никакого отношения к тому, что есть Я, к тому, что во мне существенно! Неужели они не понимают, что все в этой книге с таким же успехом может относиться к... к... к моему соседу Джину, к соседу Джину, который острит о голодающих детях в Азии, к соседу Джину, который хвастается тем, что употребляет сотрудниц на столе совещаний? Неужели они этого не понимают?

Один из охранников заламывает мне руки за спину, а другой начинает бить по лицу кулаками. Несколько раз бьет по лицу, потом в грудь, потом в живот. Никогда в жизни меня не били. Я думаю о том, какое повреждение мне может причинить каждый удар. А изо рта у меня потихоньку течет кровь.

И еще один охранник — женщина, чье лицо похоже на лепешку, вымоченную в ярости. Она стоит в стороне, а крики мои мечутся между стенами камеры: «Нет! Нет!» А потом она подходит ко мне и плюет мне в лицо. Я кричу ей: «Чем я это заслужил? Что я вам сделал?»

Когда охранники уходят, я вою, как животное. Я не перестаю думать о матери — о том, как она обо мне заботилась, — и это непереносимо.

Стараюсь взять себя в руки. Я должен выжить. И вот я сажусь на нары и плачу и читаю, и плачу и читаю. А время идет, столько времени, — кажется, проходит вечность, — а потом, да-да, я понимаю — я сознаю, что на мой вопрос есть ответ. Да, все это можно было предсказать, зная предысторию — где я родился, как меня вырастили... сколько может стоить час моего труда, — хотя для меня, изнутри, моя жизнь всегда казалась повестью только еще развертывающейся, непредсказуемой. Да, я родился, и выделено было поле, участок земли, где ревностные руки будут собирать богатые плоды. И меня учили быть ревностным. Нищую, горничную... конечно... если б вы знали... деревни их детства... — нет, их не учили быть ревностными... Вот тебе земля, твой кусок земли... он был голый, черный, каменистый.

И весь мир раскрывается мне, как четырехмерная карта, — вся земля, люди, моменты времени — сегодня, вчера. И я вижу, что в каждый данный момент мир способен произвести строго определенное количество вещей, нужных людям: есть определенное количество земли, пригодной для возделывания, определенное число рабочих, определенный машинный парк, определенный набор понятий о том, как нужно что-то делать, как организовать тех, кто работает. И производительная способность каждого дня почему-то кажется очень маленькой. Она задана, ограничена. Каждая часть ее задана. И я вижу все дни, бывшие прежде, и в каждый из них работало определенное число рабочих, и было извлечено и пущено в дело определенное количество земных ресурсов, и произведен определенный небольшой набор продуктов. Маленький: на решетке бесконечных возможностей — конечное количество, распределяемое каждый день.

Из всего, что можно было бы сделать, что осуществляется в действительности?

Что сделать — определяют держатели денег: они предлагают деньги за то, что им нужно, каждый в соответствии с тем, сколько у него есть, — и каждая кучка денег определяет какую-то часть деятельности каждого дня; те, у кого мало, — определяют мало, те, у кого много, — определяют много, а те, у кого нет ничего, — не определяют ничего. А мир подчиняется приказам денег в меру своих производительных сил — и останавливается. Он сделал то, что мог. День окончен. Что-то было сделано. Если деньги предлагались за украшения, добывалось серебро и сгибалось в кольцо. Если деньги шли на оперу, шились костюмы и на невидимых нитях вешались люстры.

И есть один поразительный момент: каждый день, перед тем как день начался, перед тем как открылся рынок, перед тем как начались торги, есть момент замешательства: деньги молчат, они еще не заговорили. Они медлят с приказом, они изготавились, встали на старт. Каждому ясно, что сегодня всего выполнить нельзя: если произведут пищу для голодных детей, то не исполнят некоторых опер; если же будут даны представления, то меньше будет произведено пищи, и дети умрут.

Я подползаю к окну — на нем нет решетки — и высовываю голову. Я люблю плакать на теплом ветру. Но я ощущаю присутствие друга, он сидит у меня за спиной, на нарах, спокойно курит... но постойте... это охранник! И я, не в силах удержаться, говорю: слушайте, я же человек! Да, конечно, я хочу хорошо зарабатывать — а что такое, по-вашему, человек? Человек — беззащитное извивающееся создание, маленькое, мягкое создание, без раковины, без шкуры, даже без шерсти, — выброшен на землю, как глаз, вырванный из орбиты, как устрица без раковины, ползущая по земле. Мы сами должны создать себе раковины — да, ботинки, стулья, стены, полы — да, Господи Иисусе, маленькие утешения, маленькие утешения. Потому что, Господи, — вы же знаете, вы знаете, мы хотели счастья, мы хотели, чтобы наши жизни были совершенно прекрасными. Мы так долго предвкушали какую-то чудесную ночь в какой-то чудесной гостинице, чудесный завтрак на подносе, принесенный в номер, — мы предвкушали, повизгивая и вывесив языки, словно собачки на коврик, как мы порадуем любимых поцелуями в постели, как порадуем родителей своими замечательными успехами, как порадуем детей игрушками и сюрпризами. Но все было не так, все не совсем: гостиница, завтрак, постель, наши родители, дети, — и, да, поэтому мы нуждались в утешении, в утешении, нуждались во вкусной еде, в красивой одежде, мы нуждались в превосходной живописи, кинофильмах, пьесах, загородных поездках, изысканных винах. Утешений *всегда* не хватает, утеш *всегда* не хватает.

Я делаю все, что могу. Я стараюсь быть милым. Я стараюсь быть веселым, занятым, забавным. Я рассказываю людям забавные истории. Каждое божье утро я шучу с вахтером, каждое божье утро — со сторожем на стоянке. При всякой возможности я пытаюсь быть занятым, чтобы помочь моим друзьям прожить этот день. Я пишу записки любимым людям, когда мне понравилась их статья или их выступление на сцене. Когда люди на вечеринке стали проходиться по адресу рекламных агентов, я увел разговор в сторону, потому что моей приятельнице Монике стало неловко — ее отец работает в рекламном агентстве.

На нарах никого — только книжка, но страницы книжки залиты кровью, и, когда я беру книжку, кровь пачкает мне одежду, льется на пол. Тут еще предисловие — все, что случилось до моего рождения. Мне досталось роскошное поле — как вышло, что мне досталось оно, а не черное, каменное? А вышло так потому, что до моего рождения землю распределяли и кто-то подгробал эту землю под себя.

Не случайно, не по прихоти судьбы. Землю подгробали под себя воры, убийцы. Годами, веками, из ночи в ночь блестяли ножи, взрезались глотки, снова и снова, и наконец-то в одно прекрасное рождественское утро мы просыпались, и наши гордые родители показывали нам великолепные сияющие, пропитанные кровью поля — теперь наши. Возделывай, говорили они, обрабатывай все, что возьмешь у земли, береги, охраняй, а потом прирежь своим детям соседний склон, соседнюю долину. Из любой выгоды извлекай новую. Расти, обрабатывай, сохраняй, стереги. Двигай дальше, покуда все не станет твоим. Остальные всегда отойдут, отступят, отдадут тебе то, что ты хочешь, или продадут, что ты хочешь, и за цену, какую ты хочешь. У них нет выбора, потому что они слабые и больные. Они стали «бедными».

А книга разворачивается — годы, века, — и наконец наступает день, когда наши родители говорят, что время распределения кончилось. Теперь у нас есть все, что нам надо, — наша позиция защищена со всех сторон.

Теперь наконец все может застыть так, как есть. Насилие может прекратиться. Отныне — никакого грабежа, никаких убийств. С этого момента — вечная тишина, царствие закона.

Итак, у нас есть все, но осталась одна непреодолимая трудность, проклятье: мы не можем порвать наши связи с бедными.

Нам нужны бедные. Если бедные не соберут плоды с деревьев, не упрячут под землю экскременты, не выкупают наших младенцев после родов, мы не сможем существовать. Если бедные не сделают черную работу, на черную работу уйдет наша жизнь. Если бы бедные не были бедными, если бы бедным платили, как платят нам, нам не на что было бы купить яблоко, рубашку, отправиться в путешествие, провести ночь в гостинице соседнего города. Но ужас в том, что бедные растут повсюду, как мох, как трава. И нам не забыть времен, когда они владели землей. Нам не забыть гибели их семей, клятв о мести, звучавших в тех комнатах, обогранных кровью. И бедные не забывают. Они живут своей яростью. Они питаются яростью. Они хотят восстать и уничтожить нас, стереть нас с лица земли, как только представится случай.

И поэтому в нашем застывшем мире, в нашем безмолвном мире мы должны говорить с бедными. Говорить, слушать, объяснять, растолковывать. Они хотят, чтобы мир был устроен иначе. Они хотят перемен. И мы говорим: да, перемены. Но не насильственные. Без грабежей, бунтов, без мести. Выслушайте идею постепенных перемен. Перемен, которые помогут вам, но не повредят нам. Нравственность. Закон. Постепенные перемены. Мы объясняем: обоюдный договор — мы дадим вам вещи, много вещей, но взамен вы должны признать, что не имеете права *забрать* то, что хотите. Мы собираемся дать вам чудесные вещи. Сядьте, ждите, не хватайте. Самое главное — умеете терпеть, ждать. Мы дадим вам гораздо больше, чем вы получаете сейчас. Но прежде должно кое-что произойти — и вот этого надо дожидаться. Во-первых, мы должны делать больше и выращивать больше, чтобы можно было больше дать. Иначе, если мы дадим вам больше, меньше останется нам. Когда мы сделаем больше и вырастим больше, у нас у всех будет больше — часть прибавки пойдет вам. А во-вторых, когда всего станет больше, мы должны позаботиться о том, чтобы торжествовала нравственность. Нравственность — ключ ко всему. В прошлом году мы изготовили больше и вырастили больше, но вам не дали больше. Вся прибавка осталась у нас. Это было неправильно. То же самое случилось в позапрошлом году и за год до того. Мы должны каждому внушить правила нравственности и в будущем году часть прибавки отдать вам.

Так что мы должны ждать. И пока мы ждем, мы должны быть осмотрительны. Потому что мы вас знаем. Мы знаем, что среди вас есть буйные, такие, кто *не хочет* ждать. Это разрушители. Их дети умирают, болеют — нет лекарств, нет еды, нечего надеть на ноги, нет крыши над головой, бьют на улицах. Это они опьянены яростью, жадной мести. Мы знаем, что они задумали. Мы воображали это тысячу раз. Мы воображаем это каждый божий день. Этот треск в двери, расщепленного дерева, — они взламывают замок и вбегают с криками, выдергивают нас из-за семейного стола, поедают нашу еду, вытаскивают наших старых родителей из уборной, вытаскивают наших детей из постелек, потом выстраивают нас всех у стенки, бьют по лицу, пинают, поливают бранью, кричат на нас, наши родители в крови, наши дети в крови, а они забирают из шкафов детскую одежду, игрушки с полок, срывают со стен картины. Что они с нами сделают? — спрашиваем мы друг друга. Как? — они отдадут все дома людям, которые сейчас живут на улице?

Потом ужасные рассказы: разгром в магазинах, бессмысленные убийства, старику профессору дали новую должность — мыть вокзальную уборную.

Может ли такое быть — неужели такое возможно? Толпа преступников — или безработных олухов, людей, которые год назад голодали в тру-

щобах? И они будут управлять теперь фабриками, школами — всем, целой страной, целым миром?

Мы должны предотвратить это, хотя буяны уже повсюду втолковывают бедным, что нынешний уклад — не Богом дан, что миром можно править в их интересах. Так что мы должны устроить специальную школу для бедных, преподать бедным кровавые уроки прошлого — рассказать о преступлениях, совершенных буянами и бунтарями, последователями Маркса. Вбить уроки истории им в головы. Истории, истории. Преступлений. Угнетения. Голодных годов. Катастроф. Внушить бедным, что они ни в коем случае не должны захватывать власть, потому что правление бедных всегда будет неумелым и всегда будет жестоким. Бедные кровожадны. Необразованны. Лишены талантов. Для их же блага — это не должно случиться. И пусть поймут, что мечтатели, идеалисты, те, которые говорят, что любят бедных, в конце концов станут оголтелыми убийцами и тот, кто утверждает, что может создать нечто лучшее, всегда создает в итоге худшее. Бедные должны усвоить эти важные уроки, главы истории. А если не усвоят, их всех надо вывести и расстрелять. Невнимательность и непонятливость недопустимы.

А там, где мы увидим, что эту школу избегают, мы должны предупредить бедных, что пострадают даже невиновные. Мы не можем примириться с насилием над символами закона, над солдатами и полицией. Мы должны убивать тех, кто совершает эти преступления. Но если насилие продолжается долго, то те, чьи старшие сестры и братья уже убиты, могут исполниться такого гнева, что перестанут бояться смерти. И чтобы управиться с такими людьми, нам, возможно, придется пойти дальше — вырезать у них языки, кромсать им лица, пытаться у них на глазах их родителей, позволять солдатам насиловать их детей. Только так можно управиться с людьми, которые не боятся смерти.

И поэтому мы внушим бедным, что да, да, мы дадим им вещи, но сколько дадим и когда, решать будем мы, потому что *все* мы им не дадим.

И теперь уродливая книжка снова раскрыта на главе первой, и я снова читаю ее, и главу вторую — ее я тоже читаю снова, а пол по-прежнему усыпан водяными клопами. Они бегут, построившись в те же сложные фигуры, но я сметаю несколько штук в сторону и ложусь среди них. Я слушаю странный стук у меня в ушах.

И голос, похожий на звуки рвоты, медленно выходит у меня из глотки. Стоп!

Все были добры ко мне всю мою жизнь.

Нет. Послушай. Я хочу тебе кое-что сказать. Ты все понимал неправильно. Старуха, наклонявшаяся, чтобы дать тебе глазированную булку, тебя не любила. Тебя не любили так, как ты думал.

Я, конечно, по-прежнему расположен к себе — такому веселому, занятному, остроумному?..

Нет, я говорю тебе, что люди тебя ненавидят. Я пытаюсь объяснить тебе, за что тебя ненавидят люди.

С чего ты взял, что все они любят тебя? За что им, по-твоему, тебя любить? Что ты собой представляешь? Нет в тебе обаяния, нет никакого изящества, ничего плодотворного. Ты просто упорный, назойливый фанатик. Да, диверсант, который ползет всю ночь по болоту, — гораздо, гораздо меньше фанатик, чем ты. Посмотри на себя. Посмотри. Каждое утро деревянной походкой тыходишь к себе на кухню, идешь к буфету. Открываешь его, тянешься к кофе, к банке кофе, которую ожидаешь найти на полке. Она должна быть тут. И если однажды утром ее нет — о, истерика! — мир должен заплатить за это? При одной мысли о неожиданном — о неожиданном лишении — ты начинаешь дергаться, паниковать, пыхтеть. О, эта одышка! Прислушайся к своему голосу в телефоне, прислушайся к своему тону, когда говоришь с одним из ближайших друзей и говоришь о своей жизни в таких выражениях: «Чтобы прожить, мне нужно...», «Сумма,

необходимая мне...». Милый ты в эту минуту? Забавный ты в эту минуту? Загробным голосом: «Сумма, необходимая мне...» — торжественным, тихим, без аффектации — голос истерики, голос фанатика... ну да... конечно — это неспроста. Ты понимаешь свою ситуацию. Без жилья, без одежды, без денег ты будешь таким же, как они, ты будешь *одним из них* — ты будешь бездомным, ты будешь лишен удобств. И ты, конечно, понимаешь, что пойдешь на все. Ты ни перед чем не остановишься. Без денег твое лицо стало бы крысиной мордой, твои руки — лапами, когтистыми, проворными, готовыми царапаться и рвать.

Верно, иногда ты думаешь о страданиях бедняков... Лежа в постели, ты испытываешь сочувствие, ты шепчешь в подушку слова надежды: скоро у вас будут лекарства для детей, скоро — дом. Бессердечный мир, бессердечные люди вроде моего соседа Джина скоро уступят, и плавные перемены наступят, как наступили в Голландии в девятнадцатом веке.

Но в период ожидания, ожидания, этого бесконечного ожидания плавных перемен они подходят один за другим к твоей двери и стучат, кричат, просят у тебя помощи. А ты говоришь: уберите их от меня, я не переношу этого постоянного стука в дверь, этих людей, которые приходят со своими нелепыми историями, утверждают, что они мои сестры и братья, — круглый день, изо дня в день. И тогда всех этих людей убирают и заставляют жить там, где их дразнят, где с ними играют, где их наставляют и высмеивают, покада некоторые из них не начинают нести околесицу и даже злобно смеяться, — и тогда их злобное поведение приводит в ужас абсолютно всех. И тогда каждого из этих злобных людей берут за плечи и пригибают, им брежт головы, их пристегивают к креслу и казнят, и тот, ради кого их казнят, — ты, ибо *о тебе* они говорили все эти долгие годы: «Ради наших детей мы должны это сделать — мы должны спалить этот город, этот амбар, эту больницу, эти леса, этих животных, этот рис, этот мед», — это все из-за тебя, из-за того, что ты любишь чистые белые простыни, музыку, танцовщиков и разговоры по телефону, из-за тебя этих людей с осиянными лицами сегодня ночью пытаются и убивают.

Ты помнишь тот день в школе, когда ты играл с тремя другими детьми, и появилась учительница с четырьмя пирожными и все пирожные, все четыре пирожных, отдала мальчику Артуру, а тебе и другим двум друзьям — ничего? Ну, сперва все четверо были просто ошарашены. В первую минуту все четверо понимали, что это глупо, несправедливо. Но потом твоя подруга Элла попробовала пошутить, и Артур рассвирепел, он ударил Эллу, а потом ушел в угол и съел все пирожные. Наглядный пример того, как кто-то что-то урвал.

И твоя жизнь — еще один пример. Это жизнь человека, который кое-что урвал. И, однако, фанатизм твой таков, что ты даже мысли об этом не допускаешь.

Некоторые вещи нельзя ставить под сомнение. Кофе *должен быть* на полке, и *никакая* мысль не смеет посетить тебя, если она противоречит убеждению, что ты, да, ты, — порядочный человек. Так что давай думай — думай свободно — думай, о чем тебе угодно. Думай о своем здоровье, о других людях, о тех, кто плохо с тобой обошелся, думай о том, как плохо ты обращаешься с собой и к каким хитрым прибегаешь для этого средств, думай о детях, страдающих неизлечимыми болезнями, — ты прочел их интервью в журнале. Думай обо всем, что свидетельствует о твоей порядочности и о порядочности тебе подобных — твоих друзей, твоих любимых, всех тех людей на земле, в разных странах, которые напоминают тебе тебя самого, — людей доброй воли, людей, не богатых деньгами, но искренне верящих в лучшую жизнь для всех. Думай о всех своих добрых поступках, думай о добре всех твоих намерений. И если кое-какие из твоих дел обернулись скверно, думай о добрых побуждениях, двигавших тобой, — улыбнись, покачай головой, пойми, примиришься. Не разговаривай с людьми, которые не считают тебя порядочным. Не читай книг, не читай статей, написанных теми, кто не считает тебя порядочным, не считает по-

рядочным таких, как ты. Писания их основаны на ложных предпосылках. Они искажают, извращают картину. Твои мысли должны быть основаны на истине, на той истине, что ты порядочный человек.

Теперь: порядочный человек не может быть человеком, который что-то урвал. Порядочный человек не может иметь того, что ему не положено иметь. И такой взгляд на себя лежит в основе твоего мировоззрения. И так ты можешь смотреть на устройство мира, и, конечно, многие вещи в нем тебя безусловно огорчают — положение твоего друга Кнута, который любит Вагнера, но получает так мало в издательстве, что не может ходить на любимые оперы; или разные примеры людской бесчеловечности, которые ты каждый вечер видишь по телевизору, — вроде ужасного надсмотрщика на каучуковой плантации в южной Малайзии... — и тем не менее ты можешь сказать, что мир в основе своей устроен справедливо, поскольку ты получил в нем ту долю, которая тебе положена. А раз тебе положено иметь ту долю, которую ты действительно имеешь, и всем тебе подобным положено иметь ту долю, которую они имеют, значит, нет ничего неподобающего в том, что всем остальным достается оставшаяся доля. Раз ты имеешь то, чего заслуживаешь, значит, и они имеют то, чего заслуживают. Они имеют то, что им положено иметь. И ты должен признать это. Горничная отвратительна и невежественна — нет ничего неуместного в том, что ее жизнь — ад, ибо тебе она в самом деле представляется адским созданием. Всю свою жизнь она возится в грязи, занимается чем-то грязным и омерзительным. Можешь ли ты представить себе, что вечером она возвращается в сияющую чистотой квартиру? или идет потом на изумительный балет? Нет — невозможно. Так что ей делать тогда с прекрасной щеткой для волос, с прекрасным гребнем? Она не способна их оценить. На что ей душистые масла для ванной, красивые полотенца, красивое мыло? Можешь ли ты представить, что она подает своим детям красивый обед с мясистыми зелеными овощами, мясистыми красными помидорами? Нет — горничной положено вечером идти домой, к себе на улицу, к себе в коридор, так же, как тебе и твоим друзьям положено всю жизнь выбирать, какой из продуктов тебе больше по вкусу, и блюсти высокий исполнительский уровень в искусстве. Устройство мира в основе своей не является несправедливым, поэтому люди, желающие сохранить мир, в основе своей хорошие, а те, кто хочет разорвать его, крадущие на улицах, воры, разрушители, — в основе своей плохие. Ты — ввиду твоих умных замечаний о последних фильмах и твоих заботливых писем к двоюродной бабушке и ввиду того, как ты был расстроен, когда официант в ресторане принес к твоему столу живого омара, которого предстояло сварить тебе на обед, — ты должен быть отнесен к высшей и самой замечательной категории людей, тогда как последовательница Маркса Хуана, из какой-то отчаянной преданности любимому народу предоставляющая свое тело ножу палача, может быть отнесена только к низшей и самой недостойной категории, заслуживающей наказания смертью.

Я плыву в пространстве, держась за толстую железную перекладину: далеко внизу лес. От него пышет жаром. Ладони мои влажны и едва удерживают перекладину. Я боюсь упасть, но голос говорит: отпусти перекладину. Я держусь изо всех сил, но голос говорит: ты не убьешься. Ты плавно опустишься в прекрасный лес.

Я отпускаю, парю в пространстве. Я думаю: пора уже приземлиться, — но все еще падаю. Какие-то веточки почти нежно задевают мои щеки. Как медленно я падаю! Лес полон живого безмолвия.

Вновь пол ванной, трепетная свеча. Я поднимаю ее, я встаю, я выхожу из ванной.

Я снова в спальне, прислоняюсь к стене. Поставил свечу на столик. В открытое окно дохнул ветерок. Я придвигаю к окну кресло и сажусь.

Внизу на улице закричал человек. Земля отдыхает. Заключенный на электрическом стуле помучился и умер, и охранники отнесли его в могилу. А вон... там... на черной стене неба — просинь, предвестие зари.

Это самый прохладный час суток. Я выглядываю в окно и под прохладным ветерком вспоминаю, что был когда-то ребенком в прекрасном городе, дышавшем надеждой. И я ощущаю радость — ветерок холодит — и мне хочется свалить с себя ношу лжи, вранья — свалить прямо тут, на пол. Каково это будет? Хоть на миг, пока в окно задувает ветер, сбросить ее — пока я гол, свободен, бесшабашно счастлив и не желаю никаких ограничений.

Господи Боже, каждый мускул моего тела болит от труда постоянной лжи. Я искривлен, искорежен — лгу с той минуты, как вылез утром из постели, и до минуты, когда снова лягу в постель, и даже во сне, мне кажется, лгу. И не могу остановиться, потому что истина повсюду, перед глазами...

Послушай меня, мой дорогой. Позволь себе не лгать, позволь хоть сегодня, только на одну ночь, а завтра мы снова вернемся ко лжи как ни в чем не бывало. Сделаем вид, что этого не было. Забудем, что это было.

Ну же, давай. Давай. Скажи.

Моя жизнь — это жизнь непоправимо испорченного человека. Ей нет оправдания. Я все время думаю, что оправдание есть, что я записал его где-то, на каком-то клочке бумаги, только не могу вспомнить, что на этом клочке, но он лежит в каком-то ящике стола, в какой-то комнате, где я когда-то жил. На самом деле я никогда не найду этот клочок, потому что его нет, он не существует.

Нет клочка бумаги с оправданием того, сколько имею я и сколько имеет нищая. Поставить нас рядом голыми — и нет разницы между ней и мной, кроме разницы в везении. Я не заслуживаю того, чтобы быть в тысячу раз богаче нищей. Я не заслуживаю того, чтобы быть богаче на две корки хлеба.

И потом вот что: мои друзья и я никогда не были благожелательными и добрыми. Садисты не были жалостливыми учеными, радеющими о человечестве. Сжигание посевов, сжигание детей не было неловкими попытками творить добро. Трусы, сидящие в аудиториях или залах заседаний и осуждающие преступления революционеров, меньше достойны восхищения, чем крестьяне и монашки, которые кинулись навстречу ветру, которые молча бросились навстречу смерти. Те, кого я убивал в разных странах, были не худшими людьми; нет, они были лучшими.

Ничто не меняется в жизни бедных. Нет перемен. Не происходят плавные перемены. И не произойдут. Мы только говорим о них.

Мое сочувствие к бедным не изменяет жизни бедных. Моя пламенная вера в постепенные перемены не изменяет жизни бедных. Родители, внушающие детям правильные понятия, не изменяют жизни бедных. Художники, создающие произведения искусства, которые учат состраданию и правильным понятиям, не изменяют жизни бедных. Граждане, воспринявшие у художников и у родителей правильные понятия, преисполнившиеся сочувствия к бедным и голосующие за честных политиков, которые искренне веруют в постепенные перемены, — эти граждане не изменяют жизни бедных, потому что ее не изменяют честные политики, искренне верующие в постепенные перемены.

Положение горничной — не временное. Ей вынесен пожизненный приговор: убираться у меня и спать в грязи. Не убираться у меня сегодня, чтобы я убирался у нее завтра или убирался у нее в будущем году. Не спать в грязи сегодня, чтобы я спал в грязи завтра или через неделю. Нет. Приговор гласит, что прислуживать будет она, и завтра прислуживать будет она, и будет прислуживать и прислуживать до самой своей смерти.

Но что самое странное: если условия существования горничной были установлены при ее рождении — условия моего существования не были установлены при моем.

Я говорю: не моя вина, что я родился с лучшими перспективами в жизни, чем горничная. Не моя вина, что у меня есть немного денег, а у нее нет.

Но деньги у меня «есть» не так, как у меня «есть» две ноги. Деньги — не часть меня, и наличность не присуща мне так, как цвет моей кожи или национальность. Они достались мне после ряда событий, но посвятить свою жизнь защите того, что мне досталось, — это вовсе не предназначено судьбой. Держать деньги — это просто выбор, который я сделал, выбор, который я делаю ежедневно. Я с легкостью мог бы положить конец всему этому утонченному спектаклю. Если люди голодают — дай им пищу. Если у тебя больше, чем у других, — делись с ними, покуда у тебя не станет столько же, сколько у них. Живи просто. Откажись от всего. Сам стань бедным.

Я всегда любил людей, которые радуются хорошему обеду, людей, которые с нетерпением ждут хорошего концерта. Конечно, любил. Все мои знакомые были из этих людей, я сам один из них. Я всегда полагал, что гораздо лучше любить людей счастливых. Странно то, что счастливыми могли бы быть все. Все, что я имею, досталось мне в нелегкой борьбе. Но борьба эта была — против других. В сущности, я боролся против тех, кто беден, и, конечно, с точки зрения тех, кто беден, я такой же, как мой сосед Джин. Я совершенно такой же — и я не на их стороне.

И это тоже мой выбор. Я мог бы перейти на другую сторону. Я мог бы сражаться на другой стороне. Жизнь предателя? Предать своих? Пойти навстречу опасностям? Очень трудный, но возможный выбор. Если бы я мог принять тяготы, принять неудобства... почему — не страдания, не тюрьму?.. И даже...

Я задуваю свечу и плыву по комнате к моей красивой постели. На подушке, под покрывалом я врываюсь в сон. На будущей неделе — дома.

Что будет дома? Моя постель. Мой столик. А на столике — что? На столике — что? — кровь — смерть — осколок кости — клочок... кусок — человеческого мозга — отрубленная ладонь. Пускай все грязное, все отвратительное ляжет у моей постели, там, где прежде были моя лампа и часы, книги, письма, подарки на день рождения и оставшиеся от подарков яркие ленточки. Прости меня. Прости меня. Я знаю, ты меня простишь. Я все еще падаю.

Перевел с английского В. Гольшев.



ПУБЛИЦИСТИКА

ЮРИЙ ЕГОРОВ

*

СОЗИДАНИЕ ЭКОНОМИКИ

Очередными правительственными обещаниями грядущего благополучия и стабильности заканчивается первая пятилетка российских рыночных реформ. И по мере того, как положение в экономике становится все труднее, обещания выглядят все более мелкотравчато. Например, обещают вернуть «съеденные» сбережения людям старше семидесяти пяти лет и погасить годовую задолженность по зарплате.

Еще недавно — казалось, на оптимистической ноте — горой подписанных указов, розданных льгот, пролонгированных кредитов, спрятанных табличек «Денег в кассе нет» завершились президентские выборы. И все вернулось на круги своя: невыплаты, забастовки, нелепые постановления.

В свое время большие надежды возлагались на то, что акционирование предприятий, ликвидация директивного государственного планирования, освобождение цен и выход на международные рынки существенно поправят экономическое положение России и россиян. Общеизвестно, что для советской экономики к началу реформ были характерны низкая конкурентоспособность предприятий, отсутствие производственных стимулов, искусственность и нерациональность многих производств и отраслей. В то время правительство пошло на реформы и использовало, казалось бы, благотворный набор рыночных средств для поправки дела. Именно тогда, и только тогда, в 1992 — 1993 годах, мы имели вполне закономерный спад производства, вызванный переходом от плановой экономики к рыночной. Спад был вызван обвалом неконкурентоспособных, затратных производств, рационализацией производственных связей, требовавших временного лага, существенными изменениями в кредитной политике и т. п.

Тогда за спадом следовало видеть рациональные зерна свободной рыночной политики. Прежде всего заметно стала крепнуть банковская система, создававшая хорошие предпосылки для проведения структурной перестройки народного хозяйства. Значительно расширилась, пусть даже и в примитивных формах, торговая инфраструктура. Появился значительный мелкий частный сектор, начинавшийся в Москве с торговли и строительства. Многочисленные ЧИФы создавали экономическую основу вовлечения рабочих в управление своими предприятиями. Сама приватизация шла по пути, близкому к народному капитализму. Были приняты законы, укреплявшие права независимых профессиональных союзов.

Вместе с тем росткам свободной экономики в России повсеместно препятствовали естественные трудности, поэтому многие оппоненты либерального курса стали говорить о неготовности страны к проведению рыночных реформ. Преобладание крупного производства, высокая степень огосударствления и монополизации, архаичная система управления производством, оторванность многих отраслей от внешнего рынка, техническое отставание — все это предопределяло сложности перехода к рынку.

Одна из главных проблем была в психологическом восприятии населением происходивших в стране перемен. От реформы ждали благ, а не испытаний:

повышения зарплаты, но никак не безработицы, улучшения снабжения продукцией, а не скачка цен, кадровой перетряски руководителей предприятий и госаппарата, а не соучастия, необычного и обязывающего, в управлении

Культурная экономическая среда России действительно оказалась далекой от требований реформы. Получив в 1992 — 1993 годах право самостоятельно распоряжаться заработанными средствами, многие трудовые коллективы предпочли их использовать на выплату тринадцатой зарплаты, премий, дополнительных отпускных, но никак не на структурную перестройку своих производств. Руководители предприятий, со своей стороны, также быстро нашли пути прибыльного оборота получаемых средств, естественно, за границами своих родных производств. К 1994 году повсеместно — от районного уровня до центрального государственного аппарата — сложились группы интересов, основу которых составляет личная «уния». Не к этой ли ситуации применима мораль из басни Крылова: «Как ни приманчива свобода, но для народа не меньше гибельна она, когда разумная ей мера не дана»?

Осенью 1993 года произошли желаемые номенклатурой и советскими директорами изменения в политике приватизации. С этого времени хозяевами производств становились не трудовые коллективы, а их руководители. Достигалось это передачей управления АО холдингам, а также массовой скупкой директорами предприятий акций своих трудовых коллективов по остаточной балансовой стоимости, то есть фактически за бесценок.

Политика приватизации с этого момента стала преследовать не экономические цели, среди которых главная — повышение стимулов производства, а цели политические: сохранить экономическую власть за представителями советского директорского корпуса. Проводилось это при поддержке госаппарата. К концу 1993 года мы столкнулись с контрреформой, если иметь в виду первоначальные намерения, совместно проводимой госаппаратом и директорским корпусом. Принципы свободной экономики, худо-бедно утвердившиеся в первые полтора года реформ, стали в условиях измененной политики подвергаться жесткому ограничению со стороны сформировавшегося еще в советский период правящего класса.

Если в 1992 — первой половине 1993 года «отклонения» от рыночной политики объяснялись главным образом недостатком управленческого опыта у тогда весьма молодого правительства России, а также некоторыми мировоззренческими иллюзиями, то с осени 1993 года пренебрежение многими рыночными законами стало главным содержанием нового курса реформ. Отсутствие конкурентной среды, засилье на всех экономических уровнях монопольных объединений, криминализация государственного аппарата и коррупция, бесправное положение трудовых коллективов, нерациональность системы государственного и производственного управления — все это отличает экономическую ситуацию с осени 1993 года.

Положение, при котором мы не сумели вовремя разглядеть отказ от первоначальных намерений и переход к новой политике, вызвано тем, что уже изначально, в январе 1992 года, руководство страны выбрало ошибочный курс реформ, который естественно эволюционизировал от либерального романтизма к номенклатурному прагматизму. Ошибочность курса объясняется завышенной оценкой состояния советской экономики на начальный момент реформ, беспочвенной надеждой на «голые» рыночные механизмы и раболопием перед западной финансовой конъюнктурой. Считалось, что период спада продлится не более одного года (первоначально подъем экономики ожидался уже к осени 1992 года) и будет связан прежде всего с рационализацией хозяйственных связей. Вместе с тем стабилизация и подъем хозяйства определяются не столько рационализацией хозяйственных связей, сколько структурной перестройкой экономики, которую невозможно произвести в течение одного года. Структурная перестройка, ежели б состоялась, дала бы заметные положительные результаты только спустя пять-шесть лет после ее проведения, что связано с временным лагом инновационного процесса.

... Не дождавшись скорых положительных результатов, правительство смикшировало кардинальные экономические реформы, в том числе и структурную перестройку. В результате спустя пять лет после начала реформы мы

получили рыночные формы, но не рыночную экономику. Общее положение народного хозяйства от этого если изменилось, то едва ли в лучшую сторону. Взять, к примеру, производительность труда в российской промышленности, которая за последние годы снизилась почти вдвое¹.

Из-за резкого сокращения доходов сохранилась покупательная способность. Существует несколько принципов расчетов вызванного реформами падения реального уровня нашей жизни. «Пессимисты» определяют его в 70 — 75 процентов, что едва ли соответствует действительности. Одновременно неубедительны и данные «оптимистов», полагающих, что за годы реформ уровень жизни населения в среднем снизился на 10 — 20 процентов. Не следует также забывать, что число полностью или частично безработных в России составляло на начало 1996 года 9,8 млн. человек, или 13 процентов трудоспособного населения. В положении нежизнеспособных оказались многие «номерные» города, большинство из четырехсот градообразующих предприятий, где сосредоточено до 25 млн. населения. Каким бы подходом мы ни руководствовались — оптимистическим или пессимистическим, — это никак не меняет в целом безрадостную картину.

Неудовлетворенность реформами вновь заставила обсуждать правильность конкретных путей создания в России эффективного рыночного народного хозяйства. Однако споры вокруг реформы преимущественно касаются методов ее проведения: какими должны быть инфляция, доля государственного сектора в производстве, объем внешнеэкономической задолженности и проч. Одни в этом случае проявляют себя сторонниками мягкой денежной политики, государственного интервенционализма и протекционизма. Другие — отстаивают позиции монетаризма, выступая прежде всего за жесткую финансовую политику, расширение частного сектора и открытый рынок. Каждая из этих экономических школ исходит из общепринятых экономических стандартов, полагая, например, что инфляция не должна быть выше 10 процентов в год, а уровень безработицы не выше 7 процентов. Предлагается даже обобщающий индикатор степени либеральности экономической политики, называемый индексом экономической свободы.

Реже используется «страновой» подход, сводящийся в основном к поиску аналогий. В этом случае выбирается некая идеальная модель реформы — будь то китайская, чилийская или тайваньская, — в которой ищется нечто общее с российской экономикой, и на основании этого предлагается заимствовать реформаторский опыт. Однако «страновой» подход затрудняет выявление причин, обеспечивающих экономическое процветание, потому что среди многочисленных действий соответствующего правительства крайне трудно выявить именно те, которые в конечном счете привели бы к желаемым экономическим результатам.

В 1991 году казалось, что достаточно привить рыночные механизмы советской плановой экономике — и проблема повышения эффективности российского производства будет решена. И сейчас немало сторонников теории, согласно которой темпы экономического роста находятся в прямой зависимости от уровня либеральности экономической политики в духе раннего П. Б. Струве.

Западный опыт, однако, гораздо сложнее, чем представляется многим его рьяным последователям. В этом смысле особый интерес вызывают результаты исследования состава эволюционных преобразований в странах послевоенной Западной Европы, где одновременно создавались новые формы государства и экономики. Выделяется восемь важнейших направлений преобразований во время перехода от одного типа национальной экономики к другому эволюционным путем:

— проведение денежной реформы и осуществление других стабилизационных мер носило подчиненный характер по отношению к задачам реконструкции и обновления производственного аппарата, не допускалось разрушение его ради достижения монетарных целей;

— в систему управления экономикой были введены новые элементы, качественно более сложные, чем применявшиеся ранее: например, рациональное экономическое планирование;

¹ См.: «Вопросы экономики», 1996. № 1, стр. 25.

— государство активно регулировало рынок, поддерживало массовый спрос, предоставляло льготы производственным инвестициям и т. д.;

— приватизация государственной собственности не имела высшего приоритета, значительная доля национальной собственности сохранялась долгие годы;

— контроль над ценами на важнейшие продукты и субсидии для регулирования уровня цен сохранялись примерно в течение десятилетия, а в сельском хозяйстве и энергетике существуют по сей день;

— международный обмен регулировался по хорошо разработанной схеме Европейского платежного союза, нацеленного на укрепление европейского рынка и сокращение зависимости от эмиссии доллара;

— обменный курс валют находился под контролем, движение денежного капитала жестко регулировалось, свободное конвертирование валюты для коммерческих операций не допускалось в течение более десяти лет, пока не окрепли национальные рынки;

— помощь со стороны США обуславливалась соблюдением интересов укрепления национальных валют и национальных экономик.

Вся логика проводимых в нашей стране преобразований говорит о том, что одних только рыночных форм недостаточно и в основу реформы должны быть положены принципы не только универсального свойства, какой бы подход ни использовался — «технический» или «страновой», — но и учитывающие особенности хозяйственного строя в России, традиции, тип российского работника, психологические факторы и т. п. Мы должны искать на Западе не чудодейственные универсальные формы, а пригодные для нашей страны принципы решения проблемы. Природа человека везде одна. Но условия его бытия повсюду разные: историческая память, социальные, культурные, национальные традиции, сама окружающая человека действительность, в которой он должен жить и действовать именно сейчас, сегодня, капитально разнятся. Правительство России сделало ставку на универсальную природу человека и общества. В результате реформа не задалась, ибо нельзя было игнорировать особенности нашего прошлого и настоящего, которые отличают условия именно нашей, российской, жизни от условий в других странах и регионах мира. Нельзя с доктринерской слепотой следовать чужой экономической и социальной идеологии.

Советская экономика была ущербна из-за лежащей в ее основе идеологической догмы о противопоставлении двух систем — капиталистической и социалистической; она создавалась в угоду не национальным, а интернациональным интересам международного социалистического лагеря, противостоящего европейскому и мировому рынкам. Как того требовали законы борьбы двух идеологических систем, многие производства и отрасли, неприсушие российскому хозяйственному укладу, создавались искусственно — для «внутреннего самообеспечения» — и изначально были неконкурентоспособны на мировом рынке. После крушения социалистической системы пропала нужда в «идеологической» экономике: стало ясно, что экономика отныне должна служить национальным, а не коммунистическим интересам.

Недостаточно иметь просто свободную рыночную экономику. Подобная экономика — «фантом», за которым правительство гоняется не первый год и который по-прежнему остается недостижим. Как ни парадоксально на первый взгляд, в этом правительство остается наследником советской экономической системы. До начала 90-х проблема состояла не просто в существовании плановой экономики, а в том, что эта экономика не являлась рациональной с точки зрения наших национальных факторов. Ограничившись только отменой плана и созданием рыночных механизмов, мы не сумели избавиться от «чужеродного» нашим условиям и традициям советского хозяйства.

Весь положительный опыт реформирования экономик зарубежных стран свидетельствует о том, что успех приходит туда, где рынок обслуживает национальные экономические системы. Уместно вспомнить сделанное еще в начале века предсказание Вернера Зомбарта: «Ошибаются все те, которые предсказывают, что в будущем будет господствовать одна хозяйственная система. Это расходится со всем опытом прошлого и в то же время противоречит сущности хозяйственного развития. Можно констатировать, что в ходе истории

число хозяйственных форм, существующих параллельно, все более и более увеличивается. Хозяйственная жизнь становится все богаче и богаче. Подобно музыкальной фуге, к ней все время присоединяются новые голоса, не заглушая, однако, остальных»².

Особенно силен национальный фактор в экономиках государств с емкими внутренними рынками. При этом национальные традиции в этих странах могут быть нам далеко не симпатичны. Экономически грамотный подход состоит не в том, чтобы ломать эти традиции в угоду универсальным рыночным законам, а в том, чтобы эти традиции сумели вписаться в современный рынок. Примером тому служит традиционная японская семья «из», отличающаяся консервативными феодальными устоями. Эту систему прекрасно описал американский экономист (японского происхождения) Уильям Оучи (Оуши), показав, как в условиях современного рынка традиционная японская семья нашла проявление в системах патернализма, продвижения по службе как управленческого решения и проч. Сама японская экономика получила название «Japan Incorporated»³.

Казалось бы, какое отношение к современному производству могут иметь традиционные неродственные связи внутри японских сельских общин, особенности совместной обработки ирригационных систем, укоренившаяся замкнутость феодальных деревень? Однако данные особенности феодальной Японии, прекрасно использующиеся в современных методах управления, позволили этой стране шагнуть в XXI век. И этому не помешала ни японская система планирования экономики, ни государственный протекционизм, ни демпинговая политика.

Другой пример — шведский социализм, имеющий корни в сельских религиозных самоуправляющихся общинах. Именно в их истории следует искать причину кажущихся на фоне других стран чрезмерными налоговыми ставками в Швеции.

Национальные традиции не надо ни идеализировать, ни принижать, ни тем более игнорировать. Излишняя идеализация уводит нас к патриархальной утопии, которая, как к ней ни относись, в цивилизации себя изжила. Пренебрежение же положительного содержания национальных традиций ведет к обществу не более развитому, но компрадорскому по своей сущности. Как видно из примера Японии, там не пошли ни по первому, ни по второму пути. Даже в самых архаичных традициях, противоречащих устоявшимся западным либеральным стандартам, там сумели найти рациональное, и это определило успех их развития.

...Нашу общину, столь идеализируемую в прошлом дружно и правым и левым лагерями, теперь стало принято поносить. Между тем она — как социальное явление — многогранна и несводима к однозначной характеристике. Она содержала как элементы кооперации, так и элементы подавления инициативы. Столыпин, утвердив частную собственность на землю и обеспечив выдел крестьян с землей и техникой, дал возможность развитию частной производственной и сбытовой кооперации. Лучшие традиции общины заключало в себе земство, также получившее заметное развитие в период столыпинской реформы. В отличие от Столыпина, большевики заимствовали другую сторону общины: в условиях колхозной системы насилие над личными экономическими интересами, подавление стимулов, наблюдавшееся в достолыпинской деревне, приняли всеобъемлющий характер.

Или взять отношение к государственному сектору экономики. Государственная экономика со времен Петра Великого основывалась на крупных производствах, многие из которых создавались искусственно. Точно так же как и нынешние, те производства не отличались ни высоким качеством своей продукции, ни эффективностью и, естественно, проигрывали на международных рынках. Более того, как и в начале современных реформ, большинство тех производств были или государственными, или пользовались прямым покровительством со стороны правительственных учреждений. Предпринятые Екате-

² Зомбарт Вернер. Современный капитализм. Т. 3. М.—Л. 1930, стр. 509.

³ Об этом см. также: Макмиллан Ч. Японская промышленная система. М. 1988; Волконский В., Пирогов Г. Российская экономика на распутье. — «Новый мир», 1996, № 1.

риной II государственные реформы отнюдь не привели к отказу государства от поддержки этих отраслей и их повальному закрытию.

Также в годы, предшествовавшие Первой мировой войне, — годы, которые соответствовали наибольшему процветанию классического капитализма под знаком свободной, то есть частной, инициативы, — Россия являла собой редкий пример страны с сильно развитым государственным сектором хозяйства, что не мешало ее прямо-таки фантастически интенсивному экономическому развитию.

В самом деле, тогда две трети русских железных дорог принадлежали государству, не только строившему новые линии, но и систематически выкупавшему линии частных обществ. Государство принимало непосредственное участие в индустриальной жизни, владея многочисленными предприятиями (рудники на Алтае, Урале, в Сибири, где добывались золото, платина, серебро, медь; пороховые, оружейные, орудийные, паровозостроительные заводы). Оно же эксплуатировало винную монополию не только скупая весь производимый в стране спирт, но и имея собственные винокуренные и ректификационные заводы, производящие водку. Кроме покровительственных таможенных тарифов государство применяло политику цен, способствовавшую росту отечественной промышленности. Казенные заказы на продукты тяжелой металлургии давались, например, по ценам, превышавшим рыночные.

Особенность России в том, что она имеет свой достаточно емкий и в определенном смысле самодостаточный рынок. Именно поэтому политика протекционизма некоторых отраслей хозяйства у нас всегда являлась традиционной. Стоило Александру I в 10-х годах XIX века ввести либеральные тарифы и начать проводить фритридерскую политику⁴ — и вместо ожидаемого благоденствия народное хозяйство России столкнулось с известными нам проблемами: развалом производства, засилием на внутреннем рынке импортной продукции, истощением казны и проч. Также следует вспомнить, что реформы Александра II и тем более П. А. Столыпина были в первую очередь национальными, а не либеральными. Столыпин жестко критиковал проекты реформ партии кадетов (в частности, их предложения в области аграрной политики); его либерализм основывался на национально-духовных ценностях и порожденном ими не партийном, а здравом смысле.

Очевидно, государству не следует стремиться уходить из экономики вовсе. Нецелесообразным, о чем свидетельствует российская история, следует признать и отказ от покровительства искусственным отраслям: прежде чем отдавать эти отрасли во власть мировой конкуренции, следует создать для них конкурентные условия на внутреннем российском рынке, используя при этом возможности межотраслевой конкуренции. Существуют и рычаги государственного экономического контроля за этими отраслями. Сошлемся в данном случае на методику определения релевантного рынка.

Сегодня искусственные отрасли включают треть всех производственных мощностей. Современная экономическая политика вдвойне порочна, потому что — одновременно — и сохраняется нерациональная структура народного хозяйства, и происходит необдуманный отказ от прежде созданных крупных производств. Преобразовав эти производства в частные и оставив их один на один с более удачливыми зарубежными конкурентами, государство вызвало обвал многих отраслей народного хозяйства, не предложив взамен ничего конструктивного. Сейчас в российской экономике простаивают примерно 20 процентов производственных мощностей и 13 — 15 процентов влачат жалкое существование. Формально мы освободили внутренний рынок и дали нашим предприятиям возможность внешней торговли. Но это свобода, по сути дела, фиктивная: ежели стоит производство, ни о какой открытой экономике говорить, разумеется, не приходится.

...Еще в начале века ведущие русские экономисты — Каблуков, Ковалевский, Железнов, Денисюк и другие, — успешно занимавшиеся вопросами внешнеэкономической стратегии и даже опередившие на практике в этом другие страны, ясно понимали необходимость интегрирования в мировое хозяйст-

⁴ Политика поощрения свободной торговли. (Примеч. ред.)

во. Подобный опыт исследования мирового рынка впоследствии и получил, собственно, в экономической литературе название маркетинга.

Тогда под заданию правительства была создана специальная комиссия под руководством министра внутренних дел Плеве (убитого в 1904 году эсеровским террористом Сазоновым) и при участии академика А. И. Чупрова для исследования мирового рынка хлебов в целях укрепления на нем отечественных позиций. Высококласная российская сельскохозяйственная продукция столкнулась с новыми экспортёрами зерновых — Южной Африкой, Аргентиной, Австралией. Комиссия скрупулезно анализировала «параметры» торговли: время продаж, кредитование и проч. Результаты и выводы успешно использовались при корректировке государственной экономической политики (например, значительно изменилось кредитование, до того менее эффективное, чем в США). В итоге положение России на мировом рынке хлебов упрочилось, а кое-где (к примеру, продажа ржи в Германии) приблизилось к монопольному. Даже трагедия 1905 — 1907 годов не остановила экономического прогресса нашей Родины — вплоть до Первой мировой войны и обвала 1917 года.

Необходимость проведения аналогичных исследований в сегодняшней России очевидна. Сколько можно покорно плестись в хвосте мировой экономической ситуации? Данный пример показывает, что государство не может и не должно полностью выключать себя из хозяйственной деятельности.

При коммунистах основой экономической политики было директивное планирование, хозяйственная органика корчилась в его железных всеохватных тисках. Когда же в условиях либеральной реформы государство вообще отказалось от какой-либо целенаправленной хозяйственной политики, думая, что она как-нибудь отрегулируется сама и, конечно, к лучшему, — новые проблемы стали драматичнее прежних.

Так на каком же принципе должна строиться хозяйственная политика нашего государства? Думается, им должен стать принцип оптимальной поддержки. Собственно, она и есть первейшая обязанность государства перед своими гражданами, им должно оно давать преимущества, действовать для их в первую очередь пользы. Никакой ущерб тут — во имя идеологических и прочих принципов — недопустим. Оказывать активную помощь там, где это необходимо, избавляя при этом от мелочной и корыстной опеки; оказывать поддержку в том, что гражданину одному не под силу, а там, где под силу, — не ставить палки в колеса. Необходимо стремиться к сбалансированной реализации возможностей гражданина, объединения, государства, а не бросать производителя на произвол судьбы, равно как и не превращать его в винтик хозяйственной машины.

Впрочем, потребность построения экономической модели, равно отличной и от социалистической и от либеральной, возникла не сегодня и не в России. Вспомним 30-е годы, предложившие в качестве альтернативы коммунизму и капитализму — фашизм. Порочность фашизма, его фиаско на политической сцене надолго отбили охоту поиска экономической «третьей силы». Однако глобальные дефекты потребительской цивилизации последней четверти XX века делают его вновь актуальным в мире, а в России, тяжело больной после тоталитаризма, в особенности.

Ясно, что простым симбиозом социализма с либерализмом тут не отделаешься, уж слишком они антагонистичны. Первый (система «альтруистическая») — конечно, не на практике, в идеале — строится на распределении по труду, взаимовыручке, социальной безопасности и приоритете общественных интересов. Второй (система «эффективная») — на инициативе и риске, гибкой рыночной стратегии, личной ответственности и т. д.

...Контуры принципиально новой системы мы находим в работах еще до-революционных русских экономистов. Так, виднейший представитель экономической школы Московского Императорского университета А. И. Чупров (1842 — 1908) высказывался в пользу равновесного сотрудничества интересов⁵. По его мнению, личный интерес (стремление достигнуть наибольших выгод при наименьших «пожертвованиях») и общественный (стремление к общему благу, также присущее человеку) — вот два основных начала, под влиянием которых должна совершаться организация производства.

⁵ См.: Чупров А. И. Курс политической экономии. М. 1918.

Петербургский экономист В. Г. Яроцкий ровно столетие назад предложил совершенно новый подход рассмотрения системы экономических интересов⁶. Помимо их традиционного деления — по принадлежности к субъектам экономических отношений — он предложил деление их на эгоистические и альтруистические, тем самым вопрос о преобладании той или иной формы интересов ставился еще и в зависимости от характера этого интереса.

...Эмигрантский экономист Г. К. Гинс (1887 — 1971; выпускник Петербургского университета), работавший в Харбине, а после войны в Беркли, писал: «...человек руководствуется в своих отношениях к другим людям не только эгоизмом или альтруизмом, но и солидарностью, которая не может быть отнесена ни к эгоизму, потому что солидарность связывает нас с интересами других лиц, ни к альтруизму, потому что солидарность предполагает сознание взаимной пользы, а не только пользы других лиц. Поэтому, условно приняв в основу человеческого поведения солидарность, мы на этом психологическом основании можем построить и особую систему общежития. Назовем ее солидаризмом, и перед нами откроется особая система права и хозяйства»⁷.

В 30-е годы теория интересов получила продолжение в идейных поисках зародившегося в эмиграции движения российских солидаристов, создавших в Югославии подобие научной школы: «Для нас не существует диалектического противопоставления индивидуума и коллектива; в плоскости этического смысла жизни для нас создается целостное мировоззрение, в котором национальному коллективу и этической, проникнутой национализмом личности одинаково находится свое место. И наряду с органическими процессами мы усматриваем в общественной и государственной жизни процессы сверхорганические — процессы духовные, этические и творческие и, следовательно, глубоко с личностью связанные. Вот почему мы стремимся выработать свою, российскую, систему национального и социального сотрудничества — российского национально-трудового солидаризма»⁸.

Либерализм превозносит личность, которая включает в себе как силы добра, так и зла. И если действительно необходима свобода для проявления добрых качеств, присущих человеку, то необходима и власть для того, чтобы он не мог проявлять свои злые качества. Индивидуальная свобода является хотя и существенным, но не единственным составным элементом нормального и законченного человеческого общежития. Человек, живущий в обществе и государстве, не может быть только частным человеком. Он должен быть и социальным, и публичным человеком, общественным и государственным. Не случайно А. И. Чупров различал два типа организации: частнохозяйственную и общественно-хозяйственную (не путать с социализмом). Современный немецкий политолог Освальд Нелль-Брейнинг выделял общество социально-рыночное, озабоченное благодеянием граждан и делающее все необходимое для того, чтобы его граждане с успехом самостоятельно могли приложить свои силы к достижению собственного блага⁹.

Солидаристическое учение родилось как альтернативное индивидуалистическо-либеральной и коллективистско-социалистической доктринам развития общества. «Солидаризм отрицает и пассивность либерального государства, и самоуверенную претенциозность государства социалистического», — пишет Г. К. Гинс в статье «Современный капитализм и предстоящая эпоха». Там же читаем определение солидаризма: «Это учение о государстве и обществе, этической основой которых является идея солидарности, находящая свое выражение в добровольных объединениях лиц с общими интересами и координации расходящихся интересов государством, действующим в строгом соответствии с демократическими принципами». В отличие от коммунистической и либеральной организации, принципом солидаризма является координация, а не субординация, согласование, а не подчинение¹⁰.

⁶ Яроцкий В. Г. Односторонняя теория экономического развития. СПб. 1896.

⁷ Гинс Г. К. Предприниматель. М. «Посев». 1992, стр. 211.

⁸ «Ранние идейные поиски российских солидаристов». М. «Посев». 1992, стр. 114.

⁹ См. в кн.: Нелль-Брейнинг О. Построение общества. Сидней (Австралия). «Посев». 1987.

¹⁰ Солидаризм стал идеологией, скрепившей самую значительную и в течение многих десятилетий успешно работавшую антикоммунистическую организацию русского зарубежья — НТС (Народно-Трудовой союз российских солидаристов). (Примеч. ред.)

Нелль-Брейнинг говорит о несостоятельности понимания солидаризма как некой смеси из индивидуализма и коллективизма: «Дорога не есть лишь середина между двумя канавами, и еще меньше — смесь из двух окаймляющих ее по сторонам кюветов; у нее есть собственный профиль и собственное основание... То же самое можно сказать об отношении солидаризма к индивидуализму и коллективизму. В его фундамент положен принцип солидарности, против которого грешат как индивидуализм, так и коллективизм, хоть и в противоположных направлениях».

Со времени «Ранних идейных поисков российских солидаристов» отстаивающий интересы отдельной личности европейский либерализм, надо отдать ему должное, претерпел значительные изменения (которые вместе с тем не следует и переоценивать). Однако драма современной России в том, что, утверждая сегодня поверхностные либеральные рыночные формы и политические институты, мы совершаем переход не в европейское общество конца XX века, а в кризисное общество 30-х годов с новыми экономическими и политическими потрясениями...

Не является ли, однако, солидаристический принцип слишком идеальным для нашей конкретной экономической ситуации? Способно ли наше государство, деликатно вмешиваясь в экономическую жизнь, проводить политику оптимальной поддержки?

Пока, разумеется, не способно. И не в силу только «злой воли», а за неимением твердых идейно-экономических убеждений, балансируя между рудиментами коммунистической дисциплины и посттоталитарной анархии. Людям, осуществляющим экономическую политику, сегодня необходимо мировоззрение более широкое, чем то, что они вынесли из советских вузов и зарубежных стажировок.

Современная реформа не придает должного значения выполнению государством культурно-экономических функций. Очевидно, что наемные государственные работники не были готовы к акционированию предприятий. Именно поэтому внешне правильная акция с выпуском приватизационных чеков привела к отрицанию своей же изначальной идеи и оставила подавляющее большинство населения без собственности.

Будущее российской экономики могут обеспечить изменение экономических функций государства, установление новых принципов структурной перестройки народного хозяйства, умная разработка внешнеэкономической стратегии, исключаящая колониальное рабство, переход к новой системе управления производством, наконец, создание здоровой среды рынка.

Споспешествовать этому может, во-первых, система государственного маркетинга. Для этого — как и в начале века, при Вячеславе Константиновиче Плеве, — необходимо оперативное создание специальной государственной комиссии в составе наиболее авторитетных ученых и с участием думцев, представителей бизнеса и правительства. Ее работа должна вестись по нескольким направлениям: оценка текущего состояния российской экономики (ее внутренних возможностей), исследование состояния международных рынков (их структура, динамика развития, экспертная оценка тенденций), наконец, учет — в области мировой торговли — международных и национальных правовых норм. Пока этим занимается Бог весть кто и Бог весть где, а то и не занимается вовсе. Исходя из выявленных комиссией наиболее существенных элементов российского хозяйственного опыта и уклада, а также возможностей внешнего рынка и конкурентов должна быть разработана государственная программа маркетинга для отечественных производителей, то есть политика освоения Россией международных рынков. А уже исходя из этой программы смодулируем всю российскую экономику — станет ясна оптимальная отраслевая структура как в плане производства, так и в плане собственности, будут разработаны основы финансовой политики, а также демпинговые и протекционистские меры в части тех товаров и производств, от которых зависит ее будущее. Все эти шаги должны привести к восстановлению национального народного хозяйства России.

Уже сейчас очевидно, что основу будущей экономики России будут составлять отрасли некапиталоемкие, но трудо- и ресурсоемкие. Прежде всего

это легкая, пищевая и добывающие отрасли¹¹. Именно эти отрасли являлись преобладающими в российской промышленности в начале нынешнего столетия. Текстильная отрасль была наиболее значимой и по числу работников (около 30 процентов занятых в промышленности), и по произведенной валовой продукции (26 процентов). В число крупнейших отраслей входили также пищевая и горная. Но если добывающая отрасль сегодня является относительно стабильной, то основы легкой и пищевой промышленности значительно подорваны. Возможность их подъема откроется лишь с проведением аграрной реформы.

Современное правительство открыло российский рынок для западных производителей. Однако нам надлежит самим войти в мировой рынок в качестве равноправных экономических партнеров. Необходимо соединить принципы свободного рынка с национальными факторами экономической системы России. Демонопользация производства, создание конкурентной среды в банковской сфере и государственная протекция отраслей национальной экономики позволят проведение необходимой для вхождения России на мировой рынок структурной перестройки ее народного хозяйства. Она, в свою очередь, должна проводиться не спонтанно, исходя из уже сложившихся тенденций нашего внутреннего рынка, а целенаправленно — будучи ориентированной на государственную внешнеэкономическую стратегию. В этом случае банкротство бесперспективных нерентабельных производств станет сопровождаться становлением тех отраслей, которым благоприятствуют наши национальные факторы и которые перспективны с точки зрения мирового рынка...

Во-вторых, важнейшим элементом национальной экономики является проведение аграрной реформы, опирающееся на столыпинский опыт, принципы которого актуальны поныне. Заимствовать надо государственный контроль над структурой земельного фонда, зональное распределение собственности, систему Крестьянских банков, опыт переселенческих кампаний, меры по улучшению агрокультуры, развитие сельских производств и промыслов. Современная аграрная реформа пошла, увы, по антистолыпинскому пути, притом такому, которому едва ли обрадовались бы даже самые ретивые оппоненты Столыпина.

Современная реформа не более прагматична в хозяйственном отношении, чем сплошная коллективизация села в 30-е годы. Преобразовав колхозы-совхозы в ТОО и АО, правительство не решило проблему собственника на селе. Крестьянин, оставшийся во власти чиновников и старых колхозных порядков, собственником не стал. Фермерское движение, как всего лишь один из элементов будущей национальной реформы сельского хозяйства, в своем развитии остановилось и во многих регионах даже пошло на убыль, а то и захирело совсем. В сельском хозяйстве на всех уровнях господствует тотальный монополизм. Выход крестьян из коллективных хозяйств еще более затруднителен, чем... в достолыпинский период. Сейчас крестьянин не может выделиться без согласия коллективного хозяйства, от которого также зависит получение им своего имущественного и земельного пая. В большинстве случаев крестьянин получает денежную компенсацию своего имущественного пая, вычисленную исходя из остаточной балансовой стоимости основных и оборотных фондов хозяйства. Естественно, величина компенсации оказывается значительно заниженной. А в итоге — Россия «без боя» сдала свой внутренний рынок чужой продукции, часто бросовой и не отвечающей санитарным нормам.

В разработанном Думой Земельном кодексе фактически отрицаются как частная собственность на землю, так и свободный выдел крестьян из коллективных хозяйств. Правительство в свою очередь пытается утвердить право частной собственности на землю, но вместе с коммунистами блокирует проведение аграрной реформы. Частная собственность без реформы — ничуть не лучшее решение даже по сравнению с тем, что предлагают коммунисты. Принятие варианта правительства способно лишь закабалить крестьян, отдав их на

¹¹ Как это ни парадоксально на первый взгляд. Ведь со времен коммунизма мощь государства визуально воплощалась для нас в образе гигантского литейного цеха. И хотя тоталитарной кухне не хватало многих «продуктов», но ни на секунду не прекращалось сталеварение.

откуп новым помещичьим хозяйствам во главе с нынешними председателями колхозов (АО), в чьих руках со временем окажется значительная часть коллективного имущества.

Наконец, совершенно необходимо беспрепятственное развитие культурно-экономических функций государства, которые заключаются в поощрении мелких и средних частных хозяйств, создании инкубаторов частного бизнеса. Что, в свою очередь, поспособствует дальнейшей демонополизации производства, поспособствует обеспечению занятости людей в условиях производственного обвала, наконец, наиболее безболезненно и эффективно вхождению труженников в рыночное хозяйство через соответствующие ему социальные формы. Средние производства в России имеют преимущество в условиях относительно неемкого и географически разбросанного (удаленного) рынка. Большие перспективы имеются у мелких сельских промыслов и производств (в частности, предприятий по переработке сырья), у мелкой торговли.

Ведь предпринимательские традиции — после того как их столько десятилетий выжигали каленым железом — у нас чрезвычайно ослаблены, и лишь режим максимального благоприствования именно для мелкого бизнеса, который по плечу большему количеству населения, чем крупный и средний, может возродить предпринимательские традиции. Культурно-экономические функции, как и во времена Столыпина, должны изменить саму среду рыночной экономики: поднять уровень экономической и юридической грамотности населения, внедрить в народное хозяйство новые управленческие методы, освоить передовые формы производства, перейти к использованию новой техники в промышленности и торговле и к новой агрокультуре в сельском хозяйстве.

Для поощрения развития мелкого бизнеса предлагаются следующие экономические мероприятия: активизация фонда поддержки малого бизнеса, который существует в настоящем, но слабо себя проявляет, создание центров становления бизнеса и системы консультационных групп. Центр поддержки бизнеса (инкубатор) предполагает наделение небольших предпринимательских структур современной оргтехникой, льготы при аренде помещений, предоставление услуг по управлению и маркетингу.

Культурно-экономические функции государства можно сравнить с просвещенным авторитаризмом в политике. Очень многое зависит от самого государственного аппарата, его способности оказывать воздействие на народное хозяйство, одновременно не подрывая основ рыночной экономики. Нелишне вспомнить слова русского экономиста А. А. Исаева (1851 — 1924), глубокого специалиста по вопросам кооперации: «В одни эпохи государственную власть получают лучшие из общественных элементов; тогда правительство может плодотворно работать во всех сферах жизни. В другие периоды власть принадлежит худшим. Эти худшие, проникнутые только своекорыстными стремлениями, действуют неумело, нерадиво и недобросовестно во всех областях, куда правительство вступает со своим авторитетом. В такие эпохи говорят много и самоуверенно о необходимости государственного вмешательства в общественную жизнь; издается бесчисленное множество законов; органы управления, все более усложняясь, производят огромное количество работы. Но большая часть этой работы не создает ничего, не только не пробуждает дремлющих сил, но даже в самом зародыше приостанавливает их развитие»¹².

Политика оптимальной поддержки в России не может быть такой, как, например, в Австрии или Германии, уж слишком специфичная здесь ситуация. Однако, что для нас самое главное, подобная политика в своей основе является альтернативной как социалистическому плановому хозяйству, так и неорганизованному рынку времен современной рыночной реформы.

Следует отметить особую роль кооперации в солидаризации общества. М. Самойлов¹³ в своей статье «Кооперация в будущей России» пишет: «В кооперации живуче отталкивание от капитализма, почему она и построена на принципе равенства артельщиков, на внутренней справедливости. Кооперация и по своему социальному характеру, и по экономическим своим задачам явля-

¹² Исаев А. А. Начала политической экономии. СПб. 1900, стр. 708.

¹³ Самойлов — псевдоним Михаила Николаевича Залевского (1895 — 1996), жившего после войны в Германии. (Примеч. ред.)

ется началом, сдерживающим капиталистический эгоизм. Артель, кооператив в экономическом и правовом планах являются действительными хозяевами дела, но хозяевами на иной, отличной от капитализма, социальной основе.

Профсоюзы в западных странах монопольны, особенно в Европе. Они одержимы классовым эгоизмом. Не считаясь с национальными интересами, они длительными забастовками наносят непоправимый ущерб государству и обществу.

Кооперация своим существованием нейтрализует эту монопольность профсоюзов, поскольку артельщики кооперативов не нуждаются ни в защите, ни в контроле профсоюзов. Кооперация таким образом сдерживает не только капиталистический, но и профсоюзный групповой эгоизм¹⁴.

В качестве наиболее распространенных систем управления производством на Западе используются системы, получившие условное обозначение «Х» и «У». В одном случае управление основывается на жесткой регламентации производства. В другом — на факторе «человеческих отношений».

Уильям Оучи, объяснив понятие национальной экономики, предложил третью систему — «Z», которую можно обозначить как опирающуюся на имеющиеся исторические культурные традиции¹⁵. Эта система также является альтернативной чрезмерно индивидуалистическому управлению «Х» и слишком коллективистскому «У». Управление типа «Z» опровергает распространенную в последнее время в российской экономической науке концепцию «экономического человека» (*homo economicus*), в которой рациональности индивида придается универсальное значение. На примере сравнения экономик Японии и США Оучи доказал, что успех в управлении зависит от более широкого подхода к человеческому фактору. Если бы в японском управлении к работникам подходили с мерками «экономического человека», принятыми в США или Западной Европе, едва ли такое управление имело бы успех. В том и ценность японского опыта, что там подошли к этой проблеме со своих собственных позиций. И японский опыт важен не с точки зрения конкретных подходов, которые следует перенимать другим странам, а принципов формирования управленческой политики.

В наших условиях управление типа «Z» будет предполагать использование принципа представительства (корпоративизма). В ранних идейных поисках солидаристов предполагалось создание на государственном уровне Палат Труда, объединяющих наемных работников и мелких частных производителей как противовес аналогичным ассоциациям крупного бизнеса (которые усиленно формируются в настоящее время).

Следует предположить, что система управления «Z» в России заимствует от своей японской прародительницы элементы пожизненного найма и систему продвижения по службе, которые вполне согласуются с российскими национальными традициями. Вместе с тем общая модель управления производством будет иметь в условиях России ряд важных особенностей. Это сочетание широкого участия созданных в недалеком прошлом советов трудовых коллективов в разработке стратегических производственных программ с достаточно жестким, единоличным управлением текущими хозяйственными делами со стороны дирекции предприятий. Наконец, существует необходимость развития моральных стимулов российских работников...

Наши «рыночники» прыгнули в рынок непосредственно из марксистской политэкономии, поэтому словосочетание «духовная среда рынка», очевидно, покажется им нелепым. А между тем отечественные философы и экономисты мыслили только так: экономика, рынок — часть жизнедеятельности человека как духовного существа. Вспомним работы П. Б. Струве и С. Н. Булгакова¹⁶. Струве видел в капиталистическом духе отнюдь не только тягу к наживе, но и глубокие историко-религиозные корни: «Исходным моментом капиталистического духа как массового явления следует признать проникновение в сознание идеи долга в отношении к профессиональной работе»¹⁷. Как на первый

¹⁴ Журн. «Посев», 1955, № 12.

¹⁵ Оучи Уильям. Методы организации производства. М. 1984.

¹⁶ Булгаков С. Н. Краткий очерк политической экономии. М. 1906.

¹⁷ Струве П. Б. Экономика промышленности. СПб. 1909, стр. 44 — 45.

взгляд ни парадоксально — по Струве, «у колыбели капитализма стоит воздержание», хозяйство и экономика — производные морали и духа.

Процесс развития рыночной реформы должен сопутствовать процессу развития духовных основ общества, без чего невозможна экономика, построенная на принципах гуманизма и справедливости. Все эти положения особенно актуальны потому, что Россия представляет ныне поле игры эгоистических интересов основной массы предпринимателей, вышедших из советской среды, и западных — не преминувших половить рыбку в мутной воде. Если либерализм в Европе в ходе двадцатого столетия претерпел значительные перемены и от обеспечения личных свобод значительно продвинулся в области социальной политики — в посттоталитарной России он обернулся безудержным эгоизмом. Либерализм и эгоистические устремления власти и личности сделались, к сожалению, сегодня у нас почти синонимами.

Вот почему сама идея свободы оказалась скомпрометированной. Свобода в обществе — следствие высокой социальной дисциплины, основанной на морали. Нельзя, расшатывая мораль, строить цивилизованный рынок. Общественный и экономический климат связаны по принципу сообщающихся сосудов. Когда же больная социально-экономическая среда начинает копировать механизмы цивилизации, возросшей совсем на других дрожжах, — получается то, что мы имеем сегодня.



ВРЕМЕНА И ПРАВЫ

ГЕОРГИЙ ХАРИТОНОВ

*

АПОЛОГИЯ РОССИЙСКОГО ГУБЕРНАТОРА

Русская провинциальная жизнь... Из столиц на нее смотрят согласно своему мироощущению: кто — с умилением, чаще — по-щедрински — с иронией и сарказмом. Провинциал же «с запросами» всегда видел в столице возделенную возможность приложения не востребуемых в провинции сил. В прошлом веке провинция еще и давала ощущение — как оказалось, ложное — прочного и бескрайнего тыла, о который разобьется любая смута. На деле же цивилизаторские и идеологические процессы нивелировали разницу между столицами и глубиной: и достижения и болезни у них становились те же. Это отчасти объясняет, почему — в отличие от Смутного времени — провинция не только не очистила Россию от революции, но где-то и поддержала ее. Отдельные, пусть и мощные, антибольшевистские мятежи и восстания не приняли внепартийный и внесловный характер народного ополчения.

Коммунистические жернова семь десятилетий перемалывали провинцию; сами традиционные названия городов и улиц стали уже стираться из памяти. С 20-х годов начались буквально поголовные преследования краеведов, всех, кто нес в себе просвещенный, культурный и религиозный огонь: в маленьком городе каждый человек на виду, там трудней стусеиваться, спрятаться. Помню уже послевоенные годы в моем родном Рыбинске. Ранними утрами грузовики увозили из запасников богатой городской библиотеки имени Энгельса (ну конечно, какое же имя дать библиотеке, построенной еще учениками Росси в купеческом центре нашего Верхневолжья!) тоннами книги XVIII — XIX веков, некогда экспроприированные в окрестных усадьбах, — на переработку на бумажную фабрику. Директора музея уволили и исключили из партии за то, что к нему заглянул однажды священник. Живы были еще недобитые старики с остатками своей благородной рухляди; в детстве у бабушки я спал на сундуке со сбереженными комплектами «Нивы», «Родины».

Уничтожение — причем тотальное — превосходной рыбинской архитектуры началось позднее — уже в 60-е годы. Совки-архитекторы надстраивали старинные фасады, закладывали и прорубали, как хотели, двери и окна, снимали чугунное литье балконов и крылец, сносили целые кварталы, строя свои убойно бездарные сооружения, еще ухудшенные халтурой строителей, которые, вестимо, без бутылки кирпича не положат. А что недоуничтожили тогда — гибнет теперь.

В наши дни старый Рыбинск выглядит как... «Грозный» Верхневолжья: руины, пустые стены, покосившиеся, заколоченные дома. Разрушаются подлинны шедевры не только каменного, но и уникального деревянного зодчества, каждым таким домом могли б гордиться цивилизованные жители культурной страны. И когда стоишь среди этих безжизненных руин, которые уже невозможно восстановить, где-нибудь на углу улиц Урицкого и Нахимсона, когда от года к году на твоих глазах ветшает необратимо церковь Богоявления на Острове (шедевр XVII столетия — чуть ниже по Волге), честно кажется, что то «спасение из провинции», на которое многие уповают, — утопия.

И все же воздух свободы приносит свои плоды. У людей ответственных, преданных своей малой родине больше ныне возможностей послужить ей без риска быть затравленными. Жизнь приходит, деятельность музеев и других очагов культуры получает свежие импульсы. Есть города, где к власти приходят здравомыслящие и добросовестные патриоты, — о тверском губернаторе Владимире Платове рассказывает писатель Г. Харитонов. Таков губернатор — а какова «губерния»?

Второй публикуемый материал, «Провинциальные зарисовки» Юрия Красавина, повествует об одном из уголков тверской земли, как и вся огромная страна наша, балансирующем над социальной топью.

Юрий Кублановский.

Кто только из политиков не требует сейчас стабилизировать обстановку в государстве Российском! Правда, меры предлагают самые что ни на есть противоположные: от возврата к социалистической уравниловке до полной приватизации всего и вся и снятия любых ограничений с частной инициативы.

И за крикливыми крайностями порой трудно расслышать людей, которых принято называть центристами (и которые сами, кажется, против такого определения вовсе не возражают). Хотя политически и мировоззренчески они неоднородны, тяга к порядку, неукоснительному соблюдению законности и — в широком смысле — стабилизации положения у них прослеживается четко. Их роднит, в конце концов, здравый смысл, их деятельность движима чем-то большим, чем корыстные честолюбивые побуждения или фанатизм идейной доктрины. Они — за сильную президентскую власть, за формирование четкой исполнительной вертикали в системе демократических институтов государственного управления, без которой полиэтничной России грозят ослабление и распад.

К центристам я без колебаний отношу новую политическую элиту, сформировавшуюся в ряде регионов после декабрьских (1995 года) губернаторских выборов. Прошли такие выборы и в Тверской области, резко и, надеюсь, необратимо изменившие расстановку сил на самом верху региональной властной пирамиды.

...Об одном их участнике, сегодняшнем тверском губернаторе Владимире Платове, в последнее время много говорят, судят-рядят о нем так и этак — и в самых отдаленных тверских деревнях, и в Москве, и во многих других регионах Центральной России. И неспроста: ведь человек этот, будучи мэром совсем небольшого, по нашим меркам, районного городка Бежецка, что затерялся среди лесов Центральной России, 17 декабря 1995 года в качестве независимого кандидата одержал на губернаторских выборах сокрушительную победу над старыми партийными чиновниками, опытными политиками, успех которых, казалось, был гарантирован инертностью наших провинциалов, их привычкой к номенклатурной власти, их традиционным равнодушием к политике, наконец, стараниями «прикормленных» областных газет, радио и телевидения задавить и ошельмовать чудака, представить его в глазах народа выскочкой и авантюристом.

Во время предвыборной кампании Платову не давали эфирного времени, отказывали в публикациях, закрывали перед ним двери всех мало-мальски оборудованных помещений, где он мог бы собрать своих сторонников, поговорить с людьми. Тем не менее он победил, хотя большинство тверитян даже имени его не слыхали прежде. Победил не просто, а с отрывом в полторы сотни тысяч голосов от главы прежней тверской администрации Владимира Суслова, что уже само по себе говорит о том, насколько осточертела народу старая власть.

Так что же, снова будем говорить, что избиратели голосовали не «за», а «против»? Пожалуй, это расхожее утверждение по отношению к Платову не срабатывает. Нынешний тверской губернатор сумел очень многих заинтересовать своей неординарной политической программой. Он говорил: хватит холопствовать перед Москвой, хватит выпрашивать подачки у столичных чиновников. Мы, провинциалы, должны стать хозяевами своей судьбы, разделить предметы ведения и полномочия с российским правительством. В конце концов, нам, на месте, виднее, что строить, что выпускать, с кем торговать, куда тратить собранные в виде налогов деньги.

Почему потенциальный губернатор именно так ставил вопрос — уж не мечтал ли он о некоем тверском «суверенитете», о полной независимости от федерального центра? Ничего подобного, Платов говорил только об экономической самостоятельности региона. В самом деле, разве это нормально, когда две трети областных средств уходят в бездонную федеральную казну, а потом чиновники начинают их делить: этому дадим, этому дадим, а вот этому не дадим! У кого деньги — у того и власть. Москва до сих пор держит регионы в прочной финансовой узде дотаций и субсидий, пайке разовых выплат и ссуд, что не может не раздражать провинцию.

Можно ли, однако, разорвать эту порочную практику, уходящую в глубь столетий? Еще будучи мэром Бежецка, весной 1994 года Владимир Платов выступил с бредовой, как тогда казалось, идеей: получить для своего райцентра статус особой экспериментальной территории и на ней применить такую систему, при которой основная часть собираемых налогов оставалась бы в городе после выплаты в областной центр фиксированной «дани» — скажем, процентов двадцать от суммы налогов. Это позволило бы не гонять деньги взадвперед, избежать унижительной процедуры выпрашивания средств у областного начальства.

Ни в Твери, ни в Москве платовского предложения никто обсуждать не стал. Раздраженный и, видимо, даже озлобленный, он написал тогда в одной из российских газет:

«„Москва, Москва! — сказал поэт. — Люблю тебя, как сын...” А я вот с детства недолюбливаю столицу, которая за меня пила и ела, одевалась и обувалась, строилась и развлекалась. В понятии «государственные интересы» московского много-много, а... бежецкого мало-мало. За что же мне ее любить?»

Сказано откровенно. В самом деле, «государственным интересам» и до тверских проблем дел нет, и до новгородских, и до курских. Как же вывести провинциальную жизнь из ее, увы, традиционной приниженности? Владимир Платов в предвыборных выступлениях не только декларировал приверженность к экономической независимости регионов — он сумел показать избирателям конкретный механизм осуществления своих планов. Вот тогда-то и прозвучали слова, сделавшие имя Владимиру Платову: о властном земстве, о демократическом самоуправлении, о том, чтобы наделить это самоуправление реальными полномочиями.

Как? А через специальный договор региона и правительства, через федеральные законы, которые еще предстояло создать и провести сквозь множество препятствий. Разумеется, в программе Платова не шла речь о слепом эклектичном копировании земских учреждений, созданных в России в 60-е годы прошлого века, те времена ушли и больше не повторятся. Сами термины «земство», «земское устройство» были взяты Платовым, на мой взгляд, для того, чтобы людям стало ясно: речь идет о повседневных нуждах русской провинции, об устройении ее дел. Современная земская реформа, по Платову, должна включать в себя упорядочение системы налогообложения, замену десятков федеральных и местных налогов одним или двумя, всем понятными, экономически оправданными: налогом на доход и налогом с оборотных средств. Право устанавливать их размер должно получить земство — законодательные собрания области и районов, члены которых избираются всеобщим, равным и тайным голосованием.

Следовательно, основное земское учреждение, с точки зрения Платова, — это собрание народных представителей, земцев. Перед ними стоит задача формировать бюджет в его доходной и расходной части, а затем контролировать его исполнение. Исполнять бюджет должна районная и областная администрация, которая тем самым окажется кровно заинтересованной в том, чтобы промышленность заработала на полных оборотах, чтобы сельское хозяйство начало наконец в достаточной степени обеспечивать население региона продовольствием. Ведь каждый земец будет знать: никаких дотаций больше никто не даст, бить себя в грудь, выпрашивать подачки бесполезно.

Иными словами, земское самоуправление есть путь от иждивенчества к благотворной самостоятельности, к личной ответственности каждого за принимаемые решения.

Два года вынашивал Платов свою программу. Он видел, что власть на местах абсолютно бесправна, что полномочия ее неопределенны, а ответственность за результаты чисто формальна. Сам он рассказывает об этом периоде своей жизни так:

— Когда я понял, что до меня и моих мыслей никому нет дела, я отправил свою концепцию земского самоуправления Александру Исаевичу Солженицыну, который тогда как раз вернулся в Россию. Отправил по почте, наудачу. А вот шестнадцатого февраля 1995 года, когда меня пригласили в Москву на совещание по самоуправлению, довелось мне увидеть его лично. Набрался смелости подойти, представиться. Помню, начал я с того, что из Тверской области, мол, глава администрации Бежецкого района. Так он мне даже договорить

не дал, сказал, что помнит меня, достал из сумки, похожей на полевую, офицерскую, мое письмо, все исписанное его рукой, и лист бумаги, где им от руки были написаны соображения по местному самоуправлению. Позже я их изучил, кое-что принял, но многое отклонил, так как с экономикой современной России Александр Исаевич был тогда знаком явно недостаточно. То, что у меня получилось, снова отправил Солженицыну.

...В начале декабря 1995 года, в самый разгар борьбы за тверское губернаторство, Солженицын ответил Платову так:

«Уважаемый Владимир Игнатьевич!

После Вашего первого проекта устройства земского самоуправления в Тверской области, который мы обсуждали с Вами на кремлевском совещании по местному самоуправлению в феврале, теперь я получил и прочел Вашу доработанную редакцию этого же проекта. Я нахожу проект превосходным: это плод — и зрелой, современной государственной мысли, и верности коренной русской традиции. Все в нем продумано и принципиально и организационно, отчетливо сформулировано сосуществование и практическое соотношение между вертикалью государственной власти — и властью земской, то есть истинным народным самоуправлением.

Сейчас, когда мы получили из Государственной Думы два года жданный, но вовсе неудовлетворительный закон о местном самоуправлении, — я могу только пожелать, чтобы построение и развитие народного самоуправления как в Тверской области, так и во всей России пошло бы именно по Вашей разработке, — и хотел бы до этого дожить...

Мне известно, что Вы сейчас баллотируетесь на пост тверского губернатора. Я от души желаю Вам успеха — и потому, что Вы могли бы тогда осуществить в Тверской области свой проект, открывающий путь народным силам, и, сверх того, — потому, что через личное знакомство с Вами я ощутил Вашу бескорыстную преданность работе на оздоровление России — при Вашей вдумчивости, ответственности и здоровой энергии».

Разумеется, поддержка Солженицына помогла Владимиру Платову в предвыборной борьбе. Теперь, когда Платов стал двадцать пятым тверским губернатором, у него появился реальный шанс на практике осуществить свою идею о властном земстве. Не реальная возможность, а, повторяю, шанс, ибо слишком много препятствий стоит на пути истинного, не карманного самоуправления в нашей стране. Поразительно, но многие препятствия благополучно сохранились — и отнюдь не в качестве реликтов — еще с доктябрьских времен.

Чтобы лучше уяснить ситуацию, зададимся вопросом: а что же это такое — система губернаторской власти в России? К стыду нашему, самая подробная, а быть может, и вообще единственная книга об этом принадлежит перу американца — профессора Университета Нью-Мексико Ричарда Роббинса¹. Наши исследователи обошли историю российского губернаторства, в советское время сосредоточившись на изучении и апологии деструктивных антигосударственных сил.

Между тем должность губернаторская существовала в России с 1708 года. Первой российской губернией стала Ингерманландская, позже переименованная в Петербургскую, первым губернатором был назначен верный сподвижник Петра Великого Александр Данилович Меншиков. В 1775 году, когда количество губерний увеличилось до пятидесяти одной, по приказу императрицы Екатерины II было составлено «Учреждение для управления губерний Всероссийской империи». Вот что говорится в главе IV этого документа:

«Наместник государев, аще губернатор, есть глава и хозяин всей врученной его смотрению губернии. Предписывается оному строгое и точное взыскание чинить со всех подчиненных ему мест и людей о исполнении законов... но без суда да не накажет никого...»

Итак, губернатор есть единоначальник в сфере исполнительной власти. Он действует в правовом пространстве и это пространство блюдет, будучи гарантом исполнения законов государства.

¹ Robbins Richard G. The Tsar' Viceroy. Russian Provincial Governors in the Last Years of the Empire. Cornell Univ. Press, 1987.

На первый взгляд, вроде и разницы никакой, как называть главноначальствующее лицо в губернии или области: первым секретарем или — губернатором. Но за должностью — сущность; разница и в правовом статусе, и в реальности велика, принципиальна: советские чиновники при практически диктаторской власти в регионах на деле ни за что не отвечали, любые их действия прикрывала руководящая и направляющая роль партии. «Партия — наш рулевой»: куда крутанет руль, туда и поплыли. Местный номенклатурный бонза — марионетка партийного руководства.

Не то — губернатор. Нет разницы, назначается он государем или избирается всенародно: в любом случае он проводник региональных, а через то — и государственных интересов. Губернатор не представляет какую-либо партию. Не является он в прямом смысле и главой администрации, то есть коллектива чиновников. Он (и так и было у нас до большевиков) есть глава всего населения губернии, инстанция на региональном уровне высшая, свободная от идеологического влияния. Столыпин сравнивал губернаторство со скалой, о которую должны разбиваться волны экстремизма с любой стороны, особенно в пору коренных реформ губернатор не имеет права на «партийность», равно правую или левую. Согласитесь: это не просто. И не просто было всегда. За такую позицию тверской губернатор Слепцов в 1906 году получил от эсеров пулю. Но если политик чувствует, что сил и решимости у него для этого нет, — ему лучше держаться подальше от губернаторства.

Были, конечно, и такие губернаторы, как приснопамятный Андрей Антонович фон Лембеке из «Бесов» Достоевского, заигрывавшие с «освободительным» элементом, но не они определяли лицо наших губерний. Многие российские губернаторы — личности харизматические, наделенные незаурядными личными качествами: мужеством, решительностью, умением не бояться ответственности.

Взять, к примеру, тверского генерал-губернатора легендарного Архарова. Он остался в истории как создатель высокоэффективной системы правопорядка и полицейского уголовного сыска. Архаровцами называли его подчиненных, людей инициативных и бедовых, способных пролезть сквозь игольное ушко и, главное, абсолютно честных. Для конца XVIII века, как, впрочем, и для нынешних времен, — это весьма редкое качество. Я не знаю, почему теперь архаровцами называют людей беззастенчивых и наглых. Наверное, понятие это выродилось тогда, когда высмеивать губернаторов, охаивать все, сделанное ими, стало хорошим тоном в среде русской разночинной интеллигенции.

Ругать губернаторов вошло в традицию в конце долгого царствования Николая I. Общее недовольство его деспотизмом как бы само собой перешло на всех государственных лиц того времени. Между тем такие губернаторы, как принц Георг Ольденбургский, зять Александра I, блестящий офицер и разносторонне образованный человек, отнюдь не заслуживали бранных слов. Принц Георг успешно ведал водными коммуникациями Вышневолоцких каналов, спешествовав тем самым торговле.

В середине 30-х годов прошлого века губернаторствовал в Твери Александр Петрович Толстой, близкий друг Гоголя и славянофилов.

В губернаторство Петра Романовича Багратиона (1862 — 1868) встало на ноги и окрепло тверское земство.

Да что говорить — российские губернаторы составляли костяк государственного жизнестроительства.

Приспела, думается, пора написать о тверских губернаторах книгу, чтобы каждый, кто хочет занять чрезвычайно ответственный губернаторский пост, знал, кто были его предшественники, и никогда не забывал ни их ошибок, ни их достижений. Только тогда, когда мы восстановим историческую память, можно будет без натяжек и с полным правом говорить о преемственности власти не только в Тверской области, но и вообще в провинциальной России.

Едва зашатался тоталитарный режим и стали отказывать приводные ремни партдисциплины, страну охватил кризис власти, кризис системный, тяжелый и затяжной. Никому не хотелось брать на себя ответственность за непопулярные меры и решения — и меньше всего главам администраций на местах. Прямо

надо сказать: в последние пять лет у нас в Тверской области они лишь имитировали властную деятельность, а по сути, валяли ваньку. Упадку промышленности, росту смертности и преступности ничто не способно было противостоять.

Когда же такие, как Платов, пытались «высовываться», их спешили осадить раз и навсегда. Платову помогла должность бежецкого мэра, во-первых, и небольшой — в глазах тверских бонз — политический вес, во-вторых: они его просто недооценили и проморгали. Все, что он говорил и писал о властном земстве, воспринималось как нелепость или чудачество; никто не видел в нем грядущего губернатора.

Вот что рассказывает о себе Владимир Платов:

— Родился в 1946 году, в нищей крестьянской семье (пусть слово «нищей» не смущает читателя, ибо все русские деревни севернее Москвы «славились» прежде всего своей безысходной бедностью. — Г. Х.), в глухой деревушке Владимирской области. Теперь она исчезла, вымерла... Семь лет мне было, когда отец с матерью переехали, как считалось, в город Собинку, хотя на самом деле жили мы от города в трех верстах, занимали сторожку при местном кладбище. Сестры в ФЗУ учились (одна из них уже умерла), отец с моим братом коров пасли, а я на кладбище хозяйничал, указывал места для могил. Отец скоро умер, а матери (она в больнице работала дезинфектором) дали в Собинке комнату. Вплотером жили на восемнадцать метрах. Не хочется даже вспоминать об этом. Я из нищеты вроде вышел, а сестра с братом до сих пор трудно живут. Племянница с мужем в бараке перебиваются, и конца этой беспросветной жизни не видно.

...Вот судьба русского парня — одного из послевоенного поколения, судьба и типичная и нет, ибо парень этот стал губернатором. И теперь Платов обдумывает: как, на каких путях развиваться новой России? И, подобно Солженицыну, видит в формировании земства мощный рычаг для социального созидания.

Новое земство, однако, не должно копировать старое, повторяя его ошибки. Интересно, что еще в проекте земской реформы предводителя дворянства Тверской губернии А. Унковского содержались предложения по наделению земства властными полномочиями. Согласно его проекту (1859 год), органы земского самоуправления должны были состоять:

- а) из мирского сельского схода, имеющего в основе крестьянскую общину;
- б) из всесословных волостных органов власти, которые избирали бы члены крестьянских общин и личные землевладельцы;
- в) из уездных собраний, куда должны были входить депутаты от личных дворян, купцов, почетных граждан, волостных собраний и мещан.

Соответствующее собрание, по мысли Унковского, могло бы избирать волостного попечителя и общесословного уездного предводителя, в ведение которых вошли бы все местные хозяйственные и административные дела. Одновременно Унковский предлагал строго разграничить сферу деятельности ветвей власти: администрацию земства отделить от суда, предусмотрев судебную ответственность чиновников за злоупотребления. Другого пути развития для России Унковский не мыслил. Он писал, наверное, с переხлестом, что современная ему государственная администрация «представляет целую систему злоупотреблений, возведенную в степень государственного устройства».

На Унковского обрушились обвинения в оскорблении государя, в стремлении насадить в России чуждый ей парламентаризм. Дело кончилось тем, что дворянского предводителя отдали под гласный надзор полиции, а потом и вовсе отправили в ссылку. Мечта о властном земстве осталась только мечтой. Земские учреждения, введенные правительством 1 января 1864 года, были с самого начала и оставались до самого Октябрьского переворота сословными учреждениями.

«Ныне, — говорит Солженицын, — мы, наоборот, ищем путь, как не войти ни в пустую, совершенно истощившую себя парламентскую демократию, ни в тоталитаризм... путь, чтобы народ управлял сам собою при наличии твердой единой власти».

Тверской губернатор Платов мыслит так:

— Выход у России вижу только один: развитие федерализма через усиление экономической самостоятельности регионов. Подчеркиваю: экономической! Политическая независимость называется сепаратизмом, а за сепаратизм голову надо откручивать сразу, без размышлений. Именно сейчас пришло время, когда мы можем все свои экономические проблемы решать самостоятельно. Правительство и президент в этом нас поддерживают. Разумеется, вижу и подводные камни на этом пути. Желание регионов разграничить полномочия с центром может торпедировать чиновничий аппарат. Его колоссальное влияние на ход событий чувствую каждый раз, когда приезжаю в Москву. Чиновники со мной всежливо разговаривают, а после моего ухода находят десятки причин, чтобы все нужные решения положить под сукно. Удивляться этому не приходится. Когда властные полномочия перейдут из центра в края и области, чиновники потеряют рычаги воздействия на провинцию. Для них это смерти подобно. Я же, напротив, не собираюсь аккумулировать у себя все властные полномочия. Моя задача — получить их у Москвы и передать городам и районам. Разумеется, в этом случае фигура губернатора будет выглядеть менее значительной. Это сейчас ко мне приходят главы администраций городов и районов за помощью. А когда все полномочия, все средства будут в их руках, зачем им приходиться ко мне? Ведь тогда им нечего будет просить. У меня же останутся действительно губернаторские полномочия: искать инвестиции, заниматься федеральными программами, упорядочивать областные финансы.

...Начинал Платов в самые тяжелые годы, когда тоталитаризма уже не было, а новая власть еще не установилась. Работники крупнейшего в Бежецке завода «Бежецксельмаш» выбрали его директором, когда предприятию было совсем худо. Платов вытянул завод из провала, причем зарплата при нем стала самой высокой в городе. Наверное, поэтому на вакантное место мэра группа депутатов предложила Платова: вытянул завод — авось вытянет и район.

Шел 1992 год, «шоковая терапия» в разгаре. Платову удалось невозможное: цены в бежецких магазинах оказались ниже, чем по области в целом. Он открывает несколько магазинчиков в самой Твери — народ окрестил их «бежецкими», — там и посегодняя дешевле, чем в тверской госторговле, уж не говоря о частной.

Бежецкий мэр шел ва-банк против вчерашних коммунак, а сегодня приватизаторов и рыночников «без берегов», с прежним усердием, однако, прислушивающихся к столичным затеям, исходящим на этот раз уже не от партийных бонз, а от новых «кремлевско-чикагских мальчиков», но от этого не менее вредоносным: резко возражал против приватизации наиболее важных для района и области предприятий — по выпуску хлеба, молока, мяса, по снабжению газом, электричеством и теплом. Здравый смысл требует сохранения за властью — на стратегических направлениях — определенных рычагов воздействия на ситуацию — ну, скажем, в виде пакета акций. Не должна власть — тем более в такую сложную пору демонтажа тоталитарной системы — все насовсем выпускать из рук!

В справедливости своих соображений Платов лишний раз убедился уже в губернаторском кресле, когда изучил ситуацию в области.

— Оказалось, что бюджет полностью разорен, — рассказывал он журналистам на одной из встреч, — собственность разбазарена и продана за бесценок. Это касается прежде всего жизнеобеспечивающих систем — телефонной связи, например. Областная администрация в этой структуре уже никто. И в «Тверьэнерго» она никто, и в «Тверьнефтепродукте», и в Облгазе. Поверьте, у меня вовсе нет желания самостоятельно управлять всем этим хозяйством. Я даже не претендую как губернатор на контрольный пакет акций. Но вот тридцатипроцентный пакет администрации в жизнеобеспечивающих системах иметь просто обязана — для весомости голоса при обсуждении экономической политики в этих сферах деятельности, и прежде всего в вопросах ценообразования. Только будучи акционером подобных предприятий, администрация сможет защитить интересы всех слоев населения области.

...Эти интересы Платов и защищает, как может, насколько хватает сил и влияния. В этом смысле он очень похож на своих дооктябрьских предшественников, которым приходилось сталкиваться с аналогичными проблемами. Когда начались великие реформы 60-х годов XIX века, российские губернато-

ры оказались в очень сложном положении. В обществе зрела потребность обновления, и люди ждали от них чуда. Но реформы и общая либерализация жизни не должны были скатиться к социалистической бесовщине. Общественные силы пробудились для творческой бурной жизни; только ленивый не писал прожектов об обустройстве России. И губернаторам приходилось быть политиками, балансировать между строгостью и свободомыслием. Не секрет, что волна беспорядков прокатилась тогда по России. Вышеупомянутый Р. Роббинс пишет:

«Приезд губернатора в бунтующую деревню или на бастующую фабрику был событием обычным. Случалось, что рабочие и крестьяне сами требовали его вмешательства в конфликт. Однако само появление губернатора — будь оно желанным или не очень — сразу же подчеркивало остроту проблем. Для самого же губернатора в этом был серьезный риск. Конечно, за ним стояли войска и вся местная власть, включая жандармерию, но, по сути, в такой ситуации их высокопревосходительство оставался один. Он должен был действовать, отдавая себе отчет в том, что излишняя мягкость приведет к распространению беспорядков, а неоправданное применение силы дискредитирует власти. За неспособность найти правильный баланс в этих мерах губернатор расплачивался репутацией и карьерой. Прибавим к этому угрозу жизни — реальную и близкую — и горький вкус страха, который приходилось познать царским «сатрапам»...»

Иными словами, «здравомыслие губернатора могло спасти все. Провал его действий означал насилие и даже гибель».

Не тогда ли и возникла известная присказка: «Положение хуже губернаторского?»

Насколько же трудней быть губернатором в наши дни! Терпение людей ведь не беспредельно, они с трудом ищут себя в новых условиях, и многие, слишком многие, не находят. Владимиру Платову тоже необходимо поистине виртуозное политическое искусство, чтобы в нынешней тяжелой ситуации не запаниковать, не начать обещать направо и налево, не подставить себя под удар коммунистической оппозиции, которая терпеливо ждет любого его промаха, а потом бьет, как говорится, «с носка»...

«Платовское чудо» в одночасье не получилось и получиться не могло, как ни ждали его тверитяне. Напротив, свою деятельность на посту губернатора Платову пришлось начинать с повышения цен на хлеб, то есть меры самой непопулярной. Однако выхода у него не было: предшественник оставил пустую казну. Впрочем, чудом в определенной степени можно считать тот факт, что за семь месяцев губернаторства Платову и его команде удалось удержать цены на продовольствие, бензин и коммунальные услуги в основном на уровне 1995 года. Тверская область при Платове опустилась по стоимости потребительской корзины на почетное пятидесятое место, пропустив вперед даже многие регионы Черноземной России.

И это — при хроническом в области безденежье, когда милиция, прокуратура и спецслужбы отнюдь не являются надежной опорой, когда старая бюрократия на местах и новая — в Москве относятся с неприязнью и подозрением, а либеральная интеллигенция видит в новых руководителях не единомышленников и оберегателей, а сатрапов, нерассуждающих слуг правящего режима, ее традиционная оппозиционность срабатывает и здесь.

И новые «друзья народа» показывают на губернатора пальцем: «Смотрите, жизнь дорожает, предприятия останавливаются, пенсии вовремя не выплачивают. Идите к губернатору, требуйте свое, кровное».

Демагоги отлично знают, что настоящие воры находятся порой в их среде, что нынешние болячки — следствие еще бездарно-корыстного коммунистического хозяйничанья, что многие главы районных администраций вовсе не хотят ни подлинного народоправства, ни властного земства, а значит, и большей ответственности и подконтрольности населению. Но «чужак»-губернатор — не из их номенклатурной когорты — хороший громоотвод. Так что, повторяем, Платову приходится туго. Трудно формировать команду. Не секрет, что сейчас почти невозможно подыскать кандидатуру на место сельского старосты. Спившаяся среднерусская деревня, задавленные многолетней нуж-

дой райцентры не способны в большинстве своем управлять самостоятельно. Пока не способны... Отдать в такой ситуации власть из областного центра, в котором реформаторские традиции ощущаются гораздо заметнее, чем в русской «глубинке», было бы равносильно смерти реформ. Ничего не поделаешь: в разоренной стране от тоталитаризма к самоуправлению нужно переходить постепенно, через неизбежный период сильной губернаторской личной власти.

13 июня 1996 года Платов подписал с Президентом России договор о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти области и федерального Центра.

Таких договоров по всей Российской Федерации подписано уже более десятка, но договор с Платовым носит особый характер. Каждая его статья подчеркивает неизбежность федерального законодательства и Конституции. Главный же смысл договора заключается в возросших полномочиях области при формировании налоговой политики. Его тринадцатая статья говорит о том, что Тверская область «самостоятельно устанавливает и вводит областные налоги и сборы... Состав и размер налогов, поступающих в бюджет в виде средств, определяется соглашением между областью и правительством Российской Федерации». Согласно договору, на основе отдельного соглашения между Москвой и тверским губернатором, подлежащего утверждению Государственной Думой, именно у нас будет проводиться эксперимент по новой системе налогообложения и межбюджетных отношений, направленных на усиление роли органов власти в регионах и органов самоуправления городов и районов.

Тем самым Владимир Платов выполнил свое главное предвыборное обещание, сумел получить из Москвы особые полномочия. Другой вопрос — как будут использоваться эти полномочия на местах. Если нашего губернатора мы уже знаем, если он — в глазах населения — в области отвечает за все, то имеет ли он право дробить власть в условиях острейшего кризиса, добровольно отдавая ее в районы, где очень сильны позиции противников реформ, где до сих пор большинство мест в народных собраниях, в креслах глав администраций занимают бывшие партийные чиновники с соответствующими «навыками».

Надежды Платова — на поступательный ход реформ. Посмотрите, говорит он, наши реформы уже начинают работать. Перестал обесцениваться рубль, превратившийся за последние пять лет из никчемной бумажки в настоящие деньги. За восемь минувших со дня выборов месяцев нам удалось стабилизировать в области цены на основные продукты питания. Более того, цены на сахар и растительное масло резко пошли вниз. Сахарный песок стоит теперь без малого вдвое дешевле, чем прошлым летом.

Да, трудно, да, наломано много дров, но — по мнению Платова — корабль России все-таки ложится на верный курс.

А проблем, конечно, хватает. Вот текстильщики обивают пороги: дайте нам хлопок. И надо помочь им не проедать кредиты, а собраться вместе руководителям нескольких фабрик и образовать крупный финансовый пул. Сложив свои деньги, они смогут закупать сырье не в Узбекистане, где цены на хлопок, не сообразуясь уже ни с какой экономической логикой, вдвое превышают мировые, а — на Ливерпульской хлопковой бирже, как это делали еще Рябушинские и Морозовы.

И задача номер один: навести порядок в финансах. По распоряжению губернатора из чинов ФСБ, УВД, КРУ, налоговой полиции и инспекции была создана областная комиссия по неплатежам и невыплате зарплаты. Она уже активно работает. Проверки выяснили, что некоторые директора сознательно вели дело к банкротству своих предприятий, скупая у голодных рабочих обесценившиеся акции, воруя прибыль путем сознательного занижения отпускных цен на готовые изделия. Разницу между нею и реальной стоимостью товара они спокойно клали себе в карман, обвиняя в закрытии предприятий, в невыплате зарплат президента, правительство и, разумеется, губернатора.

То же и на селе. Колхозно-совхозные генералы давно превратились в помещиков на наш, советский, манер. У них есть дома и техника, земля и скотина, есть даже свои крепостные, ибо мужик в коренном российском селе под мудрым руководством КПСС давно превратился в лодыря и пропойцу, которому деваться от своего хозяина некуда. Недаром еще ВКП(б) расшифровывалось: Второе Крепостное Право большевиков. Хозяин мертвой хваткой держит

его дровами, семенами, сеном, комбикормом, соляжкой, которые приобретает не сам, не за свои кровные, а получает в виде льготных товарных кредитов от государства, да еще и жалуется при этом, что деревню грабят, ей недодают, ее обижают. Вот и еще одна задача для губернатора: сделать так, чтобы каждый тверской крестьянин, способный на самостоятельный труд, получил землю и волю. Сказать-то легко — сделать трудно. В свое время попробовал Петр Столыпин осчастливить мужика — и был убит...

Впрочем, мало получить землю: сколько фермеров еще несколько лет назад поверили, что государство хочет видеть на земле ее собственника, поверили — и были обмануты, задушены налогами, неимоверной ценой на технику, преданы криминальному элементу. Так что теперь надо чуть ли не все заново начинать.

Поводов для недовольства хоть отбавляй, и этим умело пользуются оппоненты нынешней власти. Орган тверских профсоюзов газета «Позиция», относящаяся резко негативно и к губернатору, и к президенту, и к реформам в целом, провоцирует противостояние губернатора и законодательной власти, губернатора и глав районных администраций. К чему это может привести, хорошо известно из уроков истории. Если губернаторская власть будет дискредитирована, нас ожидает анархия и кровавый российский бунт, аналогичный тому, который произошел в марте 1917 года. Тогда власть на местах оказалась полностью бессильна, а озверевшая толпа, подогретая радикальными лозунгами, буквально растерзала последнего тверского губернатора Николая фон Бюнтинга.

Ясно понимая угрозу коммунистического рецидива в России, губернатор Платов поддержал на выборах Ельцина. Его же поддержало и большинство избирателей Тверской области, развеяв миф про «красное Верхневолжье».

Вот теперь-то и начинается самое сложное. В условиях перманентного кризиса Платову предстоит доказать, что люди не зря отдали за него свои голоса, что и верховная власть, за которую агитировал Платов, им отнюдь не враждебна. Перво-наперво необходимо усиление губернаторской власти. Платов намерен внести в Думу и Совет Федерации законопроект, согласно которому в рамках антикризисных мероприятий губернаторам надлежит получить особые полномочия, вплоть до права назначения и смещения руководителей исполнительных районных органов власти. Временно, до стабилизации экономического положения, такой «авторитаризм», опирающийся на здравый смысл и бескорыстное служение делу, просто необходим. За два-три года при умелом ведении дела можно будет подготовить почву для введения властного земства, начнет формироваться тип земского деятеля XXI века. Особые полномочия необходимы губернатору и для энергичного проведения земельной реформы. Пока же в Тверской области есть районы, например Нелидовский, где по состоянию дел на 1 июля 1996 года еще ни один крестьянин не получил в собственности свой земельный пай! Земское самоуправление предстоит вводить в регионах, районах снизу доверху — это процесс поступательный, сложный, но необходимый. И властные полномочия губернатора должны споспешествовать тому, чтоб он начался и неукоснительно получал развитие. Сила и власть — два нерасторжимых понятия. Точка зрения Владимира Платова такова: с этими понятиями должны органично сочетаться закон и право.

Если губернатору удастся добиться такого столь редкого для России сочетания, простому человеку будет бояться нечего. И он наконец почувствует и поймет: власть для человека, а не он для нее.

Тверь.

ЮРИЙ КРАСАВИН

*

НОВАЯ КОРЧЕВА

Провинциальные зарисовки

Вот уже тридцать с лишним лет обитаю я в маленьких, так сказать, уездных городках России, меняя один на другой согласно велениям судьбы. Все эти годы я словно бы переселяюсь с улицы на улицу в одном большом городе, раскинувшемся вольготно на Великой Русской равнине.

Городок, в котором я живу ныне, называется... а вот не люблю я нынешнее его название и упоминать его здесь не стану. Не люблю, потому что имя это дали городу в злосчастные 30-е годы, оно остается чужеродным, безжизненным; я уверен, что городской организм рано или поздно отторгнет его окончательно.

Кому это впервые пришла в голову такая блажь — назвать наш город так, как он называется ныне? То ли страх, то ли подобострастие людское по отношению к большевистским веяниям из столиц подтолкнуло кого-то предложить, а иные поддержали от того же страха и подобострастия, приняв глупую затею за благое дело.

Впрочем, я далек от того, чтобы испытывать неприязнь к тому отнюдь не знаменитому человеку, в честь которого переименовали наш город, — сын своего времени, он участвовал в матросском мятеже 1905 года и был повешен по решению военного трибунала. Говорят, прежде чем пойти на военную службу, он работал здесь, на кузнецовском заводе... Мне приходилось не раз слышать расхожую шутку по отношению к памятнику на привокзальной площади: вот, мол, все с электрички идут с тяжелыми сумками (в недавние годы — с мясом и колбасой), и только морячок Порфирий шагает налегке, молodeцки повесив пиджак на одно плечо.

Городок наш — в прошлом поселок на речке Донховке при ее впадении в Волгу, называвшийся Кузнецово. Вроде бы тоже не ахти какое значительное имя, но оно от рождения. Да и насчет незначительности можно поспорить, поскольку кузнецовский фарфор знаменит был не только в отечестве нашем, но и за его пределами. Впрочем, поселок наш называли так отнюдь не в честь знаменитого фабриканта, а потому, что раньше тут, на месте завода, при переправе через Донховку, где шла дорога к городу Корчева, кузница стояла.

И хотя переименование чего бы то ни было — дело бесславное, однако же сам я, будь в моей власти, переименовал бы наш городок еще раз и назвал бы его **НОВОЙ КОРЧЕВОЙ** — в память той Корчевы, что упомянута в летописях, а при большевиках в 30-е годы ушла под воду, когда Волгу в полусотне километров отсюда перегородили плотиной.

...Еще недавно собирались жители Корчевы — этакое корчевское землячество — на берегу Волги или выезжали на теплоходе на место затопления родного города, устраивали поминальное застолье. Теперь по причине всеобщего обеднения обычай этот прервался. Люди они глубоко пожилые, город тот купеческий — со всеми своими храмами, садами, набережной — у них в памяти, истинный град Китеж, осиянный нездешним светом.

...Погибшая Корчева и дала силы для роста соседнему поселению — рабочему поселку при фарфорово-фаянсовом заводе, ядру нынешнего нашего го-

рода, потому как многие корчевские дома вывезли сюда; так и стоят они теперь, образовав улицы, наименованные в полном согласии с идеологией той эпохи: Пролетарская, Коммунистическая, Октябрьская... Большевиков. Эти новые улицы соединили три прежние — Старая Слобода, Лиговка, Набережная — с близкими деревеньками Александровка, Клоково, Полтево, Андрониха в одно целое. А уж потом к этому добавились улицы из домов многоэтажных...

В первый раз я побывал здесь, в *Новой Корчеве*, в 1958 году — в гостях у родных. От того гощения осталось в памяти, как шел от пристани через бор... мимо стадиона в бору... да как потом за черникой ходили, а черничники оказались совсем рядом, в двадцати минутах ходьбы от дома.

Три года спустя приехал я в Новую Корчеву уже на постоянное жительство, то есть, уточню, это было в 1961 году, когда тут только что прошел взбудораживший жителей слух, будто бы совсем рядом с городом вот-вот начнется строительство электростанции, и даже будто бы крупнейшей в Европе. Слуху этому не верилось как несбыточному, однако он как бы подпитывался новыми фактами: статья в газете появилась... важные гости — из министерства! из обкома партии! — зачастили к местному начальству.

Помню, в заводской Дом культуры посереде зимы набилось множество народа; сидели в зале, стояли в проходах, толпились в дверях: по сцене расхаживал человек перед развешанными картами и схемами и говорил, что уже готов проект тепловой электростанции мощностью столько-то миллионов киловатт и все уже решено: быть ей именно здесь, рядом с Новой Корчевой, на берегу Волги. Все преобразится, говорил он: построят многоэтажные жилые дома («Многоэтажные?» — радостно волновалась публика в зале), разбитую дорогу до Ленинградского шоссе покроют асфальтом («А за сколько же тогда можно будет доехать до шоссе?» — получалось — за считанные минуты), железную дорогу на паровозной тяге электрифицируют, и пойдут электрички Москва — Новая Корчева («Неужто электрички!» — восхищенно шептал зал)... Человек со сцены рассказывал дальше: трубы электростанции видны будут на десятки верст... опоры высоковольтных электролиний зашагают во все стороны... в теплом заливе при станции будут разводить зеркального карпа... Да что! Говорилось даже, будто наш район присоединят к Московской области, ведь если посмотреть на карту, то естественным образом земли наши более тяготеют к Москве, нежели к Твери.

Надо сказать, Новая Корчева до той поры была захудалым городишком, каждая улица которого — подобие обыкновенной деревни: и покосившиеся деревянные домишки, и колодцы, и огороды. Самое высокое здание — кирпичный дом напротив кузнецовского завода, построенный еще до революции, башенка его имела три этажа. На улицах по утрам пастухи сгоняли в стадо коров, домашние куры и гуси купались в лужах, а лужи отличались глубиной и обширностью, местами они сливались в непроходимые топи, в которых упоенно квакали лягушки; на лужайках сушилось и ставилось в копешки сено. В речке Донховке окуни гоняли плотву; тут и там с мосточков женщины полоскали белье или ведрами носили воду поливать огороды.

Но вот стали прибывать в город по железной дороге, по Волге, на баржах и своим ходом автомашины, бульдозеры, экскаваторы. Не успели горожане опомниться — глядь, уже выравнивается неподалеку от города строительная площадка, раздвигая лес и бугры, уже выстраиваются в улицы жилые вагончики строителей, потянулись вереницы груженных самосвалов. А вот уж на берегу Волги роят главный котлован.

Народ все прибывал: объявлена так называемая всесоюзная ударная комсомольская стройка! Рабочие в измазанных спецовках стали обычными прохожими на улицах той части города, что уже называлась «новой», или «постоянный поселок», — они толпились на автобусных остановках, в магазинах, у пивных ларьков. Сами горожане превращались в землекопов, водителей самосвалов, монтажников...

Темп жизни захолустного городка убыстрился.

В ту пору я писал репортажи в областную газету — о монтажниках, ставивших оборудование в главном корпусе, о бетонщиках и каменщиках, подни-

мавших трубы к небесам, о сварщиках и монтажниках, что ставили опоры линии высоковольтной передачи, писал очерк о делегате очередного исторического партийного съезда и так называемые авторские статьи — от имени руководителей стройки.

Вирус строительства оказался здесь очень устойчив. Даже когда всесоюзная ударная успешно завершилась, продолжалось строительство новых заводов, жилых домов. Вокруг Новой Корчевы стали появляться словно по волшебству дачные городки, деревянные и кирпичные, тесовые и бетонно-блочные, с верандами и террасками и без оных, с жилыми чердаками и бетонированными подвалами. А все потому, что народ у нас трудолюбивый, предприимчивый, изобретательный, случается, подворовывал тут и там, но не от жадности, уверяю вас, а от желания выжить. Трудовая деятельность пробуждает жизненный интерес, мобилизует защитные силы организма каждого человека и города в целом, не дает воли тоске и печали. А мало ли ныне причин для сокрушения сердца!

И что ни обещал тогда в заводском Доме культуры автор проекта тепловой электростанции — все, глядите-ка, исполнилось: электростанция из высоких труб своих выстилает по небу шлейфы дыма на десятки километров, электрички бойко ходят в столицу и обратно, асфальтовое полотно легло до Ленинградского шоссе и даже зеркальный карп, говорят, водится в теплом заливе, теплом потому, что в него спускают воду от турбин. А самое главное — при устье Донховки вырос новый город из пяти-девяти-двенадцатизэтажных домов с торговым центром, школами, детскими садами, со своим «белым домом», плотно заселенным чиновничеством... да что, даже светофоры у нас есть на одном из перекрестков! Вот так.

Сама столица явно тяготеет к нам: по берегам Волги, Шоши, Московского моря строят дачи прежние министры и новые капиталисты, их родственники и нужные им люди, генералы и академики, мелкие и крупные жулики, знаменитые и незнаменитые артисты. Да что говорить, коли рядом Завидово, а там правительственные дачи (уж их-то в плохом месте не поставят!), любимые нашим президентом, следовательно, пульт управления государством то и дело перемещается из Московского Кремля в Новокорчевский район.

Так что гордость наших местных патриотов (а их немало!) подогревает мысль: именно здесь сердце России, и нигде более; именно здесь вершится судьба ее.

И тем не менее Новая Корчева всегда жила не столько заводским производством, сколько огородами. Главный, основополагающий азарт местных жителей и всегдашняя тема разговоров — в том, что посеяно и посажено, где взошло да как цвело, чем удобрено да какими жуками поедается. Тут испокон веку огородный интерес успешно противоборствовал со всеми прочими интересами, от криминальных до душевных или, скажем, острополитических.

Впрочем, и политические страсти у нас на уровне столичных. Коли они в Москве кипят, то и у нас тоже; и никакие огороды, никакие дачки в живописных местах не победят в нас политических устремлений. В Новой Корчеве своим чередом проходят манифестации, митинги, газетные дискуссии... только они маленькие, в уездном, районном масштабе. Масштаб иной, но суть та же!

В перестройку, например, Новая Корчева, как и вся страна, увлеченно читала газеты; она, можно сказать, упивалась ими, изумляясь смелости тех или иных статей. К газетным киоскам по утрам выстраивались длинные ворчливые очереди. Городок был политизирован до чрезвычайности, но в своих комментариях освещаемых событий наш провинциальный читатель был явно сдержаннее и осмотрительнее столичных. Это в большом городе можно произнести дерзкое суждение и тут же раствориться в толпе, а у нас деться некуда. У каждого опасение: а не повернется ли завтра политический ветер, и не возьмут ли верх прежние всесильные люди, и не пойдет ли опять все по-прежнему. Любопытно будет поглядеть тогда на некоторых смельчаков да умников с их отважными суждениями о тех делах, что не их ума. Но и сдерживаться порой нет сил, потому случался в привычных очередях опасливый, с оглядкой разговор, похожий на перепалку:

— Одно ворье во властных-то кабинетах.

— А кто бы стал за эти должности держаться, если б лапы не грели? Дураков нет.

— Вон дачи обкомовские! У меня там шурин егерем... порассказывал.

— Эх, посмотрел бы Ленин на эти безобразия!

— А что тебе Ленин-то? Думаешь, в шалаше жил бы!

— Жилкин, первый секретарь горкома, в Верховный Совет не прошел — избрали попа. Ну и что? В магазинах богаче оттого стало?

— Ничего себе! Жилкин завел в болото, а отец Алексей вытаскивай?

И так далее в том же духе.

На проспекте имени Ленина опять повредили памятник Ленину — разбили постамент, облили краской лицо вождя мирового пролетариата.

...Однажды, шагая на рынок по главному проспекту, увидел я прилепленный к постаменту листочек со стихами, отпечатанными на пишущей машинке:

Здесь не могила, нет, — лишь хлад могильный,
Как в идолище мира древнего.
Он здесь затем, чтоб мы его любили,
Чтоб мы ему молитвы возносили,
Чтоб вечно помнили, как страшен гнев его.

Митинги и манифестации ныне происходят обычно в памятные дни, отмеченные красными цифрами в календарях двадцатилетней давности. Грустное это зрелище! От памятника Ленину старички и старушки, многие с палочками, медленно бредут на ту площадь, что перед Дворцом культуры «Современник».

Я живу как раз напротив этого «Современника»; дом наш девятиэтажный играет роль зрительного зала относительно площади-сцены, на которой происходят самые важные общественные действия. Так что я невольный свидетель (зритель) митингов, встреч почетных гостей (Святейший Патриарх приезжал!), новогодних торжеств вокруг елки, приездов знаменитых столичных артистов, собраний мелких и крупных начальников районного масштаба, а иногда и покрупнее — приедет губернатор, начальник главка, а то и министр.

Здание дворца новое, с архитектурной точки зрения довольно нелепое, смахивает на банно-прачечный комбинат, но внутри просторные помещения, есть зал на шестьсот мест — как раз для больших собраний; а площадь, вымощенная бетонными плитами, сможет уместить и многотысячный митинг.

Года три назад тут митинговали попеременно то коммунисты, то демократы. Но в последнее время демократы поуевали, и теперь митингуют только красные. У них в руках плакаты со словами «Долой!» и «Да здравствует!», красные флаги, откуда-то извлекаемые от случая к случаю; алые банты приколоты к груди; произносятся речи, не всегда складные, читаемые по бумажке. Эти собрания почему-то очень похожи на похороны. Кажется, вот сейчас закончатся прощальные выступления, принаклонятся флаги и опустят кого-то в могилу под завывание духового оркестра. Странные улыбки на лицах шагающих мимо прохожих — словно видят они несерьезные игры, забавы взрослых людей, самодеятельный спектакль в убогих декорациях и при явно неполном составе труппы.

— Товарищи! Наша страна была могучей державой с развитой промышленностью, мощной армией. Американские империалисты с нею считались. Советский Союз был оплотом мира, справедливости, воплощением лучших чаяний человечества. На него как на последнюю надежду смотрели народы всего мира.

Оратор — пожилая женщина, уже пенсионерка, бывшая когда-то заведующей идеологическим отделом Новокорчевского горкома партии (потом ее «бросили» на укрепление местной газеты «Заря коммунизма» — стала редактором). Теперь она возглавляет местную организацию одной из компартий России, ездит в Москву для участия в тамошних митингах.

Есть среди ее соратников и несколько энергичных, крепких мужчин, умеющих говорить складно, убедительно, бывших горкомовских пропагандистов.

В конце этого трогательного толковища честь по чести принимается резолюция и передается потом в Москву: «Выражаем протест... требуем отставки... возбуждения уголовного дела...» После чего с сознанием выполненного долга митингующие расходятся.

В прежние времена в одно прекрасное утро я мог видеть, что на автомобильной стоянке возле Дворца культуры «Современник» сгрудились автобусы, легковые автомашины разных марок и еще подъезжали и подъезжали. Тут же и «канареечка» местного ГАИ, гаишники озабоченно хлопочут, разворачивая в объезд случайный транспорт. Я сразу догадывался: ага, солидные дяди опять затеяли партийно-хозяйственный актив.

С какой великолепной важностью вылезали из своих автомашин государственные деятели районного масштаба — сановитые мужчины, солидные дамы, — как одергивали пиджаки и жакеты, обменивались рукопожатиями и шествовали к подъезду.

И вот я, глядя из окошка своей квартиры на забитую машинами площадь, предавался «размышлениям у парадного подъезда»: ну почему, почему так плохи дела в Новой Корчеве, если городом и районом руководит столько энергичных, физически крепких людей самого цветущего возраста? Их добрые намерения я вовсе не ставил под сомнение. Но почему же так тщетны их усилия и почему, понимая, что дело швах, они так вальяжны, так самоуверенны и преисполнены собственного достоинства?

Вспоминая, как некоторое время назад, когда еще наш «белый дом» занимал горком партии, а не нынешняя администрация, он вознамерился провести в городе и районе «дни милосердия». То было время, когда на магазинных полках стояли одни только трехлитровые банки с березовым соком (из Белоруссии), соль в пачках да спички, торопливо покупаемые крупными партиями; крупу перловку да овсяные хлопья продавали по талонам, а ко времени привоза свежего хлеба у каждого магазина выстраивались длинные очереди... Вот в эту пору и был в местной газетке «Заря коммунизма» брошен призыв собрать деньги для помощи особо нуждающимся. Однако жители города призыву не вняли, может быть, потому, что каждый из них ждал такой помощи самому себе. Словом, кампания провалилась, и в печатном органе горкома упрекнули своих читателей: вот, мол, как вы очерствели душой, ничем вас не проймешь.

Тут я рассердился — не на газету, нет! На тех, кто затеял это дело. И принес в редакцию статью, даже не статью — небольшую заметочку по поводу. Я написал, что объявленная кампания — это попытка помочь бедным за счет нищих. Но ведь можно найти и более благородный способ проявить милосердие. Скажем, те же партийные работники, непрерывно заседающие там и тут. Вот взяли бы да и перешли добровольно в промышленное и сельскохозяйственное производство, а партийной работой можно заниматься и на общественных началах. От этого авторитет и партии, и самого партработника только возрастет.

Ждать, когда опубликуют материал, пришлось довольно долго: шла предвыборная кампания и редакция боялась, что мои размышления повлияют на исход выборов не в пользу первого секретаря горкома, соперничавшего в борьбе за депутатский мандат в российский парламент со священником старинной церкви из села Городня-на-Волге. Опубликовали ее уже после того, как партийный руководитель района это соперничество проиграл.

Признаться, я не очень рассчитывал на отклики — ведь предложил-то я лишь то, что, по сути, давно уже у всех на слуху. Но в редакцию пошли письма, их стали публиковать в порядке дискуссии.

Кажется, первой откликнулась женщина, инструктор горкома, написавшая, что своей статьей я хочу «расшатать изнутри, разрушить сложившиеся партийные структуры», «разделить партию и народ, коммунистов и координирующие партийные органы». Далее она прозорливо заметила, что от этих призывов я могу пойти еще дальше и, вполне возможно, выдвину лозунг: «Долой Советы и исполкомы!» И удивилась, что я еще состою в этой самой партии, даже усмотрела в этом некий корыстный расчет: а не рассчитываю ли я, мол, на свою долю в случае невозможного дележа партийного имущества.

Признаться, тут я не удержался и стал прикидывать, что же мне, в самом деле, может достаться при такой дележке — бетонный козырек над горкомов-

ской крышей? или часть канализационной трубы из партийного клозета? Ну, не черная же «Волга», в которой ездит первый секретарь!

В следующем номере газета опубликовала письмо еще одной женщины — «члена КПСС с 1943 года». «Стыдно за вас, писатель! — укорила она меня. — Подсчитали бы, сколько часов работает партработник, сколько трудящихся идет на прием к работникам горкома... им трудно, очень трудно, тем более в самый неподходящий момент им повысили зарплату...»

К женским голосам присоединился семейный дуэт:

«Прочитав статью, подумал, что это первоапрельская шутка, — признавался инвалид второй группы, участник Великой Отечественной войны, ветеран труда и член КПСС с 1939 года, — но прочел еще раз вместе с женой, и мы поразились такому безумию со стороны Ю. Красавина. А нужен ли нам такой писатель, который призывает разогнать Коммунистическую партию?»

Были, правда, отклики и в мою пользу, но их печатали мелким шрифтом и помещали в самом низу газетной полосы — отрывочками из авторских писем: «поддерживаем предложение писателя Красавина», «надо решать, кого нам больше жалеть — сирот, инвалидов, престарелых или партаппаратчиков», «за свои тридцать семь лет пребывания в партии я выплатил взносов более трех тысяч рублей, которые пошли в карманы райкомов, горкомов, профкомов, — лучше б я на эти деньги «Запорожец» купил. Не обидно ли!»

Оппоненты же предполагали, что я являюсь членом партии анархо-синдикалистов, намекали, что работаю на иностранную разведку, и восклицали: «Откройте свое истинное лицо!»

«Только сейчас меня осенило, — писал один из моих оппонентов, — Красавин написал статью, чтоб хоть так стать знаменитым, а то ведь книг его никто не читает».

...Время шло, шоковая терапия и у нас в Новой Корчеве породила новую популяцию. Это именно новые люди, как бы новый антропологический тип, те, на кого едва ли не в одночасье пролился золотой дождь: что-то они удачно приватизировали, что-то из ранее украденного нельзя было объявить, обнаружить, а теперь стало возможным; что-то они счастливо «прокрутили», получили крупный барыш и теперь вот почувствовали свое превосходство над прочим народонаселением: оделись с вызывающей броскостью, приобрели породистых собак и стали их выгуливать в самых людных местах Новой Корчевы; накопили престижных автомашин и стали гонять по улицам, презирая все правила уличного движения, и так далее.

Вот картинка с натуры... В магазине в конце дня народу набралось много — привезли свежий хлеб, калачи, так что к кассе выстроилась очередь. В этой очереди девица — высокого роста, в замшевой куртке и белой шапке, в теплой юбке с вызывающим разрезом сзади и, конечно, в импортных сапогах и ко всему этому еще и с рослым псом на поводке — явно страдала, что вот придется ей стоять в одной очереди с людьми, так сказать, бедными и простыми.

А пес ее вовсе не страдал, хотя и был, вполне допуская, аристократом по крови, — он с любознательностью обнюхивал стоявших рядом, толкаясь мокрым носом в авоськи и сумки со съестными припасами. От него отшатывались, поскольку, повторяю, пес был рослый и что у него на уме, неведомо.

— Да что вы собаку-то в магазин привели! — не выдержала пожилая женщина, только что обнюханная псом. Народ ее поддержал.

И вдруг девица взорвалась:

— Заткнись! Собака им помешала, блин. Дебилы корчевские! Да не нюхай ты их, не нюхай! Отрависься.

Сцена эта, признаюсь, повергла меня в размышление.

Почему вместо обыкновенной удовлетворенности своим успехом у наших доморожденных богачей проснулось глубокое презрение к тем, кто победнее, кто не столь удачлив, кем жизнь распорядилась не столь милостиво? Среди этих бедных много таких, кто не смог пренебречь своей совестью, чьи честь и достоинство остались главным и, может быть, единственным капиталом на всю оставшуюся жизнь.

Не оттого ли в воздухе нашего города (и только ли нашего?) уже растворен дух ненависти, зависти, злобы, разрушения — того, что может стать причиной катастрофы? Если ослабнут государственные обручи, удерживающие людей в рамках порядка, — грянет беда большая, нежели та, что ныне пожаром полыхает по окраинам нашей державы. Не надо думать, что за дальностью расстояний жаркое пламя междоусобиц и вражды не доплеснет и до нас.

Вот еду я к себе в Новую Корчеву из Москвы на электричке; рядом — яростный спор, в котором активнее всех крепкий мужик угрожающе грозит крючковатым пальцем:

— Ты видал, какие они себе особняки отгрохали? А спроси: откуда такие деньги? На твою зарплату можно столько накопить? Директора совхозов да председатели колхозов — это ж помещики! Живоглоты! Мироеды!

Наибольшую же ненависть пробуждают в нем новоявленные бизнесмены:

— Этих кооператоров да спекулянтов — к стенке!

Разговор сумбурный, горячий. Никто никому и ничего не смог доказать: попутчики сошли в Клину, а мужик переключился на меня, сидевшего до сих пор в стороне.

— Откуда вы? — спросил я миролюбиво, чтоб маленько успокоить его.

Он назвал деревню недалеко от Новой Корчевы.

И снова принялся клясть партократов, демократов, империалистов, спекулянтов... С той же яростью.

Судя по всему, он страстно желает наступления всеобщей смуты, того самого народного бунта, бессмысленного и беспощадного, в котором он и проявит свои способности.

— У меня племянник недавно из армии пришел, говорит: где бы только автомат достать, — зашептал он мне. — Ему б автомат — всех новокорчевских торговцев покосит! А начинать надо с Москвы. Сначала этих дерьмократов-партократов... это ж оборотни! Был коммунист, стал демократ — разве не оборотень? Разбогатели на взятках, на спекуляциях!

Мало ли их, таких «дядей» и «племянников», ждущих своего часа, жаждущих нового, более справедливого, по их мнению, перераспределения богатств, желающих разбогатеть разом, в один день, а вернее, в одну ночь при помощи топора или автомата. Даже сосед мой Александр Степанович, что на костылях ходит, тоже интересуется, где бы автомат достать. Шутит, конечно, однако шутки такие — зловещее знамение времени нашего.

И не хотим мы, жители Новой Корчевы (как, впрочем, и в иных местах, даже в столицах живущие), вести здоровый и разумный образ жизни — непременно жаждем чуда исцеления! Именно чуда, потому как простодушны мы, как малые дети, и даже, по-видимому, изрядно глуповаты. А для глупых овец всегда найдется хитрован пастух, чтоб шерстку с них стричь и шкурку снимать. Таковых «пастырей» немало уже развелось по городам и весям нашего многотерпеливого Отечества, и число их с каждым днем растет.

Соблазн занять собственное стадо овец так велик и приманчив, что впадают в него молодые и старые, здоровые и больные, глупые и умные, сиятельно-образованные и чугунно-безграмотные, а также те, по ком скучают или прокурор, или психиатричка. А потому он столь приманчив, этот соблазн, что приносит ощутимые выгоды, как материальные, так и моральные: не только денежку, но и изрядный интерес к персоне так называемого целителя, а по-научному — экстрасенса.

Вот сижу я в просторном зале, будучи при этом твердо уверен, что живу не в средние века, отмеченные сугубым невежеством и ретивым мракобесием. Тут происходит очередное действие одного из наших местных целителей. В более раннем возрасте он пытался сделать партийную карьеру, был инструктором горкома партии — неплохое начало для молодого человека! Но... партию распустили. Он вовремя перешел на военный завод, но предприятие это вскоре заглохло: конверсия! Тут началась предвыборная кампания, и наш герой стал помогать священнику из славного села Городня-на-Волге, боровшемуся за депутатское место в Верховный Совет против первого секретаря Новокор-

чевского горкома (то есть бывшего своего шефа); когда священник победил, то инструктор горкома стал его помощником. Стать-то стал, но... Верховный Совет плохо кончил. Опять незадача! Впору опустить руки, но энергичный молодой человек успешно приспосабливается к любой обстановке: для него в администрации нашего города создали должность помощника при главе! Тут бы и успокоиться, однако обретенный жизненный опыт подсказывает: ничто не постоянно в этом мире, необходим запасной вариант.

Будучи человеком честолюбивым, он никак не может примириться с тем, что превратился уже как бы в профессионального помощника при ком-то, — ему уже по вкусу и роль лидера, хочется открыть собственное дело. А тут новый ветер подул в паруса предприимчивых людей: мода на целителей, врачей-целителей, знахарей, колдунов. И вот наш молодой человек подался в экстрасенсы. Правда, он отрешивается от модного ныне звания целителя, хотя действует именно по части исцеления и врачевания; а отрешивается затем, чтоб не лишиться покровительства влиятельного в нашем городе священника отца Бориса, хитроумно лавируя между Сциллой церковного осуждения и Харибдой сладкого соблазна.

Имея диплом инженера в той области, что далека от медицины настолько же, насколько далеки от нее профессии плотника или скотника, наш целитель скромно аттестуется так: учился-де новому ремеслу (народного врачевания) у мудрецов Горного Алтая и Сибири, у северных знахарей и бабок (впрочем, и у южных тоже); а помимо того, дескать, изучал древние тексты и новейшие исследования — в общем, всю науку знахарского врачевания и чудотворного исцеления прошел по периметру и таким образом овладел ею. Груз обретенных им знаний так велик, что за короткую лекцию ошарашенные слушатели могут узнать и про «выброс плазменной энергии» на территории некоего бывшего колхоза, и про то, что у злых людей желчь «длиннее», нежели у добрых, и про «разлом земной коры» где-нибудь возле Моршанска или Конотопа, и про «блокировку подсознательной агрессии», и о высшем предназначении селезенки, и о «гибели трех цивилизаций», и о «внешнем и внутреннем биоритме»... и много, много чего еще.

— Желчный пузырь — это дирижер в нашем организме; необходим для расщепления жиров. Переполнение желчного пузыря при стрессах опасно... рекомендую за десять минут до еды воду сорок раз перелить из банки в банку... и даю вам духовное направление... необходима чистота мыслей, она отражается на потомстве.

Он не красноречив, нет, — говорит спотыкаясь, заглядывая в какие-то свои «записи» и «конспекты». Часто вообще несет просто, на мой взгляд, абракадабру. Вот, к примеру, его свежая публикация в местной газетке:

«Биополе, окружающее человека, помимо разнообразных свойств выполняет еще и защитную функцию. Но, приходя на массовые сеансы, человек защищен до тех пор, пока не проявит интерес и внимание к процессу воздействия. Как только это произошло, человек автоматически настраивается на частоту вибраций целителя. И не важно, где этот целитель находится — в зале или выступает с экрана телевизора, так как для микрочастиц, которые являются носителями информации, не существует расстояний и преград. После настройки на частоту вибраций устанавливается связь между целителем и зрителем. Такова наша природа, т. е., фиксируя на чем-либо свое внимание, человек посредством взаимодействия биополей входит с ним в энергетический контакт»...

— Теперь небольшая информация о божественной сущности, — голос со сцены — с запинкой.

Тотчас приободряюсь: меня хлебом не корми, дай только послушать о сущности, тем более божественной. Увы, ничего конкретного. А пока:

— Я приготовил для вас двадцать пакетиков... можете купить.

Ключевой момент, ради которого, собственно, и весь сыр-бор: надо и честь соблюсти, и капитал приобрести. Конечно, хотелось бы прослыть бессребреником, но... задаром только птички поют.

— Тонизирующие, жаропонижающие, почечные. А на семьдесят флаконов соберите деньги...

Икона Богородицы на столике; свечка перед нею кротко горит. Наш целитель включает магнитофон, льется сладкая, размычивая мелодия, и голос вкрадчивый (то ли женский, то ли мужской — не разберешь) под эту убаюкивающую музыку просит:

— Господи! Пошли мне исцеление... омолоди мои члены... дай мне новую почку... Пресвятая Дева, яви милость Свою... пусть зарубцуется язва моей двенадцатиперстной...

Печально и горестно смотрит Богородица с иконы: ведают ли, что творят перед Нею? На протяжении получаса и более: дай то... дай это... дай еще... Вознесение молитвы стало на сеансе целителя бесстыдной профанацией. Факт нашего пришествия на этот свет, разумеется, важен, но разве не важнее содержание жизни, а не ее бессмысленное продление? Что ж о том не просят Матерь Божию собравшиеся: помоги обрести смысл моему бесплодному существованию на белом свете... помоги подняться над брэнностью бытия духу моему!

Удивительный город Новая Корчева! Иной раз подумаешь: ах, сюда б Гоголя или Салтыкова-Щедрина! А впрочем, тут встречаются такие колоритные личности и происходят такие дивные действия, что, ей-Богу, не нужно гениальной фантазии Николая Васильевича или Михаила Евграфовича — садись да пиши с натуры, и будет в самый раз.

Наш целитель спускается в зал, проходит по рядам. У него хитровато-вдохновенное лицо, он даже руки нервно потирает: ага, мол, кое-кого вроде бы зацепило!

— Пресвятая Богородица, умоли Сына Своего... дай мне исцеления от боли... замени мою больную селезенку на здоровую, — это голос из магнитофона неустанно просит.

Нет, думается мне, не юмористы да сатирики нужны нам в Новой Корчеве, а неистовый протопоп Аввакум, ревнитель «древлего благочестия», сожженный в Пустозерске.

«Якоже древле рече диявол: «Поставлю престол мой на небеси и буду подобен Вышнему», тако и тии глаголят: «Мы разумеем небесная и земная, и кто нам подобен!» И взимахуся брадьяны дети выше облак — слово в слово, яко и сатана древле. Сего ради отверже их Бог...»

Надо ли переводить с языка Аввакумова сие гневное суждение? По-моему, все ясно.

Отец Борис, протоиерей Ильинской церкви близ Новой Корчевы, безусловно, уважаемый человек в нашем обществе. Он молод, энергичен, настойчив, целеустремлен, образован (кандидат психологических наук и даже, по слухам, пишет докторскую диссертацию); он вот-вот «пойдет на повышение», то есть получит новый сан и новое, более высокое, место — такова молва о нем.

Но как-то так получается, что личные встречи с отцом Борисом (редкие, надо сказать, встречи!) отчуждают меня от церкви. И не один я в подобном положении, то и дело слышишь нелицеприятные суждения о нем: вот, мол, способен батюшка на беспричинную резкость, больно задевающую человека; и подвержен, мол, греху высокомерия да высокоумия; и слишком-де опрометчиво, слишком безоглядно, а потому и неразумно делит людей на «своих» и «чужих», а его ли это дело — разделять, внушая одним неприязнь к другим? И так далее.

В последние годы многие повернулись лицом к церкви, с сочувствием и добросердечием обратились к ней; и люди попроще, и интеллигенты полны жажды постигнуть смысл и значение святых таинств, красоту церковного богослужения, приобщиться к приходской жизни.

Сам я с некоторой завистью смотрю на молящихся; они сподобились уверовать, а я мытарюсь в сомнениях — может быть, потому, что, сделав Библию настольной книгой, священные тексты — предметом размышлений, теряюсь в сонме неразрешимых вопросов, вместо того чтобы уверовать просто и доверчиво, безоглядно и бесхитростно, «как дети».

По-видимому, такие «размышляющие» раздражают священников. Святым отцам проще с теми, кто доверчив и простодушен, с кем не надо совершать

труд переубеждения и вразумления; им легче управлять паствой, поддающейся сразу, без ненужных сомнений и колебаний.

Так что же, разве не понимают они — это скорее беда, а не вина людей, склонных к соблазну размышлений? Тут, конечно же, их пастырское слово не было бы лишним. Я вот не уклонился бы услышать его, но как ни приходишь в Божий храм — встречаешь неприязненный взгляд отца Бориса, ревниво отделивающий тебя, как больную овцу от стада, слышишь недобрый шепот старух, недовольных неведомо чем. Тут-то и возникают самым естественным порядком и недоумение, и обида, поскольку чувствуешь себя отвергнутым несправедливо, то есть ни за что ни про что. А разве этакое отторжение не родственно кастовой розни?

И почему старые прихожанки так ожесточены, подозрительны, недобры? Вроде бы красота божественных литургий и смысл проповедей священников должны пробуждать в них любовь к ближнему, кротость и смирение и, конечно, внимание к нам, заблудшим. Не естественней ли было бы с их стороны желание помочь другим выйти на правильную дорогу. Ан нет! Они — воительницы, ревниво оберегающие то, к чему сами приобщены, чтоб, Боже избави, кому-нибудь еще не досталась частица благодати Божией. Но почему, почему?

Тут греховная мысль посещает меня: почти всякому человеку — за редким исключением! — свойственно стремиться к власти над своими братьями. Наверно, это заложено в природе человека, потому он находит сладость в повелевании и управлении, будь то учитель в школе, офицер в воинской части или пастырь в сельской церкви. Ничего плохого в том, разумеется, не было бы, если б эта власть осуществлялась с любовью; беда — когда нет милосердия.

Однажды прочитал я в газете «Тверская жизнь» статью «Психология безродности» нашего протоиерея Бориса. И как тут было не покачать головой согласно: «никакой сложности в православных ритуалах нет» (с этим, впрочем, согласится не каждый), «православие, к чести своей, сохранило всю полноту и невероятную красоту нашей Божественной литургии», «светская и духовная национальная культура — неразрывное целое», «русские люди всегда гостеприимны», «обретение своего исторического и национального лица и достоинства»...

Хорошие слова. Я радовался, читая их, — значит, не только разум, но и сердце согласно. Чего же больше! Но смушало вот что... Ныне, когда воинствующие представители других вероисповеданий ведут активное наступление на православную Русь, деятельность пастыря должна охватывать и город Новая Корчева, не имеющий храма. Отец Борис должен быть в нашей Новой Корчеве миссионером, размышлял я, он должен сам идти к людям, чтобы объединить их, спланивать, просвещать, а не делить на «чистых» и «нечистых».

Вот и об открытии часовни у нас в Новой Корчеве я узнал случайно от человека верующего:

— Вы только об этом никому не говорите — отец Борис хочет, чтоб при открытии присутствовали только «наши». Понимаете?

Тогда же, в новой часовенке, услышал я непримиримые слова проповеди отца Бориса:

— Этот богооставленный и богоброшенный город...

Признаюсь, хотелось воскликнуть — не в храме, конечно, а обращаясь лично к нему:

— Да полно вам, уважаемый отец Борис! Что вы размахиваете крестом да кадилом, с кем воюете, за что клянете горожан? Уместны ли в наши неподъемные времена эти громы и молнии?

Возмутившись этак, урезониваю себя: а может, так и надо с нами, заблудшими, погрязшими в суете греховной? Может, и правомерно — крестом да по головам?

Нет! — возражаю я в гордыне своей окаянной, и даже так потом: не только тот свет, что в окне, и не только в храме слышит Господь молитву. Разве не чувствую я в себе частицу Бога, что и составляет во мне совесть мою?

Не становится ли православная община у нас в Новой Корчеве замкнутым в себе сообществом людей, которые как бы встали в круг, обратясь друг к другу лицами, а к миру — спинами? Ильинская церковь стала этаким частным

владением, куда ступаешь со смущенной душой: мол, разрешит ли хозяин, не прогонит ли? Церковь в селе Селихово — наше общее достояние, нельзя ее превращать в место по распределению Божией благодати, да еще чтоб этим распределением ведал один человек, управляя храмом, как боевым кораблем.

Я, пожалуй, типичный представитель своего поколения — мы воспитаны на безбожии. Коммунистическая пропаганда не без успеха поработала над нашим сознанием, и божественный глас долетает до нашего внемлющего уха через большее расстояние, нежели до праведника. Мы не можем встать в храме на колени, нам трудно приложиться к руке священника. Увы, мы подобны больным, и тут священник призван быть лечащим врачом. Разве не так? Да, в нашей болезни виноваты мы сами, но разве не милосерден Бог и разве не милосердным должен быть «лечащий» священнослужитель? Следовательно, девиз врача «не навреди» годится и для священника (тут кто-то хитренько подсказывает: годится, мол, и другой: «Врачу, исцелися сам!»). Но когда ко мне пришли сектанты из Богородичного центра, я сказал:

— Все мои деды-прадеды были православными христианами, и сам я крещен в младенчестве. Не хочу даже вникать в суть ваших учений. Я православный христианин и на том стою.

Но мне было горько, что эти «проповедницы» не ждут, подобно отцу Борису, когда к ним придут, — они сами идут к людям: на работу, домой, проповедуют на улицах, в электричках.

Это кропотливая, нелегкая, так сказать, черновая работа, которой сторонится православный пастырь отец Борис. Он мастер организовывать мероприятия, которые не остаются незамеченными церковным начальством, пользуются вниманием прессы и властей. Да, он деловит, прекрасно ориентируется в общественной ситуации: где что достать, с кем из сильных местного мира дружить, кого и как привлечь обещанием участия в зарубежной поездке... Потому он давно обласкан властями — и при горьком партии, и при Советах, и ныне, при администрации. Все упомянутые качества полезны и необходимы для многих, в том числе и для православных пастырей, если только они не самодовлеющи. Как было бы хорошо, если б отец Борис заменил нашего местного целителя, дирижирующего перед иконой Богородицы мольбами о новой печенке да селезенке, и вместо малограмотных лекций мы слышали бы разумное слово, пылкую проповедь. Но где там! Священник занят делами светскими и передоверил благое дело случайному человеку, а тот творит из этого глумливое действо, кощунство.

Я не хожу в церковь на службу, не исповедуюсь, святого причастия не принимаю, какой я верующий! Но иногда хочется зайти в храм, подумать о жизни своей, поставить свечку, что и делаю обычно, но не в Новой Корчеве. А в нашей церкви встречаю неизменно отторгающий взгляд отца Бориса, а то и его неприязненные слова.

Я утешаю себя тем, что авось не только в церкви слышит нас Господь и, согласно народной пословице, «Бог — не Микитка», Он разберется, кто из нас чего стоил на этом свете, последнее слово — за Ним.

Вот с этими мыслями я и прохожу мимо Ильинского храма. Увы, не я один¹.

Мой опыт общения с должностными лицами разных рангов можно считать довольно богатым: сколько начальственных лиц я видел за свою жизнь, сколько властных рук пожал, сколько вельможных тембров голоса слышал! Председатели и заседатели, заведующие и управляющие, «первые секретари», «вторые секретари», наконец, министры! Врать не стану: с премьерами и президентами не встречался. Но зато успел уже пообщаться с новыми должностными лицами — главами администраций, их первыми заместителями, просто заместителями да еще с помощниками!

И вот что я заметил: чем мельче чиновник, тем тягостнее с ним разговаривать: и слушает вполуха, и смотрит на тебя рассеянно, вполглаза.

¹ К сожалению, автор забыл упомянуть многотрудную и плодотворную работу отца Бориса (Нечипорова) с детворой: прекрасный певческий класс, мастерские и т. д., организованные при городской школе. (Примеч. ред.)

По сравнению с министрами и губернаторами чиновник районного масштаба гораздо чваннее, развязнее и небрежнее к нашему брату просителю; он агрессивней и не ведаёт прощенья. На его лице подчас такая ленивая усталость от государственных дел, что в пору бы министру! У него явно обозначено на лице: кого хочу — помилую, кого хочу — казню. Это упоение властью, пусть и небольшой, но именно властью. Редко встретишь среди них благожелательного человека!

Вот пришел я к главе администрации своего города. То есть не просто «пришел», а после долгих мытарств! Поди-ка попади на прием к главе районной администрации, узнаешь, почему фунт лиха. Сначала-то я пытался условиться о встрече с ним по телефону, небезосновательно считая, что мое писательское звание хоть и не волшебное «Сезам, откройся!», но все-таки возымеет свое действие, и я буду принят без длительного многонедельного ожидания. «Небось к нему писатели не косяками ходят», — подумал я самолюбиво.

Надо ли прояснять, что тут речь не об уважении ко мне лично — вовсе нет! Согласитесь, что с этим словом — «писатель» — ассоциируются такие славные имена!

И вот, наполнив себя сознанием своей значимости, я и отправился к главе администрации с делом важным и необходимым, которое послужило бы чести и славе нашего города, не отмеченного ни древностью, ни архитектурными красотами, но по-своему достойного любви и изумления.

Дозвониться до главы по прямому телефону не удалось: глава просто не поднимал трубку. А через приемную тоже не получалось: на секретаршу моя профессия не производила ровно никакого впечатления. Кажется, приди хоть Тургенев с Чеховым, она и им скажет, как мне говорила: «Вилли Андреевич занят» — и кляла трубку. И так много дней; я уж эту молодую привлекательную женщину стал почтительно величать госпожой секретаршей, но все равно не помогало.

Потеряв терпение, я явился в приемную, решив добиться аудиенции у «отца города» во что бы то ни стало, и высидел там два часа. Секретарша бдительно стерегла меня: «Вилли Андреевич занят, он не принимает».

Действительно, в кабинет главы заходили и выходили сотрудники да еще какие-то вкрадчивые молодые люди, бросавшие на меня зоркие взгляды сверху вниз — там, в кабинете, совершалось таинство реализации власти.

Вдруг желанная дверь распахнулась, глава администрации вышел, одеваясь на ходу, и — секретарше: «В Марьино. Вернусь через час». Я — к нему: мол, так и так, у меня крайняя необходимость в кратком разговоре с вами. Он же, не устаивая меня ни словом, ни взглядом, удалялся по коридору. Я, уже кипящий негодованием, — за ним:

— Поймите: не ради себя хлопочу — ради города нашего!

— По телефону надо было договариваться о встрече, а потом приходите! — бросил через плечо в самом раздраженном тоне и стал спускаться по лестнице.

— Да не пробитесь к вам по телефону: секретарша не пускает.

Как бы то ни было, я не отставал.

Это была довольно смешная сцена, но мною двигала не личная, а общественная забота, и ради нее я готов был поступиться своей гордостью. На нижнем марше лестницы он бросил:

— Сегодня... в четыре.

И вот я снова в приемной — и час, и два.

Нет, сидение там не было для меня временем, потраченным впустую. Я мог наблюдать, как волны человеческих стремлений и страданий, сопровождаемых слезами и мольбами, шепотом и криками, разбиваются об утес властного кабинета. И вот что примечательно: если звонили по междугородней, секретарша приятным голоском говорила в трубку: «Вилли Андреевич, ответьте Твери». Местным же, мелким, как говорится, сошкам, отвечала отрывисто: «Вилли Андреевич занят» — и первой кляла трубку. Я для себя отметил: надо звонить ему только по междугороднему.

И опять я, грешный человек, размышлял: какими заботами занят глава администрации? Что за многотрудные дела отнимают у него все время, если эта бурная деятельность никак не отражается на нашем городе? А если отражается, то кто мне скажет, в чем именно?

Невеселые размышления эти были прерваны запоздалым приглашением в кабинет.

Вошел — у главы администрации сидел человек... почему-то одетый; расположил он у окна в углу, расстегнув полы пальто и раскинув вытянутые ноги. Я принял его за личного шофера главы. Они продолжали беседовать, переговариваясь через весь кабинет и через меня, вошедшего.

— Две минуты! — кратко предупредил хозяин кабинета, обращаясь ко мне, и отправился к шкафу — за кипятильником, зазвенел чашкой, попутно объясняя «шоферу»: — Вот, чаю некогда попить.

Это я, так получалось, не давал ему напиток. Мне сразу стало ужасно неловко.

Заваривая чай, он строго посмотрел на меня, и, кажется, мой растерянный вид доставил ему мимолетное удовольствие.

Через две минуты я вышел от него с таким чувством, словно мне там только что отдавили ногу. «И пошли они, солнцем палимы, повторяя: Суди его Бог! Разводя безнадежно руками...»

...И не надо было мне идти к нему еще раз, через несколько месяцев, но нельзя было и не идти. Личные обиды — одно, а общественное дело — совсем другое.

Теперь уже я избрал иной путь: записался на прием, каковой бывает у главы по четвергам. Ну, не каждый четверг, разумеется, учитывая отъезды главы, болезни его и отпуска, важные совещания и прочее.

Теперь у главы, как выяснилось, появился «помощник» — новая должность в администрации.

И то сказать: главе он нужен как воздух. А то ишь до чего дошли: сам себе чай заваривает. Новый же сотрудник очень сноровисто «сортировал» просителей, а помимо того, как я понял, он «ориентировал» шефа по отношению к ним и вообще «распоряжался» на подступах к властному кабинету. Теперь уже не сам глава, а его помощник сказал мне строго: «Две минуты!»

Во время моей пылкой речи (я уложился в отведенное мне время) глава администрации сидел в позе Бормана в известном телесериале: руки на столе, голова наклонена вперед, тяжелый взгляд. Лицо властного человека было при этом непроницаемо, и я не мог судить, слушает ли он меня. Тем более что на мое «здравствуйте» он в ответ ни мур-мур, даже не пошевелился, словно пребывал в состоянии медитации.

Надменная неподвижность его лица отражалась такой же надменностью на лице его помощника: стиль шефа очень чутко улавливается подчиненными! Не произнеся ни слова, глава подписал какую-то бумагу, имевшую отношение к моему делу (это называется — «вопрос был заранее проработан»), и мрачно кивнул мне, давая понять, что аудиенция закончена.

Все бы хорошо... но дальше мне предстояло реализовывать подписанное им распоряжение, а это не так-то просто, поскольку строгость «указов» нашего главы, как и строгость российских законов, «смягчается необязательностью их исполнения». Мне предстояло вступить в нелегкие отношения с работниками администрации, и я скоро убедился, что народная мудрость справедлива: милостив царь, да немилостив псарь.

Очень скоро от заместителя главы я услышал:

— Что вы ходите ко мне по десять раз на дню!

Не знаю, как вас, а меня слова, произнесенные столь свирепо, окатывают жаром с головы до ног. Думаю, люди военные, да с пылким характером в таких случаях начинают расстегивать кобуру. А я человек мирной профессии, вот и ношу чужую грубость, как пощечину.

Этот заместитель был у нас раньше председателем горсовета. Теперь и для него тоже персонально создали в администрации новую должность. Конечно, она пониже, чем прежняя, но тоже неплоха — и в смысле зарплаты, и в прочем. Вообще нынче должности в администрациях создаются с легкостью необыкновенной. Гуманные идеи владеют властными людьми в таких случаях: мол, отставному председателю скоро на пенсию, так надо, чтоб он «досидел», а потому вот и должностишка ему. В своем давнем противоборстве — кто главнее: Совет или администрация? — председатель потерпел поражение не по своей вине — по воле Президента страны, потому ужасно обижен на судьбу и

страдает, отчего стал раздражителен и вспыльчив. А я не земельный участок себе под дачу прошу, не ссуду безвозвратную — о городе нашем пекусь!

— Не ходите больше ко мне, не надоедайте! — резко сказал бывший председатель.

Еще один заместитель выразился столь же кратко:

— Знать ничего не знаю. Кто подписал бумагу, тот пусть и исполняет.

Наконец, третий заместитель (сколько их, Боже мой!) тоже развел руками:

— Я ничего для вас сделать не могу... Пусть решает глава администрации.

Я — к помощнику, которому вроде бы тоже поручено исполнение приказа. В присутствии своего шефа он рта не раскрыл, но когда мы остались с ним вдвоем и я выразил несогласие с подписанным распоряжением, то этот молодой человек (у меня сын примерно такого же возраста) и ножкой изволил топнуть, и голос гневно возвысить:

— А раз так, вы не получите ни рубля!

Меня топанье ножкой не испугало, я продолжал смиренно настаивать на своем: это не та сумма, которая нужна для задуманного дела! Тут он начальственно побагровел:

— Вот что, Юрий Васильевич, я человек прямой и говорю вам прямо: мы ошиблись в вас, вы не тот человек, за кого мы вас принимали.

Подрастет помощник — тоже станет главой... то-то лихо будет нашему брату просителю!

И вот что интересно: во сколько миллионов рублей обходится бюджету города (налогоплательщикам!) содержание одного чиновника или двух? Вот, скажем, еще одного заместителя главы и еще одного помощника? И что мне, гражданину города, от того, что в администрации появились новые должностные лица? Один на меня кричит, другой ножкой топает... следующие, по-видимому, будут выталкивать в шею или, чего доброго, побьют.

Стоило ли мне ранее взывать к работникам горкома партии: не много ли вас там и какая от вас конкретная польза? Теперь в «белом доме» еще больше народу и еще меньше толку. Прежние хозяева кабинетов хоть вежливы и обходительны со мной были...

Теперь вот думаю: ну ладно, я — все-таки писатель, звание лауреатское имею и в высокие кабинеты, случается, захожу без учащенного сердцебиения... а если в наш «белый дом» придет робкий или старый, слабый человек? Какая-нибудь старушка, которой за своей фамилией после запятой и слова «пенсионер» или «инвалид» нечего поставить, — каково ей попасть на прием... попросить, чтоб выслушали... Придет — и лишний раз узнает на своей шкуре, что такое демократия в действии.

Ранними утрами зимой и летом я просыпаюсь оттого, что дворники усердно скребут лопатами бетонные плиты подъезда Дворца культуры и площади перед ним, метут вениками и метлами — смотря по сезону. Обычно их двое, мужчина и женщина, уже пожилые люди, а работают они вот именно усердно и старательно, а потому и безжалостно по отношению к спящему напротив жилому дому.

Особенно много работы у них наутро после праздничных, субботних да воскресных дискотек. Для нас, жителей дома напротив, это страдные вечера — до полуночи во Дворце культуры творится озадачивающее действие: недра его рокочат, гудят, громяхают; слушая эту мощную, прямо-таки титаническую работу, я живо представляю себе чудовищной величины кривошипно-шатунный механизм, который мерно, раз за разом на протяжении всего вечера опускает многопудовый молот на чугунную наковальню: ух! ух! ух! Если мимо идешь, то даже жутковато немного.

Надо отдать должное строителям дворца: полтора десятилетия назад они поработали на совесть, воздвигая это здание, — ведь не обрушилось до сих пор от воздействия тяжких децибел! А могло бы и рухнуть. Наверно, его очень предусмотрительно спроектировали и воздвигли с двойным или даже тройным запасом прочности.

Директору дворца Николаю Михайловичу Makeеву впору заводить толстую тетрадь под названием «Криминальная хроника Дворца культуры». Я как раз и совету ему это — хорошо шутить постороннему человеку вроде меня! — но

директору не до шуток. Он озабочен: как удержать молодежную стихию? Обычно ему помогают в этом деле две-три смиренные и испуганные пожилые женщины — их лица не покидают выражения тревоги и ожидания чего-то страшного.

Приехала однажды милицейская машина, рассказывает Николай Михайлович, зашли, посмотрели: «Ничем не можем помочь». Сели и уехали. Я — дежурному по городу: не может ли он повлиять на милицию? А тот: с этим не ко мне — обращайтесь к главе администрации. Но как звонить главе на квартиру, если уже вечер... у него выходной, он тоже человек.

В полночь толпа ошалевших молодых граждан начинает вываливаться из дверей Дворца культуры на площадь с сумасшедшим хохотом и истерическими визгами, устрашающими воплями, матерщиной.

Если драка почему-либо не состоялась, то обязательно воследует какое-нибудь хулиганское действие: иной доброхот поднимет металлическую урну для мусора и шарахнет ею в витринное окно гостеприимного дворца; звон разбитого стекла вызывает в этой толпе восторг, вот другой молодец запустил пустой бутылкой в фонарь на столбе.

Первыми жертвами обычно становятся дюралевая будка автобусной остановки и краеведческий музей — смиренная пристройка к нашему дому; оба эти объекта как раз напротив Дворца культуры, через дорогу. Ребристую дюралевую будку лупят кирпичами и бутылками, вопя победно и торжествуя. Наш дом, переживая этот «театральный разезд», терпеливо слушает гулкие удары. Никто не решается подать голос и урезонить добрых молодец, пристыдить их. Впрочем, иногда «не выдерживает сердце» у храброй женщины, живущей в нашем подъезде на пятом этаже, — Зинаиды Матвеевны.

— Что ты делаешь, бессовестный! — кричит она из своего окна. — Чем тебе будка-то помешала?

Ей отвечают словами, которые я тут привести не решаюсь. Самые приличные из них:

— Молчи, тетка! Башку разможду!

И добрые молодцы принимаются за краеведческий музей. У него раньше были широченные — во всю стену — окна, с одной стороны и с другой. Не могу судить с уверенностью, но так полагаю, что кому-то, наверно, приятно шарахнуть в такое окно кирпичом или бутылкой. Иначе чем объяснить упорство, с каким разбивали окна этого учреждения культуры, предназначенного пробудить в согражданах любовь к родному краю, к родному городу. Разобьют — музей вставляет новое стекло размером в несколько квадратных метров; на следующий вечер его опять разобьют... Теперь оконные проемы наглухо закрыты кирпичной кладкой, музей стал похож на крепость, не хватает только орудий в окошках-бойницах; он отгородился от нашествия диких орд чугунными тумбами и металлической оградой, но... тумбы выворачивают вместе с их бетонными фундаментами.

Каждому свое в этот поздний час: те, кто помоложе, раскурочивают автобусную будку или музей, а те, кто постарше, послужившие в морской пехоте и десантных войсках, оттачивают специфические приемы ближнего боя...

— Что вы делаете! — кричит Зинаида Матвеевна в окошко, видя, что какого-то бедолагу повалили и бьют ногами впятером или шестером. — Вы же его убьете!

— Заткнись, тетка! А то и тебя так же!

...Третьи, самые «благовоспитанные», садятся в собственные «Жигули» и «мерсы» (откуда у молодых людей такая собственность?) и лихо крутят вокруг фонарного столба в центре площади, гоняясь за приятелями и приятельницами с целью их маленько подавить. Попутно происходит «разбор товара»: парни тащат в свои машины девиц, те отбиваются с той или иной степенью ожесточения, взывают о помощи — думаешь, то ли они это ради приличия, то ли действительно попали в беду: вот одну увезли недавно за город и убили. Девиц запикивают в автомобили, потом устраивают рокировку-пересортировку, учитывая симпатии и запросы, после чего «мерсы» и «Жигули» разъезжаются, посвечивая фарами, — едут на берег Волги, в кусточки.

«Джигитуют» на площади и лихие мотоциклисты, разогнавшись, поднимаются на дыбы, наезжая на компании девиц, — дикий визг и отчаянные крики.

Но самый высший шик — ворваться на площадь, сняв предварительно глушитель, — вот тут рев мотоциклетного мотора, отдаваясь от стен, особенно впечатляющ.

С площади толпа растекается небольшими компаниями по улицам притихшей Новой Корчевы. Особой «любовью» молодых вандалов пользуются газетные киоски — у них всегда разгромленный, жалкий вид. Уже высажены окна ближнего почтового отделения, книжного магазина, прочих магазинов, расположенных далее по центральной улице, — они тоже закрываются фанерными или стальными листами, кирпичной кладкой.

Город одевается в броню, город держит оборону.

Вакханалия эта сопутствует свободе и демократии, провозглашенным в нашем Отечестве, а следовательно, и у нас в Новой Корчеве. Случайность или закономерность? Лет десять назад такого не наблюдалось: ну, разобьют, бывало, стекло по нечаянности, напишут матерное слово на стене дома из озорства, но чтоб вот так сокрушать все подряд, справлять большую и малую нужду возле памятника, с потрохами отдаваться стихии изничтожения — нет, тогда социальная дисциплина была покрепче.

Что в них пробуждается, в этих молодых варварах, — протест? озлобление? отчаяние? Или это обыкновенная распушенность в условиях ослабевшей государственной власти, когда дают волю инстинктам, дремавшим в хромосомах со времен каменного века?

Но вот гаснет свет на всех этажах Дворца культуры, меркнут и окна кафе «Ассирия» — о, это загадочное кафе, занявшее место обыкновенного буфета во Дворце культуры! О, его самоуверенные завсегдатаи-«ассирийцы» с крутыми стриженными затылками, с мощными шеями, с внушительными бицепсами! О, их шикарные подруги с крашеными волосами, декольтированные и сверху и снизу! То мир, недоступный простому смертному, как то из баснословных времен государство, имя которого стало названием заведения, заменившего скучный буфет.

Последним из дворца уходит его директор — Николай Михайлович Makeев. Вижу в окно, как он дает последние наставления старичку сторожу, который будет сидеть там в страхе всю ночь; выйдя на улицу, директор сокрушенно стоит перед разбитым витринным стеклом: где теперь достать новое или хотя бы фанерный щит? Постояв, он удаляется по опустевшей площади, как капитан судна, более или менее благополучно причалившего к пристани после бурного плавания.

Дворец культуры погружается во мрак и тишину.

Я так полагаю, что для ночной хулиганствующей пьяни Makeев Николай Михайлович представляет сейчас собой желанный объект. Именно интеллигентные люди почему-то раздражают пьяных негодяев и пробуждают в них злобный азарт. Впрочем, это не раздражение, а уверенность, что как раз от интеллигента они не получают должного отпора.

Одно из самых распространенных развлечений в Новой Корчеве: идет по улице мирный человек, навстречу ему двое-трое; ни о чем не спрашивая, они бьют его изо всей силы кулаком по лицу, сбивают с ног и, если жертва окажет сопротивление (впрочем, даже если и нет сопротивления), бьют ногами до потери сознания.

...С некоторых пор меня занимает вопрос: если об убитых и раненных в Чечне каждый день докладывают нам по телевидению, то почему не говорят о людских потерях у нас в Новой Корчеве и прилегающем к ней районе? Здесь урон в иные сутки ничуть не меньше.

А каковы потери по всей России?..



ЭКОЛОГИЯ РОССИИ

АНАТОЛИЙ ГРЕШНЕВИКОВ

*

ЖУРАВЛИ ИЗ НЕБЫТИЯ

Еще совсем недавно разве можно было себе представить наши деревни и провинциальные города без... скворцов? Прилет скворцов, как и грачей, означал, что пришла весна.

Когда я был мальчишкой, в нашу скворечню много лет подряд прилетал со своей скромной подружкой скворец с белым пятнышком на левом глазу — «дядюшка с бельмом». Отчаянный крикун и драчун: если где-то поблизости прогуливалась кошка — он первым напал на нее, норовил клюнуть в ухо. Новорожденным птенцам заботливый родитель с рассвета и допоздна неутомимо приносил в клюве корм, на секунду усаживаясь на приступку и словно говоря: «Вот какой я кормилец, видите?»

Недавно я прочитал, что на девять миллионов столичных жителей приходится... тридцать (!) тысяч воробьев. Эти-то куда подевались? Ручные, почти «домашние», не переносившие, однако, неволи, помчавшие в клетках через несколько дней заключения. Синицы, щеглы, зяблики, пеночки, горихвостки — теперь целое событие увидеть какую-нибудь из этих птичек. РОССИЯ БЕЗ ПТИЦ. В предсмертную тишину погрузились наши леса, а ведь совсем недавно какой в них стоял птичий шум-гам! И в небесах галдит разве что воронье.

А ласточки? Я всегда удивлялся, почему орнитологи отнесли ласточек к семейству воробьиных, ничего в них нет «воробьиного», совершенно самобытные птицы! Эти изящные создания всегда держались человеческого жилья (впрочем, любили и песчаные речные откосы), лепили гнезда под застрехами изб и многоэтажек не чурались, но всегда вели полностью независимый от человека образ жизни. — не искали крошек на подоконнике и даже не копались в навозе домашнего скота. Все, что они добывали, добывали своей охотой в воздухе. Иногда, когда летний закат особенно красив, они собираются в стаю и устраивают на закатном фоне балеты — удивительное, неповторимое зрелище, но какое щемящее: ведь это прощальные в Подмоскovie балеты, скоро уж их не будет.

Вырастает поколение, не видевшее, не слышавшее соловьев. Да что говорить — многие и щеглов-то уже не видели!

Знаю, еще отзовется нам надругательство над птицами — нашествием каких-нибудь насекомых-«мутантов», бороться с которыми будет некому.

Заметки Анатолия Грешневикова вроде бы нам не по адресу, не по профилю, адресоваться б ему в какой-нибудь специальный экологический журнал. Но как подумаешь о происходящей в мире птиц катастрофе — становится не до «профиля».

Сергей Залыгин.

Исчезают из мира птицы. Из 408 видов птиц в Европе на грани уничтожения 294.

Водился в Северной Америке странствующий голубь. Человек разрушил места его обитания, отстреливал за сезон около миллиона этих птиц, и теперь на всей планете не сыскать ни одного странствующего голубя: последний умер в зоопарке Цинциннати еще в 1914 году. В память о вымершем странствующем голубе в штате Висконсин установлена мемориальная доска. И сколько еще мемориальных досок — вымершим видам птиц — можно установить! Никто никогда не увидит уже больше дронтов и бескрылых гагарок. Их отстреливали безжалостно — ради вкусного мяса.

Какой вид птиц будет навеки вычеркнут из природы завтра? Может, степной орел — сотни этих птиц погибают на линиях высоковольтных передач в Казахстане. Или стерх, или японский хохлатый ибис?

Или — даурский и японский журавли? Из-за антропогенного фактора и загрязнения окружающей среды они давно находятся на грани вымирания.

...Выдающийся современный русский ученый-орнитолог Владимир Андронов в молодости дал обет спасти журавлей. Помню однажды — в студенческие наши годы — под Питером он долго вел меня по болоту и вдруг показал: «Смотри, вон они, журавли!» Невозможно было оторвать глаз от разгуливавшей метрах в двухстах журавлиной пары в осоке, чуда красоты и природы. И я мысленно согласился с Андроновым: да, спасению журавлей не жалко посвятить жизнь.

Студент Андронов прекрасно понимал, что осуществить свою цель он сможет, лишь став авторитетным ученым: кто станет слушать лаборантишку или младшего научного сотрудника. Всю свою волю, все свое дарование он употребил для достижения этой цели. Зная, сколь долго не проводилась в Ленинградской области перепись редких видов птиц, занесенных в Красную книгу СССР, что численность таких хищных птиц, как беркут, орлан-белохвост, скопа, давно уже указывается на глазок, Андронов принял актуальное решение: пересчитать пернатых — такие сведения были совершенно необходимы для разработки эффективных охранных мероприятий. Объектами поиска стали наиболее крупные и заметные птицы: серая цапля, белый и черный аисты, скопа, беркут, змеяяд, сапсан, серый журавль. Андронов разослал около тысячи анкет, да не в учреждения и конторы, а лично каждому егерю, леснику, охотнику. Потом сам выезжал на места сверять анкетные данные. Свою работу не афишировал, чтобы лишний раз не привлекать внимания браконьеров.

В итоге Андронову и его помощникам удалось установить примерную численность и распространенность девяти видов хищных птиц. Причем наряду с огорчительными были и обнадеживающие известия: обнаружили беркутов, которые считались в области исчезнувшими еще в 1965 году, — да не одну пару, а сразу две!

Андронов прихватил меня в одну из командировок — перепроверить анкету, присланную из деревни Шоткусы от егеря Виктора Нилыча Барановского. Егерь напоил нас перехватившим дыхание ледяным молоком, угостил домашней выпечки хлебом и повел по обширным болотам. Мы проходили одну марь, вторую, третью; вдруг егерь указал: здесь! Андронов, в специально сшитом для таких экспедиций непромокаемом резиновом костюме, быстро достал бинокль и отыскал мирно гуляющих, кормящихся журавлей. Минут через пять он передал бинокль мне, а сам пошел чавкать по топи: ему хотелось установить место, где в гнездовое время держится пара, узнать, постоянные они здесь жильцы или нет.

Вдруг послышались знакомые трубные звуки. Мы запрокинули головы: из-за блестящей росной кромки леса планировала другая журавлиная пара. Егерь поделился, что за лесом еще есть болото с журавлями — у этих строгих птиц свои границы: на одном болоте, как правило, селится лишь одна пара. И тут же на чистом листе бумаги набросал все болота с местами обитания журавлей. Так как до других гнездовых было около двух десятков километров, мы поленились идти; Андронов, взвалив на плечи рюкзак, ушел один.

...После успешной дипломной защиты можно было распределиться в Витебский пединститут; заниматься там изучением хищников — соколов и беркутов — в окрестных лесах. Но Андронов не мыслит жизни без журавлей. Он принимает решение и летит работать на Дальний Восток.

...Хинганский заповедник на земле Среднего Приамурья — 97 тыс. гектаров. Кроме того, ученые контролируют территорию охранной зоны (26 тыс. гектаров) и подчиненного ему Гануканского областного заказника (35 тыс. гектаров). Неоглядные пространства лугов и болот, извилистые реки, на возвышенностях (вершины достигают 350 — 450 метров) — девственный лес, именуемый здесь релочны м¹.

¹ О нынешнем катастрофическом положении лесов России, и в частности лесов этого региона, см.: Грешневиков Анатолий. Сводки с лесного фронта. — «Новый мир», 1995, № 10. (Примеч. ред.)

Здесь обитают девятнадцать видов птиц, занесенных в российскую Красную книгу и Красную книгу МСОП, а также около двадцати видов редких и малоизученных птиц. Животный мир здесь настолько разнообразен, что любой заповедник позавидует Хинганскому; в реках — амурский хариус, гольяны, ленок, амурский сом; по земле ползают амурские полозы, японские ужи, восточные щитомордники; в лесных чащах обитают изюбры, косули, амурский барсук, соболь, харза, амурский еж, волк. Сюда заходят с других территорий амурский тигр из Дунбэя, даурский хомячок со стороны Зейско-Буреинской равнины. Можно встретить и медведей — гималайского или бурого. Даже весьма редкие животные как-то сумели выжить и теперь прячутся в заповедных уголках: это и амурский лесной кот, и солонгой, и светлый хорь. Здесь такие редчайшие шедевры природы, как утка-мандаринка или махаон Маака. Божьи творения во всем их разнообразии и величии...

...Не увидел Андронов лишь даурского и японского журавлей, долгожданных птиц, ради которых и приехал сюда. Орнитолог Винтер восемь лет назад описал здесь всего лишь три гнезда японских журавлей, а даурского и вообще считал вымершим. Андронов не хотел этому верить, рассчитывал весной начать свой поиск-перепись редких птиц.

За зиму собрал нужную информацию.

...И в первый же весенний день выхода на болота обнаружил двух японских журавлей и одного даурского! Причем даурского увидел впервые в жизни. Редкая удача — с ходу обнаружить птицу, считавшуюся вымершей. Шел-шел старой дорогой, прошел одну мочажинку, другую, присел поправить сапог — и тут увидел поднимающуюся рядом, убегающую, пригибаясь, птицу. Даура! Даурский — не вымерший, оказывается, здесь журавль! Андронов бросился искать гнездо и нашел его.

...Они прилетали, когда на болотных кочках раскрывались голубые цветы сон-травы. Владимир днями лежал в засаде на прошлогодней слежавшейся тростниковой подстилке и наблюдал, как самец и самка обновляли старое гнездо, играли, кормились... Стоило ему подняться, размять затекшие ноги, как журавлиная пара, распластав черно-серебристые крылья, улетала от гнезда. Владимир вновь затихал, нервно ждал; пара возвращалась, танцевала, снова принималась за обустройство гнезда. Владимир оставил постоянное наблюдение только после появления двух пестро-кремовых яиц. Первое время он боялся подходить к гнезду, спугивать самку, согревавшую яйца. Владимир видел, как журавлиха клювом поправляла яйца, мокла под дождем; ему было жаль журавлиху. Он-то уходил, ел в тепле, спал, записывал наблюдения. А птица зябла под свинцовым пасмурным небом... Постепенно — по мере того, как теплело, — он уже без боязни подходил к яйцам — измерял, слушал, как они «тикают».

С появлением пушистых, золотистых птенцов Андронов стал вдвойне наблюдателем. Следовало запечатлеть взаимоотношения птичьей семьи, роль каждого, рацион питания, поведение при появлении опасности. К тому же журавлиные пары нуждались в обережении: в округе часто вспыхивали пожары, охотились браконьеры.

И вот установлен период насиживания — около тридцати дней, как правило, с середины апреля до середины мая. Питается журавлиная семья вначале на своем болоте; лишь повзрослевших птенцов родители водят на поля. Летать птенцы начинают в начале августа.

Склонность сбиваться в стаю у даурских журавлей появляется, как проследил Андронов, с наступлением кормового поиска. Кочуя по полям, птицам легче добывать корм, легче соблюдать осторожность. Андронов подолгу следил за кормлением пары, как они выискивали вкусные корневища, как ловили жирных насекомых. Основной же кормовой биотоп — сельскохозяйственные поля.

И не такие уж они беззащитные, порой постоять за себя умеют. Однажды — наблюдал Андронов — медведь, завидя птиц, пошел в их сторону. Журавль-самец двинулся навстречу хищнику. Один на один. Когда оставалось метров тридцать, медведь встал, понюхал воздух и бросился наутек. Самка тут же полетела за ним. И, догоняя медведя, долбала его клювом в спину. Или

другой случай: волчица мышкует между двух семейных журавлиных групп, метрах в пятистах от каждой, но ни те, ни другие не реагируют друг на друга.

Главной опасностью для журавлей оставался человек.

Журавли панически боятся человека, бросают гнезда, не селятся там, где он появляется. Не только мелиорация, охота, туризм, но и элементарные прогулки людей возле болот лишают журавлей мест гнездования. Значит, у птиц все меньше остается мест для жизни и тем более — для размножения. Любое увеличение заселенности места ведет к исчезновению журавлей.

..Никто из орнитологов мира не знал, когда у журавлей происходит полная линька, смена оперения. Известно было примерно следующее: птицы сбрасывают все крупные перья за два-три дня. В это время они не летают. Два сезона Андронов сидел в засидке — наблюдал на двух болотах за двумя парами. Сперва установил, что журавль теряет контурные перья медленно. Однако докопался потом до сути: журавль сбрасывает перья при рождении птенца. Птенец растет — родители рядом, они, естественно, не могут оставить свое дитя без присмотра. Значит, в это время можно спокойно и расстаться с оперением.

Сначала Андронову не поверили, его статью об этом мурыжили целых шесть лет, прежде чем напечатали.

Между тем Андронов поставил задачу: добиться, чтобы журавль не боялся человека, а тот — в свою очередь — не мешал ему жить. И решал ее, бродя по тайге и дальним отрогам Малого Хингана, по пышным приозерным прериям Ханка, побережью Амура, заросшему фиолетовыми ирисами. Порой казалось — журавли начинают привыкать к постороннему. Но когда журавль бил его мосластыми ногами, длинным тяжелым клювом, светло-свинцовой грудью, то тут иллюзии улетучивались: журавль принимал его за врага! Как, как заставить птицу отказаться от панического страха, не покидать насиженных мест при первом же контакте с человеком?

И вот... Андронов решил вывести их новую популяцию, полудикую популяцию японских и даурских журавлей. Но для этого необходим при заповеднике специальный питомник по выращиванию. Выращивать — и выпускать птиц в природу!

В заповеднике после пожаров часто оставались птенцы. Находили брошенный подрост и сотрудники, особенно когда проводились рейды по борьбе с браконьерством. Но одно дело, когда птенец вырастает в вольере, при человеке, другое — когда выпускают птицу на волю. Сможет ли она находить там корм, подбирать себе пару, жить среди хищников? Андронов знал много случаев, когда птицы после неволи просто не выжили: у них или разрывалось сердце от стресса, либо они гибли в экстремальных обстоятельствах в дикой среде. Значит, необходима отдельная программа по спокойному перевоспитанию и переселению журавлей.

Андронову долго не разрешали эксперимент: каждый журавль, каждое журавлиное яйцо на учете. Но вот в 1989 году он получил наконец разрешение посягнуть на аистову кладку. Тогда он забрал четыре яйца. Семейная пара через неделю отложила другие.

В «неволе» у Андропова выросли три аиста, четвертый птенец не выжил. Но и то слава Богу.

Теперь аналогичный эксперимент следовало провести с журавлями. Андронов знал все: день откладки яиц, продолжительность насидки и т. п. Только самка посидит пять-семь дней на яйцах — тут и забирать их надо, пока не привыкла. Для этого лучше всего использовать вертолет «Ми-2». Он маленький, на нем легко опускаешься, подходишь к гнезду, берешь яйца — и свояся.

..В одном известном Андронову отдаленном и топком месте жили и японские и даурские журавли. Андронов вел за ними присмотр, готовился к началу эксперимента. Но тут случилось несчастье: болотный участок вдруг загорелся. Когда подоспел Андронов, яйца в гнезде японского журавля были уже всмятку. Беда. А вот яйца из гнезда даурского журавля оказались в воде. Огонь зло-

веще полыхал над гнездом и над ними. Владимир поднял их, приложил к уху. Кажется, за них еще можно было побороться. Быстро к машине — и в ближайшую деревню. Вынули из-под курицы пятнадцать яиц — и положили на солону два даурских яйца!

На следующий день Андронов еще на одном выгоревшем опасном участке подобрал два яйца, привез в Архару на инкубаторную станцию, уговорил сотрудников пристроить яйца. Таким образом еще два яйца оказались под пристроением Андропова.

Через несколько дней звонок из деревни: один птенец вылупился. Затем еще звонок: второй птенец нормально появился на свет.

Поступило сообщение и с инкубаторной станции: один птенец вылупился, а вот второе яйцо оказалось неоплодотворенным.

Потекли недели и месяцы напряженных научных наблюдений.

Со временем три спасенных птенца выросли в прекрасных даурских журавлей. Одного определили в Окский заповедник. Судьба двух других более романтична: самец и самка приглянулись друг другу и составили прекрасную пару.

А улетев на зимовку, потом вернулись!

Успех эксперимента с годами становился все очевиднее. Чтобы популяция полудиких журавлей нормально кормилась, спокойно строила гнезда, размножалась и охотно — после зимовки — возвращалась домой, потребовалось четыре года.

...Об эксперименте Андропова узнали не только в Японии и Китае, но и в Европе и США. Приезжавшие в заповедник англичане так были восхищены, что потом прислали из Англии инкубатор.

И вот сквозь стекло электронного инкубатора ученые наблюдали рождение птенца даурского журавля. Он с силой разорвал скорлупу крупного серого в темных пятнах яйца и отчетливо подал голос. Впервые в природе в инкубаторных условиях родился журавль. Стало возможно размножить полудикую популяцию. Инкубаторный журавль, своим чередом взрослея в дикой природе, в глубине своего сознания-инстинкта все же остается несколько прирученным. И если прежде японскому журавлю для гнездования была необходима монополярная территория в десять — пятнадцать километров, то Андронову удалось переломить ситуацию — изменить психологию поведения японского журавля, красивого, гордого, неприступного.

Теперь брачные союзы у журавлей заключаются между полувольными и дикими журавлями: и те и другие стали относительно легко переносить фактор беспокойства.

...Давно мечтал я увидеть японских журавлей собственными глазами, купил деньги на путешествие, закупал кино- и фотопленку.

И вдруг неожиданно-негаданно Андронов проездом в Москве и предлагает отправиться вместе с ним в заповедник. Надо ли говорить, что я не стал мешкать, отложил все дела, и вот — самолет на Хабаровск. Потом поездом — к журавлям.

Первого из них я увидел подле андроновского дома, в небольшом крытом вольере. Крупный журавль с буровато-кремовым оперением, ноги длинные, неуклюжие; встряхнулся и сердито пощелкал клювом. И вдруг — надо мною завис второй, еще прекраснее, маховые перья были видны вооруженным глазом. Только у бездушного шалопаю не подкосятся ноги, не онемеют уста при виде такого великолепия! Я позабыл, где я, что пора — через озеро Клешиенское — на станцию реинтродукции, глядел как загипнотизированный: белоснежное оперение, длинная шея, внутренние удлиненные черные перья и черные ноги — попробуй не залубуйся. А на голове — я было сначала подумал, что это запеклась кровь или приклеена какая-то пурпурная мета, — маленькая корона.

На озере лед еще оказался крепок, и мы отправились по нему до станции. Но не сделала и десятка шагов, как перед нами появились еще две птицы. Закурлыкали, затрубили, словно выражали Андронову свою любовь и признательность. Оглаживали перья, махали крыльями, вновь приосанивались, вытя-

гивали шеи, подпрыгивали — да это были настоящие танцы! Вот лучшая благодарность за восемнадцать лет, отданных «журавлиному делу».

Следующие два дня я замороженно наблюдал жизнь диких и полудиких журавлей, даурских и японских, солидарно уживавшихся на одной территории. А рядом неподалеку — изюбры, косули, аисты, фазаны, дрофы из даурской степи.

...В Благовещенске Андронов завел меня на выставку детских рисунков — естественно, посвященную журавлям. Конкурс проводится ежегодно. Акварель, масло, рисунок — танцующие, летящие, пестующие птенцов журавли. Дети уже знают, чем знаменит их край в мире, и очень гордятся этим.

Журавль наконец доверился человеку. Оправдает ли человек доверие журавля?

Поселок Борисоглебский — Амурская область.
1996.



МИР ИСКУССТВА

ИРИНА ЛЮБАРСКАЯ

*

КИНО В ОТСУТСТВИЕ ЛЮБВИ И СМЕРТИ

Среди незабываемых рекламных слоганов советского государства лозунг «кино для нас является важнейшим из искусств», пожалуй, был самым правдивым, далеко опередив в этом смысле фразу о «самой читающей в мире стране». Ведь, как ни крути, книжки читать может только грамотный и усердный. А вот кино, по общему убеждению, доступно всем, независимо от образовательного ценза. И его действительно любили все граждане и гражданки «бывшего СССР», заполняя свой скромный досуг целлулоидными драмами призрачных героев и забывая в двухчасовом промежутке между начальным и финальным титрами свои собственные драмы.

Но самое главное — кино было фаворитом государства. Фигура кинорежиссера возвышалась где-то рядом с членами правительства и космонавтами, становясь идеальным воплощением мечты о светлом пути. Профессия режиссера на советском романтическом олимпе даже потеснила не только номенклатуру, но и космонавтов: если неразумные дети мечтали стать покорителями космоса, а разумные — начальниками, то повзрослевшие молодые люди, знакомясь с девушками, представлялись исключительно киношниками.

Что говорить, наша страна за последние годы изменилась радикально. Крах идеологии, естественно, привел к смене авторитетов и приоритетов. Но то, что произошло с кино, неподвластно никакой логике: «важнейшего из искусств» за несколько последних лет как бы просто не стало — поскольку не стало его поклонников.

Сейчас в России по-прежнему (хотя и во много раз реже) снимаются фильмы. Но факт этот уже больше не является доказательством того, что в России по-прежнему существует кино. Конечно, куда не делись режиссеры, актеры, операторы, художники, осветители, звукотехники, гримерши, костюмерши и девушки с «хлопушками». Для пополнения их рядов все так же ежегодно набираются творческие мастерские Института кинематографии. Как и раньше, функционирует Государственный комитет — министерство кинематографии, а его соответственно возглавляет министр. Имеется и Союз кинематографистов, насчитывающий около пяти тысяч членов, а в нем соответственно обсуждаются профессиональные творческие проблемы. Есть и Центральный Дом кино — премьерно-концертная площадка, а там соответственно хозяйничает главный киношный массовик-затейник. Появился даже Музей кино, и в нем соответственно хранятся экспонаты-шедевры. В конце концов, по-прежнему стоят на своих местах кинотеатры, и в них соответственно...

На этом соответствии принятому, привычному и, в общем-то, разумному положению вещей заканчивается. Кинотеатры стоят, фильмы в них идут, а зрители на них не ходят. Причем ни «Список Шиндлера» Стивена Спилберга, ни «Бульварное чтиво» Квентина Тарантино, ни «Готовое платье» Роберта Олтмена, ни «Церемонию» Клода Шаброля, ни «От заката до рассвета» Роберта Родригеса, ни «Утомленных солнцем» Никиты Михалкова, ни «Подполье» Эмира Кустурицы к разряду «второй свежести», не пользующейся спросом в

новые времена, отнести невозможно — ни по художественному уровню самих картин, ни по оперативности, с которой они были выпущены в отечественный прокат. Всего десять лет назад даже намек на подобную афишу было бы достаточно, чтобы толпа разнесла кинотеатр, отважившийся объявить о таком счастье. Сегодня сеанс в Москве считается состоявшимся, если билеты купили пять человек.

Газета «Досуг в Москве», как и прежде, отмечает на карте города более ста точек, где незаметно и бездарно проходят кинопоказы, и еженедельно печатает их кинорепертуар. Сменившие государство-монополиста (поначалу многочисленные, а теперь стремительно редуцирующие) прокатные фирмы продолжают закупать новые пакеты западных фильмов. Отечественный кинематограф в противовес этому обзавелся дюжиной шумных фестивалей и национальных премий, которые с помощью телевидения демонстрируют предполагаемым зрителям якобы нескончаемый праздник российского кино. Что же касается критиков, то они, растеряв со времен перестройки добрую половину профессиональных печатных органов и почти всех серьезных читателей, бодро переключились на газетные анонсы и светские репортажи с тех же фестивалей. Вроде бы все в порядке и каждый, так сказать, обрел свою «культурную нишу», но для полного счастья чего-то все равно не хватает.

Публичному искусству для того, чтобы называть себя скорее живым, чем мертвым, не хватает «всего-навсего» зрителей.

Во всем цивилизованном мире поход в кинотеатр — это наиболее приближенный к культуре вид досуга, доступный большинству. Известно, что ни домашнее видео, ни приходящее к каждому дивану телевидение, на которые прокатчики традиционно валят все шишки, не могут быть полноценными ретрансляторами кинофильмов — хотя бы потому, что многие детали, рассчитанные на широкий экран, просто невозможно разглядеть на экране электронном. Впрочем, на тему несоответствия медиальной, то есть социальной, природы видеоизображения и медиумической, то есть психологической, сути «движущихся картин» кино исписано уже немало страниц. И все это — чистая правда. Но рассчитывать, что когда-нибудь из-за этого несоответствия перестанут в одну телегу впрягать коня (телевидение) и трепетную лань (кинематограф), — довольно нелепо. Телега-то или, иначе говоря, многоуважаемая публика остается единой и неделимой. И драма российского (а впрочем, и европейского) проката вовсе не в том, что железный конь ТВ пришел на смену крестьянской лошадке кино: одно другим, в принципе, заменить невозможно. Кинозрители в России исчезли потому, что нашлась замена им самим.

Досуг в Москве всегда, не только в советские, но и в постсоветские времена, — роковая проблема для города. О других городах, честно говоря, даже и подумать страшно. Правда, сегодня в Москве появились и казино для очень богатых, и ночлежки для очень бедных, и молодежные клубы, и храмы для верующих. Однако среднему горожанину со средним достатком и средними культурными потребностями по-прежнему некуда пойти вечером после работы или днем в субботу с семьей. В былые годы эту функцию выполнял кинотеатр. Выполнял, конечно, ущербно — по причине скудости средств и скудоумия репертуара. Но теперь он вовсе лишен возможности ее выполнять — по причине все той же скудости средств и скудоумия своего устройства.

Большинство московских (и не только) кинотеатров-монстров было построено в конце 60-х и начале 70-х годов в тогдашних районах новостроек — в расчете на всесоюзные премьеры идеологически выверенных художественных полотен и коллективное сознание масс, приехавших в город из провинции. Они упрямо возводились в то время, когда на Западе уже поняли ошибку гигантомании и занялись преобразованием своих монстров в мультиплексы — кинокомплексы, включающие несколько небольших уютных залов на сто — двести мест, с высоким качеством проекционной и звуковоспроизводящей аппаратуры.

Конечно, проблема не только в удобстве кресел. Некоторые широкоэкранные кинотеатры и в теперешнем своем состоянии способны демонстрировать кино без катастрофических потерь в качестве. Но зрителей в кино не слишком-то зазывают. Как говорил булгаковский профессор Преображенский, раз-

руха начинается с того, что парадный подъезд забивают досками, предпочитая ходить через черный ход. Так что если кинотеатр решил объявить о разрухе кинематографа, то лучший способ для этого — завалить фойе автозапчастями, а под звучную, но довольно бессмысленным названием типа «Авангард» повесить не менее звучную, но осмысленную вывеску «Шиномонтаж». Какие бы шедевры ни предлагались для просмотра на этой станции техобслуживания, им не суждено быть увиденными. Директора кинотеатров уверяют, что разруха — это единственный способ свести концы с концами. В их словах все логично, за исключением того, что они при этом продолжают держаться за статус культурного и досугового учреждения.

Однако проблема не только в том, отчего в народе пропало доверие к киноафише. Сегодня людят повторять, что зрители соскучились по российским картинам, поэтому, мол, не идут в кинотеатры, предлагающие преимущественно американские фильмы. Да, отечественного кино сейчас снимается преступно мало, а проблема качества при таком количестве решается далеко не по известной формуле «лучше меньше, да лучше». Но ответ на вопрос, почему весь диапазон отечественного кино последних лет — от «Утомленных солнцем» до «Ширли-мырли» — проваливается в безразмерную прокатную дыру, до обидного прост и, увы, недемократичен.

Народ, далекий от многих проблем, включая сюда и проблему функционирования искусств, доверяет только тому и любит только то, что имеет государственный статус. Или, наоборот, с поправкой на российские особенности, — антигосударственный. Было у нас кино важнейшим из искусств — так при расцвете застоя какого-то дурацкого «Всадника без головы», проходившего по разряду «экранизация зарубежной классики для детей», посмотрело аж 69 миллионов человек наполовину взрослого населения. А много позже, в самом начале перестройки, на довольно претенциозный, но созвучный пафосу времени фильм «Покаяние» ходили семьями по несколько раз — как в церковь.

Теперь государству не до кино. Оно пока пытается кризис идей и отсутствие народных героев преодолеть на политической сцене. Но и кино мало что может предложить государству: во время демонтажа старой системы, в котором самое активное участие принимала и киноэлита, все герои оказались дискредитированы, любая идеология — скомпрометирована. Искусству не из чего лепить. А если попробовать отсечь все лишнее, то, скорее всего, ничего не останется. Сюжет жизни размыт, пафос отсутствует. Так что кинематограф и его проблемы — всего лишь частный случай общей ситуации в стране.

Поле, на котором сегодня проигрывает российское кино, в сущности, едино для всех видов искусства. Искусство ищет смысл жизни. Этот поиск — его пища. А российское общество в наше время больше озабочено просто пищей, чем смыслом жизни. Сколько популярных в народе изданий посвящено сегодня продуктам и товарам, их качеству и спросу. В 60-е годы точно так же нарасхват в киосках «Союзпечати» шли открытки с фотографиями киноартистов и журнал «Советский экран»... Конечно, все эти незамысловатые социокультурные парадоксы не столь уж своеобразны, и Европа с ними уже свыклась, как водится, за много лет до нас. Однако их все же стоит лишний раз проартикулировать для того, чтобы не заблудиться в трех соснах коллективного подсознания, которое неизбежно отражается на экране. Проще говоря, вопрос состоит в том, нужен ли социальный заказ в кинематографе.

Если отвлечься от всеобщей неприязни к формулировкам тоталитарной эпохи, то идею «социального заказа» на самом деле следует отнести к разряду напрямую связанных с бытованием нормального кинопроцесса, в котором есть место и для лидеров проката, грамотно отвечающих на массовые пристрастия и формирующих их, и для художников, в своих экспериментах развивающих язык кино. Как показывает практика кинематографа, год назад переступившего вековой порог своего развития, если какая-нибудь локальная кинематография нарушает баланс в производстве «кино для всех» и «кино для своих», то она незамедлительно выпадает из мирового культурного контекста в некое безвоздушное пространство. Чтобы разобраться в том, каким образом российское кино последних лет зависло в невесомости, придется совершить краткий экскурс в историю.

Первоначально искусство кино возникло как публичный научный аттракцион той прекрасной, но ставшей губительной для многих иллюзий человечества эпохи, когда наука, одержимая поиском границ познания, с просветительским пафосом вторглась в сферу полуграмотного массового сакрального, которое скудело не по дням, а по часам. В общем-то, глуповатый, но поучительный ярмарочный балаган синематографа Мельеса, осененный волшебной люмьеровской загадкой запечатления «живой жизни» на целлулоидной пленке и полотняной простыне, подоспел очень ко времени. Новый универсальный инструмент управления массами стал идеальным «опиумом для народа», силу воздействия которого быстро оценили и купцы, и творцы, и власть. Так что в кино почти одновременно начали развиваться и зрелищные, и экспериментальные, и идеологические черты, в совокупности составляющие феномен этого вида искусства.

Россия, благодаря катастрофе 1917 года превратившаяся в отдельно взятую страну, естественно, старалась все семьдесят лет причудливо переставлять акценты во всеобщих процессах развития. Сначала настаивая, что «важнейшее из искусств» может быть только «для всех», то есть понятно народу, необразованным массам, позже — мечтая интеллектуализировать массовый вкус. Стало быть, основной сюжет существования первородного искусства XX века — противоборство массового (товарного) и элитарного (штучного) на экранном пространстве — разыгрывался и на нашей территории. Однако необходимость доли элитарного в общем объеме была объявлена на десятилетия едва ли не государственной изменой.

Для ВКП(б) — КПСС кино стало практически следующей за водкой доходной статьёй, и «сорокаградусные» как на подбор герои фильмов должны были уносить души строителей нового общества в те же светлые дали, что и «злодейка с наклейкой». «Социальным заказом» для начала стало «привлечь и завлечь». Вопреки представлениям идеалистов, уже в 20-е годы в московских кинотеатрах крутилось около трехсот американских фильмов-однодневок, собирающих полные залы, а вовсе не шедевры Довженко, Пудовкина и Эйзенштейна. Поэтому авторская интонация советского киноавангарда, сделавшего мировую славу русскому кино, уже к началу 30-х годов стала не нужна советскому государству. Был сформулирован «социальный заказ» на понятное всем не прошедшим ликбез занимательное зрелище, прославляющее жизнь в отдельно взятой стране. Гипертрофированная сталинская идеологическая догма, на ходу придающая живой реальности черты мифа, потребовала «большого стиля» от искусства, запечатлевающего «живую жизнь». Ну а «большой стиль» в чистом виде (в отличие от последующих рефлексий на его тему) — это, конечно же, область фольклорно-героического, а не авторского.

Проблема героического — магистральная для искусства, обслуживающего государственную идеологию. Именно при решении этой проблемы выявляется существующий в этом искусстве дисбаланс массового и элитарного. Герой «народного кино» (кто бы его ни снимал — гений или ремесленник) неизбежно должен обслуживать не авторскую идею и не логику развития художественного образа, а «социальный заказ», который дает финансирующее киноиндустрию государство. Последнее при этом безусловно исходит из своих целей, далеко не всегда совпадающих с интересами самих масс, но при выборе оптимальных средств воздействия в большинстве случаев государственная идеология благоразумно ориентируется именно на массовый вкус.

А массовый вкус на всем земном шаре, независимо от *couleur locale*, уровня жизни населения и господствующей в стране идеологии, увы, провинциален и инфантилен. Ему нужна четкая фабула, четкая расстановка оценочных акцентов, лакировка всего низменного (быта) и еще большая лакировка всего возвышенного (идеологии). Массовый вкус не любит неожиданностей, предпочитая узнавание всем другим последствиям любопытства. Ему необходимы произведения, без зазора укладываемые в четкие границы жанров. Массовый вкус обязательно требует положительного героя в центре истории, а от этого героя — предельной обобщенности. Он должен выделяться из массы, не протискиваясь ей и воплощая ее совокупные черты.

Таковыми и были простые парни «мужественно»-брутального советского кино 30-х годов, которых играли народные любимцы Борис Андреев, Николай

Крючков, Петр Алейников и Марк Бернес. Такими были трактористы и шахтеры, летчики и танкисты, а также их подруги, богатые невесты и свинарки, влюбленные в пастухов, и даже члены правительства, и, конечно, все семеро смелых. Все эти герои, поголовно распевающие песни и по-детски беспечно доверяющие заботу о смысле жизни начальникам-пастырям, вовсе не были придуманы в партийном аппарате и спущены сверху в виде директивы. Эти герои были тщательно выкристаллизованы из массового подсознания и выданы художникам как «социальный заказ». Его точность проверена временем: Таня из «Светлого пути» — старшая сестра «просто Марии».

В общем-то, в обслуживании массового вкуса нет ничего уродливого. В этом проявляются родовые начала балагана-кинематографа — просветительское и воспитательное. Именно они прежде всего и были востребованы советским государством для насаждения в населении идеологически верного социального пафоса. А интеллектуализм, психологизм, артистические эксперименты с жанрами и сюжетами, авторская интонация — все, что работает против пафоса, — из зрительского обихода было изъято.

Аттракцион стал использоваться как идеальный способ проведения мощной массовой рекламной кампании правящего режима, не прекращая при этом в лучших своих образцах оставаться искусством. Фильмы Григория Александрова недаром являются гордостью эпохи «большого стиля». Джазовая пастораль «Веселых ребят», романтические страсти «Цирка», взлет Золушки из «Светлого пути» и научно-киношная мишура «Весны» тщательно укутывали протокольный советский пафос. Отлично разработанная зрелищная — музыкальная и визуальная — структура этих картин и сегодня искупает все идеологические благоглупости сюжетов, позволяя не обращать внимания на «директивные бантики» прославления страны, «где так вольно дышит человек», и примиряя у экрана непросвещенную массу и просвещенных интеллектуалов.

Конечно, при всех его достоинствах, у этого кино не было автора, как нет его и в голливудских «феериях» того же времени. Но был и есть до сих пор — зритель. Это действительно мастерски сделанное «кино для всех», где «возвышающий обман» государственной идеологии является основным стилиобразующим компонентом, а жесткий «социальный заказ» спроецирован на занимательные сказочные истории.

«Кино для своих» — кино, отражающее личные духовные идеалы автора и занимающееся частными проблемами киноязыка, — конечно, в том или ином виде существовало всегда. Но то, что под этим подразумевается сегодня, то есть так называемый «авторский кинематограф», — это продукт совершенно определенной эпохи, который на какое-то время, нарушив законы рынка, стал массовым. Вернее, настойчиво предлагаемым массам.

60-е годы обернулись «золотым веком» кинематографа повсюду. Творческие открытия того времени продолжают порождать модные режиссерские тенденции и сейчас, в 90-х. Ни переоценить, ни недооценить кино 60-х уже невозможно — оно вошло в энциклопедии. Но давно уже стало ясно, что французская «новая волна» и параллельные ей направления — это не только вершина развития киноискусства XX века, но и одновременно знак беды, начало кризиса этого искусства. Кино на небольшой, в общем-то, срок стало действительно важнейшим из искусств, достигнув самых впечатляющих за свою историю результатов на всех полюсах: и в эстетике, и в формах производства, и в объемах проката, и по части влияния на сферу масскультуры. Однако именно тогда идеология европейского кино, обращенного к индивидуумам, сидящим в одном зале, обернулась против самой себя. Именно тогда, в 60-х, в Европе начала стремительно падать посещаемость огромных кинотеатров и возникла идея тех самых мультиплексов как средства борьбы не только с телевидением и видео, но и с продукцией «планеты Голливуд». Именно тогда, в «золотых» 60-х, одно кино стало открытым врагом другого кино.

Расцвет кинематографа базируется на трех факторах: хорошо развитой индустрии, огромном идеологическом значении, придаваемом кинематографу государством, и большом культурном, духовном значении, придаваемом кинематографу в обществе. Однако гипертрофия этого последнего качества, проявившаяся в Европе в 60-х годах, привела, как показала практика, к деградации кинозрелища, к превращению его в лабораторный препарат или музейный

экспонат. Просветительский пафос историй на киноплёнке, помноженный не на развлечение, а на высокую образованность, духовность и личные идеалы автора, неизбежно обретает черты назойливого учительства, проповедничества и даже пророчества. Что полностью противоречит балаганной форме функционирования аттракциона киноискусства, которое в гораздо большей степени, чем поэзия, должно быть глуповато.

Конечно, любя кино, не хочется лишний раз подчеркивать его природную неспособность полноправно войти в сонм «высоких искусств». Конечно, есть отдельные (их немало) авторы, вопреки этой природе создавшие высокие произведения. Конечно, великая война киноконтинентов — Америки, производящей высокорентабельное «кино для всех», и Европы, создающей фестивальное «кино для своих», — пока не закончилась. Но было бы нелепо не признать, что победитель известен заранее: французская новая «новая волна» 80-х, к примеру, почти целиком выкроила свой *haute couture* по лекалам заокеанского ширпотреба, а эксперименты «американских независимых» в области жанрового кино прочно вошли в культовый набор европейских интеллектуалов.

Как известно, наша одна отдельно взятая страна в 60-е в области искусства не нарушила своих сообязательств быть «впереди планеты всей». И кино не исключение. Разоблачение «культы личности», неоднозначность личности Хрущева, личный триумф Гагарина, слегка приподнятый «железный занавес» и довольно высоко поднятый государством во время «оттепели» статус советской творческой интеллигенции породили феномен нашего «авторского кино». На новый «социальный заказ» откликнулись не только представители молодого поколения. Монолитный идеологический миф, разбившись на мелкие кусочки, всех задел осколками, включая и тех, кто долгие годы талантливо обслуживал прежний «социальный заказ». Можно сказать, эти режиссеры только на склоне лет смогли обрести имя, известное публике, — как постановщик «Валерия Чкалова» Михаил Калатозов, снявший фильм «Летят журавли», как постановщик «Трилогии о Максиме» Григорий Козинцев, снявший фильм «Гамлет», как постановщик «Ленина в Октябре» Михаил Ромм, снявший фильмы «Девять дней одного года» и «Обыкновенный фашизм». Авторские пируэты в выборе тем и стили были самые неожиданные: Сергей Юткевич от «Человека с ружьем» метнулся к шекспировскому «Отелло», а Иван Пырьев от «Сказания о земле сибирской» и «Кубанских казаков» — к «Идиоту» и «Белым ночам» Достоевского. Далеко не все преуспели как авторы, но пафос нового киновремени, в соответствии с новой анти тоталитарной общественной идеологией, был сформулирован очень быстро и столь же четко, как и прежний, отвергнутый: интересы личности выше интересов системы, неоднозначная личность интереснее однозначного героя.

Таким образом, коллективно-героический период «большого стиля» в российском кинематографе сменился индивидуалистическим и антигероическим. Режиссеры наряду с актерами вошли в пантеон кинозвезд и почувствовали, что их личное мировоззрение посредством тиража фильмов может оказать влияние на большие массы зрителей. Возможно, обретение кинорежиссером имени спровоцировало многих представителей этой профессии, в общем-то целиком зависимой от государства-монополиста, встать в первые ряды оппозиционеров и диссидентов.

Но это отнюдь не означало, что пути государственной идеологии и режиссеров-авторов разошлись. По крайней мере не сразу. Впрочем, даже в случаях антагонизма они расходились просто по разные стороны одной дороги. Примером тому «зарезанный» фильм Марлена Хуциева «Застава Ильича»: сегодня трудно себе представить более искреннее, талантливое и точное выполнение «социального заказа» своего времени. И только идиотизмом системы можно объяснить испуг и неприятие картины чиновниками. Антисталинизм Политбюро ведь не сразу был воспринят художниками как поиск новой формы существования коммунистической догмы. В какой-то мере полемический задор внутрипартийных «разборок» и романтические иллюзии кино 60-х — близнецы-братья.

Противостояние художников и власти сказалось в вопросе выбора нравственного идеала: авторы стали искать его не в общественных свершениях, а в диктатуре творческой личности. С чем никогда не согласится государственная

структура, это самовыражение финансирующая. С чем совершенно не хочется соглашаться, наблюдая, как бесплодно и мучительно агонизирует в нынешних останках «авторского кино» индивидуальный и неповторимый стиль Тарковского, как некогда модные сомневающиеся и страдающие «антигерои», противопоставленные погруженной в обыденность массе, стали выхолощенными «зомби» постсоветского экрана.

В сущности, авторская диктатура, активно поддержанная критикой, очень пеклась об интересах зрителя — о его образовании, духовном и нравственном развитии. Но именно так, как это делают диктаторы, — предлагая некую жесткую этическую и эстетическую схему, некий идеологический императив. Конечно, шаг вправо или влево от этой идеологии не приводил к расстрелу. Но зритель, не понимающий, отчего, собственно, маются физики в «Девяти днях одного года», девушка в «Июльском дожде», музыкант в «Жил певчий дрозд», грузинские селяне в «Древе желания», космонавт в «Солярисе» или совсем невесть кто в «Цвете граната», объявлялся толстокожим мешанином, не способным к восприятию искусства. Что было, конечно, зрителю обидно. Он открывал за собой дверь в кинозал, где шел хороший отечественный фильм, и отправлялся смотреть первую ласточку нынешних мексиканских триумфов — «Есению», где юная сиротка в награду за добродетель получала родителей, состояние и богатого жениха.

Таким образом, просветительская и воспитательная миссии кинематографа у нас стали выворачиваться наизнанку не только «застойным» коммунистическим режимом, но и творцами киноискусства. К середине 80-х это аукнулось тем, что следовать причудам и изгибам массового вкуса, изучая и слегка подправляя его, для режиссера стало просто зазорно. Чистый жанр практически исчез с экранов, подменяясь в угоду профессиональной моде чем-то размытым, «амбивалентным». Публике стали предлагаться причуды и изгибы вкуса индивидуального, очень часто не безупречного, — как если бы во всех точках общепита вместо традиционных картошки и пельменей первые строчки в меню заняли бы столь ценимые некоторыми гурманами фаршированные улитки «эскарго» и вонючие сыры.

Все вышесказанное, естественно, основано не на искусствоведческом анализе снятых в 60-е и 70-е годы картин и ни в коем случае не означает ревизию вклада известных и почитаемых режиссеров в развитие мирового киноискусства. Неудобство позиции автора этой статьи заключается в том, что у нас до сих пор неловко рассматривать искусство с точки зрения его товарных свойств: публика по-прежнему считается дурой, любые рукописи — несгораемыми, а подлинный поэт не дорожит любовью народной. Что касается поэтов, имеющих возможность работать «в стол», то они в какой-то мере могут обойтись без публики, без учета спроса, без превращения рукописи в товар. Наверное. Но кино — искусство, по назначению своему тиражируемое. Съемки картины недаром изначально были названы производством фильма. И продукция любой «фабрики грез», не имеющая спроса, все же в подавляющем числе случаев является браком, эрзацем, а не шедевром. Конечно, определенный процент «неходового товара» — это шедевры. Однако если на рынок выброшены только шедевры, они естественным образом падают в цене, поскольку ценителей мало. Впрочем, настоящих шедевров, как известно, тоже мало. К сожалению, сегодняшнее плачевное состояние нашего кино напрямую связано с неоправданным стремлением к достижению высокого эстетического качества в массовой кинопродукции, а также с неоправданно высокой оценкой такого стремления в профессиональной среде, что привело к довольно серьезному дисбалансу массового и элитарного товара в кинорепертуаре страны.

Художники, как на спортивных соревнованиях одержимые идеей самовыражения (выше, еще выше!), постепенно забыли о специфике кино, которое может жить только в зале, полном зрителей. Создатели лучших советских кинофильмов и сопутствующая им критика, презрев массовый вкус и отринув мысль о «социальном заказе» как о детище полицейского государства, как-то чрезмерно переоценили — нет, не себя и даже не зрителей! — место кинематографа в духовной жизни общества. И в результате проиграли борьбу за массу и кассу, потеряв и то и другое. И даже третье — уникальный художествен-

ный мир и профессиональные секреты отдельных мастеров. Нет, на этот раз речь не о тех, кого гнобила советская власть. Сегодня уже совершенно ясно, что в оставшейся приоритетной сфере «важнейшего из искусств» режим эпохи застоя был nepиcтoжимо толерантен к режиссерам-оппозиционерам. А вот недооценка критикой и коллегами теперь уже признанного комедийного таланта Леонида Гайдая, или несомненного эпического дара Сергея Бондарчука, сразу после «Войны и мира» востребованного Западом, или признаваемого «по умолчанию» лирико-бытового таланта Ильи Авербаха etc., etc. обернулась тем, что имевшаяся у нас школа разножанрового кинематографа, думающего в первую очередь о зрителе, а не о человечестве, была скомпрометирована на профессиональном и духовном уровне.

К началу 80-х годов подгнившая тоталитарная киноиндустрия, которая много лет жила без капремонта, но давала (теперь это ясно) финансовую возможность цвести всем цветам, обеспечивая производство около ста фильмов в год, начала естественным образом разваливаться. В таких условиях наконец встал в полный рост вопрос о профессионализме, который для кино заключается не только в производстве фильма как такового, но и в создании товара, нужного народу.

В 1980 году ошеломляющий успех на всех уровнях (84,5 миллиона зрителей, Государственная премия СССР и американский «Оскар» за лучший иностранный фильм) картины Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» доказал, что эстетическое совершенствование массового вкуса даже в одной отдельно взятой стране — это утопия.

Старая затрепанная и «обмыленная» сказка о Золушке, скроенная по жесткой голливудской схеме, приправленная «оттепельной» ностальгией и украшенная микроскопическими осколками сталинского «большого стиля», железной рукой приводила симпатичную, трудолюбивую и не отягченную духовными проблемами героиню к такому же ослепительному — без всяких авторских сомнений, открытых финалов и вопросительных знаков в конце — личному хеппи-энду, какими отличались феерии Александра. Из-за «железного занавеса» мало кому было видно, что на вовсе работающих фабриках «планеты Голливуд» такой товар давно получают методом штамповки, меняя только профессии героев и бытовой антураж. Но «планета» поставила и свой знак качества на этот фильм, показав, что старенькая модель «форда», любовно собранная в кустарной мастерской, заслуживает большего поощрения, чем конвейерная продукция.

В том же 1980 году был выпущен в прокат многострадальный «Сталкер», а самому Тарковскому заочно (режиссер уже работал в Италии) присвоено звание народного артиста РСФСР. Чуть позже «Сталкер» при очередном анкетировании мировой кинообщественности был включен в список ста лучших фильмов в истории кинематографа.

Если представить себе немислимую ситуацию, когда Тарковский и Меньшов решили бы «посчитаться славою» по итогам года, то, честно говоря, пришлось бы признать справедливым счет 1:1 — богу досталось богово, кесарю, естественно, кесарево. Режиссеру-«массовику» — быстрое забвение мировой кинообщественности и не проходящая до сих пор народная любовь к его картине. Режиссеру-«духовнику» — место в пантеоне великих и вереница последователей в родном отечестве. Абсурдным при этом должно было бы показаться только одно — отсутствие вереницы последователей у «оскаровского» лауреата.

Но если бы такая вереница появилась, то ее уж точно не одобрили бы ни авторы-режиссеры, ни авторы-критики, ни так называемые «квалифицированные зрители» — синефилы, объединенные в движение кино клубов. Как не одобрили они и вышедшие в том же году фильмы «Экипаж» (катастрофа), «Пираты XX века» (боевик), «С любимыми не расставайтесь» (взрослая мелодрама), «Вам и не снилось» (школьная мелодрама), собравшие по несколько десятков миллионов неквалифицированных зрителей в прокате. К жанровому кино профессионалы и интеллигенция у нас уже были приучены относиться так же, как к каким-нибудь откровенно конъюнктурным «Особо важному заданию» или «Твоему сыну, земля». Парадоксальным для нормального функ-

ционирования кинематографа образом режиссеры жанровых фильмов, которые требуют от их авторов большой изобретательности и профессионализма, на пике застойного безвременья считались бездарными «подельщиками», обслуживающими «социальный заказ». Виной тому было отнюдь не реальное отсутствие профессионализма у Александра Митты или, скажем, Ильи Фрэза. Виной тому стало их стремление профессионально потворствовать простоте массового вкуса.

Вообще-то, критики и синефилы на самом деле люди в большинстве своем нормальные. И даже как зрители — тоже нормальные. Просто они оказались заложниками избранной идеологии, которая к этому времени замечательный лозунг «личность выше системы» переделала в нечто совсем противоположное — «идеалы выше личности». Круг замкнулся. Родовые черты одряхлевшей, роняющей челюсть государственной идеологии отчетливо проявились в авторском, по своему пафосу оппозиционному государству кино. Огорчительней всего при этом было то, что сама государственная идеология вскоре приказала долго жить, поэтому созывать граждан на эпическое полотно Константина Лопушанского «Письма мертвого человека» или на интимное откровение Александра Сокурова «Одинокий голос человека» стало некому. Кроме критиков.

Критика в 80-е годы оказалась на высоте. Именно она стала задавать тон в кино, провоцируя режиссеров думать только о том, что напишут о его фильме в «Искусстве кино» и отберут ли картину на Каннский фестиваль. Хотя к реальному — то есть коммерческому — успеху у зрителей ни призы, ни статьи прямого отношения не имеют. Это все — из разряда «для своих», «не для всех». Как бы ни был престижен фестиваль и как бы ни был хорош профессиональный журнал — это маргинальные сферы существования искусства кино, которым, в общем-то, кинотеатры не нужны. Если эти сферы становятся центральными — значит, айсберг перевернулся: кино со зрителями ушло под воду, а на поверхности оказались внутренние проблемы, разборки, сплетни и тусовки. Кто станет спорить с тем, что показывать изнанку своей работы — непрофессионально? Однако сегодня зрителю предлагается только широкий ассортимент наметок, швов и подкладок, по которому трудно угадать крой.

Подтаявший айсберг нашего кино перевернули перестройка, западная мода на все русское и наивная революция в Союзе кинематографистов. Знаменитый Пятый съезд кинематографистов, осудив и развенчав все подлости советского Госкино, реабилитировав «полочные» фильмы и сменив старых, «чужих» чиновников на новых, «своих», в запале всех этих событий провозгласил «новую модель» существования кинопроизводства — самокупаемость. Нет, эта декларация не обозначала долгожданного альянса творческих потенций режиссеров с массовыми запросами зрителей. Никто из героев тех дней, прогрессивных критиков, даже не пытался запросы эти проанализировать отдельно от критики коммунистического режима и, что важно, отдельно от своих личных пристрастий. Критика в те годы решительно продвинулась в сторону публицистики и беллетристики, сочтя просто грамотный анализ кинопроизведения и причин его успеха или неуспеха у зрителей сальериевской поверкой гармонии алгеброй. (Хотя, в принципе, если оставить в стороне амбиции любого пишущего человека зваться писателем и властителем дум, в этом и состоит главная профессиональная задача критики — анализировать репертуар и формировать кинопроцесс.) Вследствие этого страстная любовь советского народа к индийскому кино — всем этим «Танцорам диско» и «Зитам и Гитам», которые привели, помнится, к тому, что во время Московского фестиваля 1989 года толпа поклонниц без запинки скандировала труднопроизносимое имя Меджхуна Чакрабортхи, — была признана отголоском деятельности бывшего председателя Госкино Ермаша, не пускавшего шедевры на экран, а вовсе не косвенным результатом широкого и едва ли не насильственного проката высоконравственного, но невыносимого ни для кого фильма Элема Климова «Иди и смотри».

Чем отличается насилие нравственных людей от насилия людей безнравственных? Ничем. То, что одни убеждены, будто делают как лучше, а другие желают сделать как хуже, дела не меняет. Судят не по намерениям, а по результатам. Когда кинопрокатный стан перестал работать на одних и начал ра-

ботать на других, когда «Маленькую Веру» (этакий новый «Темный путь», сменивший давнишний «Светлый путь») дебютанта Василия Пичула посмотрели пятьдесят четыре миллиона человек в России и около десяти миллионов по всему миру, вполне могло показаться, что сбудется мечта «шестидесятников» о неисчислимых массах просвещенных зрителей, которые, своим рублем проголосовав за «авторское кино» и его антигероев, будут из года в год окупать затраты на воспроизводство чьего-то личного вкуса и взгляда на мир. Увы, как и «светлый», «темный» вариант сюжета имел только одно-два талантливых воплощения. А массовый вкус, как обычно, требовал от кино не маленькой веры в плохое (чем и так богата повседневная жизнь), а больших надежд на хорошее — постылого для искусства «позитивного пафоса». При отсутствии «позитива» взрослые граждане отказались смотреть кино. Прокат стал работать на подростков и умственно несовершеннолетних, прокручивая до дыр «мягкое порно» и «жесткий экшн». Очень скоро самокупаемыми в постсоветском прокате стали только фильмы типа «Оргий Клеопатры» и «Железного кулака», поскольку были сняты исключительно для самокупаемости в странах «третьего мира», включая Россию.

Правда, взявшие в свои руки власть «новые» кинематографисты в большинстве своем быстро перестали насаждать, как картошку, нравственный императив, оставив это поле упорствующим Сокурову, Кайдановскому и Лопушанскому. Они попытались повторить опыты американских «независимых» и французской новой «новой волны» по скрещиванию кино авторского с моделями кино массового. Они снова захотели рассказывать простые истории простым языком. И самой простой сочли историю, где грязь, кровь и публицистика двигают сюжет, словно подсказанный популярнейшей некогда телепрограммой «600 секунд». А самым простым языком был признан косноязычный говор любого андерграунда — от рок-музыкантов до бомжей. Успех в отечественном прокате фильма Сергея Соловьева «Асса» и приз Каннского фестиваля режиссеру Павлу Лунгину за фильм «Такси-блюз» вроде бы подтверждали правильность выбранного пути. Однако последовавший за этим провал лент тех же режиссеров («Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» и «Луна-парк») показал, что это был кратковременный успех «из пробирки», успех «на фоне» — успех, не подкрепленный профессиональным анализом прокатной ситуации. А состояла она в том, что «железный занавес» наконец рухнул.

Из всех искусств «железный занавес» с самым большим грохотом рухнул, конечно же, в кино. Вот три небольших списка. В 60 — 70-х годах из ста чемпионов американского проката (их списки определяются по данным кассовых сборов в США) на наших экранах были показаны «Звуки музыки», «Моя прекрасная леди», «Смешная девчонка», «Этот безумный, безумный, безумный мир» и «Крамер против Крамера». В 80-х годах из тех же ста фильмов — «Гутси», «Полет над гнездом кукушки», «Данди по прозвищу „крокодил“», «Взвод», «На золотом пруду» и «Роман с камнем». В первой половине 90-х из списка в шестьдесят картин — «Терминатор», «Один дома», «Смертельное оружие», «Несколько хороших парней», «Действуй, сестра», «Молчание ягнят», «Телохранилитель», «Основной инстинкт», «Дракула Брэма Стокера», «В постели с врагом», «Непрощенный», «Голый пистолет», «Криминальное чтиво», «Бешеные псы», «Игры патриотов», «Захват», «Дж. Ф. К.», «Беглец», «Фирма», «Правдивая ложь», «Тупой еще тупее», «Неспящие в Сиэттле», «Прямая и явная угроза», «Скорость», «Маска», «Неприличное предложение», «На линии огня», «Скалолаз», «Миссис Даутфайр», «Жареные зеленые помидоры», «Городские пижоны», «Клиент», «Санта-Клаус» плюс те фильмы, которые закуплены и успеют выйти в прокат в ближайшее время. Это перечисление безо всякой статистики показывает, что на большом экране за первые пять лет 90-х демонстрировалось в десять раз больше хорошо проверенного на избалованной американской и европейской публике массового, зрелищного современного кино, чем за все предыдущее тридцатилетие.

Только фантастической наивностью отечественных деятелей кино и их непрофессиональным подходом к запросам зрителей можно объяснить то, что к продукции Голливуда наши режиссеры сегодня относятся так же, как когда-то

к творчеству Меджхуна Чакрабортхи, считая, что достаточно перекрыть кислород прокатным фирмам, завозящим эту дребедень в наши палестины, чтобы народ пошел на их фильмы, которые совершенно не согласуются с мнением этого народа о том, каким должно быть кино.

Однако было бы несправедливым утверждать, что режиссеры не считают-ся ни с чьим мнением. Таких людей не много, но они есть. Правда, теперь это уже не критики. Одного из них, к примеру, зовут Жоэль Шапрон. Работает он на Каннский фестиваль, ежегодно отбирая (или не отбирая) наши фильмы для различных программ. После рекордного пятилетия 1985 — 1990 годов, когда кино из России получало в Канне призы и вызывало интерес у западных прокатчиков, интрига каждого последующего киносеzona с монотонностью долбежки дятла заключается в том, чтобы, обогнав конкурентов, угодить вкусу отборщика фестиваля. Месяцами ожидая решения Шапрона или, наоборот, наспех завершая к установленным для показа ему срокам монтаж и озвучивание картины, практически никто из пока еще снимающих фильмы режиссеров не соглашается участвовать в отечественных фестивалях, никому из критиков материал тоже не показывает, боясь сглаза, а готовый фильм не дает для демонстрации в Доме кино до самого мая, пока не станет ясно, что с Канном вышел «пролет». Дальше все «пролетевшие» собираются в стаи и улетают летом в Сочи, на «Кинотавр», а осенью в Анапу — на «Киношок». И получают там призы. Или не получают призов даже там. Если это называется кинопроцессом, то наш министр кино — папа римский.

Когда же дело доходит до проката, то оказывается, что «Мания Жизели» — это вовсе не эстетский триллер, основанный на фактах жизни великой балерины Спесивцевой, а довольно скучная попытка поставить знак равенства между богемой начала века и тусовкой его конца, что, естественно, способно заинтересовать только тусовку. А «Курочка Ряба» — не социально-психологический шарж, а слишком мудреный «ужастик», в котором люди-монстры устраивают пьяный беспредел в русской деревне. А «Подмосковные вечера» — это не стильная экзистенциальная драма, как хотелось бы критикам, и опять-таки не триллер в духе Хичкока и Шаброля, как виделось режиссеру, а выхолощенная до полной стерилизации версия сексуально-витального лесковского сюжета «Леди Макбет Мценского уезда». А «Музыка для декабря» — это опять же не экзистенциальная драма, а скучное стилистическое упражнение на тему «Новые русские в старых стенах». И так далее. Нацеливаясь на Канн, режиссеры считают, что требуемое Шапроном от русских сочетание экзотики и эстетства — это и есть стиль. И при этом, не видя для своего фильма никакой иной перспективы, кроме Канна, режиссеры даже не пытаются сделать жанр внятным, а сюжет занимательным, наивно полагая, что скука — это признак серьезного кино.

Обиднее всего, что авторы вышеперечисленных фильмов — люди безусловно талантливые. Они бесстрашно ставят перед собой сложные профессиональные задачи, касающиеся изображения, работы оператора, музыкального ряда. Но они, к сожалению, не ставят перед собой первого профессионального вопроса: для кого снимаются эти изыски, каков адресат? Вернее, ставят подсознательно, а не сознательно. Директор Российского института культурологии Кирилл Разлогов утверждает, что сегодня наше «авторское кино» можно было бы без натяжки переименовать в «кино для Жоэля». Пусть бы даже и так — мы же знаем, из какого сора растет не ведающее стыда искусство. Но ведь желание приглянуться этому человеку не привело еще ни к чему большому, чем включение нескольких фильмов во внеконкурсные программы «Панорама», «Особый взгляд» и «Двухнедельник режиссеров».

Бог его знает, может, действительно две недели на Лазурном берегу стоят того, чтобы не дорожить любовью народной. Может, на самом деле надо наплевать на этот глупый народ, на эту толпу, требующую от поэта не священной жертвы Аполлону, а дурацких сказок. В конце концов, история всех рассудит и отделит на некоем идеальном киносеансе беспородных аглиц-зрителей как от чистопородных козлов-критиков, так и от чистых агнцев-творцов. Но пока этого не произошло, остается только одна надежда — на искусство, которое все-таки захочет кому-то принадлежать в этой стране.

Тотальный мировоззренческий кризис, ставший результатом государственных реформ последнего десятилетия, спровоцировал ельцинский указ 1996 года о необходимости скорейшего введения на территории России позитивной объединяющей национальной идеи. Конечно же, некоторое сходство президентского наказа интеллигенции с тезисами кого-то из щедринских градоначальников «О водворении на земле добродетели» немедленно породило массу газетных фельетонов, где «четвертая» журналистская власть в досталь позидебалась не только над суконным аппаратным слогом документа, но и над крамольным стремлением «первой» власти возродить госидеологию, запрещенную новой Конституцией свободной России.

Хотя, если хорошенько подумать (что сегодня пока еще не в моде), никакой крамолы тут и не пахнет: крамольным, скорее, является то, что освободившееся постсоветское общество за неимением чего-то более конструктивного стихийно подчинилось идее беспредела, то есть идеологии криминального мира. Достаточно поверхностно проинспектировать расширившийся словарь общеупотребимых слов, чтобы убедиться, что «авторитет» или «крыша» в нем уже означают нечто новое. Достаточно бросить взгляд на телеэкран, где трудные профессии «боевиков» и «киллеров» прочно сменили в ежедневных новостях мирных «полевых командиров» советской эпохи с их надоевшей «битвой за урожай». Достаточно подумать о герое нашего времени — и тут же предстанет новый «человек с ружьем», вернее — с «калашниковым» или «макаровым». В кино, кстати, несмотря на общий застой, этот феномен был очень быстро отражен в отмеченном всеми мыслимыми отечественными призами фильме Владимира Хотиненко «Макаров».

Безусловно, подсознательно понятие общегосударственной идеологии еще долго будет связано для нас с ощущением опасности «железного занавеса» и репрессий. Однако никакое государство или сообщество или даже отдельная личность (если иметь в виду именно цельную личность, а не бомжа или дебила) не может жить без внятно сформулированных целей и иерархии ценностей, дозволяющих или запрещающих те или иные пути для достижения этих целей. Собственно, отсутствие чувства цели низводит человека до простого уровня «биологического существа», а общество — до уровня биомассы. Так что, как бы коряво ни звучал президентский призыв «придумать национальную идею», это, пожалуй, самое привлекательное, обнадеживающее и интеллигентное направление в деятельности новой власти.

Показательно, что кинематографисты и тут оказались первыми среди представителей других творческих профессий: за год до теперешнего указа в рамках XIX Московского кинофестиваля был организован симпозиум «Постсоветское искусство в поисках новой идеологии». К счастью, большинство участников этой встречи будущее российского кино связали не просто с восстановлением бюджетного финансирования кинопроизводства (что было бы слишком просто, довольно накладно и совершенно бессмысленно в теперешней ситуации), а с возникновением нового «социального заказа» — неким коллективным поиском утраченных великих иллюзий, которые сто лет уже питают иллюзион кинематографа и ради которых этот иллюзион любят зрители.

Первые попытки нащупать в кино общеидейную почву под ногами уже есть. Парадоксальным, но очень закономерным для России образом они ведут свое начало с телевизионных рекламных фильмов-клипов пресловутого АО «МММ», придуманных и снятых кинорежиссером Бахытом Килибаевым в жанре жизнеутверждающей «мыльной оперы». Правда, в этом случае «социальный заказ» был продиктован и оплачен одной отдельно взятой коммерческой структурой, что, впрочем, не мешало популярности сериала даже спустя некоторое время после краха надежд вкладчиков «МММ». Телевидение, опережающее кино по скорости реагирования на общественные изменения, сделало и более серьезную попытку предъявить образец социально значимого и стилистически точного «кино для всех». Так называемый «Русский проект» ОРТ, снятый кинооператором и режиссером Денисом Евстигнеевым как иллюстрация неких «десяти заповедей» («Верь в себя», «Все у нас получится», «Ставьте перед собой реальные цели», «Мы вас любим» и т. д.), невероятно напоминает то, что раньше было принято называть «лакировочным кино».

Однако сегодня, пожалуй, именно этот жанр может указать путь к утраченным иллюзиям кинематографа. По крайней мере продюсер проекта Константин Эрнст проявил незаурядное политическое чутье, которого пока не хватает ни официальной власти, ни ее оппонентам.

На большом экране тоже есть примеры расчистки дороги к зрителям. Владимир Меньшов предпринял героическую попытку второй раз войти в одну и ту же реку. Эксцентрическая комедия с чудовищным названием «Ширли-мырли», отлично придуманным сценарием и кучей звезд в эпизодических ролях была им названа ни много ни мало «русской прокатной бомбой». Отчасти фильм это свое предназначение выполнил — тем же методом, что и голливудская продукция: он был украден, растиражирован и не без успеха реализован «видеопиратами». А товарищ генеральный киносекретарь Евгений Матвеев после долгого простоя снял «проблемно-эротический» фильм «Любить по-русски», где причудливо перемешались любимые народом советские актеры, стереотипы советской (впрочем, в той же степени и американской, и мексиканской, и французской) социальной мелодрамы и фермерско-мафиозная постсоветская проблематика. Вышло очень похоже на популярный во всех слоях общества салат оливье, который от одного Нового года до другого почему-то не надоедает. Неудивительно, что зрители собрали деньги на продолжение «народного фильма» и теперь ожидают как праздника картины «Любить по-русски-2». Ну а представитель более молодого поколения режиссеров Дмитрий Астрахан бесстрашно поиграл мифологией социальных киносказок уж совсем на грани фола: название его картины «Все будет хорошо», как и сам пафос фильма, отлично рифмуется с «русскими народными клипами» Дениса Евстигнеева, но все-таки приходится признать, что пробирочный объем лабораторного опыта на ТВ был более выгодным для такой идеи, поскольку не позволял скатиться за ту грань, где «массовый вкус» замещается вкусом просто дурным.

Впрочем, любая творческая неудача на пути «к народу» в настоящий момент должна рассматриваться как позитивный знак жизнеспособности нашего кинопроизводства. Фильмов, неуязвимых для критики, как известно, не бывает. Главное в наметившейся тенденции то, что после долгого перерыва у нас стало появляться профессиональное кино, в открытую — без застенчивых жеманных поз и реверансов в сторону профессиональной критикующей среды — жаждущее понимания и любви зрителей.

А раз наше кино снова захотело любви, значит, слухи о его смерти можно считать досадным преувеличением.



ИЗ НАСЛЕДИЯ

В. Н. ТУРБИН

*

«МОЙ ВЕК НЕ ПРОВОРОНИЛ Я...»

Записи разных лет

Юрий Антонинович Б. — обо мне... Как всегда, едко и метко... Я — Скупой Рыцарь, Барон... Люблю повторять, впрочем, что мой любимый герой русской литературы — Плюшкин.

Жизненная пародия на Скупого Рыцаря: в детстве — копилка; откладывал деньги...

Замок Барона — мой железный гараж на Стрелецкой: куча запасных частей к «Москвичам», вместо бриллиантов и золота — гайки, винтики, шины, карбюратор, трамблер...

В том, что пишу, тоже есть запасы, подвал: книги, статьи, которых не напишу, к сожалению, ни-ког-да (да хотя бы — импровизации мои; по моей же теории: дневник — подвал).

Дай мне свободу творчества пресловутую — я, может быть, ее брать не стану, буду от нее отбиваться: все высказать, выболтать — пустить сокровища (= сокровенные мысли) по ветру...

<12 февраля 1981.>

Что я пишу? Я не раз говорил: я пишу собрание своих сочинений. Не знаю, когда оно будет издано, кем. Пусть даже вообще не будет издано; но я вижу, просто-таки зрю человека, который когда-то придет в библиотеку, в какой-то архив, постарается собрать то, что я написал, прочесть, и пусть *для него одного* будет собрание моих сочинений. Но может быть, все-таки будут и книги. Кстати, Эрkki Пеуранена¹ за то я безмерно люблю, что вижу в нем предтечу такого собирателя...

Когда пишу, даже письмо, даже импровизации мои, каламбуры, — обращаюсь к этому человеку.

Мое величие (!!!) — в том, что я достиг свободы, оставаясь в пределах данного мне социального строя, государства, иерархии департаментов. Что-то, кто-то меня к этому вел; мне оставалось только не сопротивляться.

Вас. Вас. Розанов, Михаил Михайлович — мыслители открытого величия, величия явного. Но им — легче: они — извне пришли в этот социальный мир (Розанов умер на пороге этого мира как раз тогда, когда начал складываться Бахтин). Михаил Михайлович не сознавал себя причастным к этому миру, жил вне его, в любимом своем «большом времени», что ли. Я же весь этим миром сделан: 238-я школа в Марьиной Роще, почтовый вагон, ар-

Владимир Николаевич Турбин (1927 — 1993) — известный критик и литературовед, популярный университетский преподаватель литературы, автор ярких исследований творчества Пушкина, Гоголя, Лермонтова. В заглавие вынесена строка из его стихотворения, оставшегося среди рукописей.

Публикация, составление и примечания О. В. ТУРБИНОЙ и А. Ю. ПАНФИЛОВА.

¹ Финский профессор-славист, близкий знакомый В. Н. Турбина.

мия, университет, партком. Полное духовное закабаление в 40-е годы, до кандидатской диссертации включительно. И — освобождение. И как ни клянусь себя за медлительность роста, уже в 1960 году: «Товарищ время и товарищ искусство»². Суть — в принадлежности к двум мирам: весь — в этом, но весь же — и в каком-то другом, не противостоящем этому социально, а как-то по-другому другому...

Путь к свободе. Путь к Богу. Выстрадал, добился: говорил то, что *душою* хотел сказать.

Таких, как я, много, порядочно: Дм. Шепеленко таинственный³. Из известных — С. С. Аверинцев, Г. Д. Гачев, отчасти — С. Г. Бочаров... Но Аверинцев достиг свободы все-таки на периферии: в византологии легче. Гачев не удержался в ИМЛИ. Бочаров очищается еще медленнее меня. Я же стремился в центр этого мира и здесь, в центре, строил какой-то свой мир, хоть как-то сделал слышимым голос души своей, мой космический голос: методология и есть, наверное, голос души.

<7 сентября 1980.>

* * *

Общераспространенное восприятие литературы, искусства могло возникнуть только в мире концентрационных лагерей, гетто, резерваций или по крайней мере — зоопарков, ботанических садов, заповедников.

Между умозрительно начертанным фантомом «писатель», «художник» и мною, читателем, наблюдателем, — что-то вроде забора, изгороди под током высокого напряжения. Там, за изгородью, — «писатели», «художники слова», которые «мыслят образами». Читатель их читает, критик их истолковывает, исследователь их исследует, не переставая помнить об изгороди. Они — не такие, как он; он — не такой, как они.

Или: исследователь — лакей, подсматривающий за тем, как «господа живут». Или — бедный мальчик, сиротка из рождественского рассказа, сквозь окно глазущий на праздник в богатом доме, на елку.

Так или иначе, но между исследователем и «писателем» предполагается загородка, забор или хотя бы заиндевевшее стекло. Граница, рубеж...

Растолковать, что забор воздвигнут искусственно, — не-воз-мож-но...

<20 января 1978.>

Заветная моя идея о поэзии:

Пастернак открыл в поэзии душу, входящую в наш миръ, миръ у него дан с точки зрения человеческого существа, еще не рожденного — может быть, с точки зрения пребывающего во чреве матери даже. Пастернак — от «Ангела» Лермонтова: душа, которую ангел «в объятиях нес», как бы сама заговорила. О нас заговорила, о себе.

Другой поэт, Бродский, — открыл душу, так сказать, «новопреставленного раба Божьего». Миръ дан с точки зрения умирающего: душа отлетает, покидает миръ наш; и запечатлено последнее, что видит она, прощаясь с миромъ.

Между тем и другим поэтом — эпоха. Два поэта ее обрамляют. Какая-то закономерность есть в том, что оба — иудеи; высокое творчество рождается на границе, на рубеже культур, жанров.

Новорожденный и усопший вдруг заговорили в русской поэзии; заговорили о нас, о нашей стране...

<30 января 1978.>

² Первая книга В. Н. Турбина (М. «Искусство». 1961).

³ Об этом лице см. запись от 6 июня 1981 года.

Наш быт, наша сфера обслуживания, в частности, оказывается, рассчитаны, ориентированы на... пьяного. На подвыпившего, на «поддатого».

Захожу в столовку на Пролетарском проспекте, подавши чуть-чуть. И — вдруг чувствую, что теперь-то я здесь свой, что я — желанный гость: долго не дают есть, возьмется с каким-то ведром раздатчицы, потом льют из ведра суп в бак, — ничего, я жду, пьяно и добродушно пошатываясь, мне, поддато, и в голову не приходит вопить, домогаться жалобную книгу: подожду! «Поддатый», он кроток; «поддатый» всегда чувствует себя не совсем полноценным, в чем-то виноватым. И — жду, пока не выплеснут супчик из ведра в бак.

Мы — поддатые подданные.

А бородатый интеллигент в джинсах и в очках, он существо злобное: злобеден, ибо трезв. И кто его знает, чего от него ждать, что он выкинет?

А уж ежели я, «поддатый», получив свой супчик и усевшись за грязенький, сальный стол, упаду ни жив ни мертв, те же тетки-раздатчицы, глядишь, меня, лениво соболезнуя, побредут улаживать: куда-нибудь положат, спрячут; а после, глядишь, и стакан поднесут на опохмел...

Столовые, автобусы, железная дорога, — все ориентировано на поддатого!

<1 августа 1978.>

Чем больше остается прежнего в быту, тем больше возможностей хоть как-то спастись, сохраниться... Я чехам все время говорил недоуменно: «Родимые, чего же вам еще? Можете до утра сидеть в ночных кафе, ресторанчиках, за чашечкой кофе, за стаканом вина; можете в церковь пойти, венчаться, креститься, и никто вам слова не скажет; можете в газете объявление дать, мол, ищу жизнерадостную спутницу для летней поездки к морю...» Кафе, из которых не выгоняют: «Мест нет», «Стол не обслуживается», «Спецобслуживание»... В церквях органы играют... Господи, чего им еще!

Очень ревниво берегут свой быт югославы — сербы, хорваты: инстинкт сохранения быта...

У нас быт ломался, наверное, трижды за 1000 лет: в X веке, при князе Владимире; в XVIII, при Петре, да в XX, и тут уж — доломали все как следует, капитально... И внутри некоей одной — так сказать, главной ломки быта — идут ломки поменьше, но такие все же, что не всякому дано вынести их: военный коммунизм — нэп — коллективизация... Примерно с 1935 года — жалкая архаизация быта... Потом — быт войны... Быт послевоенный: ампир... Быт хрущевского времени, влившийся в уныловатый быт безвременья...

<3 апреля 1979.>

А может быть, все прогрессивные преобразования и реформы Петра I не искупают того, что он научил Россию курить, легализовал курение. Что курил сам.

Царь с трубкой в зубах, царь, изо рта, из ноздрей коего валит дым, — это чудовищно. Такой царь — конечно, уже антихрист...

<30 апреля 1979.>

Колесо... Достоевский и Гоголь...

Умиляемся — с легкой руки Андрея Белого — интенсивности мотива колеса у Гоголя. А у Достоевского-то в «Преступлении и наказании» как раз колесо и убивает — Мармеладова. И Коля Красоткин: ложится под поезд, между рельсами, вдоль рельс; а колеса стучат, стучат возле него, рядом с ним, и в каждом — смерть, смерть...

А Анна Каренина несчастная? Опять же: под колеса (а сперва, как известно, — на вокзале кого-то поезд раздавил).

А у Блока? «На железной дороге»?

Любовью, грязью иль колесами
Она раздавлена — все больно.

Ну, и у Горького, в «Деле Артамоновых»: «Кибитка потерял колесо...» — все время повторяет кто-то...

Но — начни только расплетать! Расплетать, распутывать один-единственный мотивчик: колесо — символ солнца, копия, модель солнца. Стало быть, их всех — солнцем раздавило, расплющило? Кстати, в «Преступлении и наказании» совершенно вроде бы некстати Порфирий Петрович назидает Раскольникова: «Станьте солнцем, и вас все увидят!» Получается: Раскольников — солнце, катится он по небу; а Мармеладов — под колесом...

В общем, эвон куда ведет путь от гоголевского незадачливого жениха Подколес-ина!..

(Под-колес-ин = Под-солн-ух?)

<4 июня 1979.>

С Шарлейн Ле Рок смотрим чудесную комедь XVIII века, «Скупого»; — Юр. Ник. Ершов облагодетельствовал. Я — пытаюсь заговорить и о трагедии XVIII века, о «Димитрии Донском» Озерова; заходит речь о Куликовом поле, о Мамаевом побоище и о том, что об этой великой ратной победе ни слова в серьезной литературе не написано.

Осняет: наша национальная гордость — «Слово о полку Игореве», песнь о некоем поражении, уж я бы сказал, о конфузе. А петь свои победы мы, русские, решительно не умеем и как-то даже и не желаем, не стремимся. Грубо, очень, очень условно: мазохисты мы. Конфуз, поражение, страдание — это да, это наше, это мы любим, и здесь мы раскрываемся. Уж Фадеев и тот продолжил традицию: «Разгром». А победы, триумфы — ни-ни: подсознательно понимаем, что не в них — счастье...

А социалистическое искусство требует как раз триумфальности, победоносности. И вот — пыхтим, радеем, искренне даже стараюсь победоносность изобразить. Поверхностные либеральные нападки на социалистический реализм, пикировка с ним, — пикировка с призраком, с какою-то потугой, интересной даже по-своему. Но нападки эти все-таки не случайны: нападают на то, что всего прежде бьет в глаза — воспринимается как искусственный обрыв традиции...

<11 октября 1979.>

Елочку на балконе снаряжаю, достал коробку с игрушками, со стекляшками: часть разбита, превратилась в осколки; часть вылиняла на морозах, под снегом в прошлые годы; но какие-то шарики целы еще.

Думаю: отчего бы это я так берегу осколки стекляшек? Мое обычное: Плюшкин — мой любимый герой? Не только...

И — мяжкой лавиной: воспоминания детства. Установить дома елку — крамола. С начала декабря по радио орут какую-то песню с припевом: «Мы не дадим рубить елки для праздника Рождества!»

В подвальчике на Тихвинской улице, зашторив окна одеялами, сами клеим игрушки; помню: цепи из серебряной бумаги; что-то еще — фантазируем...

Мёге сажает меня в санки, укутывает. Везет к полосе отчуждения у Савеловского вокзала. Нырять куда-то во тьму, выныривает с елкой — видимо, с маленькой, потому что вся-то елочка помещается рядом со мной, в санях. В сознании своей преступности везем драгоценную поклажу (покражу?) домой.

На большом обеденном столе — елка, украшенная серебряными цепями бумажными. Вечный страх, что кто-то заглянет в окно, увидит и донесет...

Будешь тут беречь осколки игрушек!..

<24 декабря 1979.>

По телевизору — «Дата Туташхиа», в русском варианте — почему-то под названием «Берега» (обыватель, возможно, путает с «Берегом» Бондарева и оторопело недоумевает).

«Дата Туташхиа» в Грузии — что-то вроде тамошнего «Тихого Дона» <...> про народного героя; про простого человека, на которого обрушилась необходимость выбирать что-то, становиться в чьи-то ряды. А он — не хочет ни в чьи ряды, и топчется на межах, размахивая винтовкой и револьвером, и терзает его интеллигентское, романное мышление. И погибает он, сохранив все-таки сознание своей правоты: когда он метался и к кому бы то ни было примыкал, был он не прав; а правота его — в его одиночестве...

По-детски завидую лихому абрагу Дате Туташхиа, эк, мол, он ловко ускользает от погони, преодолевает препоны, стреляет, скачет на лошади. Но может быть, нечего мне абрагу завидовать? Потому как не абраг ли я сам? Абраг в очках. Абраг с дипломом кандидата филологических наук. Литабраг, а к тому же — абраг, выстаивающий очереди, мерзнувший на автобусных остановках: абраг в современном быту. И жизнь — вечный бой с бытом; овладение искусством превращать быт в аттракцион, чтобы не дать быту проникнуть в душу. И каждая лекция — набег абрага, мирные залпы социологической поэтики, мирные выстрелы. Если говорить о цирке, то: клоун стреляет, и из ружья выпрыгивает алый цветок.

Я хочу: стрелять цветами.

Уж преследовали меня как литератора и так, и сяк. А я — исхитряюсь: стреляю цветами.

Абраг с авторучкой, а поле боя — залпанные комнатухи редакций...

<1 февраля 1980.>

Съежиться, затихнуть; лечь, укрывшись с головою халатом, в полусны погрузиться: видения, какие-то голоса — голоса своих собственных мыслей; а потом все стирается в памяти...

Столько лет ощущать себя зайцем, коего травят борзые...

Отказ в моей жизни... Парализующее волю, подрывающее веру в себя значенье отказа. Раз, другой — отказ, при этом ставящий тебя в глупое положение; третий, сто сорок пятый раз отказ, угроза и — каюк человеку: страх перед всяким общением...

Мне три с половиной годика. Плющица: живу у tante Nadine почему-то. Пошли гулять во дворик: зима, снежок. Гуляю, гуляю; про меня вроде бы и забыли, а я по нужде захотел. Карабкаюсь на крылечко. На двери — кнопки звонков. Одни — высоко, не могу достать; нажимаю пальчиком тот, что пониже, звоню. В дверях появляется тетка какая-то, пожилая: полвека помню ее лицо, выражение лица — изумленное, как бы испуганное, недоумевающее.

— Я хочу каки, — говорю я убежденно и внятно, в полной уверенности, что... Не знаю уж, что. Но, видимо, в полной уверенности, что человек человеку должен помочь в таких обстоятельствах; не может человек человека оставить без помощи.

— Здесь нет никакой каки, — говорит мне тетка, и дверь захлопывается. И — все: от-каз. Меня не поняли, не вошли в положение.

Уж не помню, как я разрешил ситуацию; во всяком случае, не наложил в штанишки, перетерпел. Даже рассказал обо всем кому-то, и Серг. Евг.⁴ до сих пор, вспоминая, ржет... А чего ржать? Ведь была катастрофа: от-каз (если бы тетка знала, что она сделала! кости ее во гробе перевернулись бы!).

⁴ С. Е. Суходольский — двоюродный брат В. Н. Турбина.

И живу, живу — в страхе: куда ни сунься — будет отказ. И подсознание — в шрамах: отказы в магазинах, в столовых. Отказы в редакциях: и потому, что плохо писал, и главным образом потому, что писал хорошо. Отказы прекрасного пола...

Вечная мечта сказочного Емели о сказочной Щуке: «По моему велению; по Щучьему хотенью...» Или, кажется, наоборот: «По моему хотенью, по Щучьему велению...» И — чтобы было то, о чем просишь: без отказа...

<25 февраля 1980.>

Ходим, бродим вокруг да около, уж кто только не ходил, не бродил, а простейшего не сказали: роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?» — простейшее, до вульгарности простейшее антиевангелие, атеистическое евангелие, написанное, правда, азартно, рьяно...

Построение — простое: ряд, вереница подмен. Все сводится к понятию: «вместо».

Вместо Христа — Рахметов. Вместо «Родословия Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова» — родословная Рахметова, человека с Востока, потомка неких пришельцев. Вместо апостолов — «новые люди» (ср.: Новый Завет).

Рахметов как бы превосходит Христа в душевной отваге: не молится о том, чтобы минула его «чаша сия», а доблестно готовится испить сию чашу. Ухарские проказы вместо тайной вечери и т. п.

Вместо туманных, невнятных обетований — организация. Идея некоей тотальной организации пронизывает роман (это, конечно, — от утопического социализма). В общем: «Не храм, а мастерская»; и отсюда — мотив мастерской с ее режимом, ее бухгалтерией...

Некое антиевангелие — и в жизни Чернышевского, автора «Евангелия от Николая». По какому-то странному стечению обстоятельств он — Гаврилович (Гавриил, «Гавриилиада» Пушкина, травестированный образ архангела Гавриила).

Заточение в Петропавловской (Петр и Павел, апостолы) крепости, где роман и сочиняется, откуда он и исходит. Вроде бы — пребывание в узилище по обвинению в лжепророчестве. Всюду: какое-то пародирующее начало, торжество принципа «вместо». И вместо распятия и Голгофы — нелепый позорный столб. А вместо «INRI» — «Государственный преступник». Кому еще такой удел доставался? Не знаю; вроде бы никому; Чернышевскому только...

«Что делать?» — антиевангелие не по сюжету только, конечно, а прежде всего по идее: искушение «умного духа» принимается рьяно, радостно, убежденно. Камни — в хлебы: мотив хлеба в романе. Хлеб жрет Рахметов; не вкушает, а жрет. Это пожирание хлеба — торжество материальности, тела.

Пресловутые мастерские — швейные мастерские. А что люди шьют? Шьют материю. В основе этой сюжетной линии — бесхитростный каламбур: «материя»...

Хлеб, материя, кровь... Рахметов спит на гвоздях — гвозди на теле Христа...

И конечно: отрицание жизни как жертвы; знаменитое: «Жертва — сапоги всмятку». Тут даже не отрицание: просто — исключение из кругозора...

<10 марта 1980.>

«Что делать?» — антиевангелие на всех уровнях: на уровне идеи, на уровне сюжета и на уровне стиля.

Стилистика романа: слово в «Что делать?» всего прежде жеманно. Это жеманство слова призвано пародийно заменить многозначительность, заведомую недосказанность слова в Евангелиях. Намек как основополагающее начало.

Социология такого жеманного стиля, стиля намеков проста. Намек имеет характер принципиально мещанский: второй план, внутренняя форма в намеке приближены к первому плану настолько, что тут не надо трудиться над расшифровкой, гадать, ломать голову: «И кто его знает, на что намекает...» А тут — ясно, «на что намекает». Очень удобно: и многозначительность некая сохраняется в слове, но и умственно напрягаться не надобно. А то — изволь ломать голову: «Имеющий уши да слышит!»

Вся игра с «проницательным читателем» — мотивировка жеманного слова, слова жеманствующего.

Четыре сна Веры Павловны — четыре Евангелия (?).

Мастерские Веры Павловны — антимонастырь: в монастыре-то все тунедствуют, якобы живя только жизнью духовной, а тут — трудятся, шьют материю, живут материальной жизнью.

Впрочем, здесь получается треугольник: монастырь — публичный дом — мастерская. Мастерская, возможно, противопоставлена и бардаку (бардаки под вывеской мастерских процветали).

Пародии на евангелие в жизни разночинцев-демократов: все они норовили спасти блудниц, приобщали к труду девиц легкого поведения, Марий Магдалин «горячим словом убежденья».

Как же так получилось, что никто до сих пор не увидел: разночинцы — как создатели антиевангелий в литературе, в быту? Вплоть до: их подполье — пародия на катакомбы.

Ладно, Саша Лебедев ничего тут не углядел. Я не углядел. Но ведь и Набоков не углядел: написал о Чернышевском плоско и скучно, «методом критического реализма». И один Некрасов — кажется, он один! — углядел нечто и сложил стих про распятого Чернышевского...

<11 марта 1980.>

А visité Б*** П***: весь — вдруг! — в мистике, тоже мне слесарь-теософ, богорец, богоискатель. Йога, НЛО, осколки бессмертной madame Блаватской и Штейнера — все перемешано, нагромождено одно на другое, как в плюшкинской куче у Гоголя.

Он — уже в... школе какой-то (не спрашиваю, в какой, не хочу, не надобно знать мне). Уже кто-то пудрит ему мозги, и уже твердо знает теософ-слесарь, что Христос был на 18-й ступени приближения к абсолюту, а всего-то их, ступеней, 21, и что Магометанство выше нашего Христианства, потому что там — один Бог, а у нас-то Их как бы три рядышком: вечная распря о Троице, дошедшая наконец и до слесаря с автотехстанции, обернувшая его — на тебе! — в магометане + теософия + НЛО + конечно, и парапсихология кстати...

Господи, береги детишек моих от этой белиберды, спаси и сохрани души их ясные, умные, чистые...

На нас — океанской волной! — надвигается профанация, и все под себя она хочет подмять, все себе подчинить: лжепророки расселились в кооперативных квартирах, в малогабаритных жилищах и, аки жуки-древоеды, точат некое древо, грызут, оставляя в стволе запутанные, витые следы. «Атомный век», «век электроники» — век насекомых. Социальные перевороты — и ползанье вшей. Потом — колорадский жук. Кооперативные квартиры кишат тараканами, старые квартиры — клопами. Продаются изящные аэрозоли от тараканов, обыватель гоняется за тараканами, прыскает; тараканы падают, аки солдаты в бою, а на смену им — как в бою же! — новые полчища. Оно конечно, завсегда на Руси тараканы и вши водились, но тогда была темнота, непросвещенность, курные избы были, не было НТР, и мужик покладисто хлебал щи с тараканами, а бабы на завалинках били вошь. Но и это было — знаменитым, симптомом смуты, раскола, сектантства. А тут насекомое вылезло как-то на первый план, и Чуковский написал гениальную поэму «Муха-цокотуха»...

И — сидим в малогабаритных квартирах, пшикаем на тараканов аэрозоль и занимаемся теософией: «вшивая интеллигенция» — недаром же так говорится.

В силу какого-то идиотского совпадения слово «энциклопедия» содержит в себе слово «клоп»; а с энциклопедии-то все и пошло...⁵

<5 июня 1980.>

На даче, на 42 км, образовалась солидная библиотека журналов за 50-е — 70-е годы. Читаю вразнобой. Все больше попадаетея про войну — про Великую Отечественную, конечно.

В глазах рябит от угрюмо-лихих комбатов, молоденьких розовощеких лейтенантов, умудренных бедой солдат и старшин, от генералов-сухарей, академиков, остроумцев и эрудитов. Сожженные ненавистью партизаны, девушки тихие или бойкие...

Гигантская, очень честная, разумеется, внутренне истовая потуга: вперед, к Толстому Л. Н., к его эпопее, к «Войне и миру».

Все думают, что надо: во-первых, написать в четырех томах; во-вторых, писать длинными фразами и, в-третьих, писать «горькую правду»...

А между тем...

«Война и мир» создана на излете метафизического, мистического — ну, пошло сказать, романтического — мышления. «В 30-е годы XIX века с Богом что-то случилось», — сказал Эдуард Гр. Бабаев. И совершенно верно сказал! Отвернулась Россия от Бога, а Бог — от России: «Как хотите, так и живите!»

«Война и мир» — книга большой победы: победы позитивизма над метафизикой, над мистикой. Я бы так сказал: «Война и мир» воздвигла себя на обломках храма Христа Спасителя Александра Витберга: разрушил его не Николай I, не масоны, не бюрократы, разрушил его дух времени, дух тогдашнего времени, дух «эмпирии», восторжествовавшей над «идеализмом» (Герцен, этот дух, как и многие другие, материализовавший, храм горько оплакивал!).

Храм Христа Спасителя — не объяснение победы в Отечественной войне, а изумление перед нею как перед Божиим чудом.

В «Войне и мире» — эмпирическое истолкование этой победы, наивное, но гордое своею наивностью, хотя есть там оглядка на ушедший из жизни мистицизм, робкое упоминание о чуде Божиим, стыдливое.

Потом — что произошло? Того противника, оппонента, с которым спорил Л. Н. Толстой, не стало. Голос его умолк. Мы слышим уже только голос Толстого и старательно подражаем ему, пишем «горькую правду» (еще в 40-е годы — Виктор Некрасов).

<22 июля 1980.>

«Не надо представлять себе Бога каким-то обидчивым», — усмехнувшись, сказал мне Михаил Михайлович Бахтин.

Но: не надо представлять себе Бога и каким-то падким на комплименты, на лесть. А то — и благодарим, и славим; а вдруг лиловой тенью страшная мысль мелькнет, вонюю греха повеет, и — насмарку все, что мы Богу говорили приятного...

<5 января 1981.>

⁵ Речь идет о знаменитом проекте французских просветителей «Энциклопедии, или Толковом словаре наук, искусств и ремесел, составленном обществом писателей...» (1751 — 1780).

Превращение культового строения, храма в быт, в бытовое.

Преобразование храмов в какие-то склады, в пакгаузы. В Медыни — уже идиотское издевательство над храмом, такого не бывало и в 20-е годы; церковь, а над дверьми ее: «Пивной зал».

И — обратный процесс: превращение быта в храм; сакрализация быта. Превращение бытовых сооружений в культовые. Магазин, субботнее, воскресное шествие к нему. Обыватель принаряжен, везет в колясочках детей. Колясочки остаются у входа: алые, малиновые, зелененькие, — красиво. На ступенях, на паперти, иной раз сидит старуха-нищенка.

Кассы — как исповедальни. Тут: выворачиваются, показывают все, что купили, что будут вкушать. В общем же, рассказывают о себе как бы все.

Пародия на храм, но и память о храме.

<6 января 1981.>

Путь ребенка в школу...

Этот путь все сокращается, профанируется.

Маленький герой Некрасова («Школьник») — путешественник, путь его огромен, сложен. Теперь: школа катастрофически приближается к ребенку; и — ханá, уже нет пути в школу: школа-то — во дворе дома, в микрорайоне. Продумать предстоящий учебный день, идя в школу, или осмыслить то, что было на уроках, уже просто негде. Школа — забегаловка. Наш дом — между школой и кабаком («Пивной зал»). Не символично ли? Кабак и школа одинаково близко; а бедные родители иногда затевают скандалы, ходатайствуют, чтобы винные магазины и распивочные уж хотя бы отодвинули подальше от школы.

Когда бываю в родной Марьиной Роше, вспоминаю о моем пути в школу. Это все же был путь, и благо, что школа отстояла от дома хотя бы на полкилометра: шел, думал. Иногда за мной заходил кто-нибудь из приятелей, мы шли вместе (конопатый вихрастый Бобров, а как звали — уж и не помню).

Были грустные осени. Я из школы шел и знал, что дома ждут меня яблоки на тарелке — дивные «коричневые» подмосковные яблоки, все они померзли в лютую зиму 1939/40 года. В 6 кл. во вторую смену учился: шел домой в темноте, уже в свою комнатку. Знал, что наспех приготовлю уроки на завтра и завалюсь почитать: реге мой часто книги мне приносил. Утром шел к длинному нескладному верзиле Боре Мосичеву, «Моське», и в заснеженном дворе у него мы играли в футбол: опять же путь в школу.

Гениальная «Степь» Чехова: вся повесть — о пути Егорушки в школу. И ясно, что не в самой школе осуществляется воспитание, а на пути в школу. Тут, на пути, но на удалении огромном от школы, — и кабак. И — природа.

Интересно бы сопоставить: «Школьник» Некрасова и «Степь» Чехова.

1941 год. Живем под Москвой, в деревне Матюшино. Мама, помаявшись, отдает меня в школу на станции Правда. Я там и учиться-то не успел, всё-то мы в колхозе морковь убирали. Числился в школе недели две. Но путь в школу запомнил я на всю жизнь: километров 5 лесом, шел из школы и грибы собирал...

Как же это я забыл? Вук Караджич и его путь в школу, в монастырь в Тржиче: маленький Вук, семилетний, будущий просветитель сербского народа, шел каждый день в монастырь через горку, лесочком...

<10 января 1981.>

Литература и кино (телевидение)...

Обилие экранизаций и протесты против них, вопли. А отчего вопли?

А оттого вопли, что: поэзия, литература бесплотны. Все-таки: чистый дух. «В начале было слово...» Поэзия — слово, еще не воплощенное, не обременившее себя плотью. Чистая бесплотность — музыка, конечно; а за ней — поэзия.

Экранизация — некое насилие над бесплотным и, следовательно, над свободным словом; над процессом, который каждый читатель осуществляет: облекает слово во плоть, но — лишь в мыслях, в воображении. Процесс так и не достигает результата, принципиально не достигает.

И вдруг — бах! — слово о человеке превращается в человека: в Родиона Раскольникова, в Ивана Карамазова. Кто-то один не завершает, а просто прерывает процесс.

Это — насилие над моим воображением, отнятие у меня какой-то свободной, какого-то права.

Кино — псевдоцерковь, лжецерковь. Свободу толковать музыку, поэзию так, как мне хочется, оно отнимает, диктуя всем одно толкование.

Кино делает в мире искусств, в мире наслаждения то, что церковь делает в мире, в сфере веры.

Надо, чтобы: вера была единой, воцерковленной, а искусство было в толкованиях своих плюралистичным. Получается же наоборот: вера, если она есть, все больше и больше становится плюралистичной, кто во что горазд; а толкования искусства — монистичны, декретированы...

<13 января 1981.>

Орудия убийства: коса и топор...

Смерть — с косой. Тут уж: прямое указание, указывание на единство человека и травы, цветка. «Баба поранила ноженьку голую» — у Некрасова: коса ранит...

Серп на... гербе. По меньшей мере двусмысленно: орудие, коим казнят растение, хлеб. А молот? Молот — производное от топора, его продолжение, модификация...

Давно думал и давно студентов смешил, потешал наблюдением: «мотив топора» в русской литературе. Студенты застенчиво хихикали, я сам смущенно посмеивался, — так и живали, ничего-ничего не видя.

«Лес рубят — щепки летят», — цинично говорили еще недавно; бормотали, оправдывая гибель многих. Уж тут из подсознания просто же прет понимание соотносимости судеб дерева и человека.

Характерно: «зеки», заключенные, что они делают? Они же рубят деревья («лесоповал»). Рубят по зверской норме. Рубят, надрываясь и умирая. Жуть какая-то, свистопляска: узникам-зекам дается... оружие. Но дается с условием: рубите деревья. Все рубят, и вы рубите.

В жаргоне: есть, кушать — «рубить». Говорить — «рубить», «рубанул». Или: «резать правду-матку», «сказал как отрезал» (коса, серп — это ж нож!).

Да, студенты мои хихикали (хихикающий позитивист, да еще молоденький, юный, — это ужасно, ужасно!). А звон он, «мотив топора», куда нас ведет: в лагеря, на каторгу (может быть, тоже позитивистское наблюдение, но хоть интересное по крайней мере).

«Рубка леса» в русской литературе: Лермонтов («Три пальмы», «Спор»), Л. Н. Толстой. Топоры Достоевского: «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы» — топор в космосе.

Идут мужики и несут топоры,
Что-то страшное будет.

«К топору зовите Русь» Чернышевского. История криво усмехнулась, и загремели топоры в лагерях...

«Русский лес» Леонова...

Человек убивает деревья. Деревья убивают человека: упавшее на человека дерево — «Тени забытых предков» Параджанова.

Лианы-«людоеды» где-то в джунглях...

<15 января 1981.>

Первый признак наступления старости — начинаешь путать умерших и живых. Умерших считать живыми, живущих — умершими. И уже как бы чуть-чуть, чуточку заглядывать «туда»: «там» же будешь жить в обществе умерших, и умершие будут живыми, а живые, те, кто останутся «здесь», будут умершими.

Еще, конечно: слова забывать начинаешь. Сердишься на себя: «Ах, склероз!» А это — мудро: тело, организм, сбрасывает с себя бремя слов. Зачем «там» слова? И без слов все будет понятно, и незачем наши слова волочить «туда». Кому они «там» нужны?

<15 февраля 1981.>

Страх Божий...

Страх Божий — не путать с нашим страхом, земным: со страхом за родителей, за жену, за детей, со страхом перед сумой и тюрьмою...

У нас, на земле, — о п а с е н и я.

А страх Божий — это страх потревожить космос, хоть капельку поколебать иные миры, внести в них хоть какое-нибудь смятение...

В основе вегетарианства — все-таки лежит страх Божий...

В разгар голодовок милых моих, да и вообще иногда думаю о колбасе, о свининке, о котлетах, бифштексах с луком, с картошечкой. И ощущаю страх Божий: убить животное — прикоснуться к чему-то такому, к чему я прикасаться не должен, не вправе. Ну, как не вправе я вызвать грозу, дождь или менять клад на жару. А тут — еще большее что-то: заклятие, растерзание...

Растерзать животное — мир растерзать. Землю (Земля же — тоже в некотором роде животное, не зря, возможно, говорили, что покоится она на трех китах).

«Убивать время»...

«Пожирать пространство»...

Экие же мы агрессивные!

<24 февраля 1981.>

Вокруг человека надо создавать стену, заслон от источаемых на него откуда-то из засады лучей зависти, зла.

Как создавать эту стену? Идеализировать человека. Данного человека: моего отца, мою мать, брата, сына или же дочь. Перед идеализацией зло бес- сильно.

Моя тётка идеализировала, конечно, меня. Вплоть до мелочей: у меня за спиной гордилась моими успехами, говорила о них знакомым, соседям, случайным собеседникам в поезде (однажды подслушал, лежа на верхней полке). Но идеализация в ее варианте не была пошлой кичливостью: «Ой, вы знаете, мой Гога...» Идеализация скрывалась за доброй иронией...

Критический реализм — отрицание идеализации. Он отбросил ее. Человек оказался незащищенным. Более того, критический реализм создает в ореоле, охраняющем человека, в поясе защитном каверны, дыры. В критическом реализме есть что-то от какой-нибудь химической кислоты: разъедает она металл, разлагает, заставляет его ржаветь.

Выжечь кислотой сопернице «зенки поганые»...

Отравляться уксусной эссенцией...

Все это — материальное, химическое выражение борьбы невидимой. «Зенки» сопернице можно выжигать и на расстоянии, издалёка, заочно. День за днем. И начинается с критического реализма: она — и такая-то, и такая-то; пусть даже точно фиксируются недостатки, оплошности. Это — уже магия, начало ее. Потом в ход идет уж и собственно магия: маги высматривают тех, чья аура подточена, продырявлена. Принимаются догрызать, добивать.

А идеализация — укрепление ауры того, кого идеализируют, а значит, и лю-бят...

<18 марта 1981.>

Из какой-то старенькой книжки, из томика Некрасова кажется, выпала шпарталочка, сложенная бумажонка:

«Кафка. Эврика!

Христианство с позиций иудаизма:

«Процесс»,

«Испр<авительная> колония» — христ. цивилизация,

манная каша?»

Прочел я и аж сам удивился: когда же это я за-пи-сал-то? Когда же такое мне стало в голову приходить?

Михаил Михайлович мне сказал как-то, изумив меня, как всегда:

— Кафка — это же... Это же культура восточноевропейского гетто... У него очень сказывается влияние каббалы...

Я ничего не понял, лишь почувствовав силу этого откровения. И сейчас, конечно, не понимаю... Но — то, что могу понять:

культура гетто — сохранившаяся в полной целости иудейская культура, со всех сторон блокированная христианской культурой; гетто — стена, стены, а за стенами — готика христианских соборов и городов. Тут-то вновь и вновь и рождается их вопрос: «Что же прошло мимо нас? Кто прошел? Что мы отвергли?» А ответ — за стеною, по ту ее сторону.

А по ту сторону стены — распинают Спасителя, того, кого сами же именуют Спасителем. Да почище распинают, чем когда-то распял Каиафа.

«В исправительной колонии» — распятие, распинание Бога вечное. Бога в человеке. Распинают его п и с ь м е н а м и: казнят, так сказать, пером; жалом пера (в роли пера — иглы, которыми на теле распинаемого выводят досто-хвальные прописи). И кормят манной кашей — манной небесной. И рот заты-кают. И искренне думают, что все это — хорошо, нормально, во всяком слу-чае. И все это ветшает, дряхлеет...

«Процесс» с его католическим собором в центре. Истина тонет в писани-не, до нее не добраться: с человеком говорят, его приговаривают к смерти на основании скрытой от него истины; истины, которой ему не дано ни понять, ни знать просто...

Диалог иноверца с христианством в XX столетии начат Кафкой...

<21 марта 1981.>

А кушать-то и не хочется совсем — в смысле жрать, насыщаться...

Коктейли из хилых весенних соков, и — хватит. А бодр, свеж...

О том, что мы в а р и м, ж а р и м жратву, думаю как о какой-то очередной ошибке, последствий которой не ведаем.

Жарить — сожжение, испепеление. Не случайно же, по легенде: в аду чер-ти грешников ж а р я т.

Пресловутые ауто-да-фе: с ж е ч ь, испепелить ересь, грех, злодеяние. Чер-нокнижников испепелить. Испепеляли, испепеляли. Испепелили кучу добрых людей, а чернокнижники, возможно, стояли в толпе, хихикали. Но одного-другого чернокнижника все-таки испепелили, и теперь его «ментальное тело» нам мстит: вдохновляет жарить...

Горящие печи в избах, и — пожары, толпы погорельцев-крестьян.

Чад примусов в коммунальных кухнях, их шипенье и вой знаменуют победу нового социального строя...

Газовые плиты...

И всё-то — жарим да жарим. Испепеляем всё подряд, что ни схватим.

<22 марта 1981.>

Телефон, телефонный разговор, телефонные разговоры пожирают, должно быть, массу... сексуальной энергии. Массу!

Все болтают по телефону, и — век фригидных женщин, век импотентов. Хорошенькая дамочка по телефону болтает, болтает, а в постели она — трусишка...

Тут — вот в чем дело:

телефон — это пародийная беседа с «тем светом», связь с «тем светом» (собеседник-то — неосязаем, невидим, слышен лишь его глас; в этом смысле собеседник более трансцендентен, чем привидение, призрак, тень). И coitus — выход в астральный мир, в космос.

Так спрашивается: зачем человеку связываться с мирами иными через coitus, преодолевая стыдливость, неловкость, ежели он на дню пять-шесть раз удовлетворил свою потребность при помощи техники?

В самом телефонном аппарате есть что-то бл..ское, особенно — в таксофоне: всем дает за семишник, а междугородние бл.. — за 15 копеек. И когда таксофон не срабатывает, бьют его, как бьют пьяную проститутку: сработай, мол, — свяжи меня с миром астральным!

<24 марта 1981.>

Толкуем, толкуем: пространство... время... Все прозрели, все навалились на «проблему пространства и времени», обглядывают ее и обглаживают, аки собаки вкусную кость...

А я поглядел на церковный календарь, и только сейчас дошло: от въезда Господнего в Иерусалим до воскресения Его (!) всего-то не-де-ля (!!)) прошла (!!!). И всё — на пяточке, в маленьком скандальном провинциальном городишке, в колонии Рима заморской.

Судьба мира за неделю определилась, за те же семь дней, в течение коих Бог когда-то этот мир создавал...

Мы говорим о «стремительных» темпах XX века, о «бешеных ритмах». Но мы-то — ползем да ползем куда-то, а тогда — за неделю было совершено все пересоздание мира... И уж какая там атомная бомба — так взорвалось все...

Кстати, идиотское созвучие фонетическое: Хиросима — Христос... Так, чтобы больше половины букв совпали в двух случайно взятых словах тоже только случайно, — такого быть не может.

Христианство — Хиросима...

От Христа — к Хиросиме...

От распятого Бога — к распятому городу, граду...

Почему США выбрали Хи-ро-си-му? По стратегическим соображениям? А по каким? Давно уже доказано: никаких стратегических соображений не было и быть не могло...

Дьявол-озорник услышал созвучие и — подсказал, нашептал Трумэну, а в Трумэне вообще что-то дьявольское мелькало, просачивалось, это видно и невооруженным глазом, по фотографиям...

Рузвельта дьявол убрал, выдвинул из засады Трумэна и — нашептал ему: «Хи-ро-си-ма!...»

Тень, которая осталась от человека на лестнице в Хиросиме: пародия на распятие...

Хиросима — Новый Иерусалим: город южный, море рядом... Провинция, крайняя восточная точка мира...

<13 апреля 1981.>

Блаженны нищие духом...

И тут же — притча о зарытых в землю талантах. А примирить-то все сие — как?

А очень просто: реализовать талант без гордыни, втихомолку, что ли, реализовать. За примером недалеко ходить: мой великий учитель Дмитрий Шепеленко.

Чуть ли не полвека жил в Москве талантливейший литератор, ютился на Сретенке где-то, в переулочках. Где-то служил каким-то консультантом, а в основном же — писал. Не дневник, а скорее импровизации: в архиве когда-то я читал, читал, поучаясь; так и надо писать. Не события, а проблемы, думы. Думы души. Вокруг кипело все: Горький там, А. Н. Толстой, «граф-товариш», И. Л. Андроников. А Шепеленко сидел да писал, писал: «Бог открыл рот в крике: быть миру!» В одном этом апокалиптическом образе — реализация таланта полная.

И умер Шепеленко. И тетрадки его — в ЦГАЛИ. И был он духом... Богат ли? Нищ?

А мой рёге? Дважды он крупно жертвовал собою, своею душой: когда, будучи гуманитарием по складу ума, пошел в инженеры, чтобы кормить семью; и когда женился на тёге, родил меня. Он раздавал все, что имел из духовных богатств, он стал духом нищ. Неужто ж не будет ему даровано царство небесное?

А, скажем, В. В. Розанов: яркий, умный талант, суетился, будировал. Он ли не отдавал все, что имел? Но он-то все-таки торговал. Кстати, откровенно, буквально, материально торговал своими мыслями, книгами, объясняя, почему назначает за них высокую цену. И — духовно торговал: стяжал себе бессмертие. Накапливал «духовные ценности».

И выходит, не быть ему в царствии небесном? Ибо были изгнаны из храма торговцы.

<6 июня 1981.>

22 июня 1941 — старость? — с каждым годом яснее всплывает в памяти:

«Зимняя сказка» Шекспира в театре — том, что нынче Театр имени В. Маяковского. Я, тринадцатилетний, — смотрю «Зимнюю сказку».

От Никитских ворот — голубой автобус № 5. На повороте на площадь Пушкина, около трех часов дня... Многолюдно. И кузен Андрей Птицын — мне: «А знаешь, кажется, сказали: „...фашистская Германия”». И — надо отдать ему справедливость — высказывается в том смысле, что не началась ли война? А я — отмахиваюсь...

Дома — узнаю, что: вой-на. Мамы нет: побежала в магазин на 1-й Новотихвинской улице за вермишелью. Прибежала, принесла кило вермишели. Захватила меня, побежали снова.

Война для меня началась с о-че-ре-ди.

Какой-то хмурый рабочий — рывкает в духоте, что нельзя, мол, нам давать два кило, мы же вместе. Красная, потная, задыхающаяся моя тёге:

— Но рты, рты-то у нас ведь разные! Есть эту вермишель будет каждый отдельно!

Ташим в дом вермишель...

А что было вечером, я не вспомню никак...

Штурм Брестской крепости...

Штурм магазина с вермишелью...

Что тут на что пародия?

А та дама, преподаватель техникума, которая с мужем-директором осталась в городе⁶? Остались они, наладили производство мин; остались вопреки письменному приказу об эвакуации на основании устного распоряжения секретаря райкома. Три года делали мины, а на четвертом году им пришили дело: остались, мол, ждать... немцев. Били даму. Выбили признание (!). Приговорили к расстрелу. Сидела дама в камере смертников, ждала казни. Вырывала из платяя нитки, слагала буквы: писала... стихи. Расстрел заменили 25 годами каторги. Муж-туберкулезник умер в лагере. Дама выжила. Я познакомился с нею в Малеевке, потом она была у меня... Я не помню, как ее зовут.

Жива ли она сейчас?

25, кажется, июня провожаю на Курском вокзале кузена Андрея Птицына. На площади вокзальной купили в киоске «Красную новь». Андрей изрекает:

— Интеллигентный человек всегда берет с собой в дорогу книгу...

И уезжает — в Изюм. И нам никак не приходит в голову, что уже скоро Изюм станет пеклом, оккупирован будет...

<22 июня 1981.>

Деревенские впечатления — хождение в народ мое...

Нижегородская, Костромская губернии...

Бросается в глаза: самоубийство стало как бы обыкновенным видом смерти. Печальным, как всякая смерть, но — заурядным, обыкновенным. Ему не ужасаются, не осуждают; к нему относятся так же, как и к любой другой смерти: справляют поминки, памятники ладят на сельских кладбищах.

Один — повесился; другой — из ружья в рот...

Дьявол идет по русской деревне прогулочным шагом...

Может быть, так идет: в шелковом цилиндре, в смокинге, в брюках в полосочку, в лакированных башмаках и в белых перчатках... Идет по грязи непролазной, по навозной жиже у заброшенных свиноферм. Идет — голубоглазый, задумчивый; и хотя идет, сеется мутненький дождь, он почему-то остается чистеньким, отутюженным, — в чем-то похож на поэта Сергея Есенина (пародия на хождение по морю, яко по суху: я-де тоже могу, эка невидаль!).

Идет он мимо разрушенных церквей, обращенных в склады, в магазины, в овощехранилища. Ухмыляется грустно. Ухмыляется и церквам, словно бы нехотя одетым в леса, реставрируемым; они будут «памятниками архитектуры»...

Поллитровку несет и удавку-веревочку; знай играет, забавляется ими. Обратить воду в вино? Ах, какие же, право, пустяки; я тоже могу...

Шествие этого джентльмена в лакированных башмаках по русской деревне — сплошная пародия на Тютчева:

Эти бедные селенья,
Эта скудная природа...

Прощать? Джентльмен тоже что-то прощает людям: прощает им доброту, например, даже поощряет ее, потому что ему как раз очень нужна доброта без Бога. Да и вообще: «Я тоже могу...»

<8 августа 1981.>

К рассуждениям о монархии и о республике (В. В. Розанов, И. А. Ильин)...

Одна, казалось бы, частность, а ежели глубже вникнуть, то вовсе даже не частность: для монархии необходимо золото — ну, чтобы в обращении денежном было золото, чтобы ходило по стране зо-ло-то. Точнее — так: чтобы где-

⁶ В Ленинграде.

то были сокровища, была чтоб сокровищница. И текущее по стране золото — чтобы как бы брало истоки в этой таинственной сокровищнице: «динарий Кесаря», именно кесаря. Тогда страна, держава, империя — будто единое тело, и по жилам его течет, струится монаршая кровь (золото = кровь).

Монархия начала гибнуть, разлагаться тогда, когда появились ассигнации; когда в России появился двойной счет: на серебро и на ассигнации.

И — уже издевательство: на ассигнации — портреты... монархов (ассигнации с изображением Екатерины II — народ уже зовет, хихикая, «Катьками»). Одно дело — профиль монарха, отчеканенный на золотой монете, тогда он — «динарий Кесаря». Другое дело: клишированный портрет (патрет!) монарха на ассигнации. «Динарий Кесаря» — солидно. А... «ассигнация Кесаря»?

До сих пор говорят: «золотые царские монеты». А ассигнация — уже что-то принципиально республиканское. Что-то как бы никого ни к чему не обязывающее. Легковесное. Мотыльковое. Временное.

Золото — звенит («звонкая монета»).

Ассигнации — шуршат, шелестят.

В том, что по стране текут, растекаются золотые деньги, — идея жертвы реализована; деньги словно бы текут из одного источника, из царской казны; царская казна (= кровь) питает народ. В том, что по стране ползут, летят ассигнации, — нет никакой идеи: текут, и — ладно; пусть их текут...

<20 сентября 1981.>

В «Литературной газете» за прошлую среду: «Кому мешал Гай Юлий Цезарь?» Про то, как три лоботряса убили пса, сен-бернара: так сказать, зверски убили. Автор разводит руками: мол, по-че-му? Стонет, что нету закона, карающего за убийство псов...

Из прекрасного далека статью комментирует Анатолий Гладиллин; скрежещет зубами: милиция — нехорошо поступила: видели, что режут собаку, не ступились...

В статье — речь еще и о поломанных детских качелях, причем сокрушают железные столбы толщиной в руку; о покорябаных лифтах... Зачем? Почему все это?

За-гад-ка...

А разгадка — такая:

с середины прошлого века — борьба с... сентиментализмом, которая идет и донныне: «слезливый сентиментализм».

Безусловное торжество реализма над сентиментализмом. А основа сентиментализма: прекраснодушие. Полтора века идет борьба с прекраснодушием; народ сам себя отучивает, отучает от прекраснодушия. От «слезливого сентиментализма». Нехитрый парадокс: чем больше мы становимся пьяными, тем больше становимся трезвыми.

Холить сен-бернара, гулять с ним — прекраснодушие, сентиментализм. Бей его! Били не собаку, а сентиментализм окаянный били: в быт спроецировалось то, что одобрялось в академических трудах, в «Историях литературы...».

Расцвет уголовщины — торжество реализма над прекраснодушием. Урка, который глумится над «фраером», — реалист; «фраер» — сентименталист (прекраснодушен).

От сентиментализма отучали в концлагерях, в тюрьмах: урки против «политиков» (политический преступник — все-таки осколок прекраснодушного мира, напоминание о нем).

В армии — сержант с издевкой орет новобранцу: «Ты не у маменьки!»

«Маменька» — атрибут сентиментализма (прекраснодушия).

Глумление над дворянами, над священниками...

Сожжение библиотек...

Уничтожение церквей... Глумление над мощами святых...

Чего же удивляться тому, что замучили пса? Рыжего Бога? И именно: сен-Бернара, святого Бернара?

А теперь: охранять святыню... с милицией? См. «Мирскую власть»
А. С. Пушкина.

<28 октября 1981 >

Что-то же, что-то реально должны значить для нас слова о ланите, которую заповедано подставить, когда тебя бьют... Подставить не по малодушию, втайне огрызаясь и коптя небо злобой, а — по убеждению, дабы не повышать, так сказать, уровень волн ненависти в мире. Не засорять ею космос, не питать там злых сил.

Живу — озадаченный: книги написал, сына родил, дерево посадил (реальное, зеленеет моя береза). Чего же Господу от меня еще надобно? Какие я обязан выдержать испытания? А того не приходит на ум, что — ланиты эти самые должен я подставлять, подставлять под удары. И — не кичиться этим: «Эвон, как я аппетитно их подставляю!» И — молчать в тряпочку...

Где-то там, на дне бытия, в серной зловонной бездне кому-то нужен гнев, раздражение; там — вампиры, кои питаются горечью ненависти, и — не дать, не давать им пищи...

<10 декабря 1981.>

О П Ы Т Ы

АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ

*

ГОРЯЧИЙ СПОР: О ЧЕМ И КАК

1

Бесстрастной может быть дискуссия на отвлеченную тему. Да и то до поры. Всякий реальный спор, задевающий спорящих за живое, когда их настоящему «заедает», когда выясняются коренные жизненные позиции, — это не только «борьба умов», но и схватка страстей.

Эмоции сильно усложняют ход прений, уводят в сторону, запутывают ясное или, напротив, высвечивают темные углы мысли. Так или иначе, но именно чувства делают спор горячим. Без них вникнуть в природу живого диалога невозможно. Нечаянные ошибки и сознательные уловки — неперменные участницы горячего спора. При этом, однако, он не лишен своего смысла и даже своей структуры, отличаясь от «холодного» обмена мнениями тем, что в «идеальное» логически чистое построение вносится масса нарушений, особенностей, «примесей»; образуются искажения, лакуны, разного рода неправильности, придающие жаркому обсуждению индивидуальный, а значит, реалистический характер.

Вот почему предмет нашего рассмотрения — горячий спор.

2

Есть у И. А. Бунина небольшой рассказ «Брань»¹: прямая речь двух русских крестьян без единой авторской ремарки. В писательской практике Бунина это единственный пример сплошного диалога. Такое впечатление, что автор записал его стенографически точно, разве что без непечатных приправ. Впрочем, их могло и не быть. Спорят люди пожилые, богобоязненные, уважающие себя и тот язык, на котором Бог сподобил их выражать свои чувства.

Рассказ датирован летом 1917 года, а опубликован под названием «Спор» в «Русской газете» в Париже 24 августа 1924 года. То есть через семь лет... То есть по остывшим следам... Но нам сейчас важно не когда он опубликован, а когда написан. Это мы уточним из текста. Наше допущение состоит в том, что если бунинская рука и тронула «стенограмму», то так искусно, так деликатно, что «руки» совсем незаметно.

Это дает нам право исследовать текст как своеобразное явление логико-психологической природы, зафиксированное Буниным. Попробуем разобраться в двух вещах: в том, что составляет смысл спора (о чем спорят?), и в том, что представляет собой его структура (как спорят?).

Здесь можно еще возразить, что перед нами — не исключено — вообще стопроцентная выдумка, что писатель такого класса способен придумать что угодно и все сойдет за чистую монету (примеры были). Но это нам тоже подходит. Если рассказ от начала до конца выдуман, а фантазия настолько реальна, что автора не уличить в сочинительстве, то какая нам разница, с чем мы имеем дело: с жизнью, которую не отличить от вымысла, или с выдумкой, которую не отличишь от жизни. Бунинские спорщики давно почили в сырой земле, и у писателя тоже не спросишь. А текст — вот он:

¹ Бунин И. А. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 4. М. «Московский рабочий». 1995, стр. 281 — 283.

3

Лаврентий. *Я судержал и мог судержать старое потомство. Я этой земли шесть наделов держал, когда господу костылями били, а теперь тебе отдай?*

На руках у Лаврентия были старики родители: не предки, а *старое потомство* — такого не сочинишь. Здесь какое-то невероятное по-русски Future in the Past — будущее в прошедшем: *потомство*, но *старое*, потому что оно не Лаврентиево, а дедушкино-бабушкино. Он сам потомок своему *потомству!*

Лаврентий *шесть наделов держал* в стародавние времена, *когда господу костылями били*. А когда это было? При крепостничестве? Если так, то в 50-е годы XIX века. И было ему тогда лет двадцать, не меньше — раз *держал*. Момент спора — не позже лета семнадцатого года. Значит, сейчас Лаврентий — глубокий старец, ему хорошо за восемьдесят.

Он держал наделы безупречно, но жизнь изменилась. После Февральской революции встал вопрос о том, что наделы надо переделить. Земля от богатых переходит к бедным. Важно, что вопрос, кому отдавать землю или, иначе, жизнь крестьянина (что он без земли?), поставлен очень лично и потому особенно остро: односельчанину *нищоброду* Сухоногому. *Тебе отдай?*

Исходная позиция Лаврентия такова: он исстари хозяин своей земли, исправно ее содержавший, а теперь все отдай, ни с чем останься? Несправедливо!

Так возникает первая оппозиция между трудом и воздаянием: за хороший труд землю отбирают.

Сухоногий. *Да ты ее у меня отнял! Меня оголодил! Я ее, землю-то, кровью облил!*

Первая стычка. Оказывается, Лаврентий должен отдать отнятое, вернуть Сухоногому землю, которой тот владел еще до Лаврентия.

Исходная позиция Сухоногого: верни мне мое, отдай отнятое. Это — справедливо!

Л. *Ты мне ее продал.*
С. *Ты ее отнял! Купил!*

Оппозиция уточняется. Отъема земли не было. Была купля-продажа. Обычная сделка. Но Сухоногий считает, что отнять и купить — одно и то же. Просто купить — означает отнять за деньги.

Лаврентий не согласен:

Л. *Ты продал, а я купил. А теперь ты, значит, хозяин стал? Я за нее деньги отдал. Как же мне землей не интересоваться? Я через нее серый стал, брат ослеп, а отец в гроб пошел. Вот как его наживают, капитал-то.*

В одной реплике — три позиции. Во-первых, купить не то же, что отнять. Во-вторых, если сосед землю *кровью облил*, то у Лаврентия на той же самой земле вообще вся семья надорвалась. И в-третьих, капитал наживают огромным трудом.

Теперь Сухоногий может реагировать на выбор. У него есть три варианта, как продолжить спор: пояснить свою мысль о купле-отъеме; поспорить с тем, кто больше сил в землю вложил; или возразить по поводу трудоемкости накопления. Он выбирает последнее.

С. *Да-а, так! Ты у меня две десятины держал, одну за деньги, а другую за процент один.*

То есть половину несправедливо (за деньги), а половину вообще недопустимо!

Противоречие между трудом и воздаянием дополняется противоречием между трудом и праведностью: воздаяние (*процент один*) настолько мало, что делает труд Лаврентия на бывшей сухоноговской земле неправедным.

Л. *Да что я ее у тебя — силком брал? Ты сам сдавал.*

Лаврентий отстаивает праведность своего труда. Сосед отдал ему землю добровольно...

Л. Нужда сдавала. Нужда просила.

Точней, не добровольно, а насильно, но виной насилью не честный покупатель Лаврентий, а крестьянская нужда.

Насчет нужды Сухоногий не перечит:

С. Конечно, нужда!

А вот насчет Лаврентия и его отношения к чужой нужде очень сомневается:

С. А ты ее забыл! Ты греб!

То есть воспользовался и нажился на моей беде. Так Сухоногий обвиняет Лаврентия в корыстолюбии.

Стяжательство — сильный довод против праведности капитала, скопленного Лаврентием.

Это задевает его за живое — он эхом откликается:

Л. Греб! Ты поди погляди, сколько у меня ваших векселей лежит на плоченьх. Вы, мужики, хамы.

С вами, дескать, если и захочешь нагрести, то не нагребешь, ведь вы долгов не отдаете, и уж если я гребущий, то вы — хамы непочтенные. Брань по адресу Сухоногого смягчена только тем, что направлена не на него одного, а на всех хамов вообще: он один из многих (чтобы ему не было слишком обидно).

Уточним оппозицию еще раз.

Лаврентий: я работаю-работаю, а меня винят в корысти и хотят землю забрать. А кто винит? Хам, не возвращающий долги.

Иными словами, Лаврентий считает свой труд вполне праведным (он честный капитал зарабатывает), а вот воздаяние несправедливым.

Сухоногий же полагает труд Лаврентия неправедным (корысти ради), а воздаяние, точней, возмездие (отъем земли в свою пользу) — справедливым.

Обвинение в хамстве — пусть и в компании хороших мужиков — Сухоногого уязвляет. Он не отрицает своего хамства (что есть, то есть), но пытается и «честного капиталиста» урезонить, поставить на ту же доску:

С. А ты-то кто ж? Не мужик, что ли? Не такой же хам?

Л. Я хозяин. Я слово свое судержу. Это ваш брат, нищebroды, хамы.

Лаврентий противопоставляет хаму-соседу себя-хозяина. Хозяин — слово держит (хозяин слову своему), а хам не держит, то есть врет: обещает и не выполняет. По отношению к некоему неизвестному нам хаму — *сукину сыну* (третьему лицу) — Лаврентий формулирует свою позицию крайне жестко:

Л. Пускай теперь на осинке передо мной удавится, тринки не дам.

Вот оно — противостояние не на жизнь, а на смерть: получил — отдай, не отдашь — больше не получишь, хоть удавись.

Л. Зачем ему, сукину сыну, надо было дробач с гумна тащить?

С. А ты сам зачем тащил?

Л. Я не тащил, я за деньги брал. Я за свое добро требовал, а не воровать по гумнам ходил.

С. Все равно тащил!

Логика Сухоногого нам уже известна. Купля равна изъятию или воровству: купить-отнять, купить-стащить. В этой логике покупка лишь иной вид воровства — воровство за свои деньги, ведь вещь-то все равно уплывает, все равно достается богатому, а не бедному, так или иначе, а бедный еще более обездоливается, богатый еще крепче наживается, потому что цена не отвечает истинной стоимости вещи: вещь дороже цены. И потом, что такое *свои деньги* Лаврентия? Это деньги, которые он нажил, купив (то бишь отняв!) землю у Сухо-

ногого. Разве можно назвать праведными плоды таких трудов? И Сухоногий бросает напоследок:

С. Первую заповедь забыл!

Не укради...

Нет больше у Лаврентия ни слов, ни доводов. Он только беспомощно восклицает:

Л. Ах, Боже милосливый!

Ничего не может он поделать со своей «нормальной логикой» против Сухоногого оттого, что спорят они о разном: одному главное труд как таковой, а другому праведность труда важнее самого труда.

Оппозиция продолжает обостряться.

Сухоногий наступает:

*С. Да, всем тащил, обозы гонял, под процент давал, за всем попи-
нался!*

Лаврентий занимает круговую оборону, повторяя:

Л. Я ночи не спал, свое хозяйство наживал.

С. Молчи! «Ночи не спал! Хозяйство наживал!» —

откровенно передразнивает Сухоногий и дважды задает один и тот же вопрос: «А зачем?»

С. А зачем не спал? Зачем наживал? Дьяволу угождал?

Упрек в «бесугодничестве» никак не сглаживает спора. Сухоногий требует, чтобы труд был богоугоден, иного не признает. Неправеден труд, тешащий дьявола, а за неправедностью следует возмездие: смерть лишает смысла всякое накопительство.

С. Что, перед смертью в лепешку закатаешь да сожрешь, деньги-то эти?

Старик хочет сказать что-то о себе...

С. Мне вот восемьдесят лет...

Но Лаврентий его прерывает, переводя разговор на другую тему, поскольку никаких идей относительно того, что лично ему делать со своими деньгами после смерти, у него, по всей вероятности, нет:

Л. Ты меня переживешь. Ты костяной. Тебя ни одна болезнь не берет.

С. Мне Господь мою кость за бедность дал.

Если нет правды на земле, то Господь все видит и помогает бедным, а вот земная власть бедных добывает, и потому она неправедна...

С. А у меня сына последнего забрали ваше народное правительство, глаза их закатись!

Господь дал, а власти взяли.

Так возникает новая оппозиция — разногласие между властью и праведностью. Масштаб полемики меняется. Личное сталкивается с державным.

Л. Действительно, это новое правительство глупо сделало, что у тебя сына последнего взяли, у старика убогого, —

соглашается Лаврентий.

С. А таких-то убогих много!

Л. Немного, не говори. По порядку стараются брать.

Еще одно возражение, но уже вполне дружелюбное по тону. Кажется, что намечается сближение позиций. И правда, «взвешенный» Лаврентий, став на сторону властей, тут же переходит в оппозицию к ним:

Л. А только, конечно, глупцы. Не ихнее это дело в правители, в начальники лезть. Какие же они правители, когда трем свиньям дерьма не умеют разделить?

С. А! Вот то-то и есть! —

подхватывает Сухоногий.

Заметим: пока речь шла о противоречиях между трудом, праведностью и воздаянием, позиции спорящих были противоположны. Не в том смысле, что Лаврентий возражал против праведности, а в том, что понимал ее иначе. Себя он грешником не считал. Но как только спорщики заговорили о правителях, о власти, возникло полное единодушие, началось настоящее братание мнений, ведь *народное правительство* было Лаврентию таким же *вашим*, как и Сухоногому. Оно грозило у Лаврентия землю отнять, а у старика убогого, у которого нога высохла — одна кость осталась (отсюда и кличка), уже отнял сына последнего.

Обратим внимание: раз говорится здесь о *народном правительстве*, значит, разговор происходит между весной и летом семнадцатого года — между отречением царя и датой написания рассказа, то есть он написан (записан) Буниным по горячим следам диалога.

Можно сказать, что в своих собственных глазах Сухоногий дважды обобран: Лаврентий отнял у него землю, а правительство сына. Лаврентий хоть деньгами откупился, а правительство чем? Да ничем. Солдатским долгом.

С. Они его в солдаты взяли, а по его развитию, по его почтенности ему какое место занимать? Он у любого барина в сельской конторе может писарем быть!

Тут отцовские чувства побеждают, но ему и других солдатиков жалко:

С. Им бы и всем-то, солдатам, надо ружья покидать да домой!

Лаврентий не согласен:

Л. Ружья нельзя кидать, беспорядок будет.

С. А за кого им теперь воевать? Наша держава все равно пропала! —

пускает в ход фатальный довод Сухоногий, и «супротивник» не спорит:

Л. Это верно, пропала.

Глупость властей и гибель державы — вот темы, не вызывающие у спорщиков никаких разногласий.

Л. Без пастуха и стадо пропадает. А она, свинья-то, умней человека.

Образ правителя, не умеющего разделить дерьма трем свиньям, видно, так отложился в подсознании мужика, что снова всплыл еще уничижительней для правителя и неожиданно лестно для свиньи (умней человека), с чем и сосед согласен:

С. А! Вот то-то и есть! Кому они присягали, эти солдаты-то твои? Прежде великому Богу присягали да великому Государю, а теперь кому? Ваньке?

Смена царской власти на «власть народную» вызывает негодование у мужиков (народа).

Л. На Ваньку надежда плохая. У него в голове мухи кипят.

Вознесение во власть мухокипящей башки Лаврентию противно. Здесь спорщики снова солидарны. Тем не менее у каждого из них двойственное отношение к новой власти. Лаврентия она не устраивает тем, что собирается отнять у него землю, он корит ее за глупость и бездарность, но поддерживает усилия по сохранению порядка. Сухоногий приветствует власть за то, что она обещает вернуть ему его землю, но не может простить, что правительство по-

слало на войну его единственного сына, а еще он — крестьянин — возмущен плебейством новой власти, ведь, по его понятиям, демократия превращает Россию в Ванькину державу.

Расквитавшись с правителями, Сухоногий принимается за дворянство:

С. Мы присягали на верность службы, а дворяне на верность подданства, а теперь где они? С Ванькой сидят, хвостом ему виляют! Ну, разорился, ну, именье свое прожил, а все-таки честь свою держи, алембарду не опускай!

И тут спор приобретает иной оборот. От «ты» — обобщенного дворянина Сухоногий возвращается к «ты»-Лаврентию и оспаривает его самую первую реплику, о которой мы давно уже забыли:

С. Тебя господа костылями не могли бить, ты по своим летам в крепости не жил, а я жил, знаю!

Тогда старика заела главная тема — земля, и *костыли* он оставил без ответа. Но, видно, они так крепко засели у него в памяти, что вылезли теперь — после обмена тридцатью репликами! И тут он должен отстоять правду, даже в такой «мелочи». Оказывается, Лаврентий выдумал, что его *господа костылями били*, он по молодости лет в крепости не жил. Он младше Сухоногого, а не старше. Ему не за восемьдесят, как можно было судить по первой реплике, а вообще неизвестно сколько. По крайней мере меньше восьмидесяти.

Едва наведя относительный порядок с возрастом Лаврентия, Сухоногий парадоксально соглашается с тем, что стяжателя все-таки били, не могли не бить:

С. Тебя такого-то, будь ты хоть бурмистром, нельзя было не бить, ты слов не слушал, ты господина всегда норовил обокрасть...

Внутреннее противоречие (*не могли бить — нельзя было не бить*) связано с тем, что в споре хронологии и воспитания Сухоногий отдает предпочтение воспитанию, хотя бы и в ущерб хронологии: таких жуликов, как Лаврентий, учить никогда не поздно и никогда не рано.

С. А меня господа пальцем не трогали! —

противопоставляет он прохиндейству соседа свою честность и пригвождает напоследок метафорой:

С. Ты крот подземный, у тебя когти скребущие!

Что отвечает на это оскорбление Лаврентий? А ничего. Он вспоминает про солдат, подсознательно перенося акцент со своих скромных воровских заслуг на куда более развитые способности служивых по части грабежей:

Л. Они и так все давно разбежались, солдаты-то эти твои. Все по деревням сидят, грабежу ждут.

Сухоногий заступает за солдат, повторяя тезис о пропащей державе:

С. Сидят! Конечно, сидят! Раньше держава была, а теперь что? Кому служить? А прежде каждый должен был в назначенный срок явиться, а не явился — умей выправиться, рапорт подай! Теперь все равно все прахом пойдет...

Ну, прахом. А дальше-то что? А дальше...

С. Все придется сначала начинать, по камушку строить!

Л. Ах, Боже милосливый! —

повторяет свое восклицание Лаврентий.

Л. А строить-то кто будет?

С. Кто ж, по-твоему? Ты? Ан брешешь! —

отвечает Сухоногий вопросом на вопрос и попутно изобличает Лаврентия в брехне, которой тот вовсе не занимался, ведь он себя в государственные строители не прочил.

Наконец, называется и Строитель:

С. Господь, а не ты! Господь!

Так риторический вопрос о строительстве новой державы вначале переведен «на личности», а потом отдается на попечение высшим силам.

Но Сухоногий и не подозревает, какого «духа» разбудил он при этом в Лаврентии.

Л. Тебе такому-то Господь не даст. У тебя все равно дуром пойдет. Тебе хоть золотой дворец дай, ты все равно его лопухами заростишь. Тебе бы только на жалейках играть да дельного человека злословить. Ну, я крот скребущий, а ты кто? —

чистит «трудолик» «праведника» за его непутевость, непрактичность, праздность, житейскую дурь, а потом противопоставляет этой мнимой, по его убеждению, праведности истинных Божьих угодников, которые, при всей их святости, такого пренебрежения земным никогда не терпели:

Л. Вашего брата хорошие угодники Божии за вашу беспечность за вшивые вихры драли.

С. Не все драли, брешешь! —

возражает Сухоногий, снова уличая соседа во вранье.

С. Угодники разные есть!

Значит, святые угодники делятся на дравших за вихры и не дравших. Такой «классификации» православное богословие до Сухоногого не знало. Это его личный вклад. И еще про угодников:

С. Они сами богатства гнушались!

То есть праведный гнушается богатством. Снова возникает оппозиция праведности и труда, верней, его плодов — богатства.

Лаврентий уточняет:

Л. Они для себя гнушались, а нам велели свое потомство кормить. Державу питать.

Другое мнение. Пусть угодники гнушаются богатством — это их святое дело. А человек труда не должен отказываться от воздаяния за труд, ведь у него на руках не только потомство — дети, не только *старое потомство* — родители, но вообще вся держава. Как же ее прокормить нищетой? Одними молитвами сыт не будешь.

Сухоногий опять меняет тему спора. От оппозиции труда, праведности и воздаяния он переходит к оппозиции труда и власти. Это смотря *какую* державу питать. Если Ванькину, то ее и питать не надо, горб на Ваньку ломать.

С. А я под твою Ванькину державу все равно ни за какие золотые дворцы не пойду!

Теперь оппозиция труда, праведности, воздаяния и власти представлена во всей красе. Если власть несправедна, то нет такого воздаяния (таких *золотых дворцов*), ради которого стоило бы на эту власть трудиться.

Лаврентий с этим не спорит.

Он четко отделяет себя от такой власти:

Л. Я не Ванька, я хозяин.

Но для Сухоногого «хозяин» значит вор, обманщик, стяжатель — человек неправедный, хоть и трудяга. Он его не приемлет.

Спор завершается не доказательством, не примирением, а проклятьем:

С. Ну, и лопни твое чрево с твоим хозяйством!

Вот и весь результат.

Лето 17 г.

После того как мы рассмотрели спор полностью и детально, выделим «сухой остаток». Это поможет нам ясней оценить смысл и построение диалога.

- Л. *Землю тебе отдай?*
 С. *Отнял — отдай.*
 Л. *Я купил.*
 С. *Нет, отнял!*
 Л. *За деньги.*
 С. *Половину за процент один.*
 Л. *Сам сдал. Нужда твоя сдала.*
 С. *А ты и греб!*
 Л. *Греб!.. Вы же не плотите, хамы.*
 С. *А ты не хам?*
 Л. *Зачем он дробач тащил?*
 С. *А ты не тащил?*
 Л. *Я купил.*
 С. *Все равно тащил! Бога забыл.*
 Л. *Я ночей не спал, трудился.*
 С. *А зачем? Стяжал. Дьяволу угождал. Мне 80 лет...*
 Л. *Ты костяной.*
 С. *За бедность. А сына — в армию.*
 Л. *Да, это — глупо... Какие они правители?*
 С. *Ружья бы покидать.*
 Л. *Нельзя. Беспорядок.*
 С. *А кому присягать? Ваньке?*
 Л. *Надежда плохая.*
 С. *Тебя бы за воровство, крот подземный!..*
 Л. *Солдаты грабежу ждут.*
 С. *А кому служить? Эх, все прахом... Снова по камушку строить.*
 Л. *Да кто будет?*
 С. *Не ты. Бреешь... Господь будет!*
 Л. *Ты-то ничего не получишь, жалеищик беспечный. За вихры бы тебя угодникам...*
 С. *Они богатства гнушались!*
 Л. *Для себя, не для нас. У нас держава на руках.*
 С. *Ванькина? Не пойду под нее!*
 Л. *Я не Ванька, а хозяин.*
 С. *Ну, и лопни...*

Первый вопрос: о чем спорят?

Обсуждаются противоречия между трудом, праведностью, воздаянием и властью — такие характерные и такие вековечные для горячего русского спора. Именно эта оппозиция во всем многообразии сочетаний и составляет основу обсуждения.

Второй вопрос: как спорят?

Один оппонент пытается вести спор в коммерческой плоскости, другой — в криминальной; следуют личные обвинения, взаимные упреки; вопрос остается без ответа; меняется тема разногласий; неожиданно противники становятся союзниками; одна линия спора исчерпана, но вспоминается другая, и личные обвинения возобновляются; один из обвиняемых вновь уклоняется от ответа, переноса акцент на посторонних; к земному противоборству смело подключают духовные авторитеты, причем проверить правильность ссылки на святых угодников невозможно; попутно следует ложное обвинение во вранье; упрек властям оппонент принимает на свой счет и возвращается к началу спора, после чего обмен мнениями обрывается энергичным проклятием.

Таков итог «разговорного процесса», в котором каждый из участников выполнял функции прокурора, адвоката, обвиняемого и судьи.

5

В споре Лаврентия с Сухоногим сталкиваются психологии Хозяина и Философа.

Хозяин считает себя честным и умным тружеником, а Философа — глупым и беспечным, то есть праздным, хамом. Философ же, напротив, убежден, что он, подобно святым угодникам, исповедует праведную бедность, тогда как Хозяин погряз в воровстве и стяжательстве.

То, что для Хозяина — труд, для Философа — нажива.

То, что для Философа — праведность, для Хозяина — праздность.

По мнению Философа, труд для Хозяина только средство, а цель — накопительство.

По мнению Хозяина, праведность для Философа тоже лишь средство, а цель — праздность.

Хозяин покупает, гоняет, попинается, ночи не спит — лишь бы обогатиться.

Философ продает, сдает, призывает не служить, кастит Ванькину державу — лишь бы не работать.

Каждая из этих целей — и накопительство, и праздность — в глазах оппонентов безбожна.

Но самое замечательное, что в душе у того и другого жив один и тот же идеал — праведный труд во имя одухотворенной цели. Просто цель эту они не умеют сопоставить со своей жизнью. Один стяжает, прекрасно понимая, что это не цель. Другой отказывается от труда, ибо нажива ему противна, а во имя чего тогда трудиться — непонятно.

Заметим, что энергия высказываний распределена между спорщиками резко асимметрично. По сравнению с Сухоногим Лаврентий спорит вяло. На восемь его вопросов Сухоногий отвечает шестнадцатью, а в сорока восклицаниях костяного старца совершенно тонут три восклицания Лаврентия (причем одно из них — всего лишь эхо сухоноговского «Греб!», а два других — повторы жалостно-риторического «Ах, Боже милосливый!»). Сухоногому не лень кипятииться и за себя, и за Лаврентия. Все это может создать впечатление, что в споре побеждает нищеврод, но побеждает он, понятно, не в споре, а в напоре.

Очевидно, что горячий спор не имеет ничего общего с непредвзятым поиском истины именно потому, что он предвзят; не исключает все личностное и даже не маскирует его, а, наоборот, подчеркивает; лишен всяких правил; допускает любые нарушения корректного порядка обсуждения; перенос вопроса из одной плоскости в другую, переход на личные оскорбления, уклонение от ответа, произвольное изменение обсуждаемой темы, обвинение в том, чего нет, интонационный напор...

Вот почему горячий спор часто безрезультатен. В нем трудно что-либо доказать, тщетно кого-нибудь переубедить. Он бурлит и, выкипая, уходит в пар. Его начало — холодный чайник с водой, а конец — тот же чайник, только раскаленный и пустой. Горячий спор — это проверка на полноту и скорость выкипания. Сколько же в нем распыленной энергии, сколько хаотического жара!

Бунин привел диалог крестьян как документ, отказавшись его комментировать. Умный ход. Действительно, предмет слишком запутан, слишком темен и — увы — всегда злободневен. В нем легко потеряться, ничего не прояснив.

Почему же тогда мы, понимая, в какой бурелом забредаем, пошли все-таки на этот странный риск?

Дело в том, что все наши житейские распри очень похожи на перебранку Лаврентия с Сухоногим. Иначе дебатировать мы не умеем. Рассказ «Брань» — копия живой полемики.

Значит, апологией нашего внимания к горячему спору служит его реальность. Здесь мы имеем дело с наложением психологических особенностей спорщиков на логику их умозаключений, то есть речь идет о реальной природе мышления в состоянии эмоциональной возбужденности, что так характерно для спора. Причем для любого спора — от бытового до высоконаучного. И не только русского, но и латинского, и польского, и какого угодно.

Бунинские мужики никак не претендуют на роль интеллектуалов, и тем не менее их спор, при всей его конкретности (чей кусок земли: мой или твой?), носит очень общий, очень типичный характер. Здесь сталкиваются коренные противоположения бытия: прагматика и этика, мысль и чувство, действие и противодействие. Мобильность такого обсуждения обеспечена тем, что в позиции каждого собеседника есть свои сильные и слабые стороны, а степень подготовленности оппонентов влияет скорей на глубину спора, нежели на его принципиальную разрешимость.

Это спор вечный, однако, как мы видим, далеко не бессмысленный. Наши спорщики не договорились ни до чего, но безрезультатность не означает бессодержательности.

И — самое главное: все то «уничжительное», что здесь было сказано по адресу «глупых» эмоций, нарушающих «правильное» течение мысли («усложняют», «уводят в сторону», «запутывают»), уравнивается одним чрезвычайным обстоятельством: привнесение в спор алогичного начала, чистой случайности создает почву для откровения как иррационального способа постижения истины. Причем последняя может в итоге не иметь никакого отношения к стартовой оппозиции: начали толковать об одном, а ситуацию прояснили совершенно в другом. И коль скоро это происходит, то такое событие уже не просто оправдывает горячий спор, а делает его своеобразным инструментом познания.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ПО ХОДУ ТЕКСТА

АНДРЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ



НЕИЗВЕСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЧИ

«Почти невозможно писать, почти невозможно читать...» Но все по порядку. Передо мной статья-декларация (даже, как мы увидим, *декламация*) Александра Гольдштейна «Литература существования»¹. Как явствует из редакционной справки, автор родился в 1957 году в Таллине, жил в Баку, с 1990 года живет в Тель-Авиве, печатался в журналах «Даугава», «Знак времени», «Новое литературное обозрение», «Окна» и др. Думаю, что его текст мог бы появиться и в московском журнале, место печати в данном случае не принципиально. Важно, что определенное, не только автору присущее, умонастроение (не скажу — концепция) выражено прямо и относительно внятно².

Основной термин, вынесенный в название статьи, — *литература существования*. То есть, грубо выражаясь, прямое писательское слово, «экзистенциально» окрашенное и брезгующее беллетристическими уловками. Но автор склонен выражаться более кудряво и начинает с поздних статей Блока. То были, впрочем, совсем не статьи, «в них поражало отсутствие общего с прежней его публицистикой, критикой, нормальной журнально-газетной работой знаменитого автора лирики и поэм, умевшего переключаться на прозу». Это было «голое мясо признаний с непредставимой акустикой и неизвестными результатами речи». Последняя фраза, несмотря на избыточную метафоричность, вполне дает понять, что именно подразумевается под литературой существования. Автор статьи относит себя к той категории людей, которые

«по прошествии семидесяти пяти лет со дня смерти Блока понимают (думают. — *А. В.*), что русская литература опять угодила в глубокую яму промежутка, только характер его нынче тотален: старое избыло свои сроки, новому еще предстоит укрепить тихий голос. Этот кризис неизмеримо серьезней того, о котором когда-то писал Тынников; в то время он был вызван несколько преувеличенным докторами недугом больного, сегодня пациента уже унесло. <...> Это и есть промежуток: ничейная полоса между непройденной смертью и еще не обретенной новой жизнью».

Далее как раз идут, может быть, вообще главные слова в статье, ее эмоциональный центр: «Жалкая теплая промежность. Иждивенческая, затхлая. Потому что:

Почти невозможно писать.
Почти невозможно читать».

¹ «Зеркало», Тель-Авив, 1996, № 1-2. См. обзор этого литературного журнала в рубрике «Периодика» в этом номере «Нового мира».

² «Гольдштейн выигрывает первоположением в номере, обилием подобранных примеров, попыткой собрать их в горсть. Проигрывает за счет длиннот, что мешает воспринять статью как манифест, и эмоциональности (парадокс), что не дает ей стать исследованием», — пишет Николай Смирнов, обозревая этот номер «Зеркала» («Сегодня», 1996, № 194, 22 октября).

За этими (без иронии) впечатляющими пассажами следует, как ни странно, нечто более привычное и успокаивающее.

«Попросту говоря, речь в тысячный раз идет о литературе подлинности или существования, за которой стоит человек со своею личной историей. Другие слова ведь уже не проникают в сознание (чьё? — А. В.), засыхают на фильтре, выметываются вон. Перспектива соприкоснуться с романом повергает (кого? — А. В.) в кому и ступор, а история, мемуар, свободное размышление, повесть судьбы, проза любви и отчаяния, подрывная листовка, прокламация заговорщика, манифест художника и поэта вроде бы куда-то годятся, их покамест не удалось скомпрометировать. Не полностью удалось, скажем во избежание. Только в границах означенных жанров еще можно говорить о жизни и смерти без того, чтобы пеленать эти темы в унижительный (почему? — А. В.) кокон якобы возвышающей нас (с кем спор? — А. В.) художественности. Во имя чего автор должен (а если ему просто хочется? — А. В.) прятать от нас свое лицо, во имя какой высшей цели должны мы вникать (а кто «вас» заставляет? — А. В.) в сконструированные им беллетристические средостения? Нет такой цели и никогда (никогда? — А. В.) не было. Время повальной инфляции требует прямоты слова и жеста, умения все договаривать до конца, не прибегая к исчерпавшим срок своей годности (кто устанавливает эти сроки? — А. В.) предохранительным оболочкам вымысла (является ли вымысел только оболочкой, это еще вопрос³. — А. В.). Исчезающий век демистифицировал множество замутненных прежде объектов, систем и понятий, не разрешив им более скрывать свои жалкие (почему жалкие? — А. В.) тайны. И только художественная литература (ах, поганка! — А. В.) укутывает себя в непроницаемые покровы, не позволяя просочиться сквозь них значениям, не охваченным со всех сторон омертвевшей условной повествовательностью. <...> А ведь так сильна усталость от околичностей, усталость от лжи, от камня вместо хлеба. Пусть этот камень считается драгоценным — он все равно несъедобен».

Последняя фраза, произносимая автором, как мне слышится, без малейшей юмористической интонации, просто очаровательна. А дальше — самое любопытное: автор невольно начинает опровергать почти все им выше сказанное.

«Идея литературы существования не означает, что материал, положенный в основу текста, должен быть непременно документален и достоверен (как?! — А. В.). Ему позволительно быть и вымышленным (как?! — А. В.). Главное здесь — специфическая установка на доподлинный факт («воспаленной губой припади и попей») и реальное переживание».

Но вымышленный материал, убедительно преподанный как документ или как реальное переживание, называется *мистификацией* и лежит в области все той же художественной литературы, даже презираемой автором беллетристики; а в случае, когда мистификация очевидна, прозрачна, является просто одним из многочисленных условных (вот конфуз-то) *приемов* художественной прозы. Так тут о *приеме* речь?

«Главное — особый угол запечатленья природы и желание как можно дальше уйти от автоматизированных канонов фабульной, сюжетной, анекдотической (в старинном понимании слова) литературы».

А что, если сама жизнь — *сюжетна*? Тем более, что, по признанию Гольдштейна,

«литература существования столь же инерционна, что и любая другая; ясно, что, дорезвившись до определенного пункта, до геркулесовых

³ В известной книге В. В. Вейдле «Умирание искусства» (СПб., 1996) источник вымысла интерпретируется как один из главных симптомов жесточайшего кризиса искусства в XX веке. См. об этом рецензию Ренаты Гальцевой в № 10 «Нового мира» за 1996 год.

столпов исповедальной пошлости, как сказал бы Ленин (ах! — А. В.), она вызовет не меньшее отвращение, нежели ее беллетристическая сестрица. Вот почему важно не позволить ей заговариваться⁴. Перспектива возникает лишь тогда, когда в интонацию невымышленного сообщения вторгается «экзистенциальная» тема, когда голос рассказчика достоверных историй обретает акустику личного опыта. Эту акустику невозможно имитировать, в нее нельзя выграться — без того, чтобы не выдать себя на первом же эмоциональном повороте: мы имеем тут дело с очень дорого оплаченным словом, и оболы за перевозку в литературу существования (да, она неподалеку от смерти) взимаются мыслью, жестом, историей».

В статье Гольдштейна есть своя правда, и много правды; но есть и доктринерство, истеричность, левачество, местами даже какое-то анахроничное «толстовство», уподобляющее художественную условность прямой лжи (автор порой напоминает Наташу Ростову в опере). Кроме литературы существования, «другой литературы сегодня нет: вся остальная только печатается», скандирует Гольдштейн.

Я и сам люблю — как там в статье? — «голое мясо признаний». Я и сам большой поклонник так называемых «человеческих документов» — писем, дневников, мемуаров, всякого рода прямых свидетельств, признаний и деклараций, так что меня не надо агитировать в пользу «Сентиментального путешествия» Шкловского, прозы Шаламова и «Архипелага ГУЛАГ», а также в пользу «писем, трактатов, разговоров, долетающих от обэриутов», я даже не буду спорить о достоинствах сочинений Е. Харитоновой и Э. Лимонова; все эти имена присутствуют в статье Александра Гольдштейна. Мне не хочется вступать в теоретические споры⁵. Я откладываю журнал «Зеркало» и выхожу на улицу.

На улице осень, летят листья, бегут собаки. Также на улице стоят лотки, в том числе и книжные. И, представьте себе, книги покупают и даже читают. Что же покупают? Да сами знаете, что. Любовные, фантастические и детективные РОМАНЫ. То есть чистый «фикшн». Вымысел то есть. Следов литературы существования не обнаруживается (впрочем, некоторое время назад еще мелькал Кастанеда, упоминаемый в статье). Скажут, что это все плохая литература, поэтому — не считается. Нет, считается, поскольку Александр Гольдштейн обрушивался на беллетристику не по причине ее «качества», а по причине ее «природы». Массовые жанры — это, конечно, не драгоценный камень, так презираемый Гольдштейном, это хлеб, не лучший, но зачастую съедобный. Так что другая (кроме «литературы существования») литература не только печатается, она еще и читается. Что, согласитесь, немало. Можно сказать, что плох читатель, но лучше не говорить. Заинтересованность в романе давно пережита, цитирует Гольдштейн своего «учителя» Шкловского. *Нет, заинтересованность в романе пережила Шкловского.*

В конце статьи автор высказывает несколько нетривиальных мыслей об отношениях литературы существования с Государством (именно так — с большой буквы):

«Писательская агрессия в адрес Левиафана некогда представлялась уместной и должной: прямая обязанность художника состояла в том, чтобы орать на чудовище, хладнокровно пожирившее народы. <...> За минувшие десятилетия произошли потрясающие изменения. Левиафан под влиянием обстоятельств, о которых нет нужды говорить, воспринял разгромную критику и, чистосердечно раскаявшись, отказался — на срав-

⁴ Авторы не вправе прятать свое лицо, читатели не смеют вникать в беллетристические средостения, литературе существования нельзя позволять заговариваться... Называется такое состояние, словами Щедрина, *административный восторг*. Впрочем, съест-то он съест, да кто ж ему даст.

⁵ А уж по части энергии стиля мне ли тягаться с Гольдштейном: «...не выручит ни ностальгическое труположество, ни ухватки блестящих престижитаторов. Только мужедевы среднего пола и возраста еще стонут под браковенчание попсы и механики — прочим нет дела до поблекшей синевы курухинско-приговских русских озер». Как ни бейся, я так не умею.

нительно просвещенных пространствах — от большинства своих грязных привычек, в частности, от хронического людоедства. <...> Сокрушительно подобрев, государство задышало на ладан, а его все терзают и рвут, все подносят к охрипшему горлу предмет поострее — пусть приголубит очередные меньшинства, решившие окончательно известить большинство».

И далее:

«Государство устало. Силы его на исходе. Треск и стон раздаются по всему его телу. Художник сегодня мощнее Левиафана, он старший брат в народной семье. И, будучи главным, он должен взять государство всеобщего благоденствия и партнерства под свою твердую руку, распорядиться им по-хозяйски и творчески, согреть, оживить его службы, вдохнуть веру в увядшую душу. <...> Но невиданный, небывалый союз Артиста и Государства, их творческий, ненасильственный, теургически преобразующий сущее пакт уже вызревают в умах и обещаны будущим, в которое хочется взглянуть без боязни».

Хорошо декламирует. «Художники до сих пор изображали и умозрительно конструировали мир, а задача в том, чтобы его переделать для счастья и справедливости». Кремлевский мечтатель, как сказал бы Уэллс. Вот ужас-то.



РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

«ЛЮБЬЮ» — ПОВЕСТЬ, ПОЛНАЯ СМЫСЛА

Юрий Малецкий. *Любью*. Повесть. — «Континент», 1996, № 88.

Не часто встречаются произведения, которые, несмотря на отсутствие острого сюжета и загадочной фабулы, читаются с захватывающим интересом. Новая повесть Юрия Малецкого, эмблематично озаглавленная «*Любью*», — из их числа. Тот, кто еще не растерял в нынешней житейской и культурной неразберихе вкус к чтению, кто не поленился с первых же страниц проникнуть под стилевую оболочку прозаического приема и вжиться в повествование, — того оно уже не отпустит вплоть до последнего предложения, наградит энергиями настоящего, а не высосанного из пальца творчества.

...Предутренний диалог супругов — в модуляциях любви-ненависти, — подпитанный потоком сознания, но не абсурдистски прерывным, а глубоким и многогранным, дающим емкий портрет героя — постшестидесятника, эгоцентрика, хронического неопита и, в сущности, добряка. И — героини, щемяще-мерцающей его отраженным светом. Кажется, всего-то выяснение отношений — а читается как приключенческая новелла, только тут приключения рефлексий, чувств, сердечных перипетий, разряжающихся то в драму, то в шутку. Проза — согласно Пушкину — требует мыслей и мыслей; «*Любью*» отвечает этому правилу: повествование чрезвычайно сконцентрировано — в «бульонный кубик», который другой, менее добросовестный, прозаик мог бы развести на роман. К тому же эта настоящая психологическая драма не занудна, не эклектична еще и за счет остроумия, метких аллюзий, скрытых цитат, ритма, ненавязчивых фонетических игр, каламбуров и даже шрифтового коллажа (который, правда, может иногда показаться аляповатым: вкрапления старославянской вязи в данном случае похожи на аппликацию, что, в свою очередь, мешает вникнуть в смысл религиозного текста. «Сумбур вместо музыки» в голове героя передан чересчур наглядно).

Редкое для современной прозы явление: все время чувствуешь, что автору есть что сказать; мы от этого уже отвыкли, ибо пустота оказалась, увы, единственной начинкой андерграунда. Вся его проблематика — инфантильное нарушение всяческих табу, налагавшихся как совковым ханжеством, так и традиционной моралью. Но табу оказалось гораздо меньше, чем желающих сделать на этом литературное имя и хороший гешефт. Маркизам де садам из Первопрестольной и Питера, собственно, уже и нечего нарушать: вся кровушка выпита, все фекалии съедены, все движущиеся объекты *трахнуты*. Остается только переливать из пустого в порожнее да дурить тех доверчивых западных переводчиков, чьим левым симпатиям (из-за которых они когда-то и стали изучать русский) садомазохистская эстетика андерграунда как раз пришлась в жилу. Оказалось, что рынок не меньший враг творчества, чем коммунисты, он соблазнительнее, а потому и коварней; оглядка на него в момент созидания столь же губительна, как и на идеологическую лояльность. Да и есть нечто типологически, глубинно роднящее соцреалистов с постмодернистами: и те и эти безбожники, подменяющие вопросы духа, одни — идеологией, другие — кичем. И там и там спрос и предложение ущемляют творческое служение.

Не такова проза Малецкого. Здесь бьется сердце, здесь «человек сторел». Не прибегая к кондовой повествовательности, прозаик тем не менее написал «семейный роман», имеющий в русской литературе богатую традицию и ей, несмотря, повторяю, на стилевую специфику, отнюдь не противоречащий благодаря нравственному свету, пронизывающему повествование. Вопросам брака, казалось бы, списанной сексуальной революцией на свалку, возвращается в «*Любью*» актуальность. «Я уже не путаю, — утверждает герой «*Любью*», — женщину, данную мне в жены потому, что «плохо человеку быть одному», с Вечной Женственностью — и это прекрасно. Каждый, кто, как я, имеет этот опыт, знает странную вещь — су-

пружеская любовь всегда нормальна, пресна, не имеет остроты, цвета, запаха, вкуса, но она-то и есть настоящая любовь, как настоящее питье, без которого нельзя — только одно: пресная, безвкусная и бесцветная вода. Не-пьянящая-вода».

Вот — на новом витке — язык классики, язык русского семейного романа конца XX века.

Впрочем, не стоит вполне доверять герою. Его-то «вода» — пьянящая, его-то брак — «поединок роковой», с ревностью, с местью прошлого, с неразрешимостью в будущем. Но этой напряженной, прописанной разом и акварельно и многослойно тематикой «Любью» (люблю-гублю-убью разом) не исчерпывается.

Герой — как и большинство из нас — на распутье: бóльшая и лучшая часть жизни — с ее иллюзиями, бдениями, надеждами, воцерковленностью и отшатом от церкви — осталась там, в тоталитарной России. Неприспособленность и бедность тогда были доблестью, сегодня гнетут и выглядят как-то жалко. Многие читатели смогут смотреть в героя как в зеркало, его порывы и заблуждения идентифицировать как свои. Эффект соприсутствия достигается, во-первых, органичным слиянием повествователя с персонажем; а во-вторых, между нами и им как бы отсутствует опосредующая пленка повествования. Рефлексия героя исключительно внутриситуационна: порой упоминается вскользь о только ему понятном, словно читатель заранее рассказчиком не учитывается; от самооправдания к самообличению и обратно — своеобразная форма самоисповеди, к которой и мы, вникая, исподволь присоединяемся. Но она, слава Богу, не доходит до самолюбования наизнанку, до педалируемой экзальтации — это чувство меры, на нарушении которой тоже строится зачастую новейшая эстетика, добавляет герою честного обаяния. Тон литературного приема, особенно того, которым выполнено «Любью», — полдела, и он тут найден на редкость правильно. Сплав иронии и искреннего лиризма делает его драматичным, лишенным ставшей уже привычной двусмысленной грязноты и унылого зубоскальства.

...Да, одно дело быть изгоем при коммунистах — в этом чудилась миссия, державшая на плаву. Теперь герой все чаще размышляет об эмиграции: «Почему бы и не в Германию? Будет нойе либер Фатерлянд. И прекрасно. Германские дубы подубовитее будут. Пройтись по Вестфалии бузинной, а najlepше по Баварии хмельной. Уж это первое дело. В компании Маттиаса Нитхарта-Готтхарта, Тильмана Рименшнайдера, Ангелуса Силезиуса. О, цэ ж гарна компання!»

Как и все мы, герой комично и привычно мечется между русофильством и зудом разложить Россию по косточкам, между прельщением Западом и раздражением на него. Цивилизация разом и блазнит, и вызывает тошнотворное чувство. «Вот если кто-то при мне начал бы хаять Россию, как я, я бы ему доказал, что как раз мы, а не европейцы, умеем жить и радоваться друг другу от всей души. Я бы напомнил, что французы, а не русские, выпивают антидепрессантов, а не только бордо, больше всех в мире... Господа хорошие, но с вас-то можно спросить! Вы-то почему принимаете плоскость за глубину, рекламного идола за гения чистой красоты, Мадонну за мадонну? Почему преисполнены тупой веры в важность своих «Оскар», расписали весь непознанный Божий мир по ранжиру и уверовали в незыблемость своей жалкой табели о рангах?»

Вечные вопрошания «русского мальчика», на уровне подкорки наделяющего Запад истинностью и каждый раз понову пораженного тем, что реальность отнюдь не соответствует ей.

В «Любью» почти нет, повторяю, проходной словесной поясняющей каши, той беллетристики, которую еще Мандельштам называл «ползучей»: и диалоги, и внутренний монолог, при всей их натуральности, непринужденности, выверены почти поэтически. Есть тут, конечно, своя опасность: такой прозы — по определению — не может быть много, ее возможности ограничены. Иссякание и даже вырождение аналогичного метода наблюдается у Саши Соколова. Или, прежде, у Бабеля и Олеси. Филигранность опасна, нельзя полировать каждое предложение, как поэтическую строку: текст обезжизнивается. Кажется, Ю. Малецкий вложил в эту работу всего себя с потрохами, за него даже страшно: как и о чем писать ему в будущем? В конце «Любью» как бы происходит короткое замыкание; дубли и вариации тут не просматриваются. А главное, неповторим сам воздух, стоящий за этой вещью, — воздух, которым дышали мы последние двадцать лет, со всей их специфической духовной, культурной и идеологической мешаниной.

Отвечая недоуменной читательнице «Любью», почему он не написал то же самое, но привычно реалистично («Континент», № 89), Малецкий объяснил так: «Мне нужно сказать что-то очень серьезное, очень важное для меня; но постмодернизм для этого не приспособлен. С другой стороны, это «что-то» должно быть сказано посредством изображения героя, пропущено сквозь его сознание; а дать картину его сознания, как уже сказано, можно лучше всего средствами постмодернизма. Вот ножницы».

Но и это еще не самые несоединимые полюса. Малецкий решил наполнить постмодернистскую форму, заведомо, казалось бы, предполагающую релятивистский, если не кощунственный, наполнитель, — нравственным смыслом! «Не знаю как кому, а мне обидно слушать ставшее уже с незапамятных времен аксиомой утверждение, что интересен и остр только порок, а добродетель скучна и пошла, поэтому и может быть темой разве что мексиканских сериалов. То, что мы ко всему привыкли, еще не значит, что ко всему привыкать обязательно. Я, во всяком случае, не собираюсь. И вера, и жизненный опыт говорят мне, что хорошее труднее, сложнее, тоньше, а значит, и интереснее плохого, а пути добродетели не менее причудливы, чем стези порока. Самое же интересное — суметь не только избразить диффузию добродетели и порока, но попробовать и в случае теснейшей их переплетенности отделить одно от другого».

Действительно: труднейшая операция, которая прозаику удалась.

Автор и сам со-чувствует, и читателя заставляет со-переживать своему герою — всей душой ищущему прилепиться к божественной иерархии мира, но хорошо знающему и его хаос, в одночасье готовый разметать самые благие намерения.

Юрий Малецкий написал свежую и славную книгу, где мыслят и страдают живые люди (хотя и безымянные: автор их никак не нарек, тем самым нарочно размыв границы и контуры, налагаемые именем), а не вампирические куклы постмодернизма — родного брата маскультуры и шоу-бизнеса. Интеллектуальная сложность здесь — не плод механически конструируемой игры, не мозаичный конгломерат обыгрываемых заимствований, но сама натуральность жизни, сплав не охлажденного опытом сердечного тепла, органичного многознания и ненатужного мастерства.

Юрий КУБЛАНОВСКИЙ.



УЛИСС ИЗ ЯМИНСКА

Владимир Курносенко. Евпатий. Роман. Псков. «Отчизна». 1996. 214 стр.

«К ху-кху-кху. Тццко-тццко-тццко... Стрела-ветрянка вдоль берега дерюжной тропю летит, всадник Кокочу Лыдистосерую плетью понужает. Разве плохо? Друга-анду Лобсоголда попроведает; самого Быка Хостоврула воочию узрит. Золотыми шатрами царевичей Золотого Рода полюбуется...»

Новый роман Владимира Курносенко открывается странной рукописью некоего Илпатеева, попавшей в руки рассказчику, редактору провинциального издательства, — сочинением из жизни монгольских средневековых кочевников, терроризировавших сопредельные русские земли. История эта написана как бы изнутри кочевничьей жизни, особым, искусственно смоделированным письмом. Где важны многочисленные инверсии и прочие выкрутасы синтаксиса, а также опережающее значение фонетики, точно слова подбирались не по смыслу, но в первую очередь, совсем как в стихах, друг к дружке, по звуку. Станным таким постдждойсовским (я имею в виду куски антипрозы в «Улиссе», например «Евмея») рецидивом орнаментальной, ритмизованной прозы, с затрудняющими чтение неологизмами и многочисленными малопонятными тюркизмами. Которые тем не менее расшифровываются тут же, внизу каждой страницы. Обилие сносок выдает особую писательскую сверхзадачу — создать самодостаточное, отстраняющее многофигурное полотно. Несмотря на сугубый модернизм, в рукописи Илпатеева удается смоделировать

псевдоархаическую ситуацию медленно разворачивающегося, не лишённого колорита восточного эпоса, с вечными и как бы естественными для литературы такого рода темами: война с внешними врагами, внутривидовая борьба за власть (рукопись как раз и начинается с разрушившего зыбкое равновесие внутри рода умирания *Великого Ауруха*), женщина и «пустое верхнее небо», — одышливое, внимательное (по диагонали не проскочишь) чтение.

«— Дербены, говоришь! — снова раздался из хоймора голос-бас. — А скажи мне, кюрбчи утэгэ богол, кто нужней человеку, друг или враг...

— Друг, да? — отгадал взгляд страшный меркит. — Друг и в обиду не даст, и последней лепешкой с тобой поделится. С другом и задушевный разговор хорошо у костерка завести... Это?

Кокочу кивнул. Все было правильно...

— Ошибаешься, Лошадиный Зуб! Враг нужней человеку, если не трус он. Кто осторожности, хитрости и терпенью лучше, чем враг, научит? Кто воина воспитает в тебе? Кто за лошадью, чтоб не заподпружила, приучит следить? Верно ведь я говорю, Лобсоголдой?»

Привлекательно это обманчиво простое, обманчиво понятное существование, естественное и свободное от современной замороченности, вымученности. Тоже ведь поиск выхода-входа, примерка тех или иных возможностей-одежд. «Правильная», «выправленная» экзотика типа «Андрея Рублева» Андрея Тарковского в качестве источника вдохновения или, точнее, подсознательного импульса-толчка. Дополненного фактурными причиндалами, вплавленными в стиль, — рванобряцающей, диковато-горловой звукописью. Как и положено современному роману, написанному для чего угодно, но только не для презируемого художником легкомысленного чтения, — некий вполне идеологически и эстетически нейтральный артефакт (оценка возникает только после помещения одного в определенно окрашенную воду контекста). Которому важно быть написанным, а не прочитанным. Да, именно так. Можно вообразить, сколько времени и сил потратил Илпатеев на осмысление целого и частей, собиравание сведений о Золотой Орде и диалектов, вживание в чуждое житие-бытие, стилизацию-реконструкцию. Чтобы потом обильными сносками свести намечающуюся суггестию почти на нет; чтобы введением параллельных хронотопов («древнерусского» и «современного») дешифровать кочевые инаковости, переводя их в сугубо символический план. Именно так: стоило читателю хоть как-то пообвыкнуться в азиатской специфике, повествователь (Илпатеев? сам Курносенко?) меняет повествовательный дискурс (а вместе с ним и шрифт), переходя на симуляцию старославянских книг. Рассказывая о том же самом времени и пространстве уже с другого, противоположного берега. Вот вам, пожалуйста, еще одно кропотливое рукоделие, еще один трюфель-трюк в духе Джойса или Фолкнера периода «Шума и ярости».

«Изми нас от враг наших, Боже! Буди путь их, лукавствующих, тма и ползок.

— О государи и братия! — рек, по свидетельству летописцев, в то утро у Спаского собора в Рязани великий князь Юрий Ингваревич. — Если из рук Господних благое приняли, то и злое не потерпим ли? Не хочу тесноты...

Дал последнее целованье княгине Агриппине Ростиславовне и поидоша...»

Множественность точек зрения на единый предмет действительно фолкнеровская — из разных лагерей, с разных берегов, из различных времен. Все это перемешано в пеструю (из-за постоянной смены регистров) смесь, сдобренно эпиграфами и смысловыми прокладками; такое многослойное, непростое сооружение. Постепенно оказывается, что «восточная» часть курносенковского текста — не повод к зачину возможной истории из жизни редактора провинциального издательства, но некое вполне самодостаточное явление. Скорее, напротив, вся остальная, «современная», часть постфактум, пушей читаемости ради, была досочинена, разбавлена сугубо правильно дозированными составляющими etc. И все-таки проследим и «современную», основную (по объему), часть романа.

Здесь в центре история четырех друзей: школа, надежды, пора мужания, более трудные зрелые годы. То есть все то, что явно или тайно, прямо или косвенно развивалось и длилось параллельно илпатеевскому роману с романом. Ретроспекция: освоение жизненного и социального пространства. Первые опыты «взрослой жизни», первые разлуки и новые встречи — все, как и должно быть в жизни. Все, как и должно быть в эпическом, по замыслу, романе: день за днем, день за три.

Главная опора здесь (помимо рождающейся в муках книги) — друзья. Юра, Пашка, Николай (женщинам доверены лишь самые эпизодические роли). Всегда вместе, даже если врозь. Настоящая, красивая такая мужская дружба, со-дружество даже. Как у мушкетеров или Beatles: постепенное обретение самости через разрушение изначального единства. Потеря общности как странное исчезновение-небытие. Как если сам по себе (сам себе) не интересен и только дружба, только редкие пьянки-единения в мужском клубе Пашкиного гаража (ох уж этот гараж!) — способ почувствовать себя живым и, главное, неуязвимым. Когда ты не статист в хоре гибнущей эпохи, но самодостаточная, сопротивляющаяся течению времени и обстоятельствам величина. Только так: через друзей, друзьями, вынырнул, глотнул воздуха — и снова в толщу ртутных атмосфер Яминска. Разные люди, разные судьбы: работа, женщины, дети. Кто-то взял влево, кто-то — вправо... И еще: ампула, закрепленные еще в школе, и борьба с прилипшими масками, ролевой передел и невозможность передела. И невозможность освободиться от совместно нажитых воспоминаний, точно себе полностью и не принадлежишь и нельзя не вспоминать мелкие, по сути, юношеские обидки и микроскопические треволнения.

Но если лишь прошлое и объединяет — что может быть неинтереснее? Да только настоящего поколение психологических мастурбантов (как обозвал свое послевоенное поколение правдоискатель Иллпатеев) не имеет, о будущем и вовсе не может быть и речи. Если бы молодость знала, когда пускалась на дебют, что будет другая, какая-то совершенно иная, непохожая, жизнь. Состоящая — куда там до праздников, но даже не из будней, а — из какого-то вечного похмельного морока, который не проходит ни весной, ни летом. От которого невозможно избавиться, как от выпадения волос или одышки при подъеме на седьмой этаж. Лифт, снова лифт не работает! И даже женщины, Женщина... Впрочем, что в этом слове, которое знают все?! «Ночью я пил воду и курил трубку». Так, кстати, и возникают-заваются романы из жизни татаро-монгольского ига, так проявляются во всей своей красе прочие не менее милые тошнотворности яминского быта. Это самая что ни на есть вредная привычка — жизнь.

Нет, помимо общего прошлого объединяет их еще и этот странный Иллпатеев, главный мастурбант (слово у Курносенко — одно из самых часто встречающихся) города Яминска и окрестностей. Признанный безусловным лидером всех некогда подававших надежды первых учеников первой школы, он изрекает с тяжеловесным пафосом одну банальность за другой (жене, ушедшей к другому, напоминает о Всевидашем Оке Всевышнего или рассуждает в Пашкином гараже в евангельских формулах: «Око за око и зуб за зуб — это ладно, это я понимаю. Человеку нужен «враг», дабы хоть как-то оправдать бессмысленность существования. Но зачем же... сказал он: подставь правую, если ударили по левой? Око за око — это дурная бесконечность, ведущая в никуда, а «подставь» — освобождение от нее, независимость и внутренняя свобода от всех зацеп и пристрастий земного захваченного Зверем существования»). Безапелляционно судит-рядит обо всем и обо всех с пристрастием, рубит, раздавая оценки, с плеча. Откуда эта странная смесь школьной начитанности, подростковой инфантильности, наивных рассуждений, детских по сути своей поступков, версификационного мастерства, выливающегося в первоклассные тексты об инобытии каких-то там (чего бы вдруг) кочевников? Перевоплощение это возможно потому, что твое содержание (точно ты, минус-корабль, прозрачен) сливается с окружающим ландшафтом? Потому что то, что называют обычно жизнью, имеет так мало общего с растительным, расточительным (гаражным) существованием среди таких же вечных переростков, воспринимающих твои порывы как откровение не из-за действительной ценности, но из-за собственной замороченности? Удачный прием нелобового разоблачения «своего круга» — через живописание слабости главного идеолога.

И лишь один на один с бумагой, со словами, которые сладко обкатывать-перекатывать во рту, начинаешь чувствовать дрожь земли, какие-то в самом деле первородные вибрации. Вечная обреченность на бумажную архитектуру, не больше. «Я всего лишь редактор, функция, и все понимаю, свой шесток я вполне чувствую и освоил, но, едва ли не как всякий трущий вельветовые штаны по художественным редакциям, кое-что я все-таки пытаюсь, «пробую себя», скрашиваю себе без особых надежд скуку, так сказать, существования». Да, видно, иного не будет, не бывать. Жизнь странным образом проходит все мимо и мимо. А «настоящий» роман, Книгу, обязательно напишет кто-то другой, совсем незаметный, совсем ря-

дом. В то время как все «разглагольствуют, как обычно, о «двойной функции слова», о «если можешь, не пиши», о тайне художественности и т. п.», цена той книге — жизнь. Впрочем, Илпатеев цену эту заплатит, символично выпав из окна.

И не борьба разных народов-стихий на самом деле волнует, не борьба противоположных устремлений — земли и неба, добра и зла. Не в том соль, не здесь красота. Начав за здравие, норовишь закончить за упокой. И если — о главном: В. Курносенко написал, в духе каких-нибудь йенских романтиков, историю одержимого искусством художника, роман о своем романе. Роман со своим романом. Натуральный, экологически чистый, без примесей «Евпатий» — это недостроенный радикально эстетский, абсолютно аутичный роман как бы из истории. Даже не русской, а некой условной истории вообще, истории как площадки для развертывания универсальных метафор и разыгрывания многовариантных притч. А все остальное, что в эту часть не влезло, — всего лишь попытки оправдать невозможность адекватного воплощения замысла: среда, знаете ли, заела. Ну-ну. Третья часть, состоящая из стилизованного рассказа непосредственно о Коловрате, фиксирует мучительный компромисс: Курносенко прокладывает приписываемый Илпатееву текст своими многочисленными комментариями в духе: здесь автор хотел сказать то-то и то-то. Возникает своего рода либретто, синопсис, пунктирный план, воспоминание-намек о главном. Вряд ли эту «неудачу» следует отнести на счет Илпатеева-романиста. Сама жизнь современного литератора, тем более яминского, мирволит раздвоению и недоовоплощенности, невозможности полного, органичного, слияния с моделируемым хронотопом. Но Курносенко, воспользовавшись этим вполне законным алиби, лукавит, решая заодно и некоторые побочные проблемы. Как-то: самооправдание бытового поведения по всем пунктам, для которого нужно переписать не только историю школьно-гаражного сообщества, но и куда более существенные стороны жизни, начав аж с жены первочеловека, с монструозной Лилит. Этакая законная психотерапевтическая практика: воевал — имею право постоять у стойки бара. И если не для этого «Евпатий» замыслен, тогда вообще зачем?! Вот и возникает некий Илпатеев, alter ego и воплощение истины в последней инстанции, та самая желанная ипостась себя самого, которая никак не выходит в жизни.

Нет, не зря дом его (и автора, и alter ego) стоял на границе разлома, как раз между Уралом и Сибирью. Так и мир разламывается или размывается. Между Европой внутри и Азией, азиатчиной снаружи, между вымыслом — и смыслом. Ускользящим, недоступным, как «литургический звук». Что, единственный, может быть, оправдал бы любую одиссею. И все-таки мучит не это, а совсем другое. Роман-то написан и напечатан, то есть закончен и пересмотру больше не подлежит. Иное дело — жизнь, что продолжает изнывать и длиться. «Легендарный искусник, соколородный муж, ты летел, — куда?»

Дмитрий БАВИЛЬСКИЙ.

Челябинск.

*

ФОРЕЛЬ РАЗБИЛА ЛЕД?

М. Кузмина. Стихотворения. Вступительная статья, составление, подготовка текста и примечания Н. А. Богомолова. («Новая библиотека поэта»). СПб. Гуманитарное агентство «Академический проект». 1996. 832 стр.

Том Кузмина стал третьим, после однотомика Мандельштама и двухтомника Вяч. Иванова, выпуском «Новой библиотеки поэта»¹, что внушает надежду на возрождение этой научной серии — великого начинания историков литературы 30-х годов. Реанимация, понимаю, дело нелегкое — и вставший из гроба Лазарь несет неизбежные следы тления: не все клетки восстановились, координация движений

¹ Эпитет «новая» — следствие правовых тяжб между петербургским отделением издательства «Советский писатель», которому принадлежала «Библиотека поэта», и редколлегией этой серии, вынужденной обратиться к услугам другого издательства из-за неповоротливости прежнего.

нарушена, мозг полуспит. Хочется все же думать, перед нами не зомби, а человек, возвращающийся к нормальной жизни.

Последствия книгоиздательского и филологического распада, столь заметные в комментариях к корпусу Мандельштама, где, например, государь «Алексей Михайлыч» из савеловских стихов рукой составителя А. Г. Меца подписывает отречение в пользу писателя Алексея Михайловича Ремизова, и в композиции ивановского двухтомника, где при сохранении всей головокружительной иерархии эпиграфов и заглавий нет и половины самих стихов, — последствия эти дают о себе знать и в «Стихотворениях» Кузмина. Как и в предшествующих томах, внешность книги поражена художественным некрозом: набор кажется механически вынесенным с компьютерной дискеты, не оживленным рукой художественного редактора. Нет тех «неточных» пропорций и интервальных смещений, без которых произведение искусства, в данном случае — книга, производит впечатление гипсового слепка. Мы словно забыли, что ценность издания вовсе не ограничивается его научностью.

Суждение о научной ценности богомоловской работы оставим специалистам-кузминоведом: они придирчиво сверят все отсылки к архивам и номера единиц хранения. На взгляд же простого читателя, эта долгожданная книга, впервые в России (но не впервые вообще — как преувеличенно сказано в аннотации) объединяющая одиннадцать прижизненных сборников и избранные стихотворения из числа не вошедших в них, достаточно фундаментальна, содержательна и культурна.

Жаль, конечно, что объем издания, как всегда, не позволил исчерпывающей полноты: за бортом в итоге остался ряд замечательных текстов — например, написанное в декабре 1917 года стихотворение «Двенадцатая петля круга...». Необоснованным, излишним и даже жеманным представляется репринтное выделение (с утратой при этом нумерации произведений) «Занавешенных картинок» (1920) — сборника весьма случайного и «коммерческого», если и отличающегося от прочих прижизненных книг Кузмина своим эстетическим уровнем, то — в худшую сторону; сказанное касается и довольно посредственных рисунков В. Милашевского. Досадно (но как привычно!), что издание не лишено технических сбоев и опечаток — отмечу бросившиеся в глаза: «Я вспоминаю нежные песни» (вместо верного «вспомню», стр. 97, 811, 814); «К. А. Бальмонт» (стр. 692); реальная часть комментария к № 6 на стр. 697 оказалась в комментарии к № 5, в результате чего разъясняются слова, которых нет в этом стихотворении; на стр. 775 перепутана нумерация комментируемых текстов; наконец, воспроизведенная в книге обложка первого издания «Глиняных голубок» (СПб., 1914) работы А. Божерянова приписана второму изданию этого сборника (Берлин, 1923) и Н. Альтману, а само это второе издание ошибочно датировано в перечне иллюстраций 1921 годом (стр. 789).

При всей очевидной солидности комментария, некоторые утверждения Н. А. Богомолова вызывают недоумение. К примеру, такое, касающееся заглавия программного стихотворения «Мои предки»: «Возможно, загл. не является интегральной частью текста: оно напечатано на шмуцтитule и может быть воспринято как название раздела, состоящего из одного стиха — „Моряки старинных фамилий...“» (стр. 689). Чего стоит эта структуралистская фантазия, легко проверить, взглянув в оглавление сборника «Сети» (М., 1908): стихотворение названо там — «Мои предки», перед названием стоит арабская цифра «1» (все стихотворения этого сборника помечены арабскими цифрами, разделы — римскими), указанная страница соответствует не шмуцтитule, а самому тексту стихотворения. Или комментатор не может безропотно перешагнуть через техническую погрешность авторитетного мюнхенского издания, в котором прижизненные книги воспроизведены фотомеханическим способом, а шмуцтитule с заглавием «Мои предки» пропущен? Проблема существует лишь в воображении кузминоведов...

«Что за мелочные придирки!» — воскликнет читатель, обрадованный выходу в свет замечательной, давно ожидаемой книги... Да я ведь тоже обрадован и искренне благодарен филологам, трудолюбиво работающим с архивными материалами, ориентирующимся в нахлынувшем море кузминоведческой литературы. Не мешает, однако же, разобраться в природе прикладной филологии, в ее сегодняшних механизмах, увидеть ее границы, понять, в каких аспектах она адекватна и ей следует доверять, а в каких — нет.

Способна ли прикладная филология трактовать, толковать текст — иными словами, от категорий «когда» и «где» переходить к категориям «как», «зачем» и «о

чем»? Опыт со стихотворением «Мои предки» показывает: не способна, даже формально. И не должна. Судить о тех или иных свойствах текста, судить «выше сапога», не есть ее сфера: как только возникает суждение, тотчас же исчезает «научность», а подчас и простое здравомыслие. Вот, да простится мне обширнейшая цитата, стихотворение «Конец второго тома» (1922):

Я шел дорожкой Павловского парка,
Читая про какую-то Элизу
Восемнадцатого века ерунду.
И было это будто до войны,
В начале июня, жарко и безлюдно.
«Элизиум, Элиза, Елисей», —
Подумал я, и вдруг мне показалось,
Что я иду уж очень что-то долго:
Неделю, месяц, может быть, года.
Да и природа странно изменилась:
Болотистые кочки всё, озера,
Тростник и низкорослые деревья, —
Такой всегда Австралия мне снилась
Или вселенная до разделенья
Воды от суши. Стаи жирных птиц
Взлетали невысоко и садились
Опять на землю. Подошел я близко
К кресту высокому. На нем был распят
Чернобородый ассирийский царь.
Висел вниз головой он и ругался
По матери, а сам весь посинел.
Я продолжал читать, как идиот,
Про ту же всё Элизу, как она,
Забыв, что ночь проведена в казармах,
Наутро удивилась звуку труб.
Халдей, с креста сорвавшись, побежал
И стал точь-в-точь похож на Пугачева.
Тут сразу мостовая проломилась,
С домов посыпалась штукатурка,
И варварские буквы на стенах
Накрасились, а в небе разливалась
Труба из глупой книжки. Целый взвод
Небесных всадников в персидском платьи
Низринул — и яблонь зацвела.
На персях же персидского Персея
Змея свой хвост кусала кольцевидно,
От Пугачева на болоте пятка
Одна осталась грязная. Солдаты
Крылатые так ласково смотрели,
Что показалось мне — в саду публичном
Я выбираю крашенных мальчишек.
«Ашанта бутра первенец Первантра!» —
Провозгласили, — и смутился я,
Что этих важных слов не понимаю.
На облаке ж увидел я концовку
И прочитал: конец второго тома.

Как же комментирует эти стихи Н. А. Богомолов? А вот как: «Название связано со вторым томом лирики А. Блока (ср. пейзаж ст. 12 — 17), но одновременно и со «вторым томом» Библии — Новым Заветом. В этом контексте «конец второго тома» означает приближающееся наступление царства Третьего Завета. *Элиза* — по предположению О. Ронена — героиня не названного им романа Н. Ретиф де ла Бретона. Более вероятным кажется предположение, что это — героиня выдуманного сентиментального романа из пушкинского «Графа Нулина»... *Элизиум* — вероятно, отсылка к первой строке ст-ния Ф. И. Тютчева: «Душа моя, элизиум теней». *Стаи жирных птиц*. По предположению О. Ронена, отсылка к роману А. Франса «Остров пингвинов»... «*Ашанта бутра первенец Первантра*». Глоссологическая фраза, подражающая санскриту (за разъяснение приносим благодарность В. Н. Топорову). Библийские тексты, входящие в подтекст ст-ния, — Быт. гл. 1; 2-я Парал. гл. 32; Дан. гл. 5; Откр. 8, 6 — 13; Ин. 19, 27» (стр. 764).

Между тем для всякого непредубежденного читателя, не принадлежащего к «клану кузминистов» (выражение Богомолова²), ясно, что в этих стихах описано

или смоделировано сновидение. Отсюда и свойственные снам нелепые метаморфозы образов и картин, и кричащая квазибиблейская «живописность», и специфическая речеподобная абракадабра — «ад аллигаторских аллитераций» (согласно Набокову): «Элизиум, Элиза, Елисей», *персу персидского Персея* и, наконец, как апофеоз — фраза, «подражающая санскриту».

Не менее очевидно, что Блок (якобы рисующий в «Пузырях земли» или «Вольных мыслях» австралийский пейзаж — разве болот, кочек и тростника не существует помимо Блока?), Ветхий, Новый и Третий (?) Заветы («в саду публичном / Я выбираю крашенных мальчишек?»), «Граф Нулин» (там — роман «нравоучительный и чинный», здесь — «забыв, что ночь проведена в казармах!»), строка Тютчева (совсем уж плачевно!), Анатоль Франс (пингвины — «взлетали невысоко и садились»?) и, увы, санскрит, ради которого тревожили языковедов, — все это имеет к тексту и подтексту кузминского стихотворения ровно такое же отношение, как, скажем, пушкинская «История Пугачева» или «Персидские письма» Монтескье.

(Плодотворней, по-моему, сравнить эти великолепные белые стихи Кузмина с «Обезьяной» В. Ходасевича, где тоже «была жара», где есть «тяжелый крест» на груди «худого и черного» серба, и Дарий, и Александр, и «глубокой древности сладчайшие преданья», и видения, и «индийский магараджа», а главное — то же самое предвоенное преапокалиптическое — «ангелы с трубами!» — лето 1914 года. Но этого кузминоведы, кажется, пока не заметили.)

Между прочим, в корсете разгульной Элизы, разбуженной поутру горнистами на солдатских нарах, читательская рука могла бы нащупать маленький ключик от комментаторских тайн. Ссылка на «Графа Нулина» не критически перенесена сюда Богомоловым из примечаний его предшественников, объяснявших другие, ранние, стихи Кузмина — из «Прерванной повести»: «Известно — кто Арман, и кто вдова, / И чья Элиза дочка»³.

Замечу, что большинство расшифровок аллюзий и реминисценций кузминского текста, равно как большая часть фактических сведений, приводящихся в комментариях Богомолова, — отнюдь не новы, восходят к мюнхенскому трехтомному Собранию стихов, подготовленному Дж. Малмстадом и В. Марковым (1977), и к ленинградскому изданию 1990 года. Впрочем, итоговые комментарии — а том в «Новой библиотеке поэта», несомненно, некий итог — и должны быть компилятивны. Главная же новизна богомоловских примечаний, главное, чем они замечательны и интересны, — это многочисленные и обширные выписки из знаменитого, до сих пор не опубликованного (за малыми исключениями) Дневника Кузмина. Может показаться парадоксальным, но именно с ними, с наиболее увлекательным компонентом комментария, сопряжена и самая существенная наша претензия — не к книге даже, а к «клану» кузминоведов. В чем состоит эта претензия?

А в том, что нынешние филологи, которым, по-видимому, осточертело горбатить на «мертвых авторов» и на читателей, крепко усвоили одно золотое правило: ни в коем разе не выпускать из-под спуда неизвестный публике текст до тех пор, пока он содержит неопубликованную информацию.

В идеале, думаю, такой филолог хотел бы публиковать кузминские тексты в качестве их соавтора. На практике же он начинает с конца — с мелочей, с распечатки наименее интересных фрагментов, с публикации примечаний, поправок и замечаний к еще не введенному в читательский оборот произведению. В течение нескольких лет рачительный публикатор печатает в различных журналах и сборниках многочисленные статьи, так или иначе предвосхищающие появление неведомого шедевра, прилюдно ведет высокоочувствительные споры с коллегами, допущенными в святая святых рукописных отделов. Затем, лет через пять, он собирает эти свои «заметки» во внушительный том, который и издает⁴. Следующим шагом может быть беллетризация опубликованных сведений, расположение их в иной, скажем — биографической, последовательности, — и вот перед нами еще одна книга

² «Новое литературное обозрение», 1995, № 11, стр. 335.

³ См. комментарий А. Лаврова и Р. Тименчика в кн.: Кузмин М. Избранные произведения. Л. 1990, стр. 505.

⁴ Например: Богомолов Н. А. Михаил Кузмин. Статьи и материалы. М. «Новое литературное обозрение». 1995. 368 стр. Тираж — 3000 экз. Кстати сказать, в этом сборнике, за год до выхода в свет тома «Новой библиотеки поэта», опубликована тамошняя вступительная статья.

потенциального публикатора, стремящегося заместить собою изучаемого писателя, своим текстом — его текст⁵.

Проблема не в том, что литературоведение «паразитирует» на литературе, а в том, что степень филологической «утилизации» полуоткрытого кузминского наследия до неприличия интенсивна. За истекшее десятилетие кузминоведение стало едва ли не самым престижным занятием «новых литературных обозревателей» — если сложить вместе их ученую переписку в одном только «НЛО», то она, вероятно, составит два или три объемистых выпуска, — и, казалось бы, такая активная деятельность должна принести реальные издательские плоды. Но не тут-то было. Между 1990 и 1996 годами в России вышла в свет одна-единственная «научная» книжка кузминских текстов, настолько экстравагантно составленная А. Г. Тимофеевым, что ее вряд ли можно считать *изданием*⁶.

«Переплетчик забыл о шагреню», текстолог эмансипировался, публикаторы взбунтовались. Свобода, конечно же, хороша. И равенство тоже. Но что делать освободившемуся от иерархии вольноотпущеннику с алмазом «Великий Могол», ежели тот ненароком окажется у него в кармане? Выбросить или распилить.

И вот богомоловские примечания напоминают бриллиантовое кольцо, в которое вставлены осколки кузминского Дневника. Стоит ли удивляться тому, что эти фрагменты замечательно, ярко и живо комментируют реалии стихотворений? Это ведь Кузмин комментирует Кузмина. И когда читатель сможет положить перед собой два авторских текста — один из них он, после долгих мытарств, получил в руки, дело лишь за вторым, — все сразу же встанет на свои места. Исчезнет потребность в филологе-медиаторе, толкующем Кузмина Кузминым. Работа биографа и комментатора войдет в предначертанное ей русло. Вернется иерархия ценностей.

Дождемся же выхода в свет кузминского Дневника.

Алексей ПУРИН.

С.-Петербург.

*

«РЕАЛИСТЫ»

Ирина Паперно. Семiotика поведения: Николай Чернышевский — человек эпохи реализма. [Авторизованный перевод с английского Т. Я. Казавчинской.] М. «Новое литературное обозрение». 1996. 207 стр.

Прошлой осенью прошла шумная презентация книги П. Вайля и А. Гениса «60-е. Мир советского человека», вышедшей в издательстве «Новое литературное обозрение». Здесь не место рассуждать о достоинствах и недостатках сочинения известных публицистов, ясно одно: интерес к эпохе 60-х годов, к шестидесятиникам ныне достиг апогея. Настал момент, когда события, еще свежие в памяти свидетелей и участников, могут обсуждаться без полемических крайностей, помимо едкой иронии и хлестких ярлыков. Сказанное относится к тысячам девятьсот шестидесятым годам. Но ведь и в прошлом веке шестое десятилетие явно выделялось в сознании современников — своею противоречивостью, невиданным накалом общественной активности деятелей самого разного толка, необычайной остротой и массовостью дискуссий.

Прежнее и нынешнее шестидесятиничество сходны очень и очень многим. В самом деле, разве не перекликаются между собой пронзительные ощущения стре-

⁵ Например: Богомолов Н. А., Малмстад Джон Э. Михаил Кузмин. Искусство, жизнь, эпоха. М. «Новое литературное обозрение». 1996. 320 стр. Тираж — 3000 экз. Насколько понимаю, богомоловский вклад в эту совместную монографию основывается на материале его предыдущей книги и на Дневнике Кузмина.

⁶ См. о ней в наших заметках «Архивисты и новаторы» («Новый мир», 1994, № 11). Претензии могут быть адресованы и А. Г. Тимофееву, деятельно использующему письма Кузмина к Г. В. Чичерину и не скрывающему, что этот эпистолярный «является незаменимым и едва ли не уникальным путеводителем в мире культурных пристрастий и жизненных коллизий раннего... Кузмина» (см.: Кузмин М. Арена. Избранные стихотворения. СПб. 1994, стр. 14). Ровно три года прошло, а «незаменимый путеводитель» все там же — в аббревиатурах не всегда и не для всех открытых хранилищ, в портфеле исследователя.

мительности хода истории, наконец-то наступившего освобождения от многолетних догм, нахлынувшие на российского (советского) человека 1860-х и 1960-х годов? А как насчет быстро нарастающего недовольства ходом реформ, утраты иллюзий? И не в середине ли прошлого и нынешнего столетий стала явной связь между романтическими устремлениями к немедленной и всеобщей свободе и — агрессивной нетерпимостью к чужому мнению (см. саркастические реплики Дм. Галковского)? Не говорю уж о «контркультурных» движениях молодежи, так и норовившей создать что-нибудь наподобие коммуны (от Знаменской коммуны Василия Слепцова до кочевых сообществ хиппи). Даже знаменитые споры «физиков и лириков» находят аналог в модных век назад отрицаниях великих достоинств Рафаэлевой Мадонны по сравнению с обычной парой сапог.

Спору нет, внимание к бурным и загадочным 1860-м годам в последнее время заметно ослабело: слишком долго официальная пропаганда призывала видеть в деяниях тогдашних «ревдемократов» образец вечного совершенства. Пора для спокойного, свободного от догматических перегибов в обе стороны разговора о Чернышевском и Добролюбове, Шелгунове и Зайцеве, Антоновиче и Писареве наконец наступила, дело за новыми статьями и книгами. Впрочем, одна из таких книг была написана бывшей нашей соотечественницей Ириной Паперно без малого два десятилетия назад, а сейчас впервые вышла в свет по-русски.

Книга И. Паперно не относится к числу сухих академических исследований, заведомо адресованных узкому кругу специалистов. Автор воссоздает многокрасочную и подробную картину событий «эпохи реализма», обращается к переписке, дневникам и мемуарам шестидесятников, внимательно воспроизводит наиболее характерные подробности быта «новых людей». Однако содержание и значение книги выходит далеко за рамки чистой описательности. И. Паперно предельно четко формулирует свою основную исследовательскую задачу — показать, «как человеческий опыт, принадлежащий определенной исторической эпохе, трансформируется в структуру литературного текста, который, в свою очередь, влияет на опыт читателей». Автор, таким образом, работает на стыке нескольких научных дисциплин: литературной поэтики, семиотики бытового поведения, социальной психологии. При этом в центре внимания закономерно оказывается понятие и его исторической личности. Каким образом тот или иной частный человек, с его сугубо индивидуальным жизненным опытом, сложившимся набором склонностей и привычек, извлекает из окружающей реальности и признает своими вполне определенные (а не иные, не произвольные) ценности и культурные жесты? И какую роль в этом сложнейшем перетекании личностного в социально-характерное и обратно играет литература?

И. Паперно начинает с тезиса вполне очевидного: «Не только реальные критики, но и их идеологические противники судили о вымышленных персонажах как о живых людях». В самом деле, в статьях об Обломове, Базарове, Раскольникове речь шла прежде всего не о красотах стиля, но о «верности», «типичности» выведенных в романах героев, об их актуальности для современной общественной ситуации. Но вот тут-то и начинаются парадоксы. Одним из наиболее последовательных борцов против какой бы то ни было автономии искусства был, конечно, Чернышевский. Именно он в середине 1850-х годов провозгласил в своей шумевшей диссертации аксиому о безоговорочном преобладании жизни над изящными искусствами, на долю которых оставалось лишь копировать реальность, создавать бледные ее слепки. На практике же все получилось совсем наоборот. «Величайший парадокс реализма заключается в том, что реалистическая эстетика, декларировав принцип отличия искусства от действительности, вызвала экспансию литературы в жизнь, вполне сравнимую с той экспансией искусства, которая происходила в эпохи романтизма и символизма, которые сознательно ориентировались на слияние искусства и жизни».

Литература не только не шла в след за жизнью, но опережала ее, давала образцы для подражания. С этим не поспоришь, иначе как истолковать воспоминание одного из современников о том, что тексты Чернышевского «тщательно, ночами напролет, изучались студентами Вятской духовной семинарии... под наблюдением преподавателя»? Особенно зримо вышли за рамки литературы, ворвались в гущу жизненной практики герои и ситуации романа «Что делать?», из которого последователи идей Чернышевского, согласно другому мемуарному свидетельству, «сделали какой-то Коран, в котором искали и находили не только общее руковод-

ство правильной жизни, но и частные указания, как поступать в отдельных случаях».

Почему же именно Чернышевскому удалось создать узнаваемые образы «новых людей», повсеместно воспринятые как руководство к действию? Ответ прост: популярный журналист «Современника» сам был одним из живых представителей странного племени «новых людей» — об этом говорят многие подробности его биографии. В первую очередь И. Паперно отмечает непреодолимое стремление молодого Чернышевского как можно более подробно зафиксировать в дневнике мельчайшие детали собственной жизни, подтвердив тем самым один из ключевых позитивистских тезисов: любое событие, интимное движение души переводимо на язык строгих понятий и терминов. Вот, например, дневниковая запись о посещении первого в жизни танцевального вечера: «Сначала я стоял у двери, которая ведет в их комнату, где стоят фортепьяна, после у двери у входа; во все это время танцевали шесть или во всяком случае четыре пары... Сначала (1 кадрили) она стояла на месте «л», мы с Ив. Вас. в дверях «б» (чертежи прилагаются! — Д. Б.)».

Чернышевский внимательно следит за своими ощущениями, старается их зафиксировать даже в тех ситуациях, когда непосредственность чувств, казалось бы, не может предполагать никакой рефлексии. Скажем, анализируя собственные переживания по поводу смерти подруги детства, он скрупулезно отмечает в дневнике: «Выкатились 3 — 4 слезы». Жизнь становится почти неотличимой от текста, события развиваются совершенно в том же темпе и ритме, что и их описание. Отсюда почти немислимая «производительность» Чернышевского, работавшего практически непрерывно, в любой обстановке, даже в Петропавловской крепости писавшего в среднем по одиннадцать (!) печатных листов в месяц.

Многие другие характерные особенности «новых людей» были присущи самому Чернышевскому, например — отсутствие обходительности, светской раскованности, «развязности». Грань между социальными причинами, закрывавшими перед «поповскими детьми» дорогу в большой свет, и сознательным культивированием небрежности в одежде и манерах оказывается весьма зыбкой, почти неуловимой. Как, впрочем, и различие между литературными героями, строившими жизнь по канонам «разумного эгоизма», и их реальными последователями. Стоит ли, в таком случае, удивляться беспримерной популярности романа «Что делать?»?

И. Паперно посвящает немало страниц обстоятельному разговору о главной книге Чернышевского. Литературный текст комментируется двояко: с точки зрения биографического опыта самого автора, а также в перспективе многочисленных примеров практического воплощения в жизнь многих идей и ситуаций романа. Так, мысль о семье, построенной на «разумных» основаниях (вызовление девушки из пут родительской деспотии, тройственный брачный союз и т. д.), явным образом находит соответствие в истории возвышенно-теоретической любви молодого Чернышевского к супруге его приятеля Лободовского, не говоря уж об известных перипетиях семейных отношений с Ольгой Сократовной. С другой стороны, довольно многочисленные попытки «жизни втроем» по идейным соображениям (физиолог Сеченов — Обручева — Боков, чета Шелгуновых — поэт М. Михайлов) возникли или как прототипические ситуации романа «Что делать?», или не без влияния этого романа.

Можно было бы высказать серьезные претензии к выполненному И. Паперно анализу романа: многое здесь недосказано, брошено словно бы походя, второпях. Однако нельзя не констатировать главного — разговор об особой природе художественности знаменитой книги наконец-то ведется всерьез, без школярской апологетики «прогрессивных идей», помимо набоковской снисходительной полубрезгливости или легковесной бойкости постструктуралистских трактовок (см., например, недавнюю статью А. Жолковского в журнале «Золотой век»). И. Паперно справедливо настаивает на том, что стержневым структурным принципом романа является двойственность. Да, книга написана как будто бы неряшливо, попросту плохо. Но ведь эта небрежность прямо декларируется повествователем в тексте романа, а значит, является не плодом литературного бессилия, но умыслом, сознательной установкой автора, которую необходимо расшифровать «проницательному читателю». Кстати, и образ проницательного читателя двоятся, не поддается прямолинейному истолкованию. То ли это недалекий потребитель бульварного чтива, в угоду низменным вкусам которого серьезнейший роман-трак-

тат превращен в некое подобие детективной мелодрамы, то ли — тайный единомышленник автора, способный разглядеть в незатейливой истории высокий смысл...

Перевод содержательной монографии Ирины Паперно пришелся как нельзя более кстати. Хотелось бы надеяться, что выводы исследователя, сам метод ее подхода к историко-литературному материалу послужат поводом для продолжения серьезного разговора о событиях и людях шестидесятых годов прошлого столетия — об эпохе до сих пор не открытой, полной тайн и загадок.

Дмитрий БАК.



БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ

Серия «Мастера». Издательский центр «Терра». М. 1996. Лев Анисов. Шишкин. 416 стр.
Ф. Жюллиан. Эжен Делакруа. 366 стр. Гледис Шмитт. Рембрандт. 832 стр.

Как известно, у всякой медали непременно имеется две стороны; но что интересно: одна из двух — причем оборотная — обыкновенно бывает больше. Вот и в данном случае. С одной стороны, конечно же, похвально, что издательство «Терра», в отличие от множества своих собратьев, выпускает не только разножанровую развлекательную продукцию типа «женских грез» или «мужских сюжетов», а стремится предоставить читателю также и полноценную духовную пищу — книги по искусству, например. Но с другой... С другой — как раз надо разобраться в подробностях, кои предоставит нам новая серия «Мастера».

Задача у нее солидная и достойная: дать «Жизнеописания великих мастеров кисти, ваяния, зодчества, театра и музыки». Правда, покамест представлены только живописцы, да в ближайших планах фигурирует один скульптор (Роден). До прочих искусств дело не дошло еще, но надо полагать, в этой части издательские обещания будут выполнены; завтра или через год — вопрос малосущественный. А вот вопрос о самих методах жизнеописания куда как важен. Выбор их, понятно, за составителем: можно предпочесть строгую документальность, а можно удариться в романические фантазии. Но коль скоро перед нами серия, то предполагается, что принцип единообразия распространяется не только на оформление книг, а также на жанр и качество. Ведь серийная маркировка есть своего рода обещание: в следующем выпуске вам снова будет предложено то, что привлекло в предыдущем. Так, приобретая издания популярной до перестройки серии «Жизнь в искусстве», читатель знал: о ком бы ни шла речь в каждом конкретном томе, это будет серьезная и основательная «ведческая» работа, тщательно выверенная, точно вписанная в контекст эпохи, разумеется, уделяющая должное внимание «жизни» художника, но больше занимающаяся проблемами «искусства». Если же нас интересовали картинки с натуры, личные обстоятельства и бытовые подробности, надо было обратиться к серии «NN в воспоминаниях современников». И естественно, что любитель «воспоминаний» вовсе не обязан был увлекаться «жизнью в искусстве»...

Жанровая специфика серии «Мастера» определению не поддается: в ней царит полный разнобой. Традиционное искусствоведение соседствует с беллетристикой, претендующей на художественность вымыслов, «ученая» эссеистика, требующая широкой эрудиции и способности свободно ориентироваться во всем культурном пространстве Европы, располагается рядом с плоской публицистической агиткой, которая не требует ничего, кроме готовности верить автору на слово; в один ряд с широко известным Анри Перрюшо или авторитетным Сергеем Львовым (кажется, пока еще не выпущенными) поставлены темные личности, коих никто не знает и знать не надо. Таким образом, различия в жанре и разрыв в уровне как бы запланированы; впрочем, когда дело касается переводных сочинений — а их в серии обещает быть большинство, — отличить хороший (изначально) текст от плохого весьма затруднительно: не пускаться же, в самом деле, на поиски оригинала, чтобы выяснить, кто виноват в невероятных фразах типа «отношения поэтов к прославленному мэтру не сводились к боготворению» — автор книги о Делакруа Ф. Жюллиан или ее переводчик И. Радченко.

С отечественными текстами в этом смысле проще разобраться. Как прочтешь, что «индивидуальные всплески бунта можно увидеть в работах М. Лебедева» или что «природа — Бог. Оставаясь наедине с нею, сколь глубоко, сколь чисты становятся мысли», так сразу становится ясно: автор книги о Шишкине состоит в напряженных отношениях с родным языком. Что в любом случае грустно, а в данном конкретном — вдвойне: ведь Лев Анисов настойчиво претендует на сугубую «русскость». Как в манере письма, стремящейся к лирически-задушевному «русскому стилю», так и в декларируемых взглядах. Собственно, он и героя своего почитает и прославляет прежде всего за национальный дух, неотделимый от православной религиозности. Правда, объяснений того, каким манером пейзаж может (если все-таки может) быть православным или, напротив, католическим, автор не дает, обходясь заявлениями: «в лесной глуши, близ родника с ключевой водой» русский человек, дескать, чувствует себя «в родной религиозной среде», а «полюбить природу чужого народа — что изменить своей церкви». Соответственно, шишкинская верность русской вере подтверждается, помимо прочего, тем, что пейзажи «немечтины», которые приходилось писать в тяжелую пору академического пансионерства, не трогали душу художника. Однако ж это не мешало их успеху в «чертовой загранице»: хоть и без особого вдохновения созданные, работы Ивана Ивановича все равно стояли неизмеримо выше заграничных пустых поделок. И некий безымянный дюссельдорфский антиквар, владевший двумя рисунками Шишкина, говорил некоему анонимному русскому путешественнику, что не продаст их «ни за какую цену, потому что им цены нет». Оценку этого безвестного эксперта автор приводит дважды — забавно, до чего наши ненавистники заграницы нуждаются в ее признании и восторге! Но вернемся в Россию.

Единое, что интересует Анисова в российском культурном пейзаже, — это спор славянофилов и западников, а вернее, пропаганда мнящихся ему славянофильскими идей, поскольку западники предстают здесь личностями бесспорно недостойными, лишенными и сердца, и разума. А причиной побед столь ничтожных противников объявляется масонство — как известно, «серьезнейшая и опаснейшая» организация, ставящая своей целью духовное порабощение народов. Погружаясь в такие важные материи, автор периодически выпускает из виду своего героя, а когда, сплхватившись, обращается к нему снова, то обнаруживает, что Иван Иванович тем временем женился, потерял жену, приобрел известность, женился снова, стал первым русским пейзажистом и так далее... «Жизнеописание» распадается на какие-то обрывки, бессвязные фрагменты, сколько-нибудь серьезный разбор работ отсутствует, зато присутствуют неведь откуда возникающие обширные диалоги между незнамо кем, но все на ту же любимую тему: «Да посмотрите на печать нашу. В чьих руках она? Что русского в ней? А образование?» Вот и довели в итоге Россию до того, что к славнейшему из ее живописателей стали относиться с пренебрежением и с иронией, а «апологеты авангардизма» ведут настоящую «травлю Шишкина» — направленную, если разобраться, против всей русской культуры и православной церкви.

Спорить со всем этим не стоит: уровень текста, как и уровень мысли, непригоден для критики. Поэтому ограничусь вопросом о «принципах серийности»: не кажется ли издателю, что сие пропитанное «национальным духом» и отвращением к Западу «жизнеописание» странно помещать в один ряд с книгами, прославляющими западных мастеров? Делакруа, например, чьих работ, если верить автору, Иван Иванович при посещении Парижа не заметил вовсе — в полном соответствии с убеждением автора, что ничего хорошего в заграничах не увидишь. Ну да Бог с ним — обратимся к «Делакруа».

В отличие от Анисова, Жюллиан отнюдь не пренебрегает «ведческими» категориями. Он анализирует картины со знанием дела, вникая в композиционные тонкости, колористические нюансы и контрасты, игру рефлексов и прочие живописные красоты. Вдобавок у французского автора наличествует та «насмотренность» (воспользуемся словом искусствоведов), которая позволяет подмечать даже мельчайшие следы влияний, сознательных заимствований или неосознанных параллелей, приметы тенденций и стилевых трансформаций и вообще любые связи с обширным европейским наследием. Он фиксирует и промелькнувшую «рубенсовскую» линию, и появление «барочных изгибов», и изменившуюся стать неизменно любимым художником лошадей, рысью двинувшихся от Жерико к Бернини; указывает, где свет стал «по-караваджистски драматичен», где возник «пессимистиче-

ский дух» мастеров сенченко, где Делакура вторит Давиду, а где заимствует композицию у Россо. Влияние самого мастера на разнообразных потомков тоже не оставлено без внимания; присутствуют и многочисленные литературные, театральные, музыкальные и прочие отсылки. В результате текст оказывается до такой степени перегружен именами, названиями, терминами, что даже вполне образованный читатель начинает испытывать головокружение. Правда, книга снабжена обширным — почти на восемьдесят страниц — комментарием. Но велик ли толк от длинного перечня лапидарных характеристик: «Шинар Жозеф (1756 — 1813) — скульптор, преимущественно портретист, автор мифологических и аллегорических композиций», «Моцарт Вольфганг Амадей (1756 — 1791) — великий австрийский композитор», «Святой Рох (рубеж XIII — XIV вв.) — святой католической церкви»... Кто озаботился составить этот увлекательный список, не указано; неужто сам автор (поскольку другие издания серии комментариев не имеют)?

Конечно, эрудированностью Фидиппа Жюллиана можно восхититься — просто как фактом, независимо от результата. И нельзя не признать, что отдельные куски в его работе весьма даже интересны. Однако сложить их в нечто целое автору не удалось. Повествование то кружит на одном месте, то, напротив, резво скачет от темы к теме, не смущаясь отсутствием логики. Искусствоведческие штудии, светская жизнь, Шопен, Жорж Санд, политические интриги, революции и культурные традиции перемешаны в таком причудливом беспорядке, что голова опять же идет кругом. А неудобочитаемый текст порой доводит и до мигрени...

Так что лучшим из трех «жизнеописаний» придется счесть роман Гледис Шмитт. Он порядочно выстроен, живо написан, местами почти увлекателен, показывает хорошее знакомство с материалом и одушевлен любовью к герою. Однако (снова «однако»! как же хотелось бы хоть однажды обойтись без!) в нем нет того главного, ради чего, собственно, все и затевалось: образа гения. Впрочем, это общий и, пожалуй, неизбежный недостаток подобного рода романистики, порожденной естественным желанием — постичь загадку гениальности, заглянуть в душу великого, — но утыкающейся, как в тупик, в невеликое дарование отгадчика. «Только гений может понять гения», — утверждал Шуман; положим, он преувеличивал и понимание нам все-таки доступно. Но чтобы вос-создать личность гения, надо быть воистину конгениальным ему — именно конгениальным, то есть не просто равным по масштабу дара, а еще и родным по духу. Увы, великие не пишут биографических романов о своих великих братьях, а разве что пользуются в собственных целях какими-то эпизодами, фрагментами судьбы, подчас недостоверными: так Пушкин одарил нас божественным Моцартом — воплощением музыки. А беллетризованные биографии, написанные людьми пусть способными, но от гениальности далекими, всегда оставляют ощущение досадной недостаточности, несоответствия между великим прообразом и литературным образом. Причем недостает в них как раз гениальности гения: изобразить его в обычных человеческих проявлениях — дело не столь сложное.

Вот и Гледис Шмитт оказывается способна достоверно выразить обыкновенные чувства вроде раздражения Рембрандта из-за бесхозяйственности Саскии, радостей самолюбия или, напротив, горечи неуспеха; подчас ей удается передать и любовь, и боль утраты, и тот обжигающий холод восторга, который охватывает подлинного ценителя при виде шедевра. Но когда она стремится воплотить переживания мастера, страдающего от небрежения публики и тем не менее идущего своей дорогой; когда хочет показать, как рождаются великие замыслы, или воссоздать творческий экстаз, — получается унылая банальность: «кисть его была живым существом, продолжением его руки, и каждый соболий волосок на ней подчинялся его желаниям». Когда же дело доходит до моментов исключительных и в жизни гения — таких, как уничтожение отвергнутой заказчиком картины, — писательница вовсе теряется и, не пытаясь даже разобрататься в душевных движениях художника, сосредоточивает взгляд на внешней динамике действия: побагровел, взревел, ринулся, вонзил нож, рванул... Может, оно и правильно — все равно ведь обосновать по-настоящему не получится, — но, с другой стороны, если обычно герой изображается изнутри, то внезапный отказ от психологической мотивировки слишком явно выдает недоумевающую беспомощность автора.

...А в общем итоге «другая сторона» рассматриваемой медали оказывается как бы даже единственной, и возникает вопрос: впрямь ли похвально стремление изда-

тельства «Терра» не ограничиваться разнообразными рыночностями, но предоставить читателю полноценную духовную пищу? Ведь и при поверхностном анализе означенная пища обнаруживает свою неполноценность, да и в самом стремлении тоже очень чувствуется привкус дешевого рынка, который хочет по-быстрому удовлетворить любые запросы потребителя, не заботясь о качестве предлагаемого товара. И если на упреки поставщикам турецко-китайского ширпотреба легко возразить — зато они одели всю страну, а дешевые шмотки к концу сезона и выбросить недорого, — то «Жизнеописания мастеров» вроде бы не на выброс приобретаются. И какие «зато» могут оправдать существование серии, которая ко всем прочим своим некачественностям присовокупляет еще отвратительный уровень репродукций, превращающих великую живопись в тусклые, мутные, совершенно неудобоваримые картинки?

Издательское дело требует культуры, и тем большей, чем значительнее темы и герои издания, — это аксиома; обидно, что свобода и культура оказались плохо совместимы. И ладно б только свежее испеченные «рыночники» демонстрировали многообразную безграмотность. Но когда издательство МГУ (!), печатая религиозный труд М. Элиаде, называет Хризостома Христомом, очевидно, не догадываясь, что речь идет о Златоусте; когда «Искусство», выпуская Гофманстала, в предисловии разбирает один вариант трагедии «Башня», а в самой книге помещает другую, с ровно противоположным финалом, — чего ждать от «Терры»?

А впрочем, иные из ее благих намерений осуществлены достойно — серии «Зарубежная классика детям» или «Сокровища мировой литературы», например. Правда, это почти исключительно перепечатки изданий дореволюционной эры — ну так что ж? Работа с хорошими образцами — тоже дело хорошее: недаром в прежние времена и великие мастера учились, копируя произведения предшественников.

Алена АНГЕЛЕВИЧ.



РОКОВЫЕ МГНОВЕНИЯ

В. А. Ковалев. Заложники заблуждения. М. 1995. 414 стр.

Тираж этой прекрасно изданной книги весьма невелик, и до массового читателя она, конечно, дойти никак не сможет. А жаль, ибо, насколько мне известно, впервые в нашей историографии под одной обложкой собраны воедино описания всех покушений на Александра II — Освободителя, как окрестил его в апреле 1861 года в своем «Колоколе» А. И. Герцен; покушений не только состоявшихся, но и оставшихся в «проекте» либо реализованных частично; покушений не только на самого царя, но и на видных государственных сановников из его ближайшего и отдаленного окружения. «Книга написана на строго документальном материале, — пишет Валентин Алексеевич Ковалев в преамбуле к своему труду. — В ней нет вымышленных имен, событий, фактов. Автору не было нужды драматизировать события, ибо история многочисленных покушений на императора Александра II изобилует такими трагическими коллизиями, перед которыми меркнет самая изощренная фантазия».

Мы получили своего рода «энциклопедический справочник» или, может быть, правильнее будет сказать, антологию гнуснейших в истории России (и, пожалуй, не только России) преступлений. Буквально каждая страница этой жуткой и позорной «антологии» может быть обрамлена траурной каемкой.

Социально-психологический феномен террора в отечественной историографии до настоящего времени остается практически неисследованным. Парадоксальная, на первый взгляд, вспышка его в период правления Александра II объясняется пересечением ряда факторов, в том числе и личных качеств самого Государя, в характере которого причудливо переплетались черты либерала-реформатора и консерватора-охранителя. Террористы, одержимые фанатизмом, еще и потому могли править свою кровавую вакханалию, что образованная часть российского общества — его интеллигенция (в особенности ее молодое поколение) — заняла удобную и безопасную позицию внешне стороннего, но внутренне сочувствующего экстре-

мизму и злорадствующего наблюдателя ожесточенной охоты на самодержца. Терроризм рассматривался в качестве пусть и жестокого, но в конечном итоге полезного катализатора социальных перемен. И как следствие террористы не только не были идейно и морально изолированы, не подвергались массовому осуждению, но, напротив, нередко приобретали в общественном мнении ореол мучеников и героев. За этот исторический грех российской интеллигенции после 1917 года пришлось жестоко поплатиться: террор как государственная практика большевистской власти, выросшей из политических установок «Народной воли», вскоре обратился — в многократно усиленном виде — против самой же интеллигенции.

Сошлюсь на два авторитетных свидетельства (не вошедших в книгу В. А. Ковалева) — дневниковые записи В. И. Вернадского и Н. А. Рубакина. 2(15) марта 1918 года Вернадский, живший в Полтаве, вспоминал: «Вчера в здешней плохенькой социалистической газете «Свободная мысль» помещены воспоминания о 1 марта 1881 г. ...Прошло 37 лет, я был юношей... В день убийства... вечером были гости и были веселы, мне кажется, некоторые поздравляли друг друга. Но отец был взволнован и задумчив... Как в тумане помню себя. Меня неприятно поражала радость убийству, но я согласно всем считал, что это факт положительный. Террористы были мне чужды идейно, благодаря стремлению к убийству, и героизм их поступков мной не чувствовался, хотя в среде нашего дома он встречал и сочувствие, и поддержку» (Вернадский В. И. Дневники 1917 — 1921. Киев. 1994, стр. 59 — 60). А 1 марта 1941 года Рубакин записал: «Сегодня 1-ое марта — знаменательный день в русской истории. 60 лет тому назад, когда мне было всего лишь 18 — 19 лет, я искреннейше считал самую активную борьбу с царизмом единственно правильным методом общественно полезной творческой деятельности... В этот день стояла прекрасная солнечная погода. Я пошел погулять, чтобы подышать свежим воздухом, а вернулся домой уже зараженным быстро развивающимся тифом и слег. И вот когда я уже лежал в тифе, т. е. уже чувствовал его, пришел кто-то из друзей и сказал, впрочем, очень неопределенно и неясно, что на Екатерининском канале был взрыв, от которого погиб сам царь. Этому слуху я тотчас же поверил. Ведь это был настоящий выход для моего напора внутренних сил. И я этому выходу обрадовался и заплакал от радости. Заплакал тоже и мой отец — заплакал согласно своему сильно упрощенному мировоззрению простого русского, хорошего, доброго человека. Но потому, что он был уверен, что царь убит вовсе не революционерами, а помещиками, мстившими за освобождение крестьян, и высшими чиновниками, которые в большинстве случаев тоже из дворян. Разумеется, отец не хотел слушать никаких моих возражений против таких его идей. Мать отнеслась к факту цареубийства очень сдержанно... И вот сегодня, 1-го марта 1941 г., я уже не смог бы так радоваться цареубийству. И потому бы не смог, что уже пережил азефщину, и, значит, потому, что она для меня не только социально, но психологически неопровержимое доказательство безусловной непримиримости и несовместимости никакой этики с политикой, действительно полезной для народной трудящейся массы. Ведь когда максимальная власть переходит в руки слепой силы и насилия, тогда не требуется никакой этики... Исторически и психологически неопровержима идея: злоупотребление силою относится к силе как следствие к причине. Но тогда мне еще думалось, что если во главе государства встанут настоящие интеллигенты вроде критически мыслящих людей, по рецепту Петра Лаврова, то они своею силою злоупотреблять не станут. Увы, я тогда надеялся на это только потому, что желал этого. События 1918 и следующих годов разрушили такие мои ожидания (Рубакин Н. А. Дневник 1941 года. — Отдел рукописей Российской государственной библиотеки, ф. 358, к. 344, ед. хр. 5).

...Одно из наиболее впечатляющих мест книги В. А. Ковалева — описание окончания — в марте 1878 года — процесса над В. Засулич, стрелявшей в петербургского градоначальника генерала Ф. Трепова. На этом процессе этика террора одержала свою подлинно «триумфальную» победу.

«К присяжным заседателям обратился с напутственным словом перед вынесением приговора председатель суда А. Ф. Кони:

— Быть может, ее скорбная, скитальческая молодость объяснит вам ту накопившуюся в ней горечь, которая сделала ее менее спокойною, более впечатлительною и более болезненною по отношению к окружающей жизни, и вы найдете основания для снисхождения.

Присяжные вынесли оправдательный приговор. Лишь только об этом было объявлено, зал суда взорвался неистовыми криками восторга. Аплодировали не только молодые разночинцы, но и степенные чиновники судебного ведомства, седовласые сановники, титулованные особы. Все в едином порыве приветствовали решение присяжных.

Что это было? Знак личного нерасположения к Трепову с его замашками ротного фельдфебеля, который плохо различает гражданское общество и солдатскую казарму? Радость от сознания нравственного поражения человека, от которого устали все — и правые, и левые; и либералы, и консерваторы, и революционеры, и верноподанные? Быть может, все это так, только никому не дано было предугадать, каким раскатистым эхом прогремят эти сиюминутные эмоции в истории страны. И сколько новых выстрелов породят эти аплодисменты в честь безнаказанности террора... Глубоко и сильно государь переживал кощунственное оправдание судом присяжных В. Засулич...»

А до последнего рокового мгновения — первомартовской кровавой развязки — оставалось всего три года. По нынешним временам, когда верховные правители, наши российские в том числе, окружают себя десятками, а то и сотнями телохранителей, совершенно недопустимой и ничем не оправданной выглядит, даже с учетом иной исторической обстановки и обстоятельств, удивительная беспечность царя и его «ближайшего окружения», доходившая и до таких поразительных крайностей, когда одинокий террорист с расстояния нескольких шагов в упор расстреливает из пистолета прогуливающегося в одиночку (!) монарха. Слава Богу, промашивается...

1 марта Александр II не прислушался к неоднократным предупреждениям о грозивших ему смертельных опасностях, не внял предостерегающим советам. Сопровождавшую царский экипаж охрану даже по тем временам вряд ли можно было назвать иначе как символической. Доходящая до бравады храбрость царя — такая русская и такая же безрассудная — обошлась России слишком дорого. В этом чудовищном убийстве уже заложено зерно екатеринбургского...

И. МОЧАЛОВ.

В. И. ВЕРНАДСКИЙ. Публицистические статьи. [IV.] Составитель и ответственный редактор В. П. Волков. М. «Наука». 1995. 320 стр. Серия «Библиотека трудов академика В. И. Вернадского». Главный редактор академик А. Л. Яншин.

Три года назад публикацией нескольких ранних статей Владимира Ивановича Вернадского «Новый мир» одним из первых представил современному читателю общественно-политическую публицистику нашего выдающегося ученого. И вот перед нами четвертый том «Библиотеки...» (под общей редакцией председателя Комиссии по разработке научного наследия В. И. Вернадского Российской академии наук академика А. Л. Яншина): в нем наконец-то сведена воедино вся обнаруженная на сегодняшний день в российской либеральной периодике публицистика В. И. Вернадского 1904 — 1920 годов (в том числе и некоторые очерки и статьи, хранившиеся в его архиве).

В откликах на вышедшие в 1992 и 1994 годах предыдущие три тома «Библиотеки...», включившие труды В. И. Вернадского по биогеохимии и геохимии почв, живому веществу и биосфере, уже отмечались свойственные этим изданиям серьезные погрешности («Независимая газета», 1993, 14 мая, и 1995, 21 ноября). Естественно, не без определенных опасений ожидался выход IV тома. К счастью, тревога оказалась напрасной.

В новом томе публицистических статей В. И. Вернадского реализовано то, чего по большей части не удалось осуществить в трех предыдущих: издание подготовлено в точном соответствии с духом и буквой наших лучших академических традиций, с соблюдением требований, предъявляемых к подобного рода публикациям трудов классиков науки. Содержательны и ярки вступительные статьи А. Л. Яншина («Публицистика В. И. Вернадского») и ответственного редактора и составителя тома, доктора геолого-минералогических наук В. П. Волкова («В. И. Вер-

надский — общественный деятель и публицист»). Последний, не жалея сил и здоровья (чему я сам свидетель), в течение нескольких лет кропотливо разыскивал затерявшуюся в периодике публицистику Вернадского. Книга достойно увенчала его усилия, как и усилия его помощников (В. С. Неаполитанской, А. А. Косорукова, Л. В. Баландиной).

Особо следует сказать об обширных комментариях (скромно названных «примечаниями»). В. П. Волков и специалист по отечественной истории, сотрудник президиума РАН Л. П. Дойникова проделали работу, заслуживающую называться исследовательской. В ряде случаев комментарии перестают играть только служебную роль, становятся ценнейшим материалом к общественной и политической биографии В. И. Вернадского, написание которой остается пока делом будущего.

Во вступительной статье А. Л. Яншин обращает внимание на актуальность публицистики В. И. Вернадского: словно в волшебное «окошко времени», великий ученый заглядывает в наш сегодняшний день. Вот только один пример.

...В конце 1919 года Вернадский, приехавший из Киева в Ростов, публикует в выходившей при правительстве А. И. Деникина местной газете «Донская речь» статью «Научная задача момента». В ней, в частности, говорится:

«Сейчас в Ростове, под влиянием ужасов междоусобной войны, собрались большие группы русских ученых. Из Киева и Харькова, из Москвы и Петрограда сюда направились и профессора высших школ, и ученые специалисты, работавшие в общественных или правительственных учреждениях. По тем или иным причинам они не смогли выдержать большевистского режима, принесшего нам ужасы рабства и инквизиции. Выбитые из обычной колеи, нередко раньше далекие от треволнений политической жизни, — они и в новых условиях могут и должны делать свою главную работу — работать для единой для всего человечества науки, создавая в ней русское течение, — это могучее, не признаваемое пока русским обществом в его значении и силе, мировое проявление русской культуры. На них, здесь собравшихся, лежит великий долг перед русским народом: охранить эти вечные ценности — научную исследовательскую работу и ее русскую организа-

цию, — перенести их неразрушенными и усиленными среди ужасов междоусобной войны... Глубже вдумываясь в происходящее, отыскивая его скрытые основы, легко убедиться, что настоящее спасение России, залог всего ее будущего, ее единства, ее значения в мировой жизни — наиболее ярко и наиболее жизненно сосредоточивается в духовной творческой работе народа, — в науке, искусстве, технике, творчестве, общественной и политической жизни... Сейчас здесь, в Ростове, звучат опасные речи: нередко считают менее ценным, чем другие, проявления государственного возрождения, охрану научной творческой работы, и есть опасность, что под влиянием этих речей, происходящих без отпора, некоторые из центров научного творчества могут погибнуть в вихре событий. В возрождающейся здесь России слагаются старые речи русской правительственной организации, с которой нам всем приходилось вести такую упорную борьбу в течение поколений — за каждый рубль, отпущавшийся из огромного государственного бюджета на помощь научной работе. Возрождаются скверные навыки старой русской власти, в первую очередь — при всяких финансовых затруднениях жертвовать расходами на культурные русские ценности. Мы знаем гибельные последствия этого в прошлом. Но в будущем они могут быть еще более пагубны. Ибо сейчас главной силой, спаивающей новое русское государство, которое никогда, что бы ни думали мечтатели и политические донкихоты, не может возродиться в старых формах, будет являться великая мировая ценность — русская культура во всех ее проявлениях. На ее подъем и на охрану центров ее проявления должны быть направлены теперь же все усилия носителей власти. Нельзя откладывать эту работу на лучшие времена, после окончания разрухи, — ибо в этот промежуток времени могут безнадежно погибнуть создавшие ее центры. Должен быть основной целью реальной политики перенос в новую создаваемую Россию всех центров научной творческой работы, которые, как проявление живых сил русской жизни, возникли — при всяких режимах — всюду на территории Российского государства. Ни один из них, реально существующий, не должен погибнуть в переходную эпоху».

Не правда ли — злободневно?¹

*

Тяга к публицистике пробуждается у В. И. Вернадского еще на первых курсах Петербургского университета (о чем свидетельствуют дошедшие до нас архивные материалы), а его гимназические дневники становятся как бы преддверием на пути к осознанию этой потребности. Последнее десятилетие прошлого века — время созревания публицистики Вернадского. Его архивы свидетельствуют, что публицистическая «жилка» была дана ему, что называется, от Бога. Многочисленные письма друзьям, жене, дневниковые записи часто живо напоминают миниатюрные публицистические очерки.

Вне поля зрения выдающегося ученого не остается ни один сколько-нибудь значимый вопрос того времени; Вернадский — типичный русский интеллигент, исповедующий освободительную идеологию: борьба за академические свободы, в защиту требований студентов и профессоров, против административного произвола в науке и высшей школе, за отмену смертной казни и полную амнистию по политическим и религиозным преступлениям, против черносотенных погромов, за равноправие наций и народностей, за справедливое разрешение аграрного вопроса, развитие местного самоуправления и подъем производительных сил страны.

После 1920 года В. И. Вернадский-публицист по понятным причинам «ушел в себя»: оппозиционная публицистика при большевиках невозможна. Дневникам и единомышленникам стал поверять Вернадский свои соображения о современности (см. Вернадский и В. И. «Коренные изменения неизбежны...». Дневник 1941 года. — «Новый мир», 1995, № 5).

В. И. Вернадский верил в будущее России; в 1908 году, завершая статью «Перед грозой», он писал:

«Историю нельзя повернуть назад. Народ, в невероятной обстановке развивший мировую литературу и мировое искусство, ставший в первых рядах в научном искании человечества, не может замереть в полицейских рамках плохого государственного управления. Он может терпеть поражения, — но в конечном итоге он останется победителем».

Поверим в это пророчество.

И. КИРШ.

ФЕДОР АБРАМОВ. Так что же нам делать? (Из дневников, записных книжек, писем. Размышления, сомнения, предостережения, итоги). Составление Л. В. Крутиковой-Абрамовой. СПб. «Журнал „Нева“». 1995. 112 стр.

Характерная черта всякого, в том числе и последнего, времени — интерес к мемуарным, дневниковым и подобным документам публикациям. Наиболее заметны (и полярны) в нынешнем контексте имена К. И. Чуковского и Ю. М. Нагибина. Маленькая же сия постфактумная книжца, с виду и с ходу напоминающая прежние выпуски журнальных библиотечек, может быть, несколько и стусевана на фоне вышеупомянутых полиграфических монументов, но не теряется и не заслоняется, являясь звеном той же цепи, явлением в ряду оживившейся — литературно-процессуальной — тяги к творческому «наследию» (слово непривычно нелепое в применении что к Венедикту Ерофееву, что к Федору Абрамову) наших недавних современников, «людей искусства».

Чужие дневники, записные книжки, письма — особенное, подчас сомнительное, «омутное», но необходимое чтение (и не будем полемизировать с противниками оного, берущими иные уроки — литературно-нормативные). Не существует безличного, как письмовник, «дневниковника», поэтому столь важен лично человеческий пример, на котором, думаю, единственно возможно чему-то научиться, в том числе и литературному делу. Более того, как раз эта «дневниковая» грань всегда в дефиците: слишком тонкая работа, не артельная, сродни труду золотых дел мастера.

...Вот уже и имена скромных и отдаленных мест рождения превращаются в нарицания, чуть ли не в символы, в волшебные слова: Сростки, Овсянка, Веркола. Кажется, что заключен в них некий неразгаданный смысл, но ответ унесен и утаен — даже в названии этой книжки обернувшись вопросом: «Так что же нам делать?» Название же, пришедшее от задуманной, но так и не осуществленной автором статьи, риторически-многозначительное, словно перехватывает чернышевскую эстафету: «...вся писательская деятельность Абрамова, все его книги и выступления посвящены поискам ответов на вечные вопросы: что делать? Как жить?» (из со-

¹ См., например, «Два письма о науке» современных ученых («Новый мир», 1996, № 9)

ставительского предисловия). А сам Федор Абрамов готов был назвать задуманные им автобиографические записи «Записками счастливого человека» («Пришла в голову великолепная мысль...»).

Хотя собранное в книгу — лишь малая часть творческого архива, но это тот случай, когда подходящее для целого годится и для части. Автобиография, пока не явленная (или не написанная — нам это не известно), слагается из кусочков «письменных источников», как лоскутное одеяло, — сравнение, близкое автору, — как коллаж — что уже знакомой нам, а понять, в чем счастливость самоощущения, поможет одна из записей: «Что бы я стал делать, если бы у меня обнаружили рак? Работать. Из последних сил работать».

Мини-тиражность и разношерстность составляющих (в конце дана еще и подборочка рассказиков-притч, как бы отсылающих «своих» к циклу «Трава-мурава», — но уменьшительно-ласкательные рецензионные суффиксы только огрубляют и смазывают ощущение) обрекают книгу на малозаметность и среднерядность: нет в ней эпохального охвата, портретов знаменитых современников, откровений и разоблачений, громкости-шумливости; она камерна, спокойна, ни на что не претендующа. Но коль мы вольны сравнивать, выбирать для себя — то абрамовский золотник весом, дорог, не мимоходен; тростниковая мелодия — полноправная и немаловажная часть общего многоголосия.

Нам не откроется «новый Абрамов», потому что все «размышления, сомнения, предостережения, итоги», заявленные в подзаголовке, окольными путями кружат возле уже написанного, знакомых героев и циклов знакомого нам писателя (именно Писатель всегда на первом месте, даже в интимных, насколько это выражение сюда приложимо, заметках) — но мы испытываем радость узнавания и подтверждения.

Юлия ТАРАНГУЛ

*

ПЕТР ВАЙЛЬ, АЛЕКСАНДР ГЕНИС. 60-е. Мир советского человека. М. «Новое литературное обозрение». 1996. 368 стр.

Название книги (изданной сначала в Америке — «Ардис», 1988) навеивает скуку. Вынесенные на обложку имена известных литераторов-эмигрантов обе-

щают легкое и бесполезное чтение. Тот ардисовский томик я некогда и читал; ныне это переизданное в России сочинение перечитал, к своему удивлению, даже не с прежним, а с большим любопытством. Речь, напомним, идет не о календарных шестидесятых, а об «эпохе шестидесятых», которая, по мнению авторов, началась в 1961 году XXII съездом КПСС и программой построения коммунизма, а закончилась в 1968-м оккупацией Чехословакии. А что между этими границами? Да все. Коммунизм. Космос. Поэзия. Куба. Америка. Сибирь. Война. Наука. Школа. Романтика. Юмор. Диссидентство. Богема. Спорт. Вожди. Народ. Солженицын. Империя. Евреи. «60-е» — книга для чтения, а не для рецензирования. Я мог бы назвать Вайля и Гениса фельетонистами (это похвала, если бы слово «фельетон» не было скомпрометировано, а первоначальный смысл забыт. «Наиболее общие приметы Ф. как жанра — подвижность предмета сообщения или рассуждения, видимая «бесплановость», легкость, непринужденность композиции, пародийное использование различных лит., а также внелитературных жанров и стилей...» (из «Краткой литературной энциклопедии»). Да, это и о них. Их «Родная речь» (даже рекомендованная кому-то зачем-то министерством образования) — книга литературоведческих фельетонов. Их недавно переизданная «Русская кухня в изгнании» — книга «фельетонизированных» кулинарных рецептов. «„Вавилонская башня. Искусство настоящего времени” А. Гениса в „Иностранной литературе”» (1996, № 9) — фельетоны культурологические. То же и «60-е». Не столько события, сколько образ жизни. Мелочи. Реалии. Тип человека шестидесятых годов. Полемическое послесловие с профессиональным темпераментом написал шестидесятник Лев Аннинский: все было не так, иначе. Любое их частное суждение легко может быть уточнено или оспорено, но целое — воздух, стиль эпохи — схвачено. Или сегодня уже кажется, что схвачено. И главное, ведь не оторвешься. Такие книги и формируют историческую память общества куда сильнее, чем «объективные» научные (или наукообразные) исследования. Кто-то скажет: «к сожалению». И будет не так уж не прав. Кто-то скажет: «надо написать другую — альтернативную книгу о шестидесятых». Пишите. Но место уже занято.

А. В.

*

I. «МИТИН ЖУРНАЛ», № 50 — 53;
«КОММЕНТАРИИ», № 6 — 9.

Несмотря на постмодернистское положение о «ситуации размывания границ», разделение литературных журналов на старые «толстые» и более или менее новые «маргинальные» по-прежнему актуально. За время существования альтернативных изданий не то чтобы изменился принцип разграничения — сместились акценты. Это в 80-х официально противостоял идеологически неангажированный андерграунд. Сейчас взаимодействие «толстых» и «маргинальных» журналов уместнее было бы описать с помощью классической парадигмы «традиция/авангард»: «толстые», стараясь придерживаться некоей «золотой середины», в общем, хранят верность традиции; «маргиналы» утверждают свои, маргинальные, ценности, демонстративно игнорируя «соперников».

Эффект зазеркалья: в «новых» журналах нормативными являются традиционно маргинальные, критические и эссеистические типы письма — соответственно в поэзии верлибр предпочитается регулярному стиху, в прозе коллаж — последовательному, «связному» повествованию; центральный «толсто-журнальный» жанр — роман — в этой системе координат отсутствует, как и само понятие центра.

Отсутствует также табу на обценную — тоже маргинальную — лексику. Присутствуют авторы-маргиналы: рассматриваемый здесь тип журнала программно открыт представителям «меньшинств».

Довольно трудно представить себе опубликованными в традиционном контексте стихи Ярослава Могутина: «сережа сказал что он больше не может / его уже пятый день мужеложит...» («Митин журнал», № 52). Или прозу Александра Ильенена «И финн» (№ 51 — 53), завязанную на ту же тему. Причина нестыковки не в одной только теме, а в том числе и в ее — столь же нетрадиционной — реализации: текст Могутина — неожиданная интерпретация песни Бориса Гребенщикова «Марина» («Марина мне сказала, что меня ей мало, / Что она устала, она устала...»); текст Ильенена — утомительно монотонные в целом, фрагментами — яркие «необязательные записки».

В новых номерах «Митиногжурнала», наряду с поэзией, прозой и представленным «Диалогом монстра и менестреля» Бориса Юхананова театром (№ 51), — еще четырнадцать рубрик.

В изысканиях выделяется «Морфология реальности» Вадима Руднева («адаптированный» вариант) — описание реальности как семиотической системы. «Для каждого сознания улица будет другой, хотя почти каждый, возможно, будет знать, что это улица Качалова. И стабильность улицы будет заключаться именно в ее названии, т. е. носить семиотический характер» (№ 51). Здесь же — потрясая некогда Жака Деррида «Телефонная книга» Авитал Ронелл (фрагмент) в переводе Александра Секацкого — своего рода «философия телефонной связи», включающая критику Хайдеггера с его толкованием феномена техники. В разделе по чужим страницам — интервью с исследовательницей (№ 50).

В редакционной почте — «письмо» Татьяны Щербины о поэзии современной Франции: «В современной Франции поэзия — занятие, которое и не кормит, и не имеет престижа, тиражи минимальны, поэтов чертова уйма, широкая публика не знает ни одного, в узких кругах — в каждом свои герои, которые грызутся и метят территорию задворков как драные кошки» (№ 51). А также рецензия Александра Скидана на книгу Ольги Седаковой «The Silk of Time» — «Шелк времени» (№ 51), миниатюры Юлии Кисиной (№ 51) и доклад Александра Скидана «О русском другом» (№ 52).

Под рубрикой just so Дмитрий Кузьмин сообщает результаты проведенного им опроса: «Иосиф Бродский — единственный и неповторимый глазами молодых поэтов» (№ 53). О конце века и так далее рассуждают Ольга Хрусталева, Михаил Трофименков, вышеупомянутые Кисина, Скидан и Секацкий (№ 50). Коллегия Песка и Воды посвящена предместью (№ 51) и пыткам (№ 52). Коллекция, другая коллекция и антология представляют произведения разных жанров, оригинальные и переводные. Некоторые неидентифицируемые в жанровом отношении опусы названы беседами. Есть свой архив и своя хроника на грани рекламы; ведутся маневры, а также военные действия.

Боду), грустные новости (например, несостоявшееся бракосочетание Ярослава Могутина — см. выше — с американским художником-авангардистом Робертом Филиппини — № 4), просто новости и постоянно ведомые Радой Цапиной music news. Как делается история литературы: «В связи с женитьбой издателя Александра Глезера на писательнице Валерии Нарбиковой в издательстве «Третья волна» выходят три ее книги» (№ 1).

Вероника Боду, Ярослав Могутин и Валерия Нарбикова — фигуры, обыгрываемые еще со времен «Гуманитарного фонда», в «ГФ — Новой литературной газете» присутствующие уже на правах персонажей. Понятно, что наибольшее удовольствие от подобного рода текстов получит при чтении литератор, причем — знакомый с прототипами.

«Цирк „Олимп“», напротив, — газета, обращенная не внутрь (в сущности, той же) тусовки, а вовне. С просветительским уклоном — так сказать, «постмодернизм — в массы!». Выходит с ноября 1995 года в Самаре.

Постмодернизму посвящена первая статья словаря «Цирка „Олимп“» и, опять-таки, первый из диалогов «Цирка „Олимп“» (названия практически всех рубрик скроены по этой модели: хронотоп «Цирка „Олимп“», портреты «Цирка „Олимп“», эссе «Цирка „Олимп“», а также его, «Цирка „Олимп“», поэзия, проза, рецензии, кино, концепты, лекторий, музыка, путешествия и галерея). Судя по всеохватности формулировок и подзаголовку газеты, с постмодернизмом у редакции ассоциируется современное искусство вообще: говоришь «постмодер-

низм» — подразумеваешь «современное искусство», и наоборот. «Постмодернист — это не оценка, а самочувствие, адекватное современному миру» (Сергей Лейбград, редактор газеты).

Каждый номер оформляется работами одного художника, о котором подробно рассказывается на последней полосе, — это и есть галерея. В словаре помимо «постмодернизма» поясняются такие понятия, как «концепт» (№ 2), «контаминация» (№ 5), «метаязык» (№ 7), «кич» (№ 8). Под рубрикой путешествия в № 7 Юрий Орлицкий пишет о литературном быте Москвы: кроме вышеназванных салонов, о «вечерах в музее Сидура», в Литмузее на Петровке — у Анатолия Кудрявицкого и в Георгиевском переулке — у Татьяны Михайловской. Интересна рецензия Ирины Тартаковской на книгу Антони Гидденса «Трансформация интимности» (№ 6). А также стихи, рассказы и эссе (Всеволод Некрасов, Александр Макаров-Кротков, Стелла Моротская, Владимир Тучков, Ирина Саморукова, Николай Байтов и другие); рисунки и фотографии Сергея Осьмачина, Марии Снегиревской, Виктора Батянова, Евгения Тимермана.

Р. С. Газета названа по дореволюционному имени «заведения, построенного в стиле «модерн», где любопытная самарская публика имела страсть лицезреть представителей нового русского искусства: К. Бальмонта, Д. Бурлюка, Вас. Каменского, В. Маяковского, Ф. Шалапина, И. Мозжухина» — отечественные постмодернисты сами сопоставляют себя с авангардом начала XX века (см. начало обзора).

Ольга КУЗНЕЦОВА.



РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ

ВОССТАНАВЛИВАЯ АЛТАРИ

АЛЬФРЕД ЛЮДВИГОВИЧ БЕМ. Письма о литературе. Praha. Slovanký ústav, Euroslavica. 1996. 357 стр.

Наверное, есть своя справедливость в том, что книгу А. Л. Бема подготовили и издали пражане: Л. Белошевская, Л. Вахаловска, М. Бубеникова, М. Задражилова. С Прагой этот питомец знаменитого венгеро-русского семинара в Петербургском университете был связан особенно тесно — без малого четверть века, с 1922-го, когда остался позади мучительный маршрут беженства с недолгими остановками и ненадежными пристанищами среди ужаса Гражданской войны — Киев, Одесса, кажется, еще и Грузия, затем Белград и Варшава. В Праге все и закончилось.

Случилось это, видимо, сразу по приходе освободителей, за которыми появился СМЕРШ и начал повальные аресты, прежде всего среди русской эмигрантской диаспоры. Но стоящая в биографии Бема вторая дата — май 1945-го — помечена вопросительным знаком. Будто бы кто-то и когда-то его встречал на пересылке через годы после войны. Скорее всего, это еще один из бесчисленных гулаговских апокрифов, и все же... О крупнейшем русском литературоведе мы, сегодняшние, не знаем практически ничего. Даже дня его мученической смерти.

Его научное наследие известно только специалистам, особенно тем, кто изучает Достоевского: в этой области авторитет Бема высок и неоспорим еще со знаменитых трех пражских сборников, последний из которых (1936) явился, в сущности, монографией, увенчавшей многолетние исследовательские труды. Напрягшись, кто-то, быть может, вспомнит, что имя Бема стоит и на обложке затеянных перед самой революцией сборников «Толстой. Памятники творчества и жизни» — он их редактировал вместе с самим В. И. Срезневским, крупнейшим знатоком толстовских рукописей.

Но о его деятельности как литературного критика, причем необыкновенно активного в 30-е годы, когда статьи Бема регулярно появлялись сначала в берлинском «Руле», затем в варшавских газетах «Молва» и «Меч», о том, какое у него отточенное перо эссеиста и рецензента, до появления «Писем о литературе» знали в лучшем случае лишь очень приблизительно. «Это было, было и прошло», как сказано в стихотворении, напрасно приписываемом Вертинскому, ведь его автор — Раиса Блох. «Что прошло, то вьюгой замело», и кто теперь станет поднимать пожелтевшие, к тому же чаще всего неполные подшивки шестидесятилетней давности.

Пражские русисты не поленились — из уважения к Бему, а еще зная, что сам он ощущал свои эссе и рецензии как части цикла, обладающего неочевидным единством, и все время думал о книге. Значит, хотел сохранить тексты, пусть привязанные к тогдашней злобе дня. Тут, в общем-то, не было авторского тщеславия. Было другое: отгалкиваясь от актуальных сюжетов, Бем почти непременно подходил к материям не только сложным, но едва ли не вечным, насколько это понятие может быть приложено к литературе. Актуальность приглушалась, но и в изменившихся обстоятельствах не переставала осознаваться в своей нестершейся важности проблема, давшая толчок к размышлению. Поэтому какой-нибудь давний отклик сохранял интерес и весомость, когда уже сложно было бы вспомнить событие, которое его спровоцировало. И написанное по горячему следу органично дополняло идеи, которые Бем вынашивал годами, работая над текстами Достоевского или обдумывая метаморфозы фаустовских мотивов в русской классике. Складывался не сборник, составленный из газетных публикаций, а книга, представляющая собой как бы большое мозаичное эссе с единством темы и тональности.

Книга анонсировалась еще летом 1935-го, но так и не вышла: не из-за обычных ли издательских опасений, сводящихся к тому, что критика — слишком скоропортящийся продукт? Столько лет спустя тем более смешно было бы рассчитывать на эффект немедленного узнавания описываемых критиком ситуаций или на присутствие персонажей литературной сцены, которые возбуждают особое любопытство публики. Если книга, состоящая из очень давно написанных статей, читается, когда стала далекой историей вся отразившаяся в ней фактография, то причина лишь в том, что эта книга держится без всяких подпорок — исключительно своей способностью будоражить мысль.

Самому Бему даже мысль о подпорках, конечно, показалась бы дикой. Он принадлежал к старой школе, которую хочется без затей назвать интеллигентной, да так, пожалуй, будет и всего точнее. Бем, для которого литература всегда оставалась очень серьезным занятием и — до чего старомодно! — чуть ли не буквально подразумевала священную жертву, был бы, разумеется, поражен, удостоверившись, что в критике, оказывается, можно превыше всего ценить дешевый эпатаж, нахрапистость самонадеянного дилетантизма и густой аромат сплетни. В таких случаях Бем, обычно мягкий и сдержанный, настраивался воинственно. И его преобладающим чувством, похоже, была брезгливость.

Своим антагонистом, и едва ли не главным, Бем считал Георгия Адамовича. Обладая бесспорной поэтической одаренностью и культурой, Адамович, на взгляд Бема, положил начало определенному направлению или, во всяком случае, помог утвердиться особому критическому подходу — но какому? Тому, когда во главу угла поставлена вызывающая непочтительность к признанным ценностям лишь оттого, что они признаны, и к безусловным авторитетам единственно в силу их безусловности. Тому, который, в глазах Бема, равносителен «нигилизму», «новой писаревщине» с ее «подхихикиваньем и подтруниваньем», и невежеством, возводимым в добродетель, и хамством, которое именуется «низвержением кумиров».

Все это написано в 1931 году в связи с дразняще пренебрежительными отзывами Адамовича о пушкинских студиях М. Гершензона. И о самом Пушкине, который то недостаточно глубок, то сверх меры закруглен, а с годами все чаще становится и «чем-то подкрашен», и «все-таки подслащен» — словом, лишен «горького привкуса творчества». При этом никаких аргументов: «кажется», «я так чувствую» — ну и довольно, методика, замечательно полно развитая нынешними продолжателями, которых пленила ее простота.

Откуда эта методология, вернее, установка, Бемом сказано исчерпывающе: «Мы смертельно боимся всякого культа, всякой канонизации. Для нас это равносильно застою и смерти. «Алтарь» вызывает прежде всего потребность низвергнуть божество и поколебать треножник». Убеденный, что «без культа прошлого нет и достижений будущего», он вроде бы должен был оказаться в числе тех, кого его товарищ по студенческой скамье Ю. Тынянов без пренебрежительного оттенка квалифицировал как сознательных литературных архаистов. Но, в сущности, основным побуждением Бема была все-таки не его приверженность той поэтике, которая принадлежит уходящей или уже ушедшей эпохе. Им руководил консерватизм, являющийся естественной и необходимой реакцией во времена, когда треножник раскачивают с энтузиазмом, с упоением, умиляясь собственным подвигам на этом поприще и призывая отдаться подобной деятельности безоглядно.

Это доморощенное эстетство, которое приправлено «плоским безмыслием», Бем диагностировал как болезнь уже по первым, еще застенчивым ее проявлениям и нашел для нее точное название — столичный провинциализм. Подразумевался не просто факт пребывания Адамовича и таких его единомышленников, как Ю. Фельзен, в Париже, где они, как ни хотелось им это скрыть, остались людьми с окраины. Видя перед собой конкретные явления и имена, Бем видел и обозначенную ими тенденцию. Можно не согласиться с его высказываниями об Адамовиче, с разбором фельзеновских «Писем о Лермонтове», с сугубо негативными оценками прозы Б. Поплавского, да мало ли с чем еще. Но и желающим будет трудно дискредитировать описание самого типа, самой модели мышления и поведения, просматривающейся за эскападами вроде приводившейся критики пушкинских текстов: «провинциал, очутившийся волей судьбы в столице,

нахватавшийся верхов культуры, начитавшийся — без возможности продумать и освоить — наиболее модных авторов и сам захотевший стать во что бы то ни стало „столичным”».

При мысли о тех потенциальных руинах, которыми, по-видимому, только и мог бы оставить по себе память столичный провинциализм с его обязательным, по терминологии Бема, «снобским неуважением», хочется не сокрушать окаменелости, а как раз наоборот — заняться восстановлением алтарей. Как поступил и этот русский пражанин, вовсе не страшась упреков в охранительстве, которое тогда почти единодушно считали неподобающим или даже одиозным.

Находили, что охранительство — синоним или апология эпигонства, — аберрация, довольно обычная и в наши дни, хотя статьи Бема должны были бы с нею покончить. Для него эпигонство было самой реальной угрозой будущему эмигрантской литературы. Подобно В. Ходасевичу, он в своих разборах раз за разом отмечал «непонятную для молодой поэзии робость в поисках *новых форм*», утерянное ею чувство реальности, нехватку современности — не как материала, а как отправной точки, наличие которой «непрерывно в искусстве должно чувствоваться». Уже не говоря о Пастернаке, которому Бем посвятил очень яркую статью, этот охранитель сумел понять творческий масштаб и поэтическую уникальность Маяковского, пусть «вызывающе оскорбляющего все, что нам было дорого». Он всегда чуждался предвзятости, по политическим ли, по эстетическим ли мотивам, и за советской литературой, прекрасно зная, что у нее «обрезаны крылья», признавал хотя бы одно несомненное достоинство: именно она переняла и сохранила «русскую потребность по горячим следам художественно осмыслить происходящее».

В литературе зарубежья эта классическая русская традиция едва не прервалась, и оттого Бему было сложно спорить с Г. Газдановым, объявившим в 1936 году, что молодой эмигрантской литературы не существует вовсе. Газданов писал, что его сверстники слишком раболепствуют перед авторитетами и перед обветшавшими традициями, из-за этого оказываясь неспособными найти язык, который позволил бы «осмыслить происходящее» в новой реальности Рассеяния. Бем парировал это рассуждение, указав на Набокова. Однако получилось не слишком убедительно. Один, даже такой крупный, писатель не создает стиля, востребованного эпохой, а Бем верил, что такой стиль должен явиться, и это будет стиль, «строгий и суровый в своей трагичности».

Выяснилось, что, характеризуя этот стиль, он заблуждался. Ошибкой было и само предположение, что возникнет художественное единство, отличающее литературу его эпохи как нечто цельное и целостное. Век принес не целостность, а как раз пестроту на грани эклектики, и она иной раз оказывалась творчески продуктивной. У Газданова были основания сетовать на диктат стариков, вывезших из России и в неприкосновенности сохранивших литературные понятия, сложившиеся в духовной атмосфере, которой более не существует. А Бем напрасно упрекал и Газданова, и весь молодой парижский круг за то, что в их произведениях «нет собранной личности... определенно выраженной индивидуальности». Она есть, просто она выражена средствами, непривычными для русской традиции.

Но прежде чем упрекнуть его за просчет, надо бы вспомнить, что Газданов для Бема, естественно, ассоциировался с «парижской нотой», а эту «ноту» — как ему думалось, безжизненную, анемичную, заимствованную у символизма и неспособную передать «опыт нашего русского скитальчества» — он не принимал. И вовсе не из-за своей — мнимой — литературной косности. Как раз наоборот: Бем находил, что есть очень существенное различие между «парижской» и «пражской» школами, и предпочтение он отдал пражанам — за их не боязнь эксперимента. Он верил, что «естественный путь русской поэзии», уж во всяком случае, «не подражание». И не старания сделаться «русскими Прустами и Джойсами», механически решив едва ли не самый болезненный для эмиграции вопрос о «своем и чужом в творчестве, о литературной преемственности, о значении традиционного начала в литературе».

В полемике с Газдановым он был до очевидности пристрастен. Но, вернувшись к их спору, важно осознать, что он ведь только кажется исчерпанным. А на поверку за ним обозначаются не просто две литературные позиции, которые сегодня могли бы интересовать преимущественно историков. Обозначается разное

понимание проблем, которые и через много лет после этого спора все так же существенны, и значительны, и трудны. Потому что еще никто не предложил такой их интерпретации, которая позволила бы считать, что должная мера своего и чужого, усвоенного и привнесенного, традиционности и новизны определена раз и навсегда.

Этого, конечно, никогда и не случится. Остаются лишь попытки ответа, и предпринятая Бемом — быть может, из наиболее убедительных. За нею не только опыт выдающегося филолога и культура русского интеллигента в лучшем смысле этого понятия — за нею еще и никогда не покидавшее Бема ощущение великой важности всего литературного дела нашего Рассеяния. То, о чем он просто и выразительно сказал в одной из своих статей: «Художественное выявление правды своего изгнанничества, противопоставление своей правды той системе псевдоценностей, на которой строится жизнь в советской России, — вот смысл эмигрантской литературы».

Алексей ЗВЕРЕВ.



БИБЛИОГРАФИЯ

КНИЖНАЯ ПОЛКА



Поль Верлен. Избранное из его восьми книг, а также юношеских и посмертно изданных стихов. Перевод, предисловие, примечания Г. Шенгели. Составление, послесловие В. Перельмутера. М. «Московский рабочий». 1996. 238 стр. 5500 экз.

Н. Горбаневская. Набор. Новая книга стихов (март 1994 — февраль 1996). М. «АРГО-РИСК». 1996. 48 стр. 400 экз.

Лоренс Даррелл. Александрийский квартет. Бальтазар. Роман. Перевод с английского В. Михайлина. СПб. «ИНАПРЕСС». 1996. 250 стр. 3000 экз.

Лоренс Даррелл. Александрийский квартет. Маунтолив. Роман. Перевод с английского В. Михайлина. СПб. «ИНАПРЕСС». 1996. 304 стр. 3000 экз.

Третий и четвертый романы из тетралогии «Александрийский квартет» знаменитого английского писателя Лоренса Даррелла (род. в 1912), изданной в 1958 году (кроме указанных здесь в тетралогии входят романы «Жюстин» и «Клеа»). Выход этих романов, обрушивший на автора самые разные оценки критики — от «помпезного шарлатана» и «опоздавшего викторианского декадента» до мастера высокой стилистики и писателя, чье имя должно продолжать в сознании читателя ряд, начатый Прустом и Джойсом, — сделал Даррелла современным английским классиком. Оба романа снабжены комментариями переводчика, помогающими разобраться в их сложной структуре, в философских и литературных аллюзиях.

Кристофер Ишервуд. Прощай, Берлин. Роман. Перевод с английского А. Курт. 1996. 192 стр. 7000 экз.

Впервые на русском языке нашумевший в Англии 40-х годов роман (первое издание вышло в 1939 году): Берлин глазами молодого англичанина, окруженного артистической богемой с ее свободой нравов.

Юрий Левитанский. Меж двух небес. Сборник стихов. М. «ИНФРА-М». 1996. 368 стр.

В сборник вошли стихотворные книги поэта «Кинематограф» (1970), «День такой-то» (1976), «Письма Катерине, или Прогулка с Фаустом» (1981), «Белые стихи» (1991), а также стихи разных лет.

Д. Липскеров. Сорок лет Чанчжоз. Роман. М. «Вагриус». 1996. 336 стр. 10 000 экз.

Юрий Нагибин. Избранное. В 3-х томах. М. Издательство «Аграф». 1996. 5000 экз. Том 1 — 512 стр. Том 2 — 560 стр. Том 3 — 554 стр.

Издание подготовлено писателем незадолго до смерти:

«Мне кажется, что трехтомник, который составил я сам, достаточно полно представит мою многолетнюю литературную работу новому поколению...

...Я очень «личный» писатель, недаром так часто я пишу от первого лица. Поэтому читатель, который возьмет на себя труд прочитать эти тома, будет знать все главное о моем детстве, юности, причастности к Отечественной войне, заботах послевоенной жизни, увлечениях охотой, рыбалкой, круге чтения, любви к изобразительному искусству и музыке...

...Время сейчас тяжелое, трудное и еще долго останется таким, оно требует от каждого ответственности, мужества и душевной готовности дать отпор темным силам. Вместе с тем никогда не была столь нужна доброта, снисходительность к малым мира сего, забота об окружающей среде и, что важнее всего, — чистая совесть. Человек должен быть открыт к добру и готов к отпору. Такова концепция моего трехтомника».

В. Пелевин. Чапаев и Пустота. Роман. М. «Вагриус». 1996. 400 стр. 10 000 экз.

Александр Солженицын. Бодался телёнок с дубом. Очерки литературной жизни. 2-е издание, исправленное, дополненное. М. «Согласие». 1996. 688 стр.

Виктория Токарева. Римские каникулы. Повести, рассказы. М. «Локид». 1996. 414 стр. 26 000 экз.

Н. М. Берновская. Бабанова: «Примите... просьбу о помиловании...». Воспоминания и письма. М. «Артист. Режиссер. Театр». 1996. 366 стр. 3000 экз.

Воспоминания об актрисе ее близкой подруги, а также переписка Бабановой с Подгоиным, Арбузовым, Розовым, Кассилем и другими.

Елена Боннэр. Вольные заметки к родословной Андрея Сахарова. М. «Права человека». 1996. 160 стр. 5000 экз.

М. Л. Гаспаров. Занимательная Греция. Рассказы о древнегреческой культуре. М. «Греко-латинский кабинет» Ю. А. Шичалина, «Новое литературное обозрение». 1996. 382 стр. 10 000 экз.

Книга об истории, географии, политике, военном искусстве, философии, театре, архитектуре, поэзии Древней Греции и «о том, каким запомнили свое прошлое сами древние греки».

М. Геллер. Концентрационный мир и советская литература. М. МИК. 1996. 320 стр. 500 экз.

Н. А. Дмитриева. Краткая история искусств. В 2-х томах. М. «Искусство». 1996. 5000 экз. Книга 1 — 498 стр. Книга 2 — 448 стр.

М. Кузмин. Условности. Статьи об искусстве. Томск. «Водолей». 1996. 160 стр.

Переиздание сборника эссе 1923 года, содержавшего театральные рецензии поэта, отклики на события литературной жизни, живописи, музыки. «Из появившихся моих статей и заметок в период 1908 — 1921 года я выбрал для этой книги такие, которые имели более общее и теоретическое значение» — авторское предисловие 1922 года.

М. Мерлон-Понти. В защиту философии. Перевод с французского, послесловие, примечания И. С. Вдовиной. М. Издательство гуманитарной литературы. 1996. 248 стр. 20 000 экз.

Книга французского философа-феноменолога Мориса Мерлон-Понти (1908 — 1961).

Нобелевские речи И. А. Бунина, М. А. Шолохова, А. И. Солженицына и И. А. Бродского. Учебное пособие по спецкурсу «Русские литераторы — лауреаты Нобелевской премии». Составитель Т. В. Гордиенко. М. Государственная академия сферы быта и услуг. Типография АО ПЦ «ЭФИР». 56 стр. 300 экз.

П. И. Новгородцев. Введение в философию права. Кризис современного правосознания. М. «Наука». 1996. 270 стр. 800 экз.

Ю. Овсянников. Великие зодчие Санкт-Петербурга. Доменико Трезини, Франческо Растрелли, Карл Росси. СПб. «Искусство СПб.», «Северо-Запад». 1996. 590 стр. 10 000 экз.

Лев Озеров. Страна русской поэзии. Статьи разных лет. М. Литературный институт им. А. М. Горького. 1996. 272 стр. 1000 экз.

Литературоведческие статьи и мемуарные очерки об Анне Ахматовой, Николае Заболоцком, Степане Щипачеве, Леониде Мартынове, Александре Кочеткове, Дмитриии Кедрине и других.

Уильям Милз Тодд III. Литература и общество в эпоху Пушкина. Перевод с английского А. Ю. Миролюбовой. СПб. «Академический проект». 1996. 306 стр. 1000 экз.

Монография профессора Гарвардского университета, социокультурологическое исследование на материале русской литературной жизни первой трети XIX века, а также — «Евгения Онегина», «Героя нашего времени» и «Мертвых душ».

А. А. Толстая. Записки фрейлины. Печальный эпизод из моей жизни при дворе. Перевод с французского Л. В. Gladковой. Предисловие Н. И. Азаровой. М. «Энциклопедия российских деревень». 1996. 240 стр. 10 000 экз.

Воспоминания Александры Андреевны Толстой (1817 — 1904) о жизни при дворе Александра II в 1879 — 1881 годах: сложные отношения императора с императрицей Марией Александровной, роман Александра с княжной Е. М. Долгорукой, покушения на жизнь царя и его гибель.

П. Флоренский. Избранные труды по искусству. Составитель игумен Андроник (А. С. Трубачев) и другие. М. «Изобразительное искусство», Центр изучения, охраны и реставрации наследия священника Павла Флоренского. 1996. 336 стр. 10 000 экз.

С. О. Хан-Магомедов. Архитектура советского авангарда. Книга 1. Проблемы формообразования. Мастера и течения. М. «Стройиздат». 1996. 710 стр. 10 000 экз.

Виктор Эрлих. Русский формализм: история и теория. Перевод с английского А. В. Глебовской. СПб. «Академический проект». 1996. 352 стр. 1000 экз.

Монография профессора Йельского университета, вышедшая в 1955 году и посвященная истории русской формальной школы в литературоведении.

Составитель **Сергей Костырко.**

ПЕРИОДИКА



«Волга», «Вопросы литературы», «День и ночь», «Дружба народов», «Звезда», «Знамя», «Иностранная литература», «Итоги», «Митин журнал», «Москва», «Московские новости», «Нева», «Независимая газета», «Общая газета», «Октябрь», «Сегодня», «Стрелец», «Уральская новь», «Urbi»

Анатолий Азольский. Война на море. Повесть. — «Знамя», 1996, № 9.
Военная проза.

Михаил Аникин. Еще раз об авторстве «Тихого Дона». — «День и ночь» (Красноярск). Литературный журнал для семейного чтения. 1996, № 4-5 (июль — сентябрь).

Еще раз о том, что автором «Тихого Дона» и других художественных произведений, вышедших под именем М. Шолохова, был будто бы Александр Серафимович (1863 — 1949). Ответ оппонентам.

А. Е. Барзах. Бывает ли «нерусская» тоска? — «Urbi». Литературный альманах, издаваемый Владимиром Садовским под редакцией Кирилла Кобрин и Алексея Пурина. Нижний Новгород — Санкт-Петербург. Выпуск восьмой («Новый Сизиф»). Санкт-Петербург, 1996.

Особый интерес к слову «тоска» возрастает у исследователя по мере погружения в поэзию Иннокентия Анненского — это одно из главнейших слов поэта (не менее четырнадцати стихотворений с «тоской» в заглавии). См. также статью Анатолия Барзаха «Тоска Анненского» в «Митинском журнале» (№ 53, 1996).

Марина Вишневецкая. Глава четвертая, рассказанная Геннадием. — «Волга», 1996, № 7.

Повесть молодого многообещающего автора, которую намерен отрецензировать «Новый мир». См. также ее рассказ «Увидеть дерево» в журнале «Знамя» (1996, № 9).

Гайто Газданов. Из «Дневника писателя». Предисловие и публикация Ласло Диенеша. Примечания Ст. Никоненко. — «Дружба народов», 1996, № 10.

«О Ремизове», «По поводу Сартра», «Достоевский и Пруст» — три беседы 1971 года на «Радио Свобода».

Александр Генис. Вавилонская башня. Искусство настоящего времени. — «Иностранная литература», 1996, № 9.

По существу — книга в журнале. О тенденциях в новейшей культуре. Сопровождается послесловием Вяч. Вс. Иванова.

Нина Горланова. Мужчины в моей жизни. — «Уральская новь», 1996, № 1-2.

Очень короткий рассказ о мужчинах, то есть о Ельцине, Курицыне, Солженицыне, Гайдаре, Ковалеве и Капице (старшем).

Дневники Пришвина. Вступительная заметка, публикация, подготовка текста и примечания Л. Рязановой. — «Вопросы литературы», 1996, № 5 (сентябрь — октябрь).

Выборка из дневников Пришвина 1925 — 1926 годов, которые готовятся к изданию в полном объеме в 4-м и 5-м томах собрания его «Дневников» в издательстве «Московский рабочий» (первые три тома охватывали период с 1914 по 1922 год). Цитата: «Множество русских людей чувствуют отврат при одном слове «государство», и это потому только, что не научились смотреть на него холодно, как на машину, совершенно **необходимую** для жизни множества людей на очень ограниченной пространством планете»

(запись от 17 апреля 1925 года). Еще одна цитата. «Вот мой сон: будто бы Ленин попал в рай, удивительно: Ленин в раю. Сел будто бы Ленин на камень, обложился материалами и стал в раю работать с утра до ночи над труднейшим вопросом, как бы этот рай сделать доступным и грешникам ада, осужденным на вечные муки» (запись от 13 мая 1925 года).

Дополнения к мифу. — «Сегодня», 1996, № 192, 18 октября.

Исторический журнал «Родина» имеет приложение — «Источник», в состав которого входит своеобразный «журнал в журнале» — «Вестник Архива Президента РФ». Именно в нем, в № 4 (23) за 1996 год, появилась публикация «„Так истязается и распинается истина...“». А. Ф. Лосев в рецензиях ОГПУ». Три комментария (Константина Поливанова, Леонида Кациса и Дмитрия Шушарина) к опубликованным документам заняли целую полосу в газете «Сегодня». Не только эти комментарии, но и сама архивная публикация в «Источнике» вызвала, в свою очередь, отповедь Юнны Мориц в газете «Московские новости» (1996, № 49, 8 — 15 декабря).

Владимир Еременко. Из куколки стиха родится наваждение... Предисловие Михаила Грозовского. Публикация Нурии Брагиной. — «Дружба народов», 1996, № 10.

Подборка стихотворений из наследия поэта, переводчика с грузинского В. Н. Еременко (1949 — 1993).

Игорь Ефимов. Не мир, но меч. Хроника времен заката. — «Звезда», 1996, № 9, 10.

Исторический роман. Начало пятого века от Рождества Христова. Христиане, иудеи, язычники. Пелагианская ересь. Бунты, войны. Автор живет в США. См. о нем и о романе эссе Анатолия Наймана в «Новом мире» (1996, № 11).

Александр Жолковский. Анна Ахматова — пятьдесят лет спустя. — «Звезда», 1996, № 9.

«Ахматовский культ (не побоимся этого слова) оказался долговечнее ленинско-сталинского. Он поистине овладел массами и представляет собой семиотическую реальность, заслуживающую серьезного рассмотрения». Разговор без сантиментов о театральной природе ахматовского «жизнетворческого перформанса».

Наталья Иванова. Прошедшее несовершенное. — «Знамя», 1996, № 9.

Перечитывание газетных и журнальных подшивок за 1986 год.

Уильям Батлер Йейтс. Кельтские сумерки. Послесловие и перевод с английского Вадима Михайлина. — «Волга», 1996, № 7.

Проза Йейтса 1900 — 1902 годов. Короткие эссеистические очерки, фрагменты, объединенные автором в книгу.

Владимир Крупин. Тюремный рассказ. — «Москва», 1996, № 9.

«У меня появилась возможность побывать в тюрьме особого режима. Мне предложили, я согласился. Согласие мое было вызвано скорее лингвистическим интересом, нежели социальным».

Сергей Курганов. Сохрани мою речь... Документальное повествование в диалогах и монологах. Предисловие Марины Саввиных. — «День и ночь» (Красноярск). Литературный журнал для семейного чтения. 1996, № 4-5 (июль — сентябрь).

Журнальный вариант книги, которую написали дети. Их учитель С. Ю. Курганов с 1987 года преподавал в красноярской школе «Универс», основанной на «диалогических» идеях философа В. С. Библера.

Томас Харлан Кэмпбэлл. Трудности перевода стихотворения Иосифа Бродского «Представление» с русского на английский. — «Митин журнал» (Санкт-Петербург), 1996, № 53.

Доклад, прочитанный в июне 1995 года на Герценовских чтениях в Санкт-Петербурге. Тут же печатается любопытный Комментарий ко всем 196 строкам «Представления» с подстрочником «для будущего перевода на английский язык». Автор перевел пока только первую строфу. Поскольку «я не уверен, что английский язык — по меньшей мере мой английский язык, способен на такой взлет или спуск».

С. В. Меликова, И. И. Толстой. «Любовь, купленная страданиями...». Роман в письмах. Публикация, подготовка текста и комментарии Л. И. Толстой. Вступительная заметка Б. В. Ананьича. — «Звезда», 1996, № 9.

Переписка филологов-классиков И. И. Толстого (1880 — 1954) и С. В. Меликовой (1885 — 1942) возвращает нас к событиям русской революции семнадцатого года и Гражданской войны. Печатается со значительными сокращениями.

Андрей Немзер. Чем откровеннее, тем загадочнее. — «Дружба народов», 1996, № 10.

Статья о прозе Андрея Дмитриева.

Евгений Перемышлев. Сентиментальное путешествие. Из записок Ингредиента Субботия. — «Октябрь», 1996, № 8.

После Стерна и Шкловского название повести звучит почти неприлично.

Людмила Петрушевская. Непогибшая жизнь. Рассказы. — «Октябрь», 1996, № 9.

«С горы», «Хэппи-энд», «Непогибшая жизнь», «Как ангел» и «Путь Золушки» — новые короткие рассказы известного автора.

Г. Померанц. Вокруг предвечной башни. — «Дружба народов», 1996, № 10.

Полемика с новомирскими статьями Юрия Каграманова.

Евгений Попов. Хреново темперированный клавир. Пьеса. — «Волга», 1996, № 7.

Премьера «Хреново темперированного клавира» состоялась в мае 1994 года в Амстердаме.

Салман Рушди. Рассказы. Перевод с английского Игоря Хадикова. — «Митин журнал» (Санкт-Петербург), 1996, № 53.

Рассказы («Хороший совет — редкость большая, чем рубины» и «На аукционе рубиновых магических туфель») публикуются по личному разрешению автора.

Михаил Синельников. Дорога в Индию. К 100-летию со дня рождения Николая Тихонова. — «Московские новости», 1996, № 48, 1 — 8 декабря.

Воспоминания о встрече с поэтом за несколько дней до его смерти. «Николай Семенович стал несколько откровеннее: „Если бы Первая мировая война окончилась победой русских, — вдруг почувствовалось, что Тихонову этого вдруг очень захотелось, чтобы Первая мировая война окончилась победой русских, — то первыми поэтами империи стали бы Гумилев, Клюев и Ахматова...”»

Андрей Синявский. О благой глупости. — «Независимая газета», 1996, № 188, 8 октября.

Фрагменты четвертой главы книги «Иван-Дурак. Очерк русской народной веры», в основу которой положен курс лекций Синявского в Сорбонне в 1978 — 1979 годах и которая до сих пор не издана в России.

Иннокентий Смоктуновский. Меня оставили жить. Повесть. Подготовка текста и публикация С. М. Смоктуновской и М. И. Смоктуновской. — «Октябрь», 1996, № 10.

Военная повесть, посвящена автором памяти отца, Михаила Петровича Смоктуновича, погибшего на фронте в 1942 году.

Александр Солженицын. К нынешнему состоянию России. — «Общая газета», 1996, № 47, 28 ноября — 4 декабря.

Россия: олигархия вместо демократии (то есть народовластия). Русский текст статьи, опубликованной во французской газете «Монд» в ноябре 1996 года.

Татьяна Сотникова. Непойманый хранитель. — «Вопросы литературы», 1996, № 5 (сентябрь — октябрь).

О творчестве Юрия Домбровского.

Игорь Сухих. Зона: два ада и чужие голоса. — «Нева», 1996, № 9.

Глава из готовящейся к печати книги о прозе Сергея Довлатова.

«Творческие пути теснейшим образом переплетены с нравственными...» Письма М. В. Юдиной Р. В. Матсову. Публикация, комментарии и примечания Марка Матсова. — «Знамя», 1996, № 9.

Письма 50 — 60-х годов к дирижеру Р. Матсову. Стоит отметить, что на страницах «Нового мира» также неоднократно печатались письма М. Юдиной к различным адресатам, в том числе Борису Пастернаку.

Михаил Угаров. Разбор вещей. Повесть. — «Дружба народов», 1996, № 10.

Первая прозаическая публикация драматурга, чьи пьесы идут во многих театрах страны. О его пьесах см. рецензию Алены Злобиной в «Новом мире» (1996, № 8).

Семен Файбисович. Художник и власть. — «Итоги». Еженедельный журнал. 1996, № 19, 17 сентября.

«Творческие союзы настолько заморочили всем головы: властям — тем, что они и есть искусство, культура, духовный генофонд нации, и спасти все это — значит спасти творческие союзы; прессе — своими разборками на идейной почве и сварями по

поводу недвижимости, что никто так и не удосужился увязать слово «искусство» со словом «свобода». Свободный предприниматель есть и свободный сельхозработник есть — хотя бы юридически, а свободного художника, литератора, журналиста, актера нет — по крайней мере юридически. ...А ведь free lance (институт свободных профессий), законодательно защищающий любого творческого человека, предоставляющий каждому в индивидуальном порядке максимальные права, пенсионные и проч. льготы, налоговые и проч. послабления именно потому, что он одиночка (та самая единица — ноль по Маяковскому), — неотъемлемый институт свободного общества, возможно, единственный надежный гарант наличия в нем здорового индивидуализма, неангажированного интеллектуализма и независимого творческого изъяснения».

Григорий Файман. Назначенцы. Иосиф Сталин и литература. — «Независимая газета», 1996, № 219, 21 ноября.

Переписка Сталина с советскими литераторами в конце 20-х годов. Объединение «Пролетарский театр» — Сталину. Сталин — В. Билль-Белоцерковскому. Сталин — писателям-коммунистам из РАППа. Билль-Белоцерковский — Сталину. Помощь в подготовке публикации оказал Архив Президента РФ.

Борис Хазанов. Эрнст Юнгер, или Прелесть новизны. — «Вопросы литературы», 1996, № 6.

Эрнста Юнгера, плодovitого немецкого писателя XX века, деятеля Консервативной революции, наш читатель практически не знает. В частности, как отмечает Б. Хазанов (Мюнхен), роман Юнгера «На мраморных скалах» (1939) — «единственное, почти незамаскированное антинацистское произведение, которое появилось легально в гитлеровской Германии».

Григорий Чхартишвили. Образ Японца в русской литературе. — «Знамя», 1996, № 9.

Русская япониада. Японец экзотичный, комичный, отвратительный, страшный и проч.

Александр Шаталов. Предмет влюбленных междометий. Ю. Юркун и М. Кузмин — к истории литературных отношений. — «Вопросы литературы», 1996, № 6.

Театрализация собственной жизни, свойственная персонажам 10 — 20-х годов. «Кузмину повезло с Юркуном в том, что они оба вполне сознательно стали имитировать взаимоотношения Верлена и Рембо. Не случайно их так иногда за глаза и называли. Эту литературную ситуацию они сознательно перенесли на русскую почву». Годы 30-е: беззубый Кузмин, поседевший Юркун. Анна Ахматова позже заметила, что смерть Кузмина в 1936 году была благословением, иначе он умер бы еще более страшной смертью, чем Юркун, расстрелянный в 1938 году. О новом издании стихотворений М. Кузмина см. рецензию А. Пурина в настоящем номере «Нового мира».

Зинаида Шаховская о Владимире Набокове. Беседа Алексея Медведева. — «Итоги». Еженедельный журнал. 1996, № 20, 24 сентября.

Из интервью: «Лучшая биография Набокова — это его собственный роман „Дар“»; «Это какое-то детское представление: в наше время приятно быть любовницей какого-то известного человека, но мне это было бы совершенно неприятно. Мы с мужем дружили с Набоковым — он был интересным человеком и блестящим писателем, но сексуально он меня никак не прельщал». Тут же (с сокращениями) печатаются несколько писем Набокова 30-х годов к З. Шаховской. «Ужасная вещь — переводить самого себя, перебирая собственные внутренности и примеривая их, как перчатку, и чувствуя в лучшем словаре не друга, а вражеский стан: он был несловоохотлив, как словарь, — применю это где-нибудь» (из письма 1935 года).

Александр Эткинд. Хлысты, декаденты, большевики. Начало века в архиве Михаила Пришвина. — «Октябрь», 1996, № 11.

По мнению автора, «поток материалов из архива Пришвина обесценивает довольно объемную литературу о нем советского периода».

Сергей Юрьенен. Знамя юности. — «Стрелец». Альманах литературы, искусства и общественно-политической мысли. 1996, № 1(77).

Фрагменты нового романа. Советская школа. «Мы стали гоняться за девчонками».

Составитель Андрей Василевский.

Зеркало. Литературно-художественный журнал. Тель-Авив. № 1-2 (132). Июнь 1996.

«Зеркало» долгое время существовало и обрело своего читателя как тонкий иллюстрированный журнал. Однако, по мнению главного редактора Ирины Врубель-Голубки-

ной, все чаще ощущался конфликт между формой издания и его содержанием, включавшим серьезные статьи, документы, критику, просто литературу. Отныне «Зеркало» становится толстым журналом, вмещающим объемную прозу и критику, статьи по культуре — словом, «тексты, которым легче ужиться в книге, нежели в актуальной периодике» (из редакционного предисловия). Но журнал сознательно сохраняет в скобках старую нумерацию, подчеркивая преемственность и родство двух, с виду разных, изданий. Первый «толстый» выпуск журнала (в завидном, отметим, полиграфическом исполнении) открывается статьей Александра Гольдштейна «Литература существования» (см. о ней более подробно в подрубрике «По ходу текста» в этом номере «Нового мира»). Далее идет стихотворения 90-х годов Александры Петровой и 60-х — Михаила Гробмана. Печатается роман Моисея Винокура «Песнь песней». Владимир Тарасов в эссе «Россыпь» размышляет об Адаме и Еве. В рубрике «Антология израильской прозы» печатается текст Ицхака Бен-Нера «Отец рассказывает о своих братьях» в переводе Л. Чудновской. Александр Сыркин печатает пространные «Заметки к „Идиоту“». Алексей Смирнов в статье «Предтеча московского мистицизма» рассказывает о своем знакомстве с Даниилом Андреевым и с его старшим другом — поэтом Александром Викторовичем Коваленским, тут же печатаются два стихотворения Коваленского. Григорий (Гиллель) Казовский публикует несколько документов, относящихся к витебскому периоду биографии Казимира Малевича. Валентин Воробьев вспоминает о том, как он был натурщиком в Москве 50-х годов. Валерий Мерлин в кратком парадоксальном эссе пытается доказать, что «гуманизм есть антисемитизм». Печатается ряд других любопытных материалов, среди которых отмечу резко критические отклики Константина К. Кузьминского на составленную Евгением Евтушенко поэтическую антологию (с маленькой буквы: «евтушенко — типичный совок») и Льва Бергера — на сотый номер русскоязычного литературного журнала «22» («провинциальная мумия, чье место на складе лежалых папирусов», и т. д.); у нас в прессе ругаются крепко, но как-то иначе.

А. В.



ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

Февраль

5 лет назад — в № 2 за 1992 год напечатана повесть Л. Петрушевской «Время ночь».

10 лет назад — в № 2 за 1987 год напечатана повесть В. Маканина «Утрата».

35 лет назад — в № 2 за 1962 год напечатана повесть В. Каверина «Семь пар нечистых».

70 лет назад — в № 2 за 1927 год напечатана повесть Вяч. Шишкова «Пурга», а также статья А. Луначарского «Ревизор Гоголя — Мейерхольда».

SUMMARY



The poetry section of the issue presents poems by Oleg Gubanov, Gentikh Saggir, as well as fragments of the poem «Asia» by Nikolay Glazkov.

We are publishing short stories by Vyacheslav Pyetsukh, and we are ending the novel «Passing of the Shadow» by Irina Polyanskaya.

The section «New Translations» is presented by the narrative «Fever» by Wallace Shown (translation by V. Golyshev).

An article by Yuri Yegorov, «Creation of Economics», occupies the section «Publicistics».

The section «Times and Morals» presents the articles «Apology for a Russian Governor» by Georgy Kharitonov and «New Korcheva» by Yuri Krasavin (preface by Yuri Kublanovsky).

In the section «Ecology of Russia» we are publishing the article «Cranes from Non-Existence» by Anatoly Greshnevnikov (preface by Sergei Zalygin).

In the section «Art World» we are publishing the article «Cinema in the Absence of Love and Death» by Irina Lubarskaya.

Notes written by literary critic V. Turbin in different years occupy the section «Heritage».

In the section «Les Essais» we are publishing the article «A Hot Discussion: About What and How» by Alexei Smirnov.

The section «Literary Criticism» presents polemical notes by Andrei Vasilevsky, «Unknown Results of Language».

In the section «Reviews» Yuri Kublanovsky reviews a novel by Yuri Maletsky; Dmitry Bavilsky reviews a novel by V. Kurnosenko; Alexei Purin reviews the collected poems by Mikhail Kuzmin; Dmitry Bak reviews the book by I. Paperno about Chernyshevsky; Alena Angelevitch reviews new books on art; I. Mochalov reviews an essay on terrorism in Russia; I. Kirsh reviews a collected articles by V. Vernadsky; Yulia Tarantul reviews a new edition by Fedor Abramov; Andrei Vasilevsky reviews the book «The Sixties. The World of the Soviet Man» by Piotr Vail and Alexander Genis; Olga Kuznetsova reviews the latest issues of the «Comments» magazine and «Mitya's Magazine».

In the section «Russian Books Abroad» Alexei Zverev reviews a collected articles on literature by A. Bem.

The issue also presents the section «Bibliography».

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.

Главный редактор С. П. Залыгин

Редакционная коллегия: М. В. Бутов, А. В. Василевский (ответственный секретарь), Р. Т. Киреев (зам. главного редактора),

С. П. Костырко, Ю. М. Кублановский, С. И. Ларин, О. И. Новикова, И. Б. Роднянская, З. М. Фаткудинов, О. Г. Чухонцев, С. А. Яковлев (зам. главного редактора)

Общественный совет: С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, Д. А. Гранин, А. А. Ким, Д. С. Лихачев, А. М. Марченко, П. А. Николаев, М. О. Чудакова

Свидетельство о регистрации № 138 от 27 сентября 1990 г. в Министерстве печати и массовой информации РСФСР.

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2
Телефоны: отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88,
отдел публицистики — 229-25-83, для справок — 200-08-29.

Сдано в набор 20.10.96 г. Подписано к печати 23.12.96 г. Оригинал-макет изготовлен на компьютерах редакции журнала «Новый мир». Формат бумаги 70x108 1/16. Бумага кн.-журн. Высокая печать.

Объем 16 п. л., 22,4 усл. печ. л., 28 уч.-изд. л.

Тираж 16 790 экз. Зак. 3544. Цена договорная.

При участии издательства «Известия». Москва, Пушкинская пл., 5.

Типография имени И. И. Скворцова-Степанова издательства «Известия».
103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

В 1997 ГОДУ «НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:

- АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ. Подписанты (повесть);
 ВИКТОР АСТАФЬЕВ. Прокляты и убиты (роман, часть третья);
 ЭНТОНИ БЁРДЖЕС. Два рассказа (перевод с английского);
 АНДРЕЙ БИТОВ. Общество охраны героев (повесть);
 В. БОГОМОЛОВ. Алина (повесть);
 МИХАИЛ БУТОВ. Свобода (роман);
 ДАНИИЛ ГРАНИН. Вечера с Петром Великим (роман);
 ГЕОРГИЙ ДЕМИДОВ. Из литературного наследия;
 МАРИНА ДУРНОВО, с участием ВЛАДИМИРА ГЛОЦЕРА.
 Мой муж Даниил Хармс (воспоминания);
 БОРИС ЕКИМОВ. Наш старый дом (повесть);
 МАРК КОСТРОВ. Рыбные дни Новгородчины (очерк);
 МИХАИЛ КУРАЕВ. Произведение (маленькая повесть);
 АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ. Роман с простатитом;
 ВАЛЕРИЙ ПОПОВ. Грибники ходят с ножами (повесть);
 КРИСТОФ РАНСМАЙР. *Morbus Kitahara* (роман, перевод с немецкого);
 ЕВГЕНИЙ РЕЙН. Опыт фантастических воспоминаний (рассказы);
 ИРИНА РОДНЯНСКАЯ. Маканин нового времени;
 МАРК РОЗОВСКИЙ. Театральный человек (документальное повествование);
 А. СОЛЖЕНИЦЫН. Этюды из «Литературной коллекции»;
 ВИКТОРИЯ ТОКАРЕВА. Корова на крыше (повесть);
 АНТОН УТКИН. Свадьба за Бугом (повесть);
 ПАВЕЛ ФЛОРЕНСКИЙ. В санитарном поезде Черниговского Дворянства (заметки и впечатления, 1915);
 ИГОРЬ ШКЛЯРЕВСКИЙ. Золотая блесна (северная проза);
 ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. Митина любовь (повесть);
 ЮЛИУ ЭДЛИС. Аноним (роман);

а также новые произведения СЕРГЕЯ АВЕРИНЦЕВА, ВАСИЛИЯ АКСЕНОВА, АЛЕКСАНДРА АРХАНГЕЛЬСКОГО, ЮРИЯ БУЙДЫ, СВЕТЛАНЫ ВАСИЛЕНКО, АНДРЕЯ ВОЛОСА, РЕНАТЫ ГАЛЬЦЕВОЙ, ВАЛЕРИЯ ЗАЛОТУХИ, АНАТОЛИЯ КИМА, АНАТОЛИЯ КУРЧАТКИНА, АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА, ОЛЕГА ЛАРИНА, СЕМЕНА ЛИПКИНА, ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ, ВЛАДИМИРА МАКАНИНА, АНАТОЛИЯ НАЙМАНА, МАРИНЫ НОВИКОВОЙ, ОЛЕГА ПАВЛОВА, ВЯЧЕСЛАВА ПЬЕЦУХА и других авторов.

**НЕ ЗАБУДЬТЕ ВОВРЕМЯ
ПРОДЛИТЬ ВАШУ ПОДПИСКУ!**